ISSN 0130–6545

10.1999

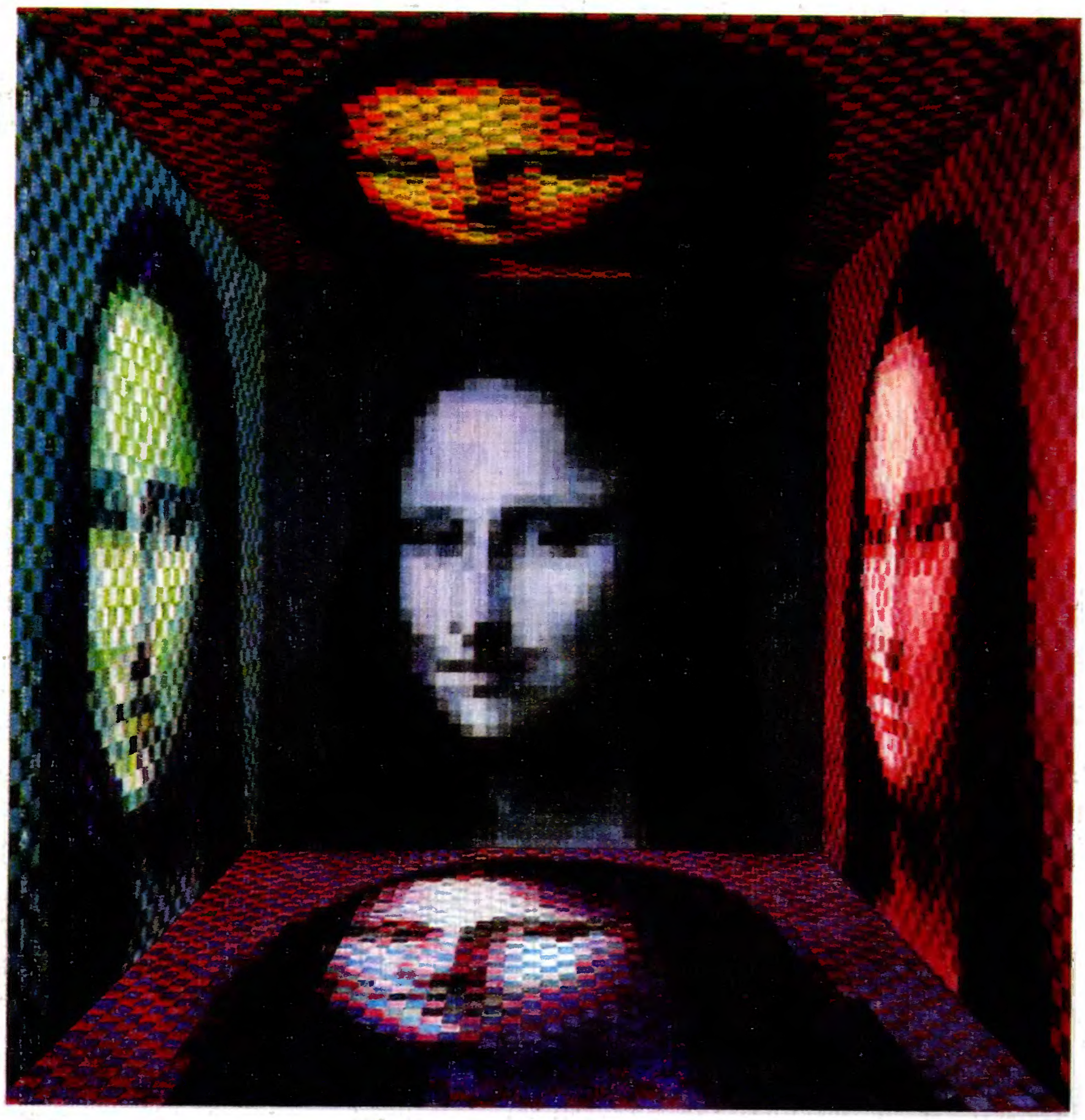
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

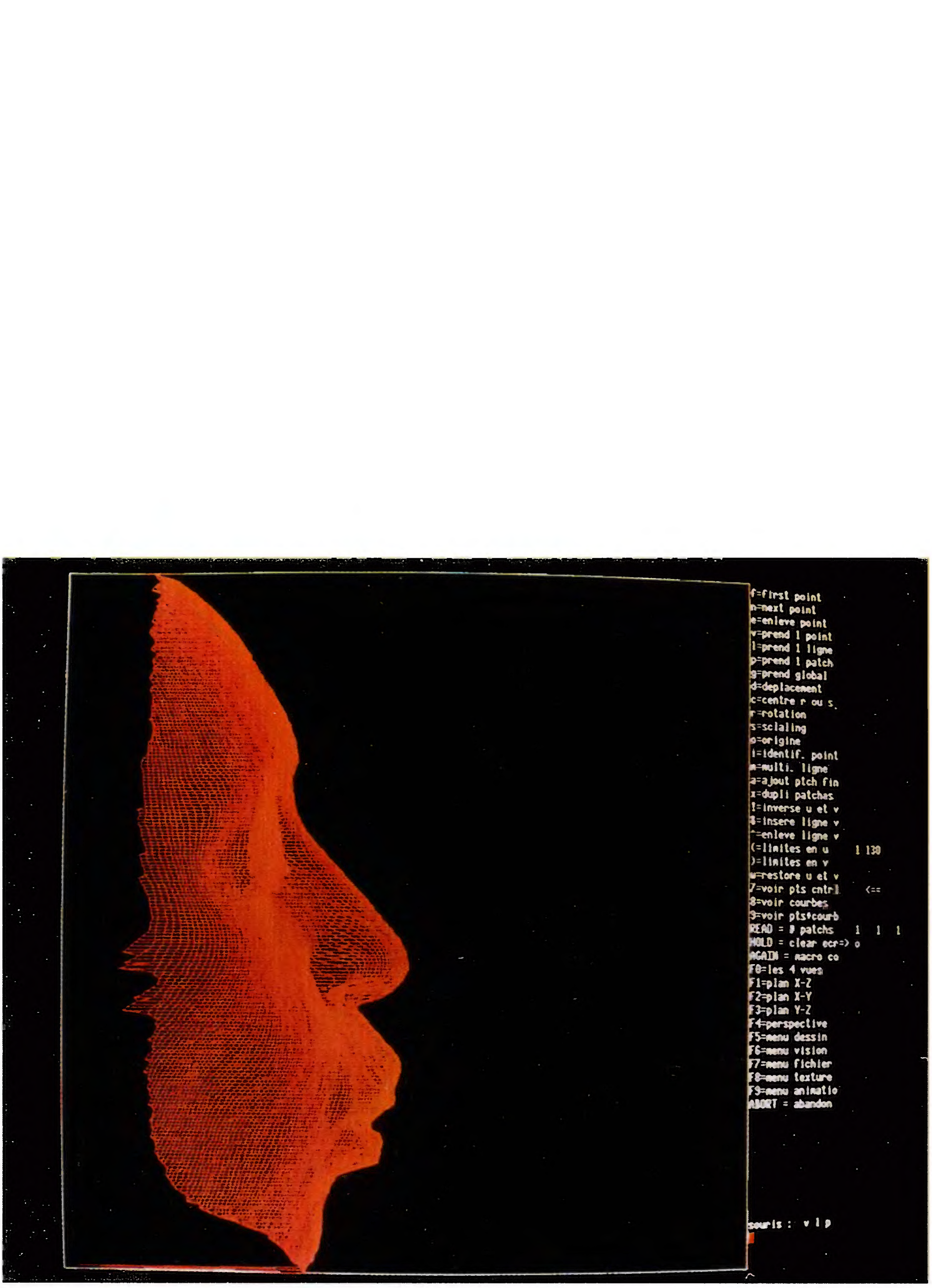
АЛЬБЕРТО САВИНИО
Мопассан и «Другой»

ДЖУЛИАН БАРНС
Краткая история парикмахерского дела

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС
Фрагменты автобиографии



ЛИТературный ГИД ⇨ КНИГА и/или КОМПЬЮТЕР


f=first point
n=next point
e=enleve point
v=prend 1 point
l=prend 1 ligne
p=prend 1 patch
g=prend global
d=deplacement
c=centre r ou s
r=rotation
s=sclaling
o=origine
i=identif. point
m=multi. ligne
a=ajout ptch fin
x=dupli patches
!=inverse u et v
$=insere ligne v
*=enleve ligne v
(=limites en u
)=limites en v
w=restore u et v
7=voir pts cntrl
8=voir courbes
9=voir pts+courb
READ = 9 patchs
HOLD = clear ecr=> o
AGAIN = macro co
F0=les 4 vues
F1=plan X-Z
F2=plan X-Y
F3=plan Y-Z
F4=perspective
F5=menu dessin
F6=menu vision
F7=menu fichier
F8=menu texture
F9=menu animatio
ABORT = abandon
souris : v l p

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), **УФПС** (для Московской области) **и Моспочтамта** (для Москвы)

Подписной индекс 70394 (на I полугодие)
72261 (на год)

А если вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем ПОДПИСАТЬСЯ ПРЯМО У НАС — это НАДЕЖНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Подписка в редакции будет проводиться
с 1 октября по 15 декабря
ежедневно с 12 до 17.30,
кроме пятницы и выходных

Адрес редакции: **Пятницкая улица, дом 41** (метро «Новокузнецкая», «Третьяковская»). ☎ **953-5147**

**Из общего тиража в 13 200 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 3 500 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

10 октябрь 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖУЛИАН БАРНС — Краткая история парикмахерского дела *(Рассказ. Перевод с английского Л. Мотылева)*..... 5
ЭРНСТ ЯНДЛЬ — Стихи *(Перевод с немецкого и вступление В. Куприянова)* 16
АЛЬБЕРТО САВИНИО — Мопассан и «Другой» *(Эссе. Перевод с итальянского и вступление Г. Киселева)*..... 24
ЁСАНО АКИКО — «О богиня Медуза, молю...» *(Стихи. Перевод с японского и вступление Е. Дьяконовой)*..... 75
ЖОЗЕ САРАМАГО — Каменный плот *(Роман. Окончание. Перевод с португальского А. Богдановского)*..... 82

Литературный гид

КНИГА и/или КОМПЬЮТЕР

МИЛОРАД ПАВИЧ — Дамаскин *(Новелла для компьютера и плóтничьего циркуля)*. Стеклянная улитка *(Предрождественская повесть. Перевод с сербского Н. Вагаповой)*..... 141
АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Книга книг. *Комментарий к одному изобретению*..... 166
МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ — Гипертексты по ту и эту стороны экрана..... 169
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ — Рождение Игры, смерть Автора и виртуальное письмо..... 178
ДМИТРИЙ КУЗЬМИН — Краткий катехизис русского литературного Интернета..... 184

Галерея «ИЛ»

Живопись и графика в рамке монитора: немного истории..... 188

Документальная проза

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС — Фрагменты автобиографии *(Главы из книги «Герберт Уэллс в любви». Предисловие Дж. П. Уэллса. Перевод с английского Р. Облонской)*..... 191

Статьи, эссе

Круглый стол «Французская литература выходит из чистилища» *(Составление и перевод с французского Натальи Мавлевич)*..... 229

У книжной витрины..... 246

Курьер «ИЛ»..... 249

Авторы этого номера..... 253

©«Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Эксцентричный роман американского писателя **Кристофера Бакли** «ЗДЕСЬ КУРЯТ», герой которого рьяно защищает интересы табачных королей; головокружительные коллизии этой увлекательной истории построены на обыгрывании клише политической корректности.

«ФРАНЕК» — лирическая повесть австрийского писателя **Радека Кнаппа**, отмеченная премией за лучший литературный дебют на немецком языке.

«Лучшие американские стихи 1998 года» — избранное из ежегодно выпускаемой в США поэтической антологии.

Во втором выпуске *Литературного гида* «*ЖИЗНЬ КАК РОМАН*» продолжается рассказ о тех, кто — каждый на свой манер — соединил с литературой собственную жизнь. Речь пойдет о знаменитом итальянском драматурге и политическом авантюристе Габриеле Д'Аннунцио, о французском писателе, джазисте, певце Борисе Виане и о «дадаистах-самоубийцах» Жаке Риго, Жаке Ваше и Артюре Краване.

Цветные иллюстрации номера — работы компьютерных художников:

На 1-й стр. обложки — ЖАН-ПЬЕР ИВАРАЛ. «Синтезированная Мона Лиза» (1989)
На 2-й стр. обложки — ЭРВЕ ХУТРИК, МОНИКА НАХАС. «Маски» (1990)
На 3-й стр. обложки — НИКОЛЬ СТЕНДЖЕР. «Ангельские встречи» (1991)
На 4-й стр. обложки — МИКАЭЛЬ ГАУМНИЦ. «Женщина с электрическим взглядом» (1987)

В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

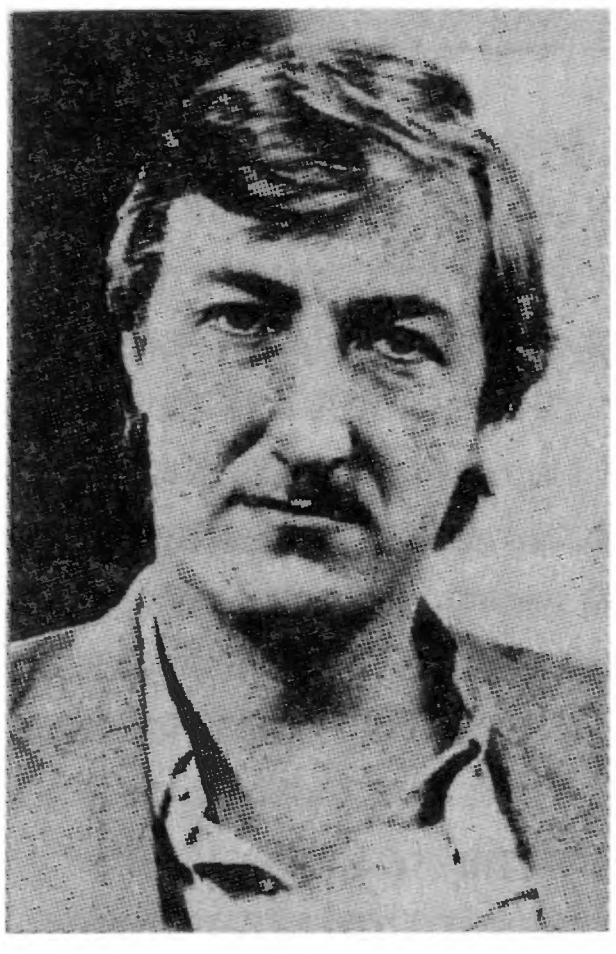
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 30.09.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,87. Заказ №4657.

Тираж 13 200 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



ДЖУЛИАН БАРНС

Краткая история парикмахерского дела

РАССКАЗ

Перевод с английского Л. МОТЫЛЕВА

I

В прошлый раз, когда они только переехали, мать отправилась с ним. Проверить, видимо, что там за парикмахер. Как будто слова «сзади, с боков коротко, сверху много не снимать» в этом новом для них пригороде могли значить что-то новое. Он лично в этом сомневался. Все показалось ему точно таким же: и пыточное кресло, и запахи, как в операционной, и ремень для правки бритв, и сама бритва — сложенная, но не безопасности ради, а со скрытой угрозой. И главное, пыточных дел мастер был точно такой же — большерукий псих, который то пригибает тебе голову книзу, едва не ломая шею, то тычет тебе в ухо бамбуковым пальцем.

— Принимайте работу, мадам, — сказал он, когда кончил, нарочито елейным голосом. Мать встала, выныривая из журнала, с помощью которого коротала время.

— Вполне, — рассеянно сказала она, наклонившись к его прическе, источая пахучесть. — В следующий раз придет сам. — Когда они вышли, она потрепала его по щеке и промурлыкала: — Бедный мой остриженный ягненочек.

И вот он шел сам. Минуя агентство по недвижимости, спортивный магазин и деревянно-кирпичное здание банка, он повторял про себя: «Сзади с боков коротко сверху много не снимать». Он бормотал скороговоркой, без запятых; надо было затвердить это, как молитву. В кармане у него лежал шиллинг и три пенса; он затолкал носовой платок поглубже, чтобы монеты случайно не выпали. Тяжела была именно невозможность бояться. Куда проще у зубного: тебя всегда сопровождает мать, тебе всегда делают больно, но потом тебе дают леденец за то, что держался молодцом, и, выходя через приемную, можно перед сидящими в очереди сделать вид, что ты кремешок. Родители вправе тобой гордиться. «Прошел огонь и воду, дружище?» — спрашивает отец. Боль вводит тебя в мир взрослых фраз. Зубной врач говорит: «Передай папаше, что ты годен для заморской службы. Он поймет». Ты приходишь домой, и отец спрашивает: «Прошел огонь и воду, дружище?» А ты ему: «Мистер Гордон говорит, я годен для заморской службы».

Входя, он ощутил себя чуть ли не важной персоной, дверь под рукой подавалась туго, по-взрослому. Но парикмахер еле кивнул, показал расческой на шеренгу стульев с высокими спинками и вновь склонился над каким-то седым старикашкой. Грегори сел. Стул под ним скрипнул. Уже хотелось по-маленькому. Рядом

© Julian Barnes, 1997
© Л. Мотылев. Перевод, 1999

стоял ящик с журналами, но он не посмел запустить туда руку. Он сидел и смотрел на кротовые кучки волос на полу.

Когда подошла его очередь, парикмахер кинул на сиденье толстую резиновую подушку. Смахивало на оскорбление. Но это было в порядке вещей: никогда нельзя положиться на правила, никогда нельзя знать наперед, будут с тобой как со всеми или захотят мучить по-особенному. Вот вам, пожалуйста: парикмахер сперва пытается задушить его простыней, туго затягивая ее вокруг шеи, потом заталкивает ткань ему за воротник толстыми морковными пальцами. «Чем могу служить, молодой человек?» Тон подразумевал, что такой сомнительный тип, такой жалкий червяк, каким он, Грегори, очевидно, является, может забрести в заведение по любой из множества разнообразных причин.

— Мне постричься, — выдавил из себя Грегори после паузы.

— Уже легче: значит, пришел куда надо. — Парикмахер постучал расческой по его макушке; не больно, но и не сказать что легонько.

— Сзади-с-боков-коротко-сверху-много-не-снимать-пожалуйста.

— Это можно, — сказал парикмахер.

Мальчиков принимали только в определенные дни и часы. Была табличка, гласившая: «В субботу до обеда мальчиков не обслуживаем». После обеда в субботу парикмахерская была закрыта, так что они спокойно могли бы написать: «В субботу мальчиков не обслуживаем». Мальчики должны были ходить в то время, когда не было взрослых мужчин. По крайней мере тех, что работали. Он стригся, когда были только мальчики и пенсионеры. Три мастера в белых халатах, все средних лет, делили время между старыми и малыми. Кашляющих стариканов они всячески обхаживали, заводили с ними доверительные разговоры, выказывали старание. Стариканы даже летом носили пальто и шарфы и, уходя, давали на чай. Грегори порой наблюдал уголком глаза сцену передачи денег. Секретное полурукопожатие, при котором оба делают вид, что ничего такого не происходит.

А мальчики на чай не давали. Вероятно, именно поэтому парикмахеры терпеть не могли мальчиков. Они меньше платили и не давали на чай. И еще они не хотели сидеть смирно. Даже если мать приказывала мальчику не вертеться и он заставлял себя не вертеться, парикмахер все равно шлепал его по голове твердой и плоской, как лезвие топорика, ладонью и бурчал: «Сиди смирно». Он слышал истории о мальчиках, которым отхватывали кусочки ушей, потому что они не хотели сидеть смирно. Не зря ведь бритвы зовутся опасными. А парикмахеры все до одного психи.

— Волчонок[1], нет?

Грегори не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Поняв, он не мог решить, как ему быть с головой — то ли оставить опущенной, то ли поднять, чтобы посмотреть на парикмахера в зеркале. В конце концов он оставил голову опущенной и сказал:

— Нет.

— Что, бойскаут уже?

— Нет.

— Крестоносец?

Грегори не знал, что это за крестоносцы такие. Он начал поднимать голову, но парикмахер дал ему по макушке расческой. «Я сказал, смирно сиди». Грегори так боялся психа, что потерял дар речи, и парикмахер воспринял молчание как отрицательный ответ. «Хорошая организация — крестоносцы. Очень рекомендую».

Грегори представил себе, как он был бы порублен кривыми сарацинскими саблями или распят в пустыне на съедение муравьям и стервятникам. Тем временем он терпел гладкий холод ножниц — всегда холодных, даже когда они были теп-

[1] Волчата — младшие скауты (от 8 до 10 лет). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

лые. Зажмурив глаза, он сносил щекотную муку сыплющихся на лицо кусочков волос. Он сидел и сидел, не разжимая век, убежденный, что парикмахеру пора было кончить стрижку сто лет тому назад, просто он такой псих, что, наверно, не успокоится, пока у Грегори хоть что-то есть на голове. Впереди еще правка бритвы, ее сухие скребущие шорохи вокруг ушей и с задней стороны шеи, тычки в глаза и в нос метелкой-мухобойкой для стряхивания волосков.

От всего этого он каждый раз внутри судорожно сжимался. Но было тут и что-то другое, более тайное, ползучее и подспудное. Он подозревал, что тут много грубятины. То, чего ты не понимаешь или тебе рано пока понимать, обычно на поверку оказывается грубятиной. Взять, например, столб[1]. Очевидная грубятина. В той, прежней парикмахерской это была просто старая деревяшка, по которой змеилась цветная раскраска. А тут у них столб электрический и крутится не переставая. Это, подумал он, гораздо грубее. Потом, тут целый ящик журналов. Он был уверен, что некоторые из них грубые. Все может оказаться грубятиной, если ты захочешь; эту великую истину жизни он открыл совсем недавно. Не то чтобы он возражал, совсем нет. Грегори нравилась грубятина.

Не поворачивая головы, он смотрел в соседнее зеркало на пенсионера, который сидел через кресло от него. Он без умолку болтал громким, как у всех стариканов, голосом. Склоненный над ним парикмахер подстригал ему брови маленькими, закругленными с концов ножничками. От бровей перешел к ноздрям; от ноздрей к ушам. Обре́зал торчавшую из всех дыр могучую поросль. Гадко до невозможности. Под конец принялся пудрить сзади стариковскую шею. Это, интересно, еще зачем?

А его пыточных дел мастер тем временем взялся за машинку. Этого Грегори тоже не любил. Иногда они пользовались ручными машинками, похожими на открывалки для консервов: скрип-треск-скрип-треск в обход верхушки твоего черепа, пока не откроются мозги. Но у этого была машинка-жужжалка, что еще хуже, потому что тебя может от нее убить током. Такой исход представлялся ему сотни раз. Парикмахер жужжит себе бездумно, при этом ненавидит тебя за то, что ты мальчик, отхватывает кус от твоего уха, кровь заливает машинку, короткое замыкание — и ты убит на месте. Подобных случаев наверняка уже было множество. А парикмахеры всегда остаются живы, потому что носят ботинки на каучуковой подошве.

В школе они плавали голышом. Мистер Лофтхаус надевал плавки мешочком с завязочками, чтобы они не заглядывались на его болт. Раздевшись, мальчики шли под душ, который полагался им из-за вшей, фурункулов и всякого такого, а Вуду вдобавок из-за запаха; потом прыгали в бассейн. С бортика можно было взмыть высоко в воздух и шлепнуться в воду, ударившись о нее яйцами. Это была грубятина, поэтому лучше, чтобы учитель не видел. От воды яйца стягивались туже и пипка начинала торчать сильней, а потом они вытирались полотенцами и смотрели друг на друга, как он в парикмахерское зеркало, — искоса, словно бы не смотря. В классе все были одного возраста, но у некоторых там ничего еще не росло, никаких волос; у других, как у Грегори, поверху шла как бы волосяная гряда, но яйца были еще голые; а у двоих — у Хопкинсона и Шапиро — были уже настоящие мужские заросли и цвет более темный, коричневатый, как у отца, когда он тайком подглядел за ним в мужской уборной. У Грегори, по крайней мере, *были* волосы, в отличие от Бристоу, Холла и Вуда. Но как Хопкинсон и Шапиро ухитрились так быстро? У всех были еще пипки, а у Хопкинсона и Шапиро — уже болты.

Ему хотелось по-маленькому. Но нельзя было. И лучше было об этом не думать. Он вполне мог продержаться до прихода домой. Крестоносцы сражались с

---

[1] Столб со спиральной бело-красной окраской традиционно служит опознавательным знаком английских парикмахерских.

сарацинами и освободили Святую Землю от власти язычников. А крестоносцы, они что, были безъязыкие, сэр? Одна из фирменных шуточек Вуда. Поверх доспехов у них были накидки с крестами. Кольчуга в Израиле, должно быть, делается на солнце горяченная. Он должен перестать думать о том, что мог бы выиграть конкурс «кто выше намочит стенку».

— Здешний? — вдруг спросил парикмахер. Грегори в первый раз посмотрел на него в зеркало. Красное лицо, маленькие усики, очки, желтые волосы цвета ученической линейки. Quis custodiet ipsos custodes?[1] — зубрили они. А кто бреет бороды брадобреям? Этот, ясное дело, извращенец, не просто псих. Всем известно, что извращенцев тут видимо-невидимо. Их учитель плавания — явный извращенец. После урока, когда они стояли дрожа и кутаясь в полотенца, с туго стянувшимися яйцами, с торчащими пипками и двумя болтами, мистер Лофтхаус шествовал вдоль всего бассейна, поднимался на доску для прыжков, выдерживал паузу, чтобы сполна привлечь их внимание к его мышечной массе, к татуировке, к рукам, выставленным локтями в стороны, и к ядрам ягодиц под плавками с завязочками, потом делал глубокий вдох, размашисто нырял и скользил под водой до самого конца бассейна. Двадцать пять ярдов под водой. Коснувшись бортика, он всплывал, и они ему аплодировали — не сказать, чтобы от души, — но он не обращал на них внимания и принимался пробовать разные стили. Кто, как не извращенец. Большинство учителей, скорее всего, извращенцы. Есть один, который носит обручальное кольцо.

И этот носит. «Ты близко живешь?» — спросил парикмахер опять. Но Грегори был начеку. Сначала этот тип явится вербовать его в скауты или там в крестоносцы. Потом уговорит маму отпустить его с ним в лесной поход — палатка, естественно, одна на двоих, и он примется рассказывать Грегори истории про медведей, и, хотя они изучали географию и Грегори знает, что медведей в Британии нет со времен крестоносцев, он наполовину поверит извращенцу, когда тот скажет ему, что рядом ходит медведь.

— Мы скоро отсюда съедем, — сказал Грегори. Не слишком умный ответ. Они поселились здесь совсем недавно. Парикмахер будет донимать его шуточками, когда он будет приходить к нему раз за разом, год за годом. Грегори бросил быстрый взгляд в зеркало, но извращенец был непроницаем. Он в последний раз рассеянно щелкнул ножницами. Потом полез морковными пальцами ему за воротник и хорошенько потряс, чтобы как можно больше волос провалилось под рубашку.

— Все же подумай насчет крестоносцев, — сказал он, начав снимать простыню. — Тебе в самый раз будет.

Грегори видел себя возрождающимся из-под совлекаемого савана — никаких особых перемен, разве только уши заметней оттопыриваются. Он начал съезжать вперед с резиновой подушки. Расческа хлопнула его по голове, теперь больней, потому что волосы стали короче.

— Не спеши, молодой-золотой.

Парикмахер неторопливо прошел в конец узкого зала и вернулся с овальным зеркалом, похожим на поднос. Он приспустил его, чтобы показать Грегори его затылок. Грегори поглядел в зеркало, в зеркало в зеркале, и увидел там голову. Затылок был не его. Ничего похожего. Он почувствовал, что краснеет. Хотелось по-маленькому. Извращенец показывал ему чей-то чужой затылок. Черная магия. Грегори смотрел и смотрел, его лицо все сильней заливала краска, он пялился на чей-то чужой затылок, выбритый и скульптурный, и наконец понял, что его отпустят домой, только если он согласится сыграть по правилам извращенца, поэтому он бросил последний взгляд на незнакомый череп, отважно перевел глаза выше по зеркалу на безучастные очки парикмахера и тихо сказал: «Хорошо».

---

[1] Кто будет стеречь самих сторожей? *(лат.;* цитата из «Сатир» Ювенала*)*.

II

Мастер модельной стрижки бросил на шевелюру Грегори вежливо-презрительный взгляд сверху вниз и разведки ради погрузил в нее расческу, словно надеялся где-то в глубоком подлеске, как на тропу средневековых паломников, набрести на давно заглохший пробор. От обратного взмаха расчески волосяная масса повалилась вперед, на глаза и дальше, до самого подбородка. Чтоб тебя, подумал он за внезапно опустившимся занавесом. Он пришел только потому, что Элли стричь его перестала. На данный момент, по крайней мере. На него нахлынуло пылкое воспоминание: он сидит в ванне, она моет ему голову, потом стрижет его прямо там. Он вытаскивал затычку, и она поливала его душем, смывая состриженные волосы, играя с ним тугими струйками, а когда он вставал, она частенько брала в рот его член прямо в ванной, брала и ласкала, одновременно обирая оставшиеся на его теле кусочки волос. Вот оно как было.

— В каком... месте, сэр?

Давая понять, что отчаялся искать пробор.

— Просто назад зачесать, и все.

Грегори упрямо тряхнул головой, и волосы, перекатившись через макушку, снова легли назад, как им и следовало. Выпростав руку из-под фальшивой нейлоновой мантии, он поправил шевелюру ладонью и слегка взбил ее. Чтобы все стало, как было, когда он только сел.

— Какая... длина, сэр?

— Три дюйма ниже воротника. А с боков до косточки, вот досюда.

Средним пальцем Грегори обозначил линию. Вспомнилось несколько киногероев, кое-кто из них курил сигары, и все трахались как бешеные.

— Побриться заодно не желаете?

Жопа. Вот что теперь приходит на ум, когда видишь бритую физиономию. Теперь только адвокаты, инженеры и лесничие что ни утро лезут в свои туалетные пакетики и принимаются скоблить щетину, как кальвинисты. Грегори повернулся вполоборота к зеркалу и скосил глаза на самого себя.

— Так ей больше нравится, — сказал он небрежно.

— Вы, значит, человек семейный?

Ох, нарвешься, говнюк. Не лезь куда не надо. Не набивайся со своим сообщничеством ко мне. Хотя, может, конечно, ты просто педик.

— Или прикапливаете деньжат, чтобы эту лямку надеть?

Грегори не удостоил его ответом.

— А я вот двадцать семь лет уже, — сказал разговорчивый субчик, начав щелкать ножницами. — Как во всем, были свои взлеты, были падения.

Грегори издал гортанный звук неопределенного свойства, каким приходится отвечать зубному, когда сидишь у него в кресле с полным ртом всякого добра и мудак считает необходимым отпустить шуточку.

— Двое у меня. Один уже вырос, самостоятельный стал. А девчонка пока дома. Не успеем оглянуться, тоже вылетит из гнезда. Как их удержишь-то.

Грегори посмотрел в зеркало, но папаша взгляда его не искал — голова опущена, стрижет себе. Может, не стоит так плохо о нем думать. Зануда, конечно. И само собой, психологически безнадежно искалечен десятилетиями сообщничества в эксплуататорском симбиозе «хозяин — слуга».

— Но вы, наверно, не из тех, что женятся, сэр.

Ну-ну-ну. Кто из нас двоих педик, уж не ты ли? Всю жизнь ненавидел стригущую братию, и этот не исключение. Сраный провинциальный мистер Двое-детей-и-четыре-десятых. По закладной плати, машину мой, в гараж ее ставь. Симпатичный садик на арендованной земле у железнодорожных путей, жена с толстым приплюснутым носом развешивает белье на металлической штуке вроде карусели — знаем,

видели. Может быть, он еще судит по субботам футбол в какой-нибудь говенной лиге. Да нет, не судит даже, просто стоит с флажком на линии.

Грегори понял, что чувак перестал стричь — вроде как ждет ответа. Ждет ответа? По какому, собственно, праву? Ладно, сейчас мы его.

— Брак — единственное приключение, доступное трусу.

— Вы, я вижу, помозговитей меня будете, сэр, — отозвался парикмахер тоном не сказать чтобы явно угоднического. — Я-то университетов не кончал.

Грегори опять ограничился гортанным звуком.

— Мне, конечно, судить не с руки, но сдается мне, университеты мало чему учат, кроме как презирать все подряд, что надо и что не надо. А ведь они на наши общие деньги живут. Я вот лично доволен, что мой парень отучился в техколледже. Вреда от этого ему не было. Уже хорошую деньгу зашибает.

Ну да, как же, чтобы растить своих двоих и четыре десятых, иметь стиральную машину чуть помощней, а жену — чуть менее приплюснутую. Проклятущая Англия. Все это надо будет смести поганой метлой. И первым делом такие вот заведения типа «хозяин — слуга» — жуткая косность, плоские разговорчики, классовые предрассудки и чаевые. Грегори не признавал чаевых. Одинаково унизительные для дающего и получающего, они, считал он, служат одним из устоев угоднического общества. Разлагают социальные отношения. Помимо прочего, чаевые были ему не по карману. И, наконец, какого хрена он должен давать на чай стригачу, который, по сути, назвал его голубым?

Время этих мастодонтов, считай, ушло. В Лондоне теперь имеются заведения, спроектированные классными архитекторами, там по современным звуковым системам пускают последние хиты. Цены, конечно, соответствующие, но все равно лучше, чем *вот это.* Неудивительно, что тут никого нет. На высокой полке треснувший бакелитовый радиоприемник тянул старомодную танцевальную музычку. Им тут следовало бы торговать бандажами, лечебными корсетами и резиновыми чулками. Монополизировать рынок протезов. Деревянные ноги, стальные крючья для тех, кому оторвало кисть руки. Парики, конечно. Им сам бог велел торговать париками. Зубные врачи ведь продают искусственные зубы.

Сколько ему лет, этому типу? Грегори бросил на него взгляд: костлявый, глаза загнанные, волосы острижены до нелепости коротко, смазаны брилкремом и зализаны. Сто сорок? Грегори начал высчитывать. Женат двадцать семь лет. Значит, пятьдесят? Сорок пять, если он с ходу ее обрюхатил. Если набрался для этого отваги. Седина уже. Может, и там седина, на лобке. Там вообще седеют?

Мастер кончил подравнивать края, оскорбительным манером сунул ножницы в стакан с дезинфицирующей жидкостью и взял другие, покороче. Щелк, щелк. Волосы, кожа, мясо, кровь — все едино, все до охренения близко. В старину цирюльники не только стригли и брили, они были еще и лекарями — мясниками то бишь. Красная полоса, змеящаяся вдоль традиционного столба, символизировала тряпицу, которой тебе перетягивали руку, когда делали кровопускание. На вывеске изображалась чаша, куда стекала кровь. Но они давно уже бросили это дело, сократились, превратились из цирюльников в парикмахеров и мастеров модельной стрижки. В садоводов-арендаторов, терзающих землю, а не протянутую руку.

Он все никак не мог до конца взять в толк, почему Элли решила с ним порвать. Она сказала, что он ведет себя как собственник, вздохнуть ей не дает, что с ним это похоже на замужество. Смех, да и только, отозвался он; быть с ней значит быть в доле с полудюжиной таких же, как он. Вот-вот, оно самое, сказала она. Я люблю тебя, сказал он во внезапном приливе отчаяния. Он произнес эти слова в первый раз в жизни и сразу понял, что произнес их зря. Такое можно говорить, когда чувствуешь себя сильным. Если бы ты меня любил, ответила она, ты бы меня понял. Тогда вали отсюда, сказал он. Просто ссора, идиотская говенная ссора.

Которая ровно ничего не значила. Которая значила лишь то, что у них все кончено.

— Освежить чем-нибудь, сэр?

— Что?

— Освежить чем-нибудь?

— Нет. Не будем насиловать природу.

Мастер вздохнул с таким видом, словно последние двадцать минут он только и делал, что насиловал природу, но из-за упрямства Грегори это совершенно необходимое вмешательство все-таки окончилось поражением.

Впереди уик-энд. Стрижка, свежая рубашка. Две вечеринки. Сегодня — покупка в складчину жбана с пивом. Надраться вусмерть и посмотреть, что из этого выйдет; вот мой способ изнасиловать природу. Ох. Нет. Элли. Элли, Элли, Элли. Перетяни мне руку. Вот тебе они обе, Элли. Где хочешь. С целями совершенно не медицинскими, но давай, режь. Смелей, ну же. Пусти мне кровь.

— Как это вы про брак сейчас выразились?

— А? Про брак? Единственное приключение, доступное трусу.

— А вот у меня, сэр, если вам интересно знать, брачная жизнь вполне, как говорится, сложилась. Но вы, конечно, помозговитей меня будете. Я-то университетов не кончал.

— Это не мои слова[1], — сказал Грегори. — Но могу вас заверить, что человек, которому они принадлежат, был помозговитей нас обоих.

— Настолько мозговитый, что, наверно, и в Бога не верил?

Да, *настолько* мозговитый, хотел сказать Грегори, *как раз настолько.* Но что-то его удержало. Отрицать существование Бога ему хватало храбрости только в компании таких же, как он, скептиков.

— А можно поинтересоваться, сэр, из тех ли он был, что женятся?

Гм. Грегори на минутку задумался. Вроде никакая мадам там не отсвечивала. Только любовницы, конечно.

— Нет, вряд ли он был, по вашему выражению, из тех, что женятся.

— Тогда, может быть, сэр, он был не такой уж эксперт?

В старину, подумал Грегори, цирюльни пользовались дурной славой, там собирался праздный люд обменяться последними новостями, там играли на лютнях и виолах для услады посетителей. Может быть, все это теперь возвращается, по крайней мере в Лондоне. Места, где звучат сплетни и музыка, где работают стилисты, чьи фамилии можно видеть в газетах. Там девицы в черных свитерах сперва моют клиентам головы. Класс, правда? Не мыть дома голову, прежде чем идешь стричься. Просто войти небрежной походочкой, поздороваться жестом и плюхнуться в кресло с журналом.

Эксперт по браку принес зеркало и показал Грегори свою работу — вид спереди и рядом вид сзади. Довольно аккуратная работа, надо признать, — с боков коротко, сзади длинно. Не так, как у некоторых в колледже: волосы торчком во все стороны света, дикорастущие бороды, староанглийские бакенбарды, сальные водопады вдоль спины, что хочешь. Нет, мой девиз — не оставляй природу совсем уж неизнасилованной. Постоянный напряг между природой и цивилизацией — вот что держит нас в тонусе. Хотя, конечно, вопрос, как ты определяешь природу и как — цивилизацию. Это ведь не просто выбор между жизнью животного и жизнью обывателя. Тут речь идет... да о чем только она тут не идет. Он ощущал острую боль из-за Элли. Пусти мне кровь, потом перетяни мне руку. Если она вернется, он постарается быть не таким собственником. Хотя для него это означало просто близость, просто быть вместе. Поначалу ей нравилось.

Он понял, что парикмахер все еще держит зеркало.

---

[1] Это цитата из «Мыслей философа» Вольтера.

— Порядок, — сказал он небрежно.

Зеркало легло на столик лицом вниз, фальшивую нейлоновую мантию убрали. Вдоль воротника пошла елозить метелка, напомнившая ему бескостные запястья джазового барабанщика. Шшш, шшш. Разве не вся жизнь еще впереди?

Парикмахерская была пуста, радио по-прежнему липко подвывало, и все тот же человек у него за спиной спросил, наклонившись к нему и понизив голос:

— На уик-энд что-нибудь желаете, сэр?

Он хотел ответить: «Мне, пожалуйста, билет на поезд до Лондона, визит к Видалу Сассуну, пачку сосисок для барбекью, ящик эля, несколько травяных сигарет, музыку для притупления мыслей и женщину, которой я действительно дорог». Но вместо этого он сказал, тоже почему-то вполголоса:

— Пачку «фезерлайта»[1], пожалуйста.

Уступив-таки наконец парикмахеру, связав себя с ним узами сообщничества, он вышел на светлую улицу навстречу уик-энду.

III

Прежде чем отправляться, он зашел в ванную, ослабил крепление зеркальца на кронштейне, перевернул его с бритья на косметику и вынул из туалетного пакетика ножницы для ногтей. Первым делом укоротил несколько длинных жестких волосков, торчавших из бровей, потом чуть повернулся одной и другой стороной, высвечивая то, что росло у него в ушах, и раз-другой щелкнул. Слегка удрученный, задрал нос и осмотрел туннельные жерла. Ничего сверхдлинного не обнаружил; на данный момент порядок. Намочив уголок фланелевой тряпочки, проехал за ушами, как по бобслейным желобам из хряща, и напоследок потыкал в скользкие от серы гроты. Когда он взглянул на свое отражение, уши у него из-за этих процедур были ярко-розовые, как у испуганного мальчика или у студента, робеющего перед поцелуем.

Как следует называть остающуюся на влажной фланельке белесую субстанцию? Он называл — ушная перхоть. Может быть, у врачей есть какой-то точный термин. Кожное заболевание грибкового типа, ушной аналог микоза ступней? Не похоже — за ушами сухо. Так что сойдемся на ушной перхоти; может быть, у каждого есть для этой штуки свое личное наименование и общего термина даже не требуется.

Странно, что никто не подарил нового названия творцам наших зачесов, укладок и завивок. Были цирюльники, потом парикмахеры, потом мастера модельной стрижки. А теперь? «Стилисты»? Фальшивый шик. «Скальпторы»? Хохмачество. Как и фраза, которую он теперь иногда произносил, обращаясь к Элли. «Пошел шевелюриться у Барнета», — объявлял он. «Шевелюры Барнета». Так назывался салон, где он стригся.

— Э... я записан на три, мой мастер — Келли.

Ноготь цвета индиго рывками двинулся вниз вдоль колонки рукописных заглавных.

— Да. Грегори?

Он кивнул. В первый раз, когда он записывался по телефону, его попросили назвать себя, и он сказал: «Картрайт». После паузы он поправился: «Мистер Картрайт», и только тогда до него дошло, почему возникла заминка. Теперь он видел себя в перевернутом виде в графе журнала: «Грегори».

— Келли сейчас освободится. А пока мы вас помоем.

Он все еще, несмотря на годы практики, не научился легко съезжать в нужную позу. Может, позвоночник теряет гибкость. Глаза полузакрыты, затылок осторож-

---

[1] «Фезерлайт» — сорт сигарет.

но опускается на край умывальника. Как будто плывешь на спине и не знаешь, когда вдруг надвинется стенка бассейна. Потом лежишь, выставив вверх кадык и ощущая шеей холод фарфора. Голова запрокинута, как перед гильотинированием.

Рыхлая девушка с безразличными руками повела с ним обычный разговор: «Горячо?.. А я только из отпуска... Вам смягчить кондиционером?» — а сама тем временем, сложив ладонь чашечкой, вяло пыталась помешать воде затечь ему в уши. Вдруг без предупреждения она принялась массировать кожу его головы. Они делали это иногда, предоставляя ему догадываться зачем. Чтобы волосы меньше выпадали или с какой-то иной целью? Он не спрашивал. За годы посещений салона Барнета он выработал в себе некую полузаинтересованную пассивность. Когда практикантка с распаренным лицом в первый раз спросила его: «Смягчить кондиционером?», он отозвался: «А вы как считаете?», решив, что ее профессиональный взгляд на его волосы делает ее более компетентным судьей в этом вопросе. По логике вещей жидкость, называемая «кондиционер», может только улучшить кондицию твоих волос; но, с другой стороны, зачем было бы спрашивать, если бы ответ был предопределен? Обращение за советом вызвало у нее только замешательство, выразившееся в осторожной фразе: «На ваше усмотрение». Впоследствии он пришел к тому, чтобы говорить либо «Да», либо «Сегодня обойдемся, спасибо» — в зависимости от прихоти. И еще в зависимости от того, насколько добросовестно девушка защищает его уши от норовящей затечь в них воды.

Она заботливо отвела его в кресло, как будто человек, с которого капает, из-за этого уже чуть ли не слепой.

— Чаю, кофе?

— Нет, спасибо.

Не сказать, чтобы здесь играли на лютнях и виолах, чтобы праздный люд обменивался здесь последними новостями. Что здесь было — это убойно громкая музыка, широкий спектр напитков и приличный выбор журналов. Обычно он принимался листать что-нибудь вроде «Мари-Клэр», женского журнала из тех, какие мужчинам не зазорно читать на людях.

— Привет, Грегори, как жизнь?

— Помаленьку. А у вас?

— Не жалуюсь.

— Поздравляю с новой стрижкой, Келли.

— А-а. Захотелось, знаете, новенького.

— Мне нравится. Фактура, линия. А вам?

— Не уверена.

— Что вы, бьет наповал.

Она улыбнулась. Он освоил этот искренне-неискренний род разговора. Всего-то двадцать пять лет понадобилось, чтобы выработать нужный тон.

— Ну и что мы сегодня делаем?

Он посмотрел на нее в зеркало — высокая девушка с модной короткой стрижкой, которая, если честно, не очень ее красила; ее лицо теперь показалось ему несколько угловатым. Но какая ему, в сущности, разница? Он был безразличен к своей собственной стрижке и записывался к Келли не ради ее каких-либо особых умений, а ради ее успокаивающего присутствия.

Не получив от него немедленного ответа, она предложила:

— Может, была не была, сегодня как в прошлый раз?

— Отличная мысль. — Он улыбнулся. Сегодня как в прошлый раз, и в следующий раз, и в следующий.

Он не был уверен, что ему действительно тут хорошо. В салоне царила оживленная разношерстность амбулаторного отделения больницы, где ни у кого нет ничего серьезного. Сносно тем не менее; социальные страхи у него давно прошли.

Маленькие триумфы зрелого возраста. (Не могли бы вы, Грегори Картрайт, кратко суммировать вашу жизнь до настоящего момента? Пожалуйста: я изжил страх перед религией и парикмахерами.) Он так и не вступил в крестоносцы, кем бы они там ни были; он не угодил в лапы проповедников с горящими глазами, пока учился в школе и университете; теперь он знал, как вести себя, когда воскресным утром раздавался звонок в дверь.

— Это насчет Бога, — говорил он Элли. — Я с ними разберусь.

На крыльце обычно оказывалась принаряженная, вежливая парочка, зачастую один из двоих чернокожий, порой вдобавок с благонравным ребенком на буксире; к нему обращались с универсальным зачином, например: «Мы просто ходим от дома к дому и спрашиваем у людей, тревожит ли их состояние человечества». Фокус состоял в том, чтобы, отвечая, избежать как правдивого «да», так и высокомерного «нет», поскольку любой из этих ответов давал им плацдарм для наступления. Поэтому он улыбался им хозяйской улыбкой и переходил в атаку: «Религия?» И пока они, в свою очередь, решали, «да» или «нет» будет правильным ответом на этот интуитивно-бесцеремонный вопрос, он оканчивал разговор энергичным: «Обратитесь лучше к соседям».

Мытье головы ему в общем нравилось — в большинстве случаев. Но дальнейшее было процедурой, и только. Он испытывал лишь умеренное удовольствие от телесного контакта, который примешивался теперь ко всему на свете. Келли бессознательно то прижимала к его руке бедро, то задевала его другой какой-нибудь частью тела; а лишней одеждой она никогда себя не обременяла. В молодости он бы решил, что это она неспроста, и порадовался бы тому, что его возбуждение прикрыто простыней. Ныне ее прикосновения не отвлекали его от «Мари-Клэр».

Келли тем временем рассказывала ему, что хочет поехать работать в Майами. Обслуживать пассажиров в морских круизах. Пять дней, неделю, десять дней ты в море, а потом отдыхаешь на берегу, спускаешь что заработала. Подруга уже туда устроилась, зовет. Выглядит завлекательно.

— Здорово, — сказал он. — И когда же вы отправляетесь?

Майами, кажется, жестокий город, подумал он. Перестрелки. Кубинцы. Отдел нравов[1]. Ли Харви Освальд. Будет ли она в безопасности? И как там на этих теплоходах по части сексуальных домогательств? Она милая девочка. Прошу прощения, «Мари-Клэр», я хотел сказать — женщина. Но в каком-то смысле все же девочка, потому что пробуждает вот эти вот полуотцовские мыслишки в таком человеке, как он, — живущем дома, ходящем на службу, стригущемся в салоне. Его жизнь, надо признать, стала одним длинным трусливым приключением.

— Сколько вам лет?

— Двадцать семь, — ответила Келли таким тоном, словно этот возраст — самый наипоследний рубеж молодости. Если не принять немедленных мер, на ее жизни можно будет ставить крест; еще несколько месяцев — и она превратится вон в ту старую курицу в бигуди, что сидит в другом конце зала.

— Моей старшей почти столько же. Двадцать пять. У нас еще одна дочь есть. Всего двое. — Ему вдруг показалось, что он взял не ту ноту.

— Сколько же вы тогда женаты? — спросила Келли с квазиматематическим изумлением. Грегори поднял глаза на ее лицо в зеркале.

— Двадцать восемь лет.

Она лучезарно улыбнулась при мысли о том, что чей-то брак мог длиться всю ту бездну времени, какую она существует на свете.

— Старшая, конечно, уже с нами не живет, — сказал он. — Но Дженни пока держится.

---

[1] «Полиция Майами, отдел нравов» — название американского телесериала.

— Очень хорошо, — отозвалась Келли, но он видел, что разговор ей наскучил. Наскучил, если точнее, он сам. Очередной немолодой субъект с редеющими волосами, которому скоро надо будет причесываться аккуратнее. Подайте мне Майами, и немедленно!

Его страшила половая близость. Вот как обстояло дело. Он перестал понимать, для чего она нужна. Да, он испытывал удовольствие, когда она у него случалась. Он знал, что в предстоящие годы ее будет у него все меньше и что наконец она прекратится совсем. Не это его страшило. И страх этот не имел никакого отношения к тоскливой обстоятельности, с какой писали о сексе журналы. В дни его молодости тоскливой обстоятельности там тоже хватало. Но ее перекрывала ясность и отвага, когда он вставал у себя в ванне и Элли брала в рот его член. Это было и самоочевидно, и повелительно в своей правоте. Теперь он задавался вопросом, не было ли тут изначально какой-то ошибки. Он не понимал, для чего она нужна, половая близость. Он подозревал, что и никто не понимает, но от этого было не легче. Ему хотелось завыть. Хотелось завыть прямо в зеркало и смотреть на свое воющее отражение.

Келли прильнула бедром к его бицепсу не боковой косточкой, а внутренней складкой бедра. На один, по крайней мере, из вопросов своей юности он теперь знал ответ: да, волосы на лобке седеют.

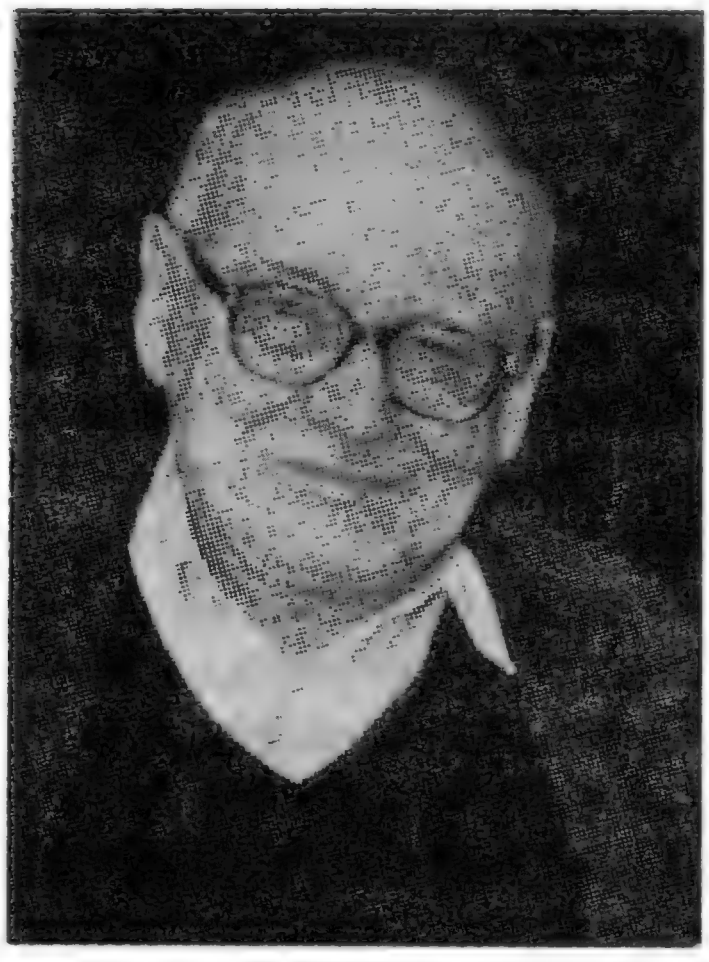
Чаевые его не беспокоили. У него было с собой двадцать фунтов одной бумажкой. Семнадцать за стрижку, фунт для девушки, которая мыла ему голову, и два для Келли. На случай повышения тарифа он всегда прихватывал еще фунт про запас. Это, подумал он, может служить его характеристикой: человек с запасной фунтовой монетой в кармане.

Келли кончила стрижку и теперь стояла точно позади него. Ее груди виднелись в зеркале по обе стороны его головы. Она ухватила каждую из его коротких бакенбард большим и указательным пальцами, потянула вбок и отвернулась. Это был ее фирменный прием. Всякое лицо хоть немного да кривое, объяснила она ему в первый раз, поэтому, если судить на глазок, можно ошибиться. Больше доверяя осязанию, она теперь смотрела в сторону кассы и улицы. В сторону Майами.

Удовлетворенная, она взяла фен и включила ощущение суфле, которое останется до вечера. Она уже перешла на автоматический режим и, возможно, думала о том, удастся ли выскочить покурить перед очередной мокрой головой. Поэтому она, как всегда, забудет, что не надо приносить зеркало.

Несколько лет назад это с его стороны был в своем роде поступок. Мятеж против тирании проклятущего зеркала. Вид спереди, вид сзади. Все сорок с лишним лет визитов сперва к парикмахерам, потом к мастерам модельной стрижки, наконец, в салон Барнета он выражал кроткое одобрение независимо от того, узнавал он свой затылок или нет. Он улыбался, кивал и, видя свой кивок в наклоненном стекле, подкреплял его словами: «Очень хорошо», или «Отлично смотрится», или «То, что надо», или «Спасибо большое». Если бы ему выстригли там свастику, он бы все равно, наверно, изобразил одобрение. Но в один прекрасный день он подумал: нет, баста, не желаю видеть затылок. Раз спереди все нормально, значит, сзади тоже. И это не выглядит никаким капризом, правда ведь? Это всего лишь логично. Он был горд своей инициативой. Келли, конечно, всегда забывала, но это не имело значения. В каком-то смысле это было даже лучше, потому что позволяло каждый раз заново переживать деликатную свою победу. И теперь, когда она, думая о Майами, двинется к нему с болтающимся в руке зеркалом, он может выставить ей навстречу ладонь и с такой же, как два месяца назад, снисходительной улыбкой сказать: «Не надо».

■



ЭРНСТ ЯНДЛЬ

Стихи

Перевод с немецкого и вступление В. КУПРИЯНОВА

Эрнст Яндль не только в родной Австрии, где он долгое время служил учителем языка и литературы в гимназии, но и в других странах немецкого языка до сих пор является самым «массовым» автором. Я бы сравнил его по популярности с нашими эстрадными поэтами, но последние уже не собирают нынче огромную аудиторию, а слава Яндля так и не подверглась какому бы то ни было пересмотру.

Конечно, Яндля надо слушать, это человек-оркестр, он часто выступает и с известным джазовым трио, где его голос — четвертый инструмент. Некоторые его тексты можно рассматривать как партитуры для авторского голоса, а лучше самого Яндля пока никто не озвучивал его стихи. Кажется, чего проще: написано — Рильке, надо читать, как это делает Яндль на сцене, — ррррррильке, а затем — ггурррке (по-русски — огурец, я перевел словом «порка», хотя можно было бы употребить слово «горько»). Да и сам вид Яндля, добродушного толстяка с выразительным круглым лицом, работает на звучащее слово.

Я часто слышал: как, вы переводили Яндля, это же невозможно! Это же конкретизм, поэзия, живущая только в родном языке. Это так, но возможны исключения. Ведь, например, если в русских словах «лево» и «право» присутствуют соответственно фонемы «л» и «р», как и в подобных немецких, то вот и перевод:

рево и плаво
нерьзя пелепутать
ледкое
забруждение!

Почти невозможно перевести тексты с использованием диалекта, игру слов и смыслов иногда надо основательно перерабатывать, некоторые стихи непереводимы, но можно придумать что-то похожее в том же ключе:

уй
уй
уй
страх
вой
вой
вой
с
реп
реп
реп
че

© by hermann luchterhand verlag gmbh, 1981
© В. Куприянов. Перевод, 1999

«Страхуй свой череп», такого рода загадки заинтриговывают детей или взрослых, не утративших детского любопытства к фактуре языка. В русской традиции Яндлю могут быть близки обэриуты, прежде всего Хармс. «Рильке» Яндля — это что-то похожее на «Пушкина» у Хармса, своеобразная пародийная реакция на школьного Пушкина.

В сегодняшней поэзии у нас нечто подобное пишет Всеволод Некрасов и поэты его круга, нарочито «безграмотные» тексты сочинял Евгений Харитонов (1941—1981). В немецком языке соратники Яндля — Хельмут Хайсенбюттель, Франц Мон, Ойген Гомрингер[1], в какой-то мере еще менее переводимый Оскар Пастиор; как драматург Яндль долгое время сотрудничал с поэтессой Фридерике Майрёкер.

С Эрнстом Яндлем я познакомился в 1985 году в Вене, встречался с ним и позже в Австрии и в Германии. И на его чтениях-концертах неоднократно бывал. Существует одна проблема — восприятие юмора на разных языках. В принципе мы смеемся над разными вещами. В благополучных цивилизованных странах для взрыва смеха необходим весьма небольшой запал. Эстетический нюанс формы воспринимается здесь острее, чем нюанс содержания. У нас еще в недавнее время в моде была «фига в кармане», надо было обмануть цензуру и потешить обывателя. Западный обыватель напрямую оценивает «странность» сочинителя, не выискивая никаких иных «мировоззренческих» намеков. Однако я придерживаюсь мнения, что Яндль является типичным антиобывательским сочинителем.

СОНЕТ

а нет
б нет
в нет
г нет

д нет
е нет
ж нет
з нет

и нет
к нет
л нет

м нет
н нет
о, нет!

КИНО

КИНО
КИНО
КИНО
КИНО
КИ О
К НО
КИ О
К НО
К О

[1] См. «ИЛ», 1993, № 4.

КНИО
КИНО
КИНО
КНИО
К НО
КИ О
К О
К НО
КИ О
К О
К НО
КИ О
К О
ОКНО
К О
КН О
КН О
К НО
К НО
К НО
КИНО
КИНО
КОНЕ

ИЗ ИСТОРИИ СТАРОГО ОКНА

зазазазазазазазазанавес
зазазазазазазазанавес
зазазазазазазанавес
зазазазазазанавес
зазазазазанавес
зазазазанавес
зазазанавес
зазанавес
занавес

ВЕЧЕР В ОКТЯБРЕ

кресло, доставь мне гостя.
стол, накрой мне веселый ужин.
поверни ко мне, лампа, дружеский лик.
зеркало, отвернись, это не я отражен.

кресло, доставь мне гостя.
стол, накрой мне веселый ужин.
окно, распахнись в теплый край.
чемодан, возьми меня за ручку, увези в Египет.

кресло, доставь мне гостя.
стол, накрой мне веселый ужин.
соловей телефона, спой мне песню.
уложи меня в зимнюю спячку, кровать.

ВОТ ТАК УТЕШЕНИЕ

кто это больше уже так хорошо не может
кто это больше уже так не может
кто это больше уже хорошо не может
кто это больше уже не так хорошо может
кто это больше уже не может
кто это больше не может

за того делают это другие
да за того делают это другие
за того делают же это другие
за того делают это другие же
за того же другие делают это же
да за того делают это же другие же

многократно
стократно
тысячекратно
миллионократно
да
миллионократно

вот так утешение

Из книги «ОБЫКНОВЕННЫЙ РИЛЬКЕ»

РАССТАВАНИЕ РИЛЬКЕ

необыкновенный рильке
и обыкновенный рильке
скрываются в одном

необыкновенный рильке
и обыкновенный рильке
могли бы не расставаться

необыкновенный рильке
и обыкновенный рильке
вынуждены расстаться

необыкновенный рильке
и обыкновенный рильке
оба знали об этом

ДЫХАНИЕ РИЛЬКЕ

1

рильке
дышал
воздухом

хорошим воздухом

2

рильке
дышал
без пауз

ИМЯ РИЛЬКЕ

рильке
он говорил
когда его спрашивали об имени

рильке
говорили
спрошенные о его имени
или
а я не знаю

РИЛЬКЕ БЕЗ РИФМЫ

рильке
он говорил
потом он говорил
порка

и потом тихо
волки

ЯЩИК РИЛЬКЕ

1

он выдвигал
ящик

что-то туда
складывал

что-то
там уже было

он задвигал
ящик

2

он выдвигал
ящик

что-то
там уже было

он вынимал
что-то

он задвигал
ящик

3

он выдвигал
ящик

там
ничего не было

ничего
он туда не сложил

он оставил
пустой ящик

ЖАЛОВАНЬЕ РИЛЬКЕ

это вот
как бы жалованье рильке

никто не знал точно
что он при этом имел в виду

рильке
плакал

ВЕС РИЛЬКЕ

рильке становится легче
на свой собственный вес

так сурово земля
воспитывает своего сына

БАШМАК РИЛЬКЕ

башмак рильке
какой-то один
из двух

каждый башмак рильке
какой-то один
из двух

рильке всегда
носил два
башмака

пятка за пяткой
вылезал рильке
из своих башмаков

СЛАДКИЕ ЧАСЫ

когда утром проснуться
я не говорить
добрый утро

когда вечером укрыться
я не говорить
добрый ночь

когда вечером укрыться
часами я думать
как заснуть

БЕЗ РТА

я же во мне язык иметь
он же ворочается туда и сюда
но большее время я все же нем
ведь если где уши нет
там же вовсе можно без рта
кроме как для кушать пить и курить

ОДИН

ты один
да
я один
да да
совсем один

и ты один
да
и я один
совсем один
да да

но больше один не хочу оставаться
слишком долго один оставался

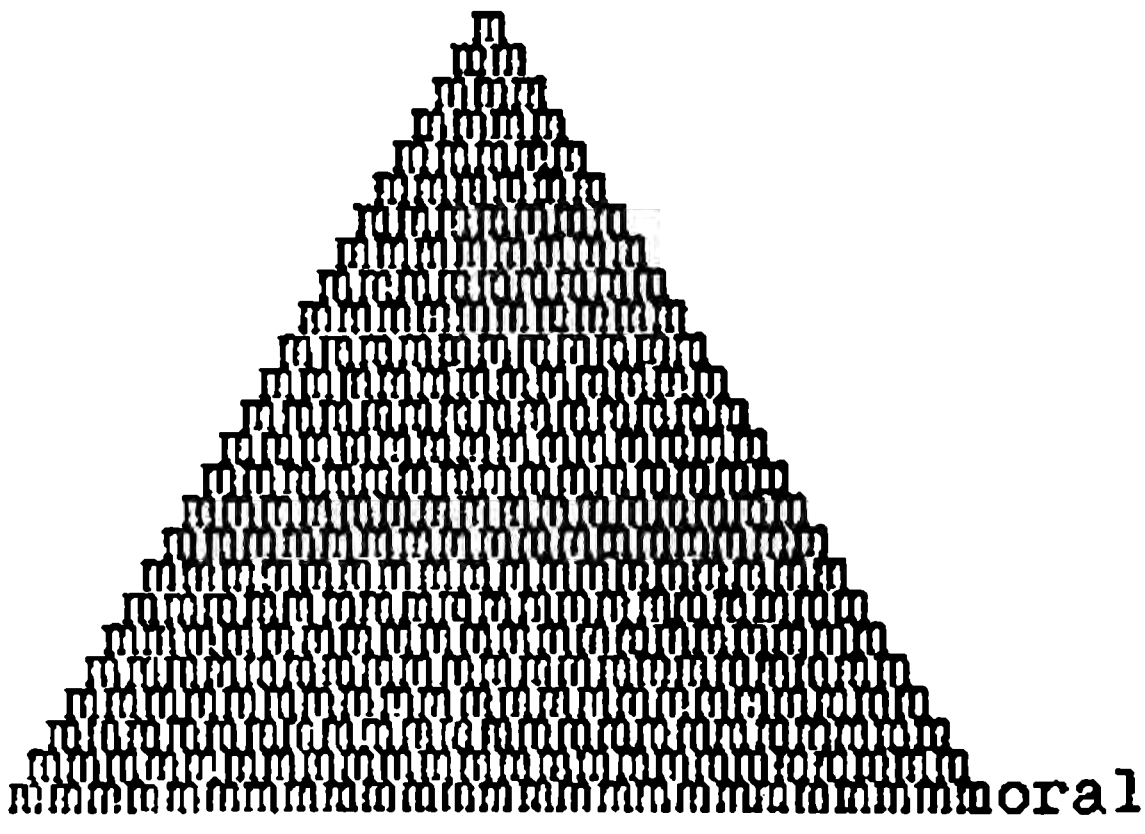
и я больше один не хочу оставаться
и я слишком долго один оставался

да
с тобой
и я с тобой
я больше не один да
я тоже больше не один
да да
да да я тоже

но если кто остался один
так уж навсегда один останется

да

да да



АЛЬБЕРТО САВИНИО

Мопассан и «Другой»

ЭССЕ

Перевод с итальянского и вступление
ГЕННАДИЯ КИСЕЛЕВА

Два Мопассана: жизнь после «Жизни»

Один артист не постеснялся
свой роман так и назвать:
«Жизнь».

А.Терц. Прогулки с Пушкиным

Ги де Мопассан умер 6 июля 1893 года. А родился 5 августа 1850-го. Согласно метрикам. Метрики, конечно, вещь упрямая, зато не всегда бесспорная. Взять, скажем, «официальное» место рождения Мопассана — величественный замок XVII века де Миромесниль, с башнями, мансардой и парком в итальянском стиле, который на поверку оказывается мещанским углом над старой коптильней в «квартале торгашей и солильщиков» приморского Фекана. Или дату смерти автора «Жизни». Находятся веские основания полагать, утверждает Альберто Савинио, что «истинная» смерть писателя произошла двумя годами раньше — в феврале 1891-го. В тот самый момент, когда Ги де Мопассан «перестал быть собой» и целиком отдался на произвол безумия.

Раздвоенность фактов и дат понадобилась А. Савинио для того, чтобы резче сфокусировать расплывчатую иначе фигуру Мопассана. Прилежный питомец Флобера, великого «провинциального фотографа» минувшего века, Мопассан выходит из студии своего литературного наставника, где правит «оголтелая описательность девятнадцатого столетия, эта смертная жажда заприходовать каждую пядь ускользающего бытия в нетях типографского знака» (Андрей Синявский о способах изображения действительности в «подлой прозе»). Но выходит не один, а в компании собственного черного человека, второго «я», вдохновенного и зловещего соавтора поздних вещей Мопассана — предтечи сюрреальных прозрений и двоящегося сознания XX века. Именно он, попутчик, «Другой», возвысит «низкий гений» Мопассана, писателя «скорее широкого, чем высокого», до головокружительных высот «Кто знает?» и «Орля», а уж затем и препоручит его недостижимой высоте сумасшествия.

Вслед за савиниевским восприятием объекта исследования раздвоен и сам метакритический текст его эссе/памфлета, впервые напечатанного в качестве предисловия (!) к сборнику из 20 рассказов Ги де Мопассана (1944). Читатель Савинио (обычно это профессионал чтения), без труда переключаясь с основной темы на авторские примечания, спустя время, к немалому своему удивлению, обнаружит, что все еще имеет дело с небывалой повестью о Мопассане. Пожалуй, главнейший ее итог — беспримерный взгляд на «тривиального» классика, позволяющий в известной степени говорить о возвращении его к новой «жизни».

Хотя, к чему лукавить, самый приятный сюрприз всей этой затеи Альберто Савинио — само сочинение Альберто Савинио, ведущего специалиста по спецэффектам в современной итальянской литературе. До недавнего времени призрачная, фигура Савинио становится неизбежным открытием ахнувшей по такому случаю «литературной общественности» Италии. Однако мера новизны усугубляется достоинством приоткрываемого художника. Ведь

© Г. Киселев. Перевод, вступление, 1999

речь идет ни много ни мало о «крупнейшем итальянском писателе XX века после Пиранделло» (Л. Шаша). На ум сразу приходят два-три имени, что у всех на слуху: А. Моравиа, У. Эко... Не стоит гадать: покойный маэстро подразумевал не уровень известности или признания, а непреходящую значимость в Литературе.

Припозднившаяся литературная канонизация по праву воздается этому несвоевременному художнику спустя четверть века после его кончины (1952). Только в 70-е годы начинается последовательное переиздание прозы Савинио. Одна за другой выходят монографии и статьи о нем именитых критиков. Савинио активно переводят на европейские языки. С завидной регулярностью в культурных центрах Европы и Америки устраиваются выставки его живописи.

Альберто Савинио — псевдоним художника. Его настоящее имя — Андреа Де Кирико (род. в Афинах в 1891г.). За неполные сорок лет многогранного творчества младший брат виднейшего итальянского художника Джорджо Де Кирико утверждается как незаурядный музыкант и композитор, писатель и художник, журналист и литературовед. Его перу принадлежат несколько романов и сборников рассказов, эссе и мемуаров; его живописные работы хранятся в крупнейших музеях и частных коллекциях. Художественный диапазон А. Савинио уникально широк. Но в нашей табели о рангах он числится прежде всего как писатель и художник. И в свое время получает признание у Андре Бретона: «Вся современная мифология, пока еще только создающаяся, берет начало в творчестве двух художников, нерасторжимых по духу, — Альберто Савинио и Джорджо Де Кирико». Под «современной мифологией» теоретик сюрреализма подразумевает прежде всего собственное детище.

«Мой сюрреализм, — поясняет Савинио, — не ограничивается представлением бесформенного и выражением бессознательного, но стремится придать форму бесформенному и сознание бессознательному». Подлинную свободу писатель видит в непрерывной и легкой игре ума: только игра и дилетантизм позволят человеку пристать к берегу высшего разума, достичь пределов чистого духа, восстановить равновесие между реальностью и воображением.

Чем объяснить столь убедительное возвращение Альберто Савинио на литературный небосклон Европы? Одна из основных причин, очевидно, в том, что и литература и читатели устали соотноситься с «простейшей» действительностью и ее монополией на жизненный объем человека. Савинио — один из немногих итальянских писателей, который, «стыдясь козырять реализмом» по примеру раннего Мопассана, расширяет человеческое миропространство до такой бесконечности, где, по словам А. Савинио, «назидания моралистов, доктрины философов, деяния отцов общества — все, что ни есть на этом свете важного, серьезного, почитаемого и необходимого, будет восприниматься как музейная редкость, как документ эпохи варварства и рабства».

Г. КИСЕЛЕВ

Мопассан — истинный латинянин.

Фридрих Ницше. Ecce Homo

Эпиграфы предваряют сочинения, чтобы вкратце пояснять их содержание. Этот эпиграф из Ницше удачнее всего раскрывает фигуру Мопассана, поскольку можно только гадать, что же он вообще означает [I].

Впервые Нивазио Дольчемаре приехал в Париж вечером 25 февраля 1910 года. Когда он вышел из немецкого вагона третьего класса, примчавшегося в *Ville Lumière** из столицы Баварии Мюнхена, и ступил толстыми мокасинами на скользкий лощеный перрон Восточного вокзала, ему исполнилось ровно восемнадцать с половиной лет, ибо

* Город-светоч *(франц.). (Здесь и далее постраничные сноски, помеченные звездочками, принадлежат переводчику.)*

Цифровые пометки относятся к примечаниям, составляющим вторую половину текста А. Савинио.

родился он в Афинах, под сенью олив и всевидящим взором совоокой Паллады, 25 августа 1891 года. Что за дело, если в принятом жизнеисчислении восемнадцать лет считаются порогом юности? Перевалив за полувековой рубеж, жизнь Нивазио Дольчемаре более чем когда-либо устремлена *в сторону юности*, а зрелого возраста этот человек без возраста достигнет разве что после смерти — поры спелых плодов, дивных песен и бессмертной памяти.

Мы намеренно начали с хронологического уточнения. Вскоре вы поймете почему. Заметим вскользь, что число двадцать пять, упомянутое нами дважды, дает в сумме 7; и добавим, что ратный полк, в котором Нивазио Дольчемаре сражался на Великой Войне, ставшей, как бы о ней ни злословили в Италии, освободительной и воскресительной войной, был 27-м пехотным полком, что, в свою очередь, дает фатальную цифру 9. С неукоснительной строгостью продолжаем мы соблюдать метафизический кодекс жизни, поскольку считаем, что упадок и оскудение культуры главным образом следует приписать истощению религиозного чувства жизни; однако подпитывание религиозного чувства жизни, при том что истоки религиозности без остатка иссякли, стоит нам, метафизикам, «призрачного героизма», тяжесть которого никто, кроме нас, не сумел бы выдержать.

Личность во всех отношениях новая и, что общеизвестно, утонченно самобытная, Нивазио Дольчемаре являет собой неизъяснимое продолжение некоторых личностей, предварявших его во времени. Не мешкая, добавим, что *предшественники* эти суть не только (не столько) кровные предки, сиречь отцы и деды, прадеды и пращуры, но те из высоких умов, кто жил в минувшие времена и родним тонкими поэтическими связями. Коль скоро нам не представляется возможным привести в этих строках их полный перечень, поименуем лишь наиглавнейших: Гераклит из Эфеса, Платон, Лукиан из Самосаты, Вольтер, Стендаль, Ахим фон Арним, Фридрих Ницше.

Предков называют еще *старшие наши*. В случае с Нивазио Дольчемаре это выражение полностью оправдывает свой возвышенный смысл. Излишне далее распространяться по этому поводу, чтобы показать, почему чувство семейственности гораздо шире и выше в Нивазио Дольчемаре, чем в других людях, и почему этого человека отличает такое чувство бессмертия, которое мы не колеблясь можем назвать «врожденным».

Обостренное чувство сопричастности упомянутым лицам и преемственности по отношению к ним ни на миг не покидает Нивазио Дольчемаре, хотя оно столь неуловимо, что его не выразить ни сейчас, ни когда-либо на языке физиологии и психики. Мы сказали «преемственности», но надо бы еще сказать и «развития». Помянутые личности вновь обретают себя и продолжаются в Нивазио Дольчемаре, только преображенные и усовершенствованные. Гераклит уже не страдает лирическим малокровием, заставлявшим его изгонять хлыстом Архилоха с поэтических ристалищ [2]. Платон избавился от кастовых предрассудков, побудивших его придать своему «Государству» расистский оттенок. Лукиан больше не грешит чрезмерной фривольностью. Вольтер истинней и глубже познал поэзию. Стендаль не останавливается в своих неприкаянных странствиях на границе философской территории, но привносит стендализм в самое сердце мысли. Ахим фон Арним наконец понял, что сюрреальным является не только то, что выглядит и слывет сюрреальным. Фридрих Ницше отказался [3] от щегольского воспевания насилия, которым он увлекался по тем же причинам, по каким юнец отпускает длинные, словно противооплеушники, бакенбарды; и, осознав всю фальшь, безнравственность, а главное — глупость, «слишком глупую глупость» воли к власти и «философии молотка», смог должным образом проявить лирическую нежность и душевную чуткость, свойственные предвестнику гермафродита.

Кое-кто, верно, заметит, что среди majores sui*, продолжением которых считает себя Нивазио Дольчемаре, недостает таких славных имен, как Гомер, Данте, Шекспир. И это вполне понятно. Гомер, Данте, Шекспир — имена сами по себе прекрасные, но они вне

---

* Предков (*лат.*).

времени, более того — вне жизни. Это люди-оазисы, люди-острова, оторванные от цепочек, точнее даже, от tapis-roulant* мыслей — единственного, что важно в жизни и для жизни. Когда бы их творения и всякое напоминание о них вдруг исчезли с лица земли, мир лишился бы какой-то своей части, но судьбы мира от этого не изменились бы и не понесли бы иной потери, которая была бы неизбежна, недосчитайся мы одного из тех людей, что составляют звенья в цепочке идей и чье исчезновение разверзло бы невосполнимую бездну в дороге Жизни.

Тем самым мы вовсе не утверждаем, что такие люди, как Гомер, как Данте, как Шекспир, ничего не стоят. Напротив. Ценность этих людей огромна, но в каком-то смысле бесполезна; и поскольку ценность сих высочайших поэтов неповторима, обособленна, совершенна и неподвластна поправкам и развитию, то непонятно, почему Гомер, Данте, Шекспир и иже с ними должны продолжаться в жизни других людей, и уж тем паче в жизни Нивазио Дольчемаре.

Из сказанного явствует, что Нивазио Дольчемаре занимали не только умственные способности его метафизических гостей, но и точное время их перехода в мир иной, ибо он стремился избежать совпадений между датами их смерти и датой своего рождения. Гераклит, Платон и прочие вышеперечисленные, вплоть до Ахима фон Арнима, не особо его беспокоили. Тот же фон Арним, к примеру, умер в 1831 году, то есть за шестьдесят лет до вступления в жизнь Нивазио Дольчемаре, что позволило метафизической сущности мужа Беттины странствовать целых шесть десятков лет, прежде чем водвориться в нусе Нивазио Дольчемаре для необходимого и долгожданного совершенствования. Некоторое беспокойство доставил Нивазио Дольчемаре Фридрих Ницше. Уйдя из жизни в 1900 году, он мог возродиться в Нивазио Дольчемаре, лишь перенеся собственную кончину на девять лет назад. И все же Нивазио Дольчемаре не сомневался, что среди персонажей, которых он гостеприимно приютил в самом себе, находится и автор «Странника и его Тени». Оставалось предположить, что дух покойного может вселиться в тело, прожившее уже несколько лет, все равно как пассажир может вскочить в тронувшийся поезд. Но по разным причинам, приводить которые здесь не след, это допущение вызывало у Нивазио Дольчемаре брезгливые чувства. Как быть? Долго ломал голову Нивазио Дольчемаре и вдруг сообразил, что умер-то Ницше в 1900 г., но душа его, вкупе с рассудком, покинула философа за двенадцать лет до того — в 1888-м. Данное обстоятельство позволило непоседливой душе Ницше проскитаться ровно три года, прежде чем найти уютное пристанище в теле Нивазио Дольчемаре. Что же до его бренной оболочки — глубоко посаженных, будто вулканические озера, глаз; лба, нависшего над лицом, точно утес над морем, и монголоидно-моржовых усов, — то еще добрую дюжину лет продолжала она влачить жалкое существование, а главное, страдать, неимоверно страдать; лишь во время редких передышек от страданий озарялась она далеким светом воспоминаний, как в тот день, когда полуживой Фридрих, сидя на склоне холма близ Веймара и глядя на неспешный речной поток, омывавший раздвоенный город, спросил у своей сестры Элизабет: «А правда, что я написал так много книг?»; или когда, повстречав в поле девочку, он остановил ее, положил ей на голову руку и, заглянув в лицо, спросил, словно обращаясь к сестре: «Не это ли, Элизабет, истинный лик невинности?..» То же самое могло произойти и с Ги де Мопассаном. Мопассан окончил земное поприще в 1893 году[4], однако «собой он перестал быть» двумя годами раньше — в 1891-м, иначе говоря, в год, когда появился на свет Нивазио Дольчемаре. Могло, если бы в случае с этим быком во фраке и цилиндре, с этим ассировавилонцем, переодетым в жителя парижского предместья[5], всякая вероятность сохранения и переселения души не исключалась бы заранее. Да и как могла душа Ги де Мопассана переселиться в другое тело, если души Ги де Мопассана *никогда не существовало*?

Мопассаны считаются уроженцами Лотарингии. Передают, что в XVIII веке импе-

---

* Конвейера (*франц.*).

ратор Австрийский Франц, державный супруг Марии Терезии, пожаловал им дворянский титул. Иные из биографов добавляют, будто предки Ги были маркизами, однако сведения эти неточны, да и не столь важны, чтобы заслуживать отдельного исследования [6].

Что означают подобного рода вещи, нам хорошо известно. Во времена королей отношения между государем и подданными напоминали отношения между отцом и детьми. Кто-то скажет, что это всего лишь литературный образ и что многие короли были людьми злобными, несправедливыми, жестокими или, в лучшем случае, равнодушными. С понятием «король», естественно, не связаны, как с понятием «отец», представления о доброте, справедливости, сострадании, заботливости. И все же применительно к монарху эти свойства разве что усиливают аналогию с отцами. Сколько отцов добры по отношению к своим детям, справедливы, сострадательны, заботливы; и сколько злее, пожалуй, самых зловредных, самых несправедливых, самых жестоких, самых равнодушных монархов! Прибавлю, что положение подданных в каком-то смысле было выгоднее положения детей, ведь дети, как известно, не выбирают себе родителей, зато подданные, приняв необходимые контрмеры, имели порой возможность выбирать себе короля. Не зря же подданные называли отдельных королей отцами; а чуть позже, когда понятие родины укоренилось в умах людей — это курьезное понятие родины, восторжествовавшее в лоне демократических настроений и ставшее священным, теперь, с закатом демократических настроений, постепенно бледнеет и окрашивается в негативные тона, — так вот, чуть позже некоторые из них удостоились даже звания «отца отечества». Республика поставила на место короля президента республики, но это далеко не одно и то же. Президент республики не заменит короля, как воспитатель, пусть наилучший и достойнейший, не заменит отца. Президент республики и по своей стати, поведению, *одеянию* остается не более чем воспитателем. Короли оделяли и казнили своих подданных, в точности как отец раздает детям сладости или таскает их за уши [7]. Когда добрый король замечал, что одному из его достойных подданных благородного происхождения чего-то недостает, он даровал ему титул герцога или маркиза, графа или барона — иными словами, делал подарок, который ему, королю, в общем-то, ничего не стоил. Дворянские титулы давным-давно утратили свое истинное содержание. Кто нынче помнит, что маркиз назван так потому, что ему надлежало охранять *марку*, то есть границу своей территории? Разумеется, Франц Австрийский пожаловал Мопассанам титул маркизов не для того, чтобы они объезжали дозором границы Лотарингии. Тогда для чего? Суета сует — для того, чтобы *заместить несуществующую душу*. В наши дни — трудно даже в это поверить — есть еще такие, кто домогается дворянского звания, покупает его, выдает себя за дворянина. Ради чего все это, как не ради того, чтобы заполнить пустоту, угнетающую и выводящую из равновесия; чтобы стать кем-то, чтобы «обрести душу»? Поищем сравнений. Потребность в звании, «физическая» потребность в звании, сообразуется с определенными географическими условиями. Потребность носить звание, приобрести значимость и вес посредством звания, присуща уроженцам южных стран — стран, скудных душами; она тесно связана с особенностями южного человека, человека наименее заполненного душой. От Рима и вниз любой мало-мальски заметный человек не считается «полноценным», если он не герцог или «его превосходительство», граф или «коммендаторе», «профессоре» или «кавальере». Если же он не является таковым, то попадает в положение того персонажа Уэллса [8], который лишился удельного веса и, боясь упорхнуть в небо, как воздушный шарик, выходил из дома с чемоданом, битком набитым камнями.

Мой друг Стефано Ланди написал пьесу под названием «Нужен отец». Насколько верно подобное утверждение? Стефано Ланди, как известно, сын Луиджи Пиранделло, но почему он взял в качестве псевдонима имя последнего палача Великого герцога Тосканского, этого не знает никто, и прежде всего не знает он сам. Пьеса Стефано Ланди — это *jeu subtil** между отцом и сыном, в которой сын выступает в роли отца по отноше-

* Тонкая игра (*франц.*).

нию к собственному отцу. Пьеса Стефано Ланди — это изощренное пиранделльство, с той лишь разницей, что его пиранделлизм тщательно процежен и отстоян; это чуть ли не отвар пиранделлизма, ибо гуща осела на дне. Придет время, и название пьесы Ланди потеряет всякий смысл; но состояние гермафродитического совершенства наступит еще очень не скоро, так что пока не упразднить ни предназначения, ни значимости, *навязчивой значимости отца*. Вряд ли название пьесы Ланди подходит кому-нибудь так, как оно подходит Ги де Мопассану. И если по привычке, в рассеянности или от скуки мы задаемся вопросом, кто был отцом Ги де Мопассана, так это потому, что и Мопассану *нужен отец*. Когда наконец канет в Лету эта невежественная, смехотворная привычка искать отца [9]? Со жгучим нетерпением ждем мы предсказанного Огюстом Контом продолжения рода человеческого путем непорочного зачатия. Мы ждем, что сбудется пророчество Христа, переданное святым Клементом, и в один прекрасный день «двое пребудут одним, внешнее уподобится внутреннему, и не будет более ни мужеского, ни женского». В этом Мопассан оказался предтечей — *хотя бы* в этом. Ги ощущал бремя, постыдное бремя отца. Со своей стороны, отец Ги, уважая сыновнюю стыдливость, убегает, прячется, двоится. Отец уже не один: отцов становится двое. А иметь двух отцов — все равно что не иметь ни одного, ибо два отца взаимоупраздняются. Один был отцом согласно метрикам, другой... Единственное, что их объединяет, — это имя, поскольку Флобера тоже звали Гюставом. Однако Гюстав — имя отрицательное, по поводу которого у Нивазио Дольчемаре сложилось вполне определенное мнение. На взгляд этого познавателя непознаваемого, Гюстав — это имя-пшик, не-имя. Есть в имени Гюстав что-то несостоятельное, что-то легкомысленное, как в *hablar español**. Некоторые примеры свидетельствуют физически о подобном восприятии имени Гюстав, не поддающегося любому другому осмыслению и не объяснимого никаким логическим построением, психологическим исследованием или тем же психоаналитическим разбором. *Густаво* — так звали дядю Нивазио Дольчемаре по отцовской линии. Дядя умер в восьмидесятилетнем возрасте, оставаясь совершенным девственником [10]. «Густав» — так называлась оборонительная линия, возведенная маршалом Кессельрингом с 1943-го по 1944 г. от Гарильяно до Адриатики, хотя в данном случае имя Густав усиливается и приобретает известную прочность, оттого, быть может, что по-немецки Густав произносится Гу́стаф. Добавим для полной ясности, что Густафсон, то есть «сын Густава», была девичья фамилия Греты Гарбо.

Одной из самых авторитетных биографий Мопассана, не считая известнейшего жизнеописания, оставленного нам его «верным» слугой Франсуа Тассаром, считаются *«Souvenirs sur Maupassant»*, собранные бароном Альберто Лумброзо: толстенный кирпич в семьсот с лишним страниц [11], объединяющий воспоминания и свидетельства друзей, знакомых, а также матери писателя. Уникальность этого труда в том, что он был написан по-французски итальянцем и опубликован в Риме в 1905 году издательством *«Fratelli Bocca»*, которое по такому случаю стало именоваться *Boccà Frères Editeurs, Librairies de Sa Majesté.*

Как и большинство биографий, а может, еще нагляднее прочих «*Souvenirs sur Maupassant*» написаны в надгробном стиле — в том пронизанном эвфемизмами, хронически хвалебном стиле, в каком состряпано большинство эпитафий. На мраморе надгробий все мужчины — добродетельны, все женщины — верны, все малолетние усопшие — ангелочки, которых Господь, в своем общеизвестном эгоизме, безвременно призвал к Себе. Грехи, пороки, мерзости надгробный стиль исключает без разбора, а дольний мир изображается в непорочной чистоте и розовом свете, словно крошечный коралловый рай.

В этаком кладбищенском штиле кропают биографы свои биографии — на то они и биографы, хотя, по сути, уместнее было бы назвать их агиографами в штатском. Не так

---

* Говорить по-испански (*исп.*).

давно мы перелистывали «Жизнь Достоевского», написанную его дочерью Лубовой* (что по-русски означает «Возлюбленная»). Автор того самого Ставрогина, который по его же собственному признанию изнасиловал одиннадцатилетнюю девочку и позволил ей повеситься (разбирать здесь, носит ли исповедь Ставрогина автобиографический характер, было бы дурным тоном), предстает перед нами, в жизни и в трудах своих, как некий благообразный и педантичный бухгалтер. И вот теперь эти *«Souvenirs sur Maupassant»*. В них сей нормандский бык — чья жизнь отличалась от жизни настоящего быка лишь тем, что если случки настоящего быка проходят под наблюдением местного ветеринара, то случки Мопассана проходили с кем ни попадя и когда ни попадя, — представлен в образе первопричастника с молитвенником и белоснежной атласной повязкой на руке.

Надгробный стиль кажется нам особенно *déplacé*** в биографии Мопассана. Если Мопассан и был чем-то примечателен как писатель, так это тем, что сказал о людях и мире голую правду. Добавлю, что эпитет «надгробный», которым приправлены эти пассажи, навеян мне одним из рассказов самого Мопассана, «Плакальщицы». В нем выведен необычный типаж проститутки: с куда большим успехом ловит она клиентов не на тротуаре, а на кладбище, у самых могил, прикинувшись опечаленной вдовой.

Иногда — и вопреки намерениям автора — надгробный стиль производит высокоюмористический эффект. Вот как описана встреча матери Мопассана с Элеонорой Дузе (*«Souvenirs sur Maupassant»*, p.116): «Убитая горем госпожа Мопассан безвыездно жила в своем большом, безмолвном доме в Ницце. Летом 1902 года она нарушила затворничество и приняла Элеонору Дузе. Госпожа Дузе — ярая поклонница автора «Нашего сердца». Восторженное отношение к Мопассану, вероятно, внушил ей Габриеле Д'Аннунцио [12]... На прощанье госпожа Мопассан сказала актрисе: «У вас есть гений и слава, чего же мне еще пожелать вам?» «Покоя», — ответила актриса просто».

Встреча между госпожой Мопассан и Элеонорой Дузе вызывает в памяти другую известную встречу — Алессандро Мандзони и Антонио Розмини. Последний был уже при смерти в своем доме в Лезе, на Лаго Маджоре. Мандзони участливо спросил у него: «Что нам делать, учитель, после того как вы оставите нас?» В ответ Розмини промолвил: «Обожать молча».

По свидетельству господина Балестре, сопровождавшего Элеонору Дузе к госпоже Мопассан и присутствовавшего во время их встречи, несмотря на то что одна дама говорила по-французски, а другая по-итальянски, обе знаменитости на удивление хорошо понимали друг друга. Данное обстоятельство особенно нас утешает, так как полностью опровергает утверждения тех, кто полагает, будто союз европейских народов невозможен из-за различия в языках.

Обратим внимание на то, сколь тонко барон Лумброзо подметил, что восторженные чувства к Ги де Мопассану пробудил у Элеоноры Дузе Габриеле Д'Аннунцио. Впрочем, меткость его оценок этим не ограничивается. В *«Souvenirs sur Maupassant»* целая глава посвящена беспардонным заимствованиям из произведений Мопассана, встречающимся у Габриеле Д'Аннунцио. Параллельные тексты обоих авторов, помещенные на одной странице, безжалостно сравниваются, подобно тому как в трудах по религиозной экзегетике Евангелие, признанное церковью, сопоставляется с апокрифом.

На днях знакомый журналист рассказал мне о любопытной переписке, обнаруженной не так давно, между Габриеле Д'Аннунцио и Элеонорой Дузе. Вот что в ней поражает: буквально в каждом письме говорится о всякого рода непристойностях, и говорится непристойным же языком; и куда больше непристойностей содержится не в письмах Габриеле, а в письмах Элеоноры. Я уже слышу возмущенные голоса, обвиняющие меня в иконоборчестве и кощунстве. Спокойствие! Элеонора Дузе была не только великой актрисой. Она отличалась неповторимым нравом и складом ума, характерными эстети-

---

* Имеется в виду Любовь Федоровна Достоевская (1869—1926), автор книги «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской».

** Неуместным *(франц.)*.

ческими воззрениями и стилем, особым восприятием и образом жизни. Она была не творцом (творцы дузизма тонут во мраке времени), а властным представителем самобытной формы эстетизма [13]. То же самое можно сказать о Габриеле Д'Аннунцио, прерафаэлитах, Оскаре Уайльде, Жозе-Марии де Эредиа, Морисе Метерлинке, о многих других и в каком-то смысле о Малларме. Эстетизм есть внешняя форма, не определенная, не подкрепленная и не оправданная действительным внутренним содержанием. Эстетизм — это поверхность, иногда скрывающая фальшь и почти всегда — пустоту. Отсюда нарочитое представление о красоте эстетизма, оборачивающейся красотой инертной, неживой и, в сущности, отвратительной, как смерть [14]. Опасность эстетизма (эстетизмов) и наносимый им ущерб *sunt graviores**, чем об этом думают. С биологической точки зрения эстетизм является осадком, пережитком, *замаскированным трупом* [15]; это остаточная форма того, у чего уже нет ни возможности, ни права жить; и, чтобы навязать свое анахроническое присутствие, оно «маскируется под красоту». Эстетизмы суть та же мертвечина, а значит, яд, отравляющий жизнь человечества. Все зло, поражающее мир, приводящее к разного рода надрывам, вызывающее войны, делающее необходимыми и «благотворными» революции, — все зло возникает из скопления эстетизмов, то есть тех самых осадков и пережитков, которые постепенно создают чудовищные отстои всего никчемного, фальшивого, мертвого; «посторонних тел», застрявших в организме сегодняшней жизни, противоречий и помех теперешним законам жизни. Немногие готовы «всерьез воспринимать» опасность д'аннунцианства, дузизма, маллармеизма и прочих литературных эстетизмов. Однако стоит лишь осознать, что эстетизмы, сиречь осадки и пережитки умершего прошлого, являются не только литературными, но и философскими, астрономическими, политическими, общественными, идеологическими, умственными, — и опасность эстетизмов проявится во всей своей громадной значимости; достаточно лишь задуматься о том, что современный мир заполонен ядовитыми пережитками, парализующими его деятельность, а именно жреческими культовыми организациями, которые должны были бы отмереть с отмиранием Птолемеевой системы; государственными организациями, которые должны были бы отмереть с отмиранием теократических империй; монархическими образованиями, которые должны были бы отмереть после обезглавливания Людовика XVI; всевозможными формами мысли, искусства, верований, воззрений, опять же являвшихся не чем иным, как «замаскированными трупами», кишащими болезнетворными зачатками, гибельными для здоровья человечества. Трагедия нашего мира происходит оттого, что мир переполнен бессмысленностью, выдающей себя за осмысленность. Символ Вавилонской башни и смешения языков актуален как никогда. В конечном счете все сводится к вопросу о порядке. Пусть изумятся почитатели Бога и геральдики, империалисты и монархисты, приверженцы всеразличных направлений и толков, когда их попросят слегка посторониться как *нарушителей движения*, — они должны будут подчиниться, они будут *вынуждены* подчиниться. Более подробно и доходчиво «теория изящества» прозвучит из уст капитана Грозы в «Ночи Мертвой Руки», которую Нивазио Дольчемаре слагает сейчас в фатальной тишине грозных военных ночей.

В начале нашего сочинения мы видели, что Нивазио Дольчемаре прибыл на *Gare de l'Est*. Место прибытия вовсе не случайно. Именно через Восточный вокзал Нивазио Дольчемаре немедленно соприкоснулся с одной из самых *мопасальных* частей Парижа. Да, господа: *мопасальных*, и мы гордимся этим производным от фамилии писателя. Глубокий смысл данного определения проявится чуть позже. В Париже много железнодорожных вокзалов, и каждый имеет особое географическое значение. *Gare du Nord* — Северный вокзал — означает льва, стерегущего *morne plaine*** Ватерлоо; стрелков из «Ночного дозора», отражающихся в водах польдеров; пастбища Дании, снабжавшие

* Гораздо серьезнее (*лат.*).
** Мрачную равнину (*франц.*).

молоком и маслом охочих подзакусить англичан; норвежские клубы, в которых невозмутимые мужчины и женщины беседуют в чем мать родила о психоанализе и сюрреализме; шведские железные дороги, на которых, в отличие от наших государственных железных дорог, проводников и обслуги порой больше, чем самих пассажиров. *Gare Saint-Lazare* — вокзал Сен-Лазар — означает переправу через Ла-Манш, орошенный двухчасовой рвотой; океанский шквальный ветер и четырнадцатикилометровые приливы и отливы; трансатлантические лайнеры, освещенные словно фабрики, и утреннее пробуждение с видом на небоскребы Нью-Йорка [16]. *Gare Montparnasse* — вокзал Монпарнас — означает Нормандию, Бретань и, если говорить о здании вокзала, ранние картины Джорджо Де Кирико [17]. *Gare d' Orléans* — Орлеанский вокзал — означает корриды и живописные работы Теотокопули, навеянные художнику его вертикальным астигматизмом. *Gare de Lyon* — Лионский вокзал — означает банковские счета и отдохновение под сенью пальм. *Gare de l'Est* окрашен куда менее туристическим и игривым значением: он означает войну.

Gare de l'Est — самый неброский из всех вокзалов Парижа, самый смиренный, но вместе и самый трагичный. Когда над Францией вновь грохочет [18] колокол опасности, *Gare de l'Est* разверзается, будто зев, и заглатывает сыновей этой изнуренной матери — кого под ружье, кого и под пули, — переваривая их в своем железном нутре, а затем исторгая на восточную границу.

Вот и двадцатилетнего Ги де Мопассана поглотила металлическая пасть *Gare de l'Est* в один прекрасный день 1870 года — его, новоиспеченного пехотинца в красном галифе и шинели с загнутыми для быстроты шага краями. Излишне усердный биограф написал, что Мопассан ушел на войну Семидесятого добровольцем. Позднее истина была восстановлена. Выяснилось, что на войну Семидесятого Мопассан попал просто-напросто со своим призывом, то есть призывом семидесятого года, ибо в отличие от нас, итальянцев, отсчитывающих год призыва от года рождения, французы отсчитывают его от года, когда новобранцев призывают под ружье. Поэтому вполне естественно, что, высадившись [19] на *Gare de l'Est* в 1910 году, Нивазио Дольчемаре мог еще застать там Мопассана и окружавшую его атмосферу, хотя последний отошел в мир иной аж за семнадцать лет до того.

Верно, что войны разрушают, но также верно и то, что войны созидают. Всякий раз войны открывают новую эру. И эта созидательная сила войн столь велика, столь велика их первопроходческая сила, столь велика их обновляющая сила, что в промежутках между войнами жизнь остается неподвижной и неизменной, как будто лишь войны обладают необходимой силой, необходимым мужеством, необходимой «беспристрастностью» для того, чтобы убить «отжившее» и расчистить путь жаждущему жизни. Не будь война так падка до смерти и страдания, какая бы из нее вышла благотворная революция, какой забил бы источник возрождения!

Войны завершают старую эпоху и зачинают новую [20]. Франция, в которой «расцвел» [21] Ги де Мопассан, родилась от франко-прусской войны 1870 года. Войны столь же революционны, сколь консервативны промежутки между войнами. Война смердит трупами, но это не означает, что мир благоухает жасминами. Время между войной и войной источает куда более тонкий и острый запах, которому не ускользнуть от чувствительного, искушенного нюха [22].

Именно этот тонкий и острый запах, это трудноуловимое зловоние, этот «мирный душок» ударил в ноздри Нивазио Дольчемаре в тот далекий февральский день 1910 года, когда он прибыл на *Gare de l'Est*. Мирным душком пахнуло на него гораздо сильнее, чем тяжелым духом помойников [23], пробивавшимся сквозь гниющие стальные зубы *Gare de l'Est* с той поры, когда юный Ги «недобровольно» ушел отсюда воевать.

Как определить этот запах, как обозначить его? То был запах, наполняющий по утрам спальни; запах, пропитывающий *(capitonné)* мебель в комнатах, где находятся больные; запах, украшающий *(qui pare)* уборные актрис; запах «былых времен», предваряв-

ших рациональную архитектуру, рациональной архитектурой чувством вии и развеянный и, в свою очередь, замененный другим запахом, говорить о надежд здесь не время и не место; то был сложный запах, в котором сочетались дух *nurseries* [*] и помойников [24], облаченных для похорон — во фраке и с регалиями, свежепостриженных и в начищенных до блеска ботинках, даже на подушках [25] то был запах, в котором смешивалось амбре полового совокупления *(les relents de l'amour)*, кожи и белья после двухнедельной носки; дыхание людей с утомленной печенью или язвой двенадцатиперстной кишки; тухловатый выдох платяных шкафов, скрывающих, словно попавшую под каток очередь, стройную шеренгу платьев и костюмов, в которых мужчины и женщины долго, честно, а может, и доблестно потели [26]; запах плотно закрытой банки, утробы сундука, днища урильника, увядших цветов, старой косметики, надушенных подмашек [27] и возвращенной пищи. То был консервативный, статичный Париж; Париж, на который Освальд Шпенглер смотрел «археологическим» взглядом [28]; Париж, миллион жителей которого, не считая детей, глубоких стариков и паралитиков всех мастей, просил только одного: *du vin et de l'amour* [**]. И покривит душой тот, кто не отыщет в вышеприведенном перечне мотивы почти всех *contes* [***] Мопассана.

Высоко и глубоко вдохновляет война Мопассана. Даже не столько война, сколько полное поражение [29]. В трагедии *dèbâcle* [****] этот человек, начисто лишенный возвышенного, возвышается до величественного. Ни один роман, ни один рассказ Мопассана не достигает того накала страстей, той трагической плотности, какой достигают некоторые его рассказы «о разгроме». Месть старухи Соваж, получившей известие о том, что ее сына Виктора «буквально разорвало пополам» пушечным ядром, и подпалившей собственный дом, в котором мирно спали остановившиеся у нее четверо «славных, белотелых пруссаков», достойна пера афинянина Софокла, если бы Софокл писал не трагедии в Афинах, в семьдесят первую олимпиаду, а новеллы в Париже, во второй половине XIX века. Пожалуй, еще трагичнее внешне не отмеченный трагичностью рассказ «Дуэль», в котором мирный, упитанный, преуспевающий коммерсант мсье Дюбюи, «отродясь не державший в руках пистолета», убивает на дуэли с первого выстрела прусского офицера, издевавшегося в поезде над раздавленной Францией. Добавлю, что этот коротенький рассказ, среди персонажей которого выведены двое англичан, путешествующих по разоренной и поверженной врагом Франции, рисует необыкновенно тонкую политико-психологическую картину взаимоотношений Франции, Германии и Англии, довершенную впоследствии планами Эдуарда VII, Вильгельма II, а также всевозможных Делькассе и завершившуюся войной 1914 года [30]. Боль и унижение Франции возвышают душу и ум (сами по себе мелкие и скудные) Мопассана. В рассказе «Мадемуазель Фифи» есть реплика, в которой слышен отзвук эпоса. Маркиз Вильгем д'Эйрик [31] собирается овладеть проституткой из Руана и похваляется тем, что, как и он, его товарищи овладеют всеми женщинами Франции. На что проститутка Рошель выкрикивает: «Нет, врешь, не будут женщины Франции вашими... А я не женщина, я — шлюха».

Высокого драматизма исполнен и рассказ «Койка № 29». В нем повествуется о проститутке, которая во время прусской оккупации Руана отдается великому множеству вражеских солдат, зная, что она больна сифилисом, и по-своему нанося противнику тяжелый урон. «Пышку» тоже можно отнести к «рассказам о поражении». Тем не менее это лучшая из подобного рода вещей, хотя бы по числу психологических озарений, которые высвечивают различные социальные типажи, собранные в дилижансе, направляющемся в Дьепп: двух представителей аристократии, промышленников, торговцев, социалиста-моралиста Корнюде и, наконец, двух монахинь — сестер милосердия, над которыми автор упражняется в своем неопросветительстве [32].

---

* Детских *(от англ.* nursery*)*.
** Вина и любви *(франц.)*.
*** Conte — 1) сказка; 2) рассказ; 3) история *(франц.)*.
**** Разгром *(франц.)*.

Некоторые из новелл Мопассана являются открытой апологией проституции, не считая «Дома Тельчины» маленькой эпопеи продажной любви, воспевающей преимущественно домашнюю, если не сказать семейную ее сторону. Реабилитация проститутки входит в неопросветительскую программу мопассановской Франции. Вместе со своим временем Мопассан открывает, что проститутка тоже человек и что между проституткой и «честной» женщиной нет существенной разницы. За неимением собственных мыслей и суждений, Мопассан присваивает себе мысль о реабилитированной проститутке, как присвоил он мысль о лицемерии священников, о небе, лишенном Бога, как присвоил все мысли, питавшие неопросветительскую Францию его времени. И коль скоро неопросветительство конца XIX века в каком-то смысле исключает и патриотизм, Мопассан нарочито проявляет выдержанную в хороших тонах непредубежденность в отношении родины и *revanche**. В прочем, то, насколько глубоко пустила в нем корни идея *revanche*, обнаруживается сквозь прорехи его сумасшествия, когда ни стыд, ни другие формы самоконтроля уже не препятствуют откровенному выражению чувств... Ночью 4 января 1892 года Мопассан вскакивает с постели и зовет своего слугу:

— Франсуа! Вы готовы? Война объявлена!

«Верный» Таккар, стремясь успокоить хозяина, отвечает, что отправление назначено на утро. Мопассан негодует:

— Как! Именно вы затягиваете мой отъезд? Не вам ли знать, сколь важно для меня выехать поскорее?.. Было условлено, что мы вместе отправимся брать реванш! Вам прекрасно известно, что реванш необходим — и мы возьмем его!

Помимо прочего, война выставляет «напоказ» то, что до этого «втайне» готовил мир. Разумеется, все тайное становится явным лишь в следующее после перипетий войны мирное время. Однако и сама по себе война «выпускает на волю» тайны мира. Война 1870 года выпустила на волю все, что подспудно готовила Вторая империя. Тайны Второй империи открыто расцветают во Франции, начиная с конца войны Семидесятого и заканчивая первыми залпами войны Четырнадцатого. Касательно умственной жизни (единственной, которую мы практикуем) — это импрессионизм, натурализм, сезаннизм и т. д. и т. п. Точно так же война 1914 года выпускает на волю все, что тайно готовило мирное время между 1871-м и 1914-м. И эти тайны открыто расцветают в мирный период с конца первой мировой до начала второй мировой войны. Касательно умственной жизни (единственной, которую мы практикуем) — это кубизм, дадаизм, метафизическое искусство, прустизм, психоанализ, сюрреализм и т. д. и т. п. Мопассан живет и творит в мирное время после войны 1870 года, но не открывает, не видит, не улавливает «тайн», которые готовит это мирное время. Мопассан «толстокож» (во всех смыслах). Мопассан *принадлежит к большинству*. Этот умственный анахронизм, эта отсталость познания, это незнание современности встречаются очень часто и присущи не только отдельным людям, но и большому числу людей. Латинские писатели первых трех веков не признают современных им христианских писателей и христианство вообще. В энциклопедическом словаре *Novissimo Melzi* (издания 1896 года) о Месонье говорится как о «величайшем художнике нашего века». Во франкавилльском «Конвенто» Д'Аннунцио, Микетти, Тости работают и рассуждают так, словно на свете еще нет ни Бодлера, ни Вагнера, ни Мане. О чем после этого говорить? Большинство людей до сих пор живет в рамках откровенно Птолемеевой ментальности, словно ментальной революции, совершенной системой Коперника, *никогда и не было*. Мопассан входит в число *вре́менных людей*. «Временный» человек живет судьбами «временного времени». «Существование» Мопассана продолжается до 1914 года, но и прекращается именно на этой дате, поскольку в 1914-м прекращается «существование» всей Франции, существовавшей между войной Семидесятого и войной Четырнадцатого. И на Мопассана, как на все временное, как на все

* Реванш (*франц.*).

былое, как на все отжившее, мы смотрим сегодня с нежным чувством и говорим, что «это был огромный талант». Но мы смотрим на него без всякой надежды (той надежды, что все еще есть, что есть «всегда», что будет всегда в «Одиссее», в «Новой жизни», в стихах Рембо) — и с неодолимой грустью: так смотрят на старый фрак, присыпанный нафталином; так просматривают — но, не дай бог, начнут читать — подборку старых журналов; так всматриваются в дорогую сердцу, но бесполезную вещь — «поэтически» бесполезную вещь.

Дойдя до этой точки савиниевского плавания, те из читателей, кто относится к разряду поверхностных читателей, возможно, подумают, что в строках, посвященных Мопассану, о Мопассане говорится слишком мало. Но позвольте прежде спросить: примутся ли среди читателей Савинио — мыслимо ли, чтобы среди читателей Савинио принялись *и* поверхностные читатели? Допустим такую возможность в порядке абсурда и прибавим, что впечатление, будто в этих строках о Мопассане говорится слишком мало, следует приписать исключительно читательской поверхностности. Говоря о Париже и вообще о довоенной (1914 года) Франции, мы подспудно говорим именно о Мопассане — и говорим о нем куда глубже, чем если бы говорили только о нем и ни о чем другом. В Париже и в довоенной Франции все было Мопассаном, поскольку Мопассан был во всем, что составляло Париж и довоенную Францию. В этом — универсальность Мопассана, его «пассивная» универсальность, универсальность, сводящаяся к провинциальному почвенничеству. Мопассан был в людях и вещах Франции. Той Франции, что жила демократической и посредственной жизнью с Семидесятого по Четырнадцатый. Во всех людях и во всех вещах. Он сам был одновременно человеком и вещью во Франции с Семидесятого по Четырнадцатый. И когда в феврале 1910-го Нивазио Дольчемаре прибыл в Париж, в каждом человеке и каждой вещи Парижа, а затем и в каждом человеке и каждой вещи Франции — от Вогезов до Пиренеев, от Атлантики до Средиземноморья — он обнаруживал все тех же Мопассанов... Повсюду Мопассан, Мопассан, Мопассан, Мопассан, Мопассан, Мопассан... Словно перестук колес мчащегося поезда, несмолкающий зов неба и земли, нескончаемая вереница людей и вещей, неотступное наваждение. Помните Чарли Чаплина, окруженного зеркалами? Помните Чарли Чаплина, оказавшегося в зеркальном лабиринте? Помните Чарли, заплутавшего в лабиринте «отражений»? Помните Чарли, зажатого в кольце бесчисленных Чарли, бесконечных Чарли, одних лишь Чарли, обступивших его со всех сторон, глядящих на него со всех сторон, надвигающихся на него со всех сторон; и вместе поднимающих руку, если поднимет руку он, и разом поворачивающихся, если поворачивается он, и хором смеющихся, если засмеется он? Не в этом ли бесконечном повторении самого себя кроется причина паранойи Мопассана? Возможно. Ему самому открылся смысл этой повторяющейся участи. Мопассану открылся смысл его повторяющейся участи в один прекрасный день — в один из его последних дней — в клинике доктора Бланше в Пасси (читай: в сумасшедшем доме). Его посетило это откровение в годы безумия, ибо годы безумия стали для Мопассана годами откровения, годами истины, годами открытий — открытия самого себя. Когда два Мопассана, боровшихся в нем — Мопассан белый и Мопассан черный, Мопассан материальный и Мопассан нематериальный, Мопассан видимый и Мопассан невидимый, — закончили схватку и Мопассан белый победил Мопассана черного, Мопассан нематериальный победил Мопассана материального, Мопассан невидимый победил Мопассана видимого. Однажды, гуляя в саду клиники вместе со своим другом Биспалье, Мопассан подобрал сухую ветку, воткнул ее в голую, заиндевевшую землю и доверительно сказал другу:

— Посадим эту веточку, и на следующий год взойдет много-много маленьких Мопассанов.

Вот вам и новая версия мифа о Кадме. Версия в духе доктора Каллигари.

Нивазио Дольчемаре сошел с поезда и без всяких пересадок вступил в книги Мопассана. Впрочем, можно сказать и так: Нивазио Дольчемаре пересел с одного поезда на другой, потому что книги Мопассана — те же поезда. *Contes* подлиннее: «Иветта», «Мисти» или «Малышка Рок», названия могут быть разными — пыхтят в голове состава, выполняя роль паровоза. *Contes* покороче тянутся следом — это вагоны [33]. Теперь ясно? Сходство между *livres des contes* [34] и поездами не только идеографическое [35]: самый «дух» рассказов Мопассана «железнодорожен». *Contes* Мопассана вечно куда-то несутся. Трогаются они, по правде говоря, натужно, с трудом набирают обороты, точь-в-точь как поезда; в завязке каждого рассказа слышится тяжелое дыхание пара, чувствуется неимоверное усилие шатунов. Наконец они разгоняются, и тогда у стремительного, но жесткого бега одна цель — как можно скорее домчаться до конечной станции. Домчаться — вот единственная цель рассказов Мопассана. Да и какую иную цель может преследовать поезд... к чему еще может стремиться рассказ Мопассана? Но и это не все. Замечали ли вы, что в *contes* Мопассана чувствуешь себя неуютно? Замечали ли вы, что в *contes* Мопассана чувствуешь себя как в вагоне третьего класса, как в вагоне времен Мопассана, как в вагоне без коридора? Замечали ли, что *contes* Мопассана вызывают у вас такое чувство, будто вы находитесь в замкнутом пространстве вагонного купе и не можете из него выйти? Замечали ли, что *contes* Мопассана не вызывают в вас чувства внутреннего удовлетворения, как не вызывает его путешествие по железной дороге? Что из *contes* Мопассана выходишь с той же поспешностью, с тем же *чувством облегчения*, с каким выходишь из поезда? Замечали ли вы хоть раз, что после чтения *contes* Мопассана ваша кожа будто засаливается и вас тянет как следует умыться [36]?

«Железнодорожный» характер *contes* Мопассана имеет и более простое объяснение. Его быстротечные, курьерские рассказы созданы для чтения в поезде. Литературным критикам, вместо того чтобы блуждать в вопросах о форме и содержании, следовало бы заняться менее вздорными изысканиями — к примеру, определить соответствие между ритмом литературного произведения и ритмом транспортного средства. «Илиада» движется в такт движения колесницы, «Одиссея» — парусника, «Неистовый Орландо» — коня. Очевидно, что эти же литературные произведения соответствовали бы иному ритму, будь они написаны в эпоху паровой тяги [37]. Не менее очевидно и то, что машина Папена играет решающую роль в зарождении литературного натурализма; что принцип, по которому мир нужно воспринимать «только» в натуральном выражении, чисто и ясно, без всяких «поэтических» выкрутасов, является составной частью идеи обезбоженного мира, идеи человека как единовластного хозяина земли, идеи механического завоевания и прогресса, навеянной человеку XIX века новыми и «огромными» [38] возможностями паровой машины. Натурализм покрыт налетом сажи, угольной паровозной пыли. В каком-то смысле *contes* Мопассана — это предки детективных рассказов: и те и другие роднит общий железнодорожный удел. Разница, пожалуй что, в литературном уровне. Хотя невелика и она, если сравнивать *contes* Мопассана и, скажем, некоторые вещи Жоржа Сименона [39]. Мопассан сам предчувствовал железнодорожную судьбу собственных книг, следовал ей, культивировал ее. В письме своему издателю Виктору Авару он пишет: «На протяжении всей лионской ветки, на всех крупных станциях продавались экземпляры «Иветты». Разумеется, в определении «железнодорожный удел» нет ничего уничижительного. Тот же Нивазио Дольчемаре, к счастью или несчастью убедившись за свою долгую литературную жизнь, что его книги обречены на инерцию и смешную стыдливость узкого круга почитателей, знает, как приятно увидеть собственную книгу на скоростных и прибыльных рельсах крупных издательств, а заодно и книжных лотках многолюдных вокзалов.

Громадную ответственность за возникновение и становление литературного натурализма несет и фотография. Творчество Флобера есть не что иное, как фотопроекция, Флобер был фотографом. Не только как художник, но и как человек. По видной наружно-

сти, мужскому самодовольству, бычьему норову Флобер являет собой идеальный тип фотографа — провинциального фотографа. Плечистый, голосистый, брызжущий слюной мсье Гюстав Флобер стоит в центре своей студии, застекленной темно-синим стеклом, посреди задников с изображением неба, сада и серой балюстрады — выпрямился возле штатива с большеглазым аппаратом, полная рука легла на латунную трубку: оттуда вот-вот вылетит нечто неизбывное, нечто волшебное, словно Святой Дух; это нечто порой материализуется, по особому хотению ребятишек, в птичку; фотограф готов «художественно» поставить клиента в нужную позу и, перед возгласом «снимаю», накрыть голову черной тряпкой, точно отцеубийца, идущий на казнь. Флобер, удостоившийся чести не быть членом Французской академии, с полным правом и глубочайшим смыслом мог бы выводить на фронтисписе своих книг: *Гюстав Флобер, фотограф*. Иконография детства Нивазио Дольчемаре есть плод творчества дородного фотографа бычьего сложения и «художественной» стати по имени Стурнара — ни дать ни взять второго Флобера, перенесшегося из поместья в Круассе в приморский городок Волос, что на берегу залива Пагаситикос. Творчество Флобера сугубо фотографично. Мы, конечно же, имеем в виду «стоящее» творчество Флобера, то есть его черно-белое творчество: «Мадам Бовари», «Воспитание чувств», «Бувара и Пекюше». Однако фотографа терзает, точнее, терзало честолюбие. Сегодня фотограф стал сознательнее и на душе у него гораздо спокойнее. Более того, фотография, по вине прежде всего раннего немецкого, а также русского кино, приобрела собственную эстетику, стала самодостаточной и высокомерной... Во времена Флобера фотограф страдал комплексом неполноценности, хоть и не сподобился еще применить к себе эту фрейдистскую дефиницию. Фотографа не устраивало то, что он фотограф: ему хотелось быть художником. *Photogràphos kai zoogràphos* — гласила вывеска того самого Стурнары, что означает «фотограф и начертатель зоа», то есть *рисовальщик животных* — так называют в Греции художников. Целью фотографов была живопись. Или, по крайней мере, цветная фотография. Слабость и гордость фотографов заключалась в том, что они считали черно-белую фотографию «первым шагом» фотографии и видели будущее фотографии в цветной фотографии; точно так же слабость и гордость нынешних кинематографистов заключается в том, что они считают черно-белое кино первым шагом кино и видят будущее кино в цветном кино. Не правы ни те, ни другие. Как некогда фотографы, так и теперь кинематографисты доказывают свое неумение выявить «лирическое» начало и фотографии и кино; они не понимают, что «лирическая» ценность фотографии и кино состоит именно в этом переводе, даже в «низведении» природы в черно-белое, в «сотворении» другой природы, пусть даже «поддельной». Лиричность черно-белого в фотографии и кино соразмерна лиричности «линии» в живописи. Подобно Флоберу, Андреа Мантенья тоже был фотографом — «дописьменным» фотографом. Его работы отливают линейным лиризмом (чуть было не сказал «литейным лиризмом»). Стремился ли Мантенья стать художником? Наверное. Этого мы не знаем. Мантенья умер. Умер до изобретения «цветной» живописи. Умер до рождения светотеневой живописи, до рождения леонардизма, до рождения живописи, в которой живопись — не только окрашивание поверхности, заключенной внутри линии, но самый цвет, ставший плотью и формой; все это предвещает другие, будущие «воплощения», например, чувств, которые в один прекрасный день облекутся плотью, и мы воочию узрим, как радость борется с горем, а ненависть убивает любовь; или воздуха — и тогда скульптор предъявит нам свои творения, изваянные в атмосфере; или звука — и над оркестром в концертном зале «Адриано» мы увидим, как звуки собираются, перемешиваются и тают в сонорной пластике.

Мопассан тоже был фотографом, Мопассан был фотографом и как писатель, и как человек. Мопассан тоже был провинциальным фотографом, и когда его жизнеописатели говорят нам, что Мопассан «исповедовал культ красоты» [40], мы воспринимаем это еще глубже: художественные идеалы Мопассана соответствовали тем идеалам, которые на исходе XIX века, в студии, заставленной глиняными барбосами, клеенчатыми расте-

ниями и балюстрадами из папье-маше, вынашивал в своей косматой голове провинциальный фотограф [41].

Мопассан-фотограф никогда не дотягивал до «черного лиризма» своего учителя Флобера. Ничто у Мопассана не сравнится с «черной наготой» «Бувара и Пекюше». Мопассан, сказали мы чуть выше, исповедовал культ красоты. Однако ни разу безумие фотографа не подтолкнуло Мопассана на цветную авантюру, не ввергло его в героический ужас, не подвигло на монументальную напыщенность «Саламбо». (Мопассан, человек, обреченный на безумие, прежде чем впасть в безумие, был наименее безумным человеком на земле.) Фотография Мопассана не является ни сугубо черной, как черная фотография Флобера, ни беззастенчиво цветистой, как цветная фотография Флобера. У Мопассана выходит нечто среднее: *раскрашенная фотография*. «Деликатная» раскраска проявляется прежде всего в вводной части его *contes*, в описании «времени и места действия». Автор подает свой сюжет как с помощью общих, избитых рассуждений, так и с помощью столь любезного для писателей его времени приема, когда повествование ведется от лица одного из героев рассказа. (Почти все рассказы Мопассана состоят из гостиной, которая и есть самый рассказ, и прихожей, предваряющей и в каком-то смысле готовящей рассказ.) Мопассану так и не хватило смелости взяться «только» за черную фотографию, ту фотографию, которая раскрыла людям их новый образ во всей его похоронной наготе: галерею вертикальных мертвецов. И вот из *Ателье Мопассана* расходятся подкрашенные фотографии; они попадают по прямому назначению — в провинциальные салончики: кособоко втиснутые в рамки, развешенные веером по стене, в обрамлении бумажных цветов, возле непременного маятника под стеклянным колпаком.

Мопассана причисляют к разряду тонких знатоков человеческих чувств. На самом деле он не заслужил этой чести, ибо природа поместила его ступенькой ниже — в разряд грубых карнальных типов [42]. При описании женских прелестей чаще всего у Мопассана встречается прилагательное *grasse — полная, толстая*. В многократном употреблении этого эпитета чувствуется покупатель [43], который боится, что его обвесят. Надо отметить, что «исторически» Мопассану выпало жить в эпоху полнотелых женщин [44]. Тем не менее его тяга к полной женщине объясняется отнюдь не историческими причинами или окружающей обстановкой; причины были скорее личными, ведь «женский вопрос» он рассматривал настолько плотно, что, можно сказать, свел его исключительно к вопросу о плоти. Мопассан воспринимал женщину так, как ее воспринимал Курбе [45] и как вообще, исходя из «пластических» или визуальных и профессиональных соображений, воспринимают ее художники [46]. Совокупление занимает значительное место в жизни Мопассана, точнее даже, в «распорядке дня» Мопассана, но лишь как нужда: ее требуется справить «по-быстрому», и она никак не связана с другими жизненными нуждами. Ги поступал с женщинами, как бык поступает с телками, как петух поступает с курами, как министр поступает с ложащимися на его стол докладными записками, под которыми он, не глядя, ставит свою подпись. Любовные связи Ги больше напоминают вязки. Мы не знаем ни об одной любовной связи Ги де Мопассана в том смысле, в каком понимаем любовную связь как «метафизический» союз между мужчиной и женщиной, чувство, вдохновляющее жизнь мужчины настолько, что оно окрашивает собой всю его деятельность, и в первую очередь умственную деятельность. Мопассан имел повседневные и беспорядочные связи с разного рода женщинами, но он не испытывал к ним сердечной склонности и, по сути, оставался человеком замкнутым. Одиночество «карнального» Мопассана странным образом схоже с одиночеством гомосексуалиста *(колодец одиночества...)*. В жизни гомосексуалиста недостает женского общества, и он восполняет этот пробел чрезмерной привязанностью к собственной матери — в соответствии с законом восполнения, по которому уцелевшей руке калеки передается сила отсутствующей руки [47]. Примечательная параллель: сентиментальное одиночество Мопассана вызывает «и» у него повышенную привязанность к матери. Как гомосексуалисты, так и карнальные типы вроде Мопассана питают к собственной матери такие чувства, которые

превосходят естественное чувство, питаемое обычно сыном к матери. Подобная любовь приобретает форму марианизма*. Иными словами, она усиливается любовью к «идеальной женщине» — чувством, присущим гетеросексуалам; однако гомосексуалисты и карнальные типы не могут питать его к женщинам, ибо они не только не любят, но и ненавидят женщин.

Существует множество причин, по которым сыновья любовь превосходит среднюю сыновью любовь к матери. Одну из этих причин, в случае с чрезмерной любовью Мопассана к своей матери, мы усматриваем в замкнутости Мопассана, обусловленной его карнальностью. Другую причину можно найти в его «безотцовщине», вынудившей Мопассана отказаться в пользу матери и от любви, которую он должен был бы посвятить отцу Гюставу [48]. Сколь же незатейливым и безыскусным оказывается творчество Мопассана по сравнению с причудливостью его жизни!

«Гомосексуальную» обособленность Мопассана следует вменить в вину его матери. Она сама подготовила Ги к этой изоляции. Впрочем, разве не матери, не сами ли матери, с их неумеренной любовью и назойливыми заботами, вызывают у сыновей ненависть к другим женщинам, безразличие, презрение, а главное, такое чувство, будто другие женщины «не нужны»? Лора де Мопассан была своему сыну Гвидону отцематерью. Она родилась в Руане в том самом 1821-м, судьбоносном для независимости европейских народов году [49].

«Лора де Мопассан принадлежала к высшим кругам нормандской буржуазии. Ее родителями были Поль Ле Пуатвен и некая м-ль Тюрен. Лора и ее брат Альфред Ле Пуатвен в детстве дружили с Гюставом Флобером и его сестрой Каролиной. Доктор Флобер, главный хирург больницы Hôtel-Dieu в Руане, и его жена, в свою очередь, были друзьями детства госпожи Ле Пуатвен. Лора Ле Пуатвен слыла красавицей и в возрасте двадцати пяти лет получила предложение руки и сердца от Гюстава де Мопассана. Этот брак «по любви» был заключен в 1846 году. Однако Гюстав оказался ветрeником и ловеласом. Он изменял жене направо и налево. Материнство отчасти сгладило разочарование г-жи Мопассан в супружеской жизни. 5 августа 1850 г. на свет появился Ги, а несколькими годами позже — Эрве. Лора понимала, что союз с таким мужем, который вел крайне беспорядочный образ жизни, был невозможен. После десятилетнего супружества Лора и Гюстав расстались».

Эти сведения о матери Мопассана мы почерпнули из «Мемуаров» ее подруги Рене д'Юльме, опубликованных в Ницце, в газете «Эклерёр» от 12 декабря 1903 года. Оригинальный текст не так скор и точен, зато иносказателен и подернут тем самым бонтоном, что был моден в конце ушедшего века и дивно сочетался со стилем «Сара Бернар», пуфами, балдахинами и салонными пальмами. Добавим, что Рене д'Юльме — не настоящее имя, а псевдоним некой девицы с куда более прозаичным именем Рэ. Мы намеренно остановились на этой подробности. Псевдоним *ronflant*** м-ль Рэ есть «указание на жанр». Жизнь Мопассана, его частная жизнь и — шире — его писательская жизнь, насквозь пропитана ядовитым жанром «розового чтива». Бедный Мопассан! Его писательская «правда» заслуживала более высокого литературного ранга. Итак, в тридцать пять лет Лора де Мопассан осталась бобылкой. И коль скоро за десять лет семейной жизни половая деятельность ее супруга разворачивалась преимущественно вне дома, уместно предположить, что половая жизнь г-жи Мопассан была не очень-то яркой и не очень-то долгой. Когда г-жа Мопассан была вынуждена отказаться даже от малой толики половой жизни, еще возможной в пору брачного союза, она пополнилась колоссальной половой энергией, которую, за неимением подобающих для нее вытеснителей, целиком «выплеснула» на своего первенца и любимца Ги [50]. В любви г-жи Мопассан к сыну Ги просматривается та сложная ее форма, в которой любовь матери к сыну смешивается с любовью женщины к мужчине. Со своей стороны, Ги проявлял по отношению к матери должное

---

* Марианизм — экзальтированный культ Девы Марии.

** Напыщенный *(франц.)*.

понимание и признательность. На «более чем материнскую» любовь он ответил «более чем сыновней» любовью. Всю жизнь Ги оставался холостяком. Найдется ли более «глубокая» причина «сознательного» безбрачия Мопассана? [51]

Скрытые причины иных безбрачий заслуживают того, чтобы о них знали. Часто холостяцкая или незамужняя жизнь является на самом деле формой брака. В книге «Поведайте, люди, о вашей истории» я поведал об истории поэта с острова Корфу Лоренцо Мабили и его сестры Эстер. Всю свою жизнь они прожили вместе, сохраняя совершенную девственность и принося друг другу в жертву те преимущества, которые многие люди находят в браке. Союз холостяков и незамужних внешне являет грустную картину, но в глубине таит изысканную форму счастья. Такой же случай, как с Лоренцо и Эстер Мабили, произошел с римским журналистом К. П. и его сестрой М.: они распрекрасно сожительствуют, отказавшись от какой бы то ни было формы сентиментального альянса. Еще необычнее, а может и диковиннее, представляется нам случай с братьями Т. Старший брат по профессии инженер-судостроитель, младший — журналист. Братья соединили свои безбрачия и живут вместе, вместе едят в траттории, вместе ходят в театр, в кино, в кафе. Братья Т. — двое верзил, весьма невзрачных и крайне медлительных; этакие Фафнер и Фазольт* в штатском; руки у них извечно висят плетьми, туловище слегка наклонено вперед, словно в естественном стремлении принять горизонтальное положение. Одинокая эта парочка частенько слоняется по римским улицам, заходит в кинотеатры, нагибаясь, чтобы не удариться лбом о притолоку; подолгу сидит в кафе, смотрит на женщин, медленно поворачивая голову и провожая их меланхоличным, бычьим взглядом; когда женщина, ведомая подобным взглядом, исчезает или сливается с толпой прохожих, братья вплотную придвигаются друг к другу и тихо переговариваются. Братство двух великанов весьма многословно. Однажды нас взяло любопытство: о чем же они там шепчутся? И мы подсели в траттории за соседний столик. Так мы узнали, что братья Т. говорят только об одном — о женщине. Часами судачат они о женщине, о женском теле, об отдельных частях женского тела, о самых мягких и мясистых частях женского тела; и все это с таким видом, будто они обмениваются ревностными тайнами. Пока богатыри обсуждают части женского тела пониже спины, округляя губы, чтобы как можно глаже передать округлое слово, на их лицах сохраняется суровое, озабоченное выражение. Впоследствии нам стало известно, что оба великанистых и жутковатых братца маются половым вопросом; и так как ни одному из них не удалось решить этот вопрос естественным путем, они соединили свои жизни, дабы разрешить его теоретически. Остается лишь отметить странное и утлое счастье всех этих союзов, подменяющих брак. Брак преследует разные цели: половую, сентиментальную... Не говоря уже о продолжении рода человеческого. Однако первейшая цель брака — дополнить и усилить положение мужчины и женщины в этом мире; создать между мужчиной и женщиной маленький, но прочный союз, позволяющий как бы с «удвоенным эгоизмом» противостоять опасностям, судьбе, а главное, одиночеству жизни. Именно этой цели, гораздо надежнее, чем нормальные союзы мужа и жены, служат союзы матери и сына, брата и сестры, сестры и сестры, брата и брата.

Ги отплатил за «более чем материнскую» любовь своей матери той «идеальной» любовью, какую мужчина чувствует к любимой женщине, Данте — к Беатриче, католики — к Мадонне. Он отплатил за эту более чем материнскую любовь тем, что считал женщиной только свою мать, а всех остальных женщин — самками [52]. В одном из писем к матери Мопассан называет *putains*** тех женщин, которые под присмотром «верного» Тассара регулярно посещали *garçonnière**** писателя [53]. Нежданное появление такого крепкого словечка наполнило Нивазио Дольчемаре изумлением, «внутренним» изумлением, изумлением, коробящим душу. Как можно употреблять подобные слова, обращаясь к собственной матери? Слово это тем более изумило Нивазио Дольчемаре, что

---

* Дракон Фафнер и великан Фазольт — персонажи скандинавской мифологии.

** *Здесь* все-таки: блядьми *(франц.)*.

*** Холостяцкую «берлогу» *(франц.)*.

сам Нивазио Дольчемаре в своих сдержаннейших, стыдливейших, невиннейших отношениях с матерью *ни разу даже не вспомнил*, что в жизни существуют «еще и» половые отношения. Лишь много позже Нивазио Дольчемаре все понял. Он понял, что письмо Мопассана, содержавшее слово *putains*, было адресовано не его матери, а его отцу, то есть его матери, *исполнявшей обязанности отца*[54]. Но и это не означает, что даже в таком понимании слово *putain* не огорошивает Нивазио Дольчемаре, так и не привыкшего к доверительному, «панибратскому» тону между отцом и сыном, к этакому свойскому тону, принятому среди сверстников и звучащему тем более странно, тем более неестественно, тем более фальшиво, когда к нему прибегают не сверстники, а отец с сыном, то есть двое несверстников, для которых разница в возрасте является не только физической, но и метафизической. Именно так обращался Ги де Мопассан к своему отцу, точнее, к своей матери *как представительнице отца*, когда испрашивал ее литературных советов, когда хотел услышать мнение о своих вещах или когда доверял ей вычитывать корректуру своих книг.

Любая мать предается мечтам. «Материнская мечта» не исчерпывается продолжением рода, вскармливанием и взращиванием. Есть в «материнской мечте» и «мечта демиурга», мечта, переходящая физические границы материнства.

Мать мечтает сделать из своего сына идеального мужчину, величайшего мужчину, бесподобного мужчину. Она мечтает сделать его таким сама. Мечтает «сделать» своего сына духовно, морально, даже умственно, после того как сделала его материально. В этом — созидательный пафос материнской мечты. Созидательный, поскольку он воодушевляется идеей миссии. Тайной миссии и зачастую неведомой самой матери. Неудачной миссии и в редких случаях доводимой матерью до конца. Отчаянной миссии, почти всегда завершающейся полным крахом. Миссией, противоречащей жизненным законам — жизненным «путям». Сын уходит от матери — не нарочно, не сознательно, ни тем более назло; просто этот уход предначертан жизненными «путями». И мать остается с пустыми руками, протягивая их в бессильном порыве, словно Ниоба, убитая не горем, но разочарованием — куда более жестоким, чем горе. И если бы мать добивалась только осуществления своей материнской мечты, если бы отважно следовала «только» своей смутной, бездонной мечте, она «предпочла бы» участь Ниобы, она скорее предпочла бы оплакивать мертвого сына, чем видеть, как он спокойно удаляется от нее, живой и здоровый, как погружается в свет собственной судьбы. Немногим матерям выпало столько счастья, сколько выпало на долю матери Ги де Мопассана. Немногих ублаготворила судьба так, как ее. Немногим дозволила быть своему дитяти еще и отцом. Немногим поблажила стать для своего сына наперсницей, сотоварищем, «женщиной». Немногим разрешила вдохнуть в своего ребенка вторую и более важную жизнь. Немногим дала возможность осуществить свою «материнскую мечту».

С той поры как г-жа Мопассан положила себе быть для сына еще и отцом, она не терпит вмешательства извне в свои дополнительные обязанности. Отец и сын почти не видятся. Грозная мать несет караул подле «своего» Ги. Наверное, она думает, что поступает справедливо; в действительности она лишь подчиняется животному чувству. Фривольный Гюстав признавался: *«Je vois bien rarement mon enfant grâce à la jalousie de Mme de Maupassant»**. После столь тонко употребленного наречия *grâce,* мы, со своей стороны, признаем за ветреным и пустым Гюставом де Мопассаном известную долю элегантной иронии — верный признак того, что зрелые цивилизации утончают даже дубовые головы.

Принято отмечать литературное сродство Флобера и Мопассана. Оно и понятно. Сродство очевидное, неоспоримое, оправданное. В литературном отношении Мопассана сформировал Флобер. Что к этому добавить? Мопассан и внешне похож на Флобера.

---

* Я крайне редко вижу свое чадо; и все благодаря ревности м-м де Мопассан *(франц.)*.

Однако внешнее сходство еще не повод для дерзких предположений. Не всякое сходство является наследственным. Довольно часто сходство бывает благоприобретенным. Так схожи между собой небо и море. И это высшая форма сходства. Сходство возникает благодаря приязни, верности, преданности, приверженности. Жена постепенно начинает походить на мужа (кроме тех случаев, когда более слабый муж в конце концов начинает походить на жену). Охотничья собака рано или поздно начинает напоминать охотника-хозяина (кроме тех случаев, когда более впечатлительный охотник рано или поздно начинает смахивать на свою собаку). Последователи славного учителя (скажем, Кардуччи, Ренана или Аугусто Мурри) в конце концов уподобляются своему учителю, имитируя его манеры, интонацию, даже дефекты речи. Благоприобретенное сходство — это воздаяние человеку, которого любят, которым восхищаются, которого уважают. В более глубоком смысле благоприобретенное сходство — это попытка уподобиться тому, кого любят, кем восхищаются, кого уважают — не исключая и метафизического чаяния слиться с ним, *стать им*. Кроме того, известны случаи коллективного сходства. В наше время диктаторов многие «искренне верующие» соревнуются в сходстве с Наполеоном III, Юлием Цезарем, Александром Македонским. Разумеется, чтобы приобрести желанное сходство, нужно обладать необходимой для этого восприимчивостью, делающей мужчину похожим на женщину. В свое время Мадзини распространил вокруг себя «тип Мадзини», то есть такой тип мужчины, который благодаря особой прическе, форме бороды и печальному выражению лица пытался походить на апостола итальянского республиканства. Существуют и менее «глубокие» формы благоприобретенного сходства, присвоенные себе модой; такие, как челки «а-ля Капуль»* (с завитками на лбу) или усы а-ля Кайзер. Более «глубокая» форма благоприобретенной схожести до сих пор бытует в Тоскане и выражается в том, что сын стремится всячески походить на умершего отца: если отец носил бороду, то и сын отпускает бороду, чтобы увековечить не только память об отце, но и его наружность. Году в 1909-м по Флоренции ходила точная копия Габриеле Д'Аннунцио. Полное сходство с оригиналом не только удовлетворяло странное тщеславие того, кто выставлял его напоказ, но и питало честолюбие его друзей: здороваясь с ним на улице, они тешили себя иллюзией, будто здороваются с настоящим Д'Аннунцио. В Пескаре, в доме, где родился Д'Аннунцио, я увидел фотографию, которую поначалу принял за портрет самого Д'Аннунцио. На самом деле это был портрет Антонио Д'Аннунцио, брата Габриеле. Бог весть, из каких честолюбивых соображений он принял облик своего знаменитого брата [55] (см. «К тебе взываю я, Клио» Альберто Савинио, с. 55).

Поговаривали, будто Мопассан был сыном Флобера. И хоть домыслы эти были опровергнуты, отцовство все же сохранилось. Есть несколько способов быть отцом. Помимо зоологического, это моральный, духовный и умственный способ. Флобер сам замечает в одном из писем к матери Мопассана: «Умственное отцовство ничуть не ниже кровного». (Какая «пикировка» скрывается за подобным утверждением?) Флобер был воспитателем и учителем Мопассана: учителем «натурализма». Со своей стороны, Мопассан заявлял: «Семь лет я проработал с Флобером, не напечатав ни строчки. Флобер дал мне столько в литературе, сколько я не усвоил бы и за сорок лет». Флобер правил домашние задания своего ученика, посвящал его в «технику романа». «Чтобы написать роман, — поучал автор «Мадам Бовари», — первым делом нужно долго вынашивать его замысел. После этого можно переходить к частностям, обдумывать каждую главу в отдельности, но ни за что не забегать вперед. Я намечаю написать страницу и не останавливаюсь до тех пор, пока не закончу ее. В этот промежуток времени остальной роман для меня не существует. Надо выкрикивать имена героев так громко, чтобы они звенели у тебя в ушах». Зазубрив данный рецепт написания романов, невольно вспоминаешь о том маэстро живописи, который делился со своими питомцами рецептом «телесной краски»; заодно вспоминается и рецепт «Пудинга тетушки Адели» достославного гур-

---

* Виктор Капуль (1839 — 1924) — французский певец.

мана и автора поваренных книг Пеллегрино Артузи. Однако продолжим: «Надлежит всматриваться в то, что хочешь выразить, долго и пристально, чтобы распознать в этом еще никем не увиденное и не выраженное». Наставник суров с учеником и, ежели уличит его в нерадивости, сей же миг и гаркнет громовым голосом: «За работу, нечестивец! К перу, недостойный писака!» Флоберу нравился живописный образ ворчливого, но доброго великана; его нимало не беспокоило, что эти «уступки живописному» являются признаками слабого самоконтроля и недостаточной прозорливости. Но был ли наш автор и впрямь так прозорлив, как полагал, если по иронии судьбы почил в бозе, создавая эпопею глупости? В конце своих теорем Спиноза обыкновенно выводил Q.D.E, то есть начальные буквы известной формулы: *Quod demonstrandum est*[*].

Одни авторы дружно признают «Милого друга» самым флоберовским романом Мопассана. Другие, например Поль Моран, находят, что наивысшей степени флоберизма Мопассан достигает в «Жизни». По их мнению, это та же «Мадам Бовари», перенесенная в иную обстановку... Не станем возражать. Правда, если «Мадам Бовари» — книга выжженная и пахнет паленым, то «Жизнь» — это слащавая и надушенная «Бовари», «Бовари» на десерт «под клубникой».

Флобер был для Мопассана не только интеллектуальным, но и нежным отцом, вобравшим в себя все свойства, составляющие моральную сущность отца. Впервые Флобер упоминает о Моппассане [56] в письме к матери Мопассана, датированном 30 октября 1872 г.: *«Ton fils a raison de m'aimer, car j'éprouve pour lui une véritable amitié. Il est spirituel, lettré, charmant, et puis c'est ton fils»*[**]. Мопассан отзывается на отцовское чувство Флобера встречной сыновней любовью, которую выразил однажды в манере дона Хозе, обращающегося к Кармен. Он говорит: «Флобер завладел моим сердцем».

А что же Гюстав де Мопассан, настоящий отец?

Гюстав исчез. Двери отцовства захлопнулись у него перед носом. Место отца прочно занял другой Гюстав.

В лучшей книге, написанной до сих пор о Мопассане, Поль Моран говорит, что отец Мопассана... Но слово *boursicoter* толком и не переведешь с французского. *«Après quelques années de mariage, d'un mariage d'amour, elle s'est séparée (vers I860) de son mari, ce joli homme léger et peu sérieux qui ne l'a pas comprise, qui l'a trompée et qui maintenant (1892) boursicote a Paris»*[***].

Полю Морану принадлежит и такое глубокое замечание: *«M. Gustave de Maupassant est un mystère: rien n'est plus mysterieux que les êtres sans profondeur»*[****].

Monsieur de Maupassant boursicote...

Взгляните, какие странные образования возникают от брошенного наугад слова и какой поразительный «роман» можно было бы написать, исходя из одних лишь сравнений. (Вслед за Флобером нам так и хочется предложить собственный «рецепт романа».)

Парижская Биржа находится в здании классического стиля, хотя по части стиля ее не сравнить с римской Биржей, расположенной попросту среди руин древнего храма Нептуна. В полуденный час, когда во время оно у входа в храм полагалось опускать полог, ибо боги почивали от трудов своих, навязчивый гул свидетельствует на всю округу о бурной деятельности парижской Биржи. Впервые услышав на бульваре Пуассоньер этот жуткий шурум-бурум, Нивазио Дольчемаре подумал было, что спустя сто двадцать один год парижане вновь штурмуют и крушат Бастилию, — и зашагал осторожнее. Вскоре он убедился, что несмолкающий перегуд был не чем иным, как объединенными воплями

---

[*] Что и требуется доказать *(лат.)*.

[**] Твой сын правильно делает, что любит меня, ведь и я питаю к нему искреннюю дружбу. Он остроумен, начитан, обаятелен, и к тому же он — твой сын (*франц.*).

[***] После нескольких лет законного брака, брака по любви, она разошлась (к 1860-му) со своим мужем, легковесным и легкомысленным красавцем, который ее не понимал, изменял ей и который теперь (1892) обделывает биржевые делишки в Париже (*франц.*).

[****] Мсье Гюстав де Мопассан — тайна; нет ничего таинственнее существ, лишенных глубины (*франц.*).

доверенных лиц биржевых маклеров: скучившись на парадной лестнице Биржи под неоклассической колоннадой, они осуществляли куплю-продажу всевозможных *Ренд Майнс, Ройял Датч* и *Рио Тинто*. Видя, с каким пылом горланят эти крикуны, Нивазио Дольчемаре решил, что так называемая игра на Бирже есть на самом деле соревнование по перекрикиванию и выигрывает на Бирже тот, кто сильнее надсадит глотку. Это напомнило Нивазио Дольчемаре один пассаж из «Римских прогулок» Стендаля — о том, как спорят итальянцы. Увы, при всем желании мы, итальянцы, не можем полностью опровергнуть данное наблюдение. У Стендаля сказано, что в Италии прав тот, кто всех переорет. Возле парадной лестницы есть отдельная площадка, прозванная «Мокроногой Биржей». Агенты толкутся тут под открытым небом, а когда идет дождь, вынуждены мокнуть. На «Мокроногой Бирже» выставлены для всеобщего ознакомления акции, отпечатанные на превосходной бумаге, с внушительными названиями — и при этом абсолютно фальшивые. Простаки скупают их пачками и бережно несут домой, уверенные, что стали обладателями целого состояния. В начале своей парижской жизни, не устояв перед дьявольским соблазном, а может попросту прельщенный зазывными криками маклеров [57], Нивазио Дольчемаре тоже ударился в игру на Бирже. Кое-какие свои сбережения, привезенные из Италии, он вверил биржевому маклеру по фамилии Мейер и под залог этого небольшого вклада мог в течение нескольких дней совершать пресловутый *coup de pistolet**, то бишь покупать определенный пакет акций и перепродавать его в тот же день, зарабатывая на разнице цен. Но вот незадача: когда Нивазио Дольчемаре играл на повышение, курс акций падал, а когда он ставил на понижение, курс, наоборот, взлетал. Словом, очень скоро сбережения, привезенные Нивазио Дольчемаре из Италии и переданные биржевому маклеру Мейеру, улетучились.

Впервые Нивазио Дольчемаре приблизился к парижской Бирже прекрасным мартовским днем. Неподалеку от нее, на Итальянском бульваре, в шляпном магазине «Принц Галльский» он купил превосходный котелок цвета кофе с молоком, зашел в кафе и заказал для храбрости двойной коньяк. Решительно направился он к неоклассическому порталу, прошел мимо «Мокроногой Биржи» с видом, говорившим «со мной этот номер не пройдет»; поднялся по главной лестнице и, чуть трепеща, слился с толпой орущих мужчин. День, как мы сказали, был ясный, но прохладный. Неожиданно Нивазио Дольчемаре почувствовал, что голова его почему-то мерзнет. Потрогал череп — голый. Поднял глаза — его котелок цвета кофе с молоком реет над ревущей толпой, то возносясь в небо, то переходя в пике, то снова взмывая; котелок казался миниатюрным воздушным шариком, окрещенным «Орля» — так называется один из самых страшных и самых безумных рассказов Мопассана, — на котором Мопассан собственной персоной безмятежно возносился над землей, когда любовные подвиги и прогрессивный паралич уже не позволяли ему непосредственно предаваться гимнастическим забавам вроде гребли, бывшей его юношеской страстью. Нивазио Дольчемаре огляделся: вопящие мужчины все были с непокрытой головой. Опозоренный и возмущенный, Нивазио Дольчемаре хотел было обратиться к «городскому сержанту», задумчиво прислонившемуся к колонне перистиля, но ему недостало мужества. Пришлось тихонько ретироваться с понурой, оголенной головой, так и не сделав первый *coup de pistolet*. Назавтра биржевой маклер Мейер внес ясность в казус с котелком: по старому поверью парижских биржевых игроков, головной убор — это к несчастью. Навсегда распрощался со своим котелком Нивазио Дольчемаре. Единственным утешением было для него то, что его восхитительный фирменный головной убор, должно быть, стал собственностью какого-нибудь Гюстава Мопассана — одного из бессчетных Гюставов, что посещают парижскую Биржу между полуднем и двумя часами; одного из пасынков судьбы, несуразных Ариэлей, вечно гонимых прочь женой и детьми, влачащих жалкое, нелепое существование, никому не нужных, потерянных, беспомощных и мухлюющих себе под неоклассической колоннадой и несмолкающий, воинственный ор.

---

* Пистолетный выстрел (*франц.*).

А что же Гюстав?

Ромул исчез в разыгравшейся буре. Гюстав де Мопассан — примерно так же: в бурном гвалте биржевых маклеров [58]. Впрочем, не пора ли подновить исторический слог и сказать, что Ромул, «воспользовавшись бурей, удалился по-английски»?

Надо же, по мере того как мы извлекаем этого человека из его волшебного ящика, он вызывает в нас все больше симпатии, нравится нам, забавляет нас. Скажем прямо: мы предпочитаем Гюстава де Мопассана его сыну Ги. Мы предпочитаем его биному Флобер-Мопассан. Мы предпочитаем его сыну и мнимому папеньке, единым в своем стремлении погрузить Гюстава во мрак. Двуликий герой Флобер-Мопассан (Флобер и Мопассан поистине составляют цельный образ; к тому же их союз имеет под собой и некую статуарную, «монументальную» подоплеку) чересчур отдает типом галла [59], чтобы прийтись нам по вкусу. Есть в этой их тяжеловесности, в этом их нормандизме, в этом верцингеторизме* что-то нелепое и неуловимо комичное; тем более нелепое и комичное, что оба они об этом и не догадываются. Имея ясное представление о зрелой цивилизации и — в рамках этой цивилизации — о высшем типе цивилизованного человека, то есть человека, освободившегося от бремени силы и борьбы, веры и цели, смыслов и выразительности, мы находим, что гораздо ближе к этому типу «невесомого» человека стоит мсье Гюстав де Мопассан, а не его буйволический сын [60] и не его тезка и заместитель на отцовском посту Гюстав Флобер. Не будем обольщаться: грядущее... да что грядущее — бессмертие за этими людьми-пушинками, за этими невесомыми людьми, ибо выживают *(ils surnagent)* только невесомые люди, только их не сражает борьба, не уносит смерть, потому что легкий человек, человек-пушинка, не внутри вещей, но вокруг них, над ними, как воздух и свет: свободный и принадлежащий самому себе. Эту легкость Гюстав де Мопассан впитал с молоком матери. Его бабка родилась на острове Бурбон. Как и в Жозефине де Богарне, в нем текла креольская кровь. Смуглость, пусть даже в самых мягких формах, ведет к легкости. Странное дело, но тяжеловесность присуща блондинам. Тяжеловесность со всеми ее производными: упрямством, скудоумием, косностью. Брюнеты куда легче блондинов, вопреки призрачному ангелообразию последних. Ангелам скорее пристало быть неграми, если ангел — это и впрямь легкокрылое, как птичка, существо, вечно поющее и танцующее. Что может быть более ангельским, чем «Зеленые пажити»** ? Я отнюдь не в восторге от такой палитры рая, однако наиболее убедительный рай, явленный нам до сих пор, наиболее выразительный Эдем — это Рай Негров. Меж тем как озадаченные сложными расчетами жирные и увесистые ангелы-блондины в толстых линзах от близорукости изучают материю, погрязли в материи, пропахли материей и совершенствуют изо дня в день свои гнетущие, кровожадные сны.

А что же Гюстав?

Мало того что Ги де Мопассан отвернулся от отца (не отцы должны быть рядом с сыновьями, а сыновья рядом с отцами; отцы нуждаются в сыновнем отцовстве), но и воспылал к нему той темной, подсознательной ненавистью, которую Фрейд окрестил именем, навеянным историей Фив. Значит, Ги отошел от отца, чтобы не стать отцеубийцей? Возможно, это равнодушное безучастие следует воспринимать как меру предосторожности и в конечном счете проявление такта. Возвращаясь к чувству отцовства, заметим: в Мопассане есть нечто недосказанное, что тревожит его и никак не забывается. Ги одержим идеей отцовства. Господин Рене Дюмениль, автор книги о переписке Мопассана, подсчитал, что тридцать два произведения этого автора (среди них рассказы и романы) сюжетно строятся на теме подкидыша или незаконнорожденного. Был ли отцом сам Мопассан? Одни биографы приписывают ему сына, другие — сына и двух дочерей. Но доказательств нет. Да и нужны ли они?

Далекий, невидимый, ветром подбитый Гюстав де Мопассан в течение десяти лет

---

* Верцингеториг (ок. 72 — 46 г. до н.э.) — предводитель галлов в их борьбе против войск Юлия Цезаря.

** Пьеса (1930) американского драматурга М. Коннелли (1890—1980).

оказывает материальную помощь своему сыну Ги. Когда Ги достигает возраста, в котором пора самому становиться на ноги, отец хлопочет за него в Морском министерстве [61].

Прошло двадцать лет. Ги стал богатой знаменитостью, купил себе яхту — он, так любящий море и вообще воду, — и назвал ее «Милый друг». Однажды с палубы своей яхты Мопассан осматривал в подзорную трубу побережье мыса Антиб [62]. Неожиданно в объективе оптического прибора возникла фигура пожилого мужчины, вызвавшая у писателя, уже охваченного к тому времени прогрессивным параличом, следующее замечание: «Странно! Лицо этого человека мне как будто знакомо».

Подумать только, ведь первопричиной нашего прихода в этот мир является любовь!

Тем человеком был его отец.

Отец и сын встретились на берегу, поговорили несколько минут и распрощались. Теперь уже навсегда.

Мчатся годы. Паралич властно овладевает телом и духом Мопассана, заполоняет, скручивает писателя, подминает его под себя, укладывает на обе лопатки.

Гюстав да Мопассан прочно осел на Лазурном берегу — этом Эдеме французских капиталистов разного калибра. В один прекрасный день он, как обычно, вышел на прогулку из своего дома в Сент-Максиме. Стоял солнечный день. По дороге он купил свежую газету и сунул ее в карман не разворачивая, чтобы спокойно прочесть дома после обеда. Жители Сент-Максима знают друг друга в лицо, как знали друг друга жители маленького папского Рима, и, прогуливаясь днем по виа дель Корсо, беспрестанно здоровались. Прохожие косятся на мсье Гюстава де Мопассана и переглядываются. На первой странице газеты опубликовано известие о смерти Ги де Мопассана. Об этом знают все, и только он, отец, ничего не знает. А все потому, что газету он читает не до, а после обеда. Он бредет по улочкам Сент-Максима, провожаемый прилипчивыми взглядами горожан, словно степенный господин, шагающий себе в полном неведении о том, что дерзкий шалун прилепил ему на спину бумажное солнышко.

Легким человеком был Гюстав де Мопассан, но далеко не совершенным в своей легкости, несовершенным в своем ариэлизме старого мухлевальщика. Иначе он не купил бы газету, но, даже купив, не прочел бы ее и не пожелал бы знать, что его сына больше нет.

Пока наш правый глаз следит за этими строками, левый [63] засмотрелся на стоящий перед нами портрет легковесного Гюстава де Мопассана. Ариэль постарел, сидит на стуле, утопая в черноте. Он похож на Гамлета. Старого Гамлета. Не столько на самого Гамлета, сколько на актера в роли Гамлета. Гамлета в непривычном белом облачении. Гамлета, впервые облаченного в белое. Облаченного в белое для того, второго, первопричастия, которое совершают старики, прежде чем отойти в мир иной. Ибо Гюстав де Мопассан был белым. Был белым. Был белым.

Две темы преобладают в жизни и творчестве Мопассана: женщина и вода. Воду Мопассан любил в разных ее формах: морскую, речную, купальную, душевую. Любил ли Мопассан воду в ее питейной форме? Этого мы не знаем, но склонны в это верить. Мопассан как бы томим жаждой. В его постоянном желании «приводниться» чувствуется потребность не столько очиститься, сколько «загаситься». Какой огонь бушевал внутри корпулентного Мопассана, внутри этого непристойного и неподъемного куля из мяса и костей? От какого пламени кукожилась его дерма [64]? Мопассан «прибегает» к воде, чтобы «защититься», «спастись», «схорониться». Мопассан «укрывается водой», как от холода укрываются пледом. Эта водомания становится для Мопассана «средством», «снадобьем», прямо-таки *орудием*. Словно вода должна предотвратить или хотя бы замедлить наступление грозящей ему водобоязни. Кабы мифологические сравнения не были совершенно неуместными в отношении Мопассана (мало кто так не сочетается с поэтикой мифа, как Мопассан), то можно было бы сказать, что Мопассан чувствовал на себе тунику Несса; что он бросался в воду, как животное, объятое пламенем. Быть мо-

жет, эта тяга к воде и всему текучему, в том числе и крепким напиткам, объясняется общим состоянием сифилитика [65]. Этого мы не знаем [66]. Впрочем, помнится, и Ницше любил воду, жаждал воды, «испытывал нужду» в воде и расхваливал Турин за обилие и свежесть городских фонтанчиков. Возможно, Мопассан видел свой «удел» в том притягательном воздействии, которое вода оказывает на человека, на целые народы, на историю человечества, на судьбы мира. Ибо вода оказывает на человечество такое же воздействие, какое луна оказывает на море. В некотором смысле море определяет «приливы и отливы человечества», судорожные порывы отдельных народов, таких, как германцы и славяне, — словно подрагивание спящих, которым снятся кошмары; их смутное желание выйти из земной темницы, вызванное *прежде всего* морским притяжением, «потребностью в море». Германский «вопрос», который вот уже добрые две тысячи лет изводит германцев, а следом и другие европейские народы, мигом разрешился бы, сумей германцы переместиться на берег моря — разумеется, такого моря, которое соизмерялось бы с их громадой, мощью, энергией, неукротимостью. То же самое произошло бы и со славянами. Исключительность греческой цивилизации — редкостный пример «самодостаточности» (цивилизация — это упразднение «вопросов» и самодостаточность) — во многом обусловлена тем, что в географическом контуре греческой цивилизации доля моря несравнимо выше доли суши. Это относится и к итальянцам. Итальянцы начинают мучительно биться над «вопросами» лишь тогда, когда *mare nostrum** становится для них слишком маленьким. Тут-то итальянцев и охватывают поистине «океанские» амбиции. А «виноват» во всем Христофор Колумб, после открытия Америки сместивший ось цивилизации. С этого момента и берут начало «умаление», «захолущивание», «оглухоманивание», «злосчастье» Италии. Легендарные деяния «странствующих» завоевателей (таких, как Аттила, Чингисхан и т. д.) объясняются отсутствием моря и притягательностью моря. Поиск моря — вот причина опустошительных набегов этих «бичей Божиих»; иные причины мало что проясняют. Чего искали эти ненормальные?.. Они искали море. Тамерлан тоже испытывал морское притяжение и, сам того не сознавая, пронизал всю Азию под воздействием этой магнетической силы. Но Тамерлан так и не удостоился чести обрести море и на подходе к Геллеспонту приказал долго жить. А теперь тем, кому не терпится узнать, почему море обладает такой притягательностью, мы ответим буквально следующее: ничто так, как море, не вызывает в этом мире чувства бессмертия [67].

Мопассан любил море, но любил по-своему, как женщину; любил «мопасально», любил, как унылое животное; любил по-скотски. Он не любил море за необъятное сердце, бьющееся в море; он не любил море за победоносный взгляд, который море обращает вокруг себя, словно луч маяка, мерцающий день и ночь; он не любил море за неотразимую душу, которую выдыхает море из своей текучей груди. Мопассан не любил море, как любил его Одиссей, как любил его Бёклин, как любил его Жюль Верн, как любил его Конрад [68], как любит его Нивазио Дольчемаре. По правде говоря, Мопассан любил не столько море, сколько воду. Он любил трогать воду. Он любил воду на ощупь. Он любил воду за то «легкое» удовольствие, которое получаешь от прикосновения к воде. Он любил воду за то ощущение контраста, которое она вызывает у земной твари. Тот, кто любит «разум» воды, смотрит на воду издалека, но не трогает ее. «Поэзию моря» Мопассан исчерпывает в нижеследующих строках, написанных им в шестнадцать лет и представляющих собой отнюдь не бросовый образчик:

La vie est le sillon du vaisseau qui s'éloigne...
C'est le cri du marin englouti par la mer... [69]

Все его творчество залито водой: реками, озерами, морями. Все его творчество наводнено играми и трагедиями, связанными с водой. Однако во всем этом водяном царстве не сверкнет ни одного особенного взгляда, не зазвучит ни одного голоса, на ко-

---

* Наше море *(лат.)* — древнее название Средиземного моря.

торый хотелось бы обернуться, не отзовется эхом ни одного отголоска, который запал бы в нашу память [70]. Мопассан — тварь сугубо земная. И шкура, и шерсть, и взгляд у него — земной твари [71]. Он «сконструирован», чтобы копаться в земле, в пыли, в грязи. Он скорее раздается вширь, чем вытягивается вверх; и ноги у него по-звериному короткие и кряжистые. Именно эта сухопутность вызывает у Мопассана постоянную, непреходящую тягу к воде. Что еще? Когда юному Мопассану приходит пора добиваться положения в обществе, то благодаря особому покровительству своего невидимого отца ему удается заполучить местечко сверхштатного служащего среди тысяч «канцелярских крыс» [72], составляющих тьмочисленную армию французских чиновников. Из множества столичных министерств — торговли и юстиции, иностранных дел и гражданского строительства, обороны и народного просвещения — он держит курс на уходящее за горизонт Морское министерство [73].

В устойчивом водопристрастии Мопассана таится и нечто более глубокое, сокровенное, загадочное. Есть в нем и психическая подоплека. Это желание отмыться: смыть с себя вину, пятно, некую черноту, грязь. Мопассану хочется, чтобы вода, струящаяся по его телу, отбелила его (очистила «метафизически»). Ему хочется, чтобы вода растворила его, как растворяет сахар [74]; чтобы вода вымыла из него сидящего в нем «мопассана». Ему хочется, чтобы вода — вечно ускользающая и вечно подвижная — вывела всю землистость, черноту, все безобразие, уныние, всю низость, подлость, все темное, тленное, плотское, мохнатое, жирное, что составляет Мопассана-человека и что как раз нужно облачить (утаить), натянув поверху пару лакированных сапожек, сверкающих, как клеенчатые трубочки, и заостренных, как чертежные карандаши; принарядив в костюм от *bon faiseur**, в сорочку, выстиранную в Париже и отглаженную в Лондоне, в *chapeau-de-soie***, сделанную на заказ [75]. Мопассан надеялся, возможно отчаянно надеялся, что вода, омыв его с головы до ног, унесет с собой это мрачное, пагубное, самовластное существо, живущее внутри его, и растущее, растущее, растущее, и обретающее над ним неодолимое могущество. Он надеялся, что вода унесет с собой зло, сидевшее в нем и снедавшее его, — того черного постояльца, того ненасытного змия, который проник в его плоть и грубо помыкал им...

*Alea jacta est****.

Здесь, в «театре» [76] одного актера по имени Мопассан, падает черный занавес. И в кромешной тьме зрительного зала глухой голос, тоже черный [77], вопрошает:

— Что это за черный постоялец хозяйничает в теле Мопассана?

Сцена освещается *(общая картина: задник воспроизводит обычный зрительный зал; перед суфлерской будкой — стул; в глубине сцены — воображаемая дверь...)*. Звучит короткая интерлюдия. Из воображаемой двери появляется новый персонаж. Он выходит на авансцену, чинно приветствует зрителей и садится на стул.

Это чревовещатель. Зрители — мужчины и мальчики вытягивают шеи в нетерпеливом ожидании; женщины поудобнее располагаются в креслах, готовясь проскучать еще четверть часа; потому что мужчины подвержены очарованию оружия, боевых кораблей и чревовещания, а на женщин эти чары не действуют. Мы, и только мы, сидящие в глубине зала, распознали в чревовещателе помянутого Ги де Мопассана. Остальные смотрят на него, но не знают, кто это. Мопассан очень похож на собственные портреты, составленные его биографами. *«Он низкорослый, во всяком случае, кажется таковым, потому что у него большая голова и длинное туловище»* (Поль Моран). *«Ему больше идет, когда он сидит, чем когда он стоит»* (поклонница). *«У него такая развитая, атлетическая мускулатура, что однажды какой-то борец принял его за коллегу»* (еще одна поклонница). *«Из-под котелка (на сцене Мопассан с непокрытой головой) выби-*

---

* Хорошего портного *(франц.)*.
** Шелковую шляпу *(франц.)*.
*** Жребий брошен *(лат.)*.

ваются слегка курчавые, густые волосы» (Леон Фонтэн, друг Мопассана). *«Наружность времен Второй империи. Квадратные плечи, шея вставлена в торс; телодвижения борца или чернорабочего; при ходьбе голову подает чуть вперед, что свидетельствует о решительном, волевом характере; вид человека, который должен скончаться в одночасье после долгой и полновесно прожитой жизни»* (Абель Эрман)[78].

В отличие от большинства чревовещателей, притворяющихся, будто они выступают с «говорящими» куклами, Мопассан на сцене один. Один, как мертвец. Мопассану не нужно притворяться, потому что он только с виду один. Из всех чревовещателей он единственный, в ком сидит «другое» существо. Оно живет внутри Мопассана. Существо говорит и растет. Скоро оно окончательно подменит его.

Подмена. Это слово точнее всего объясняет случай с Мопассаном и многие другие схожие случаи. Отдельные формы ухудшения деятельности человеческого организма мы по привычке, инерции, верхоглядству продолжаем называть болезнями. На самом деле это не что иное, как подмены. Если организм уступает, так это потому, что организм-заместитель побеждает. Человеческий организм обладает подобным свойством: он как бы заранее служит пристанищем, приютом, убежищем для некоего инородного тела, которое должно в нем обосноваться словно незваный и надменный гость. В один прекрасный день тот, кому, собственно, принадлежит организм, вдруг обнаруживает, что внутри своего организма он уже не один, а «вдвоем».

В случае с Мопассаном это открытие произошло следующим образом.

Мопассан, как известно, был натуралистом. Его учитель Флобер приобщил Мопассана не к литературе вообще, а к «натуралистической» литературе. Иными словами, Мопассан описывал исключительно естественные явления, а также то, что видел сам. В этом смысле наставления учителя были недвусмысленны: «Следует долго и внимательно всматриваться в изображаемые предметы и лица с тем, чтобы открыть в них нечто такое, чего еще никто не замечал». И далее: «Если хочешь описать пылающий костер или одинокое дерево, вглядывайся в этот костер и в это дерево до́ тех пор, пока они не перестанут напоминать тебе любой другой костер и любое другое дерево». Все это лишний раз доказывает, что глаз был нужен Мопассану не просто как орган зрения — по сравнению, скажем, с Бетховеном, которому ухо нужно было, чтобы слышать, а не сочинять симфонии и квартеты, — но как средство, инструмент писателя и потому приобретал еще бо́льшую ценность. Не говоря уж о том, что глаз был для Мопассана-бабника еще и инструментом соблазна: *«De magnifiques yeux de topaze brûlé (la paupière malheureusement rouge), le regard caressant»** свидетельствуют его биографы. Каковы же были удивление, испуг и боль Мопассана, когда зрение его замутнилось и затуманился его взгляд... Флобер был для Мопассана не только учителем изящной словесности. Он был ему учителем жизни, добрым советчиком и, как уже было сказано, — отцом. И не таким, как отец Нивазио Дольчемаре, от которого все на свете утаиваешь; а таким, которому все на свете поверяешь. И ученик рассказал учителю о глазном недуге. И встревоженный учитель немедля направил его к своему другу Абади. Что же выяснилось после первого визита к окулисту? Этого мы не знаем. Тем временем умирает Флобер. В один прекрасный день апоплексия сдавила узловатыми руками горло мускулистого нормандца, когда тот работал над эпопеей о глупости, и задушила его. И, глядя на черное, навеки умолкнувшее лицо учителя, Мопассан увидел, как оно постепенно становится все чернее и чернее. И точно так же тускнели на его глазах люди, стоявшие вокруг покойного, предметы обстановки, небо за окном: то была глазная болезнь, тьма, сумерки, спускавшиеся на глаза живого, — немногим менее густые, чем те, что спустились на глаза мертвого. После второго, более грозного сигнала Мопассан отправился к известному окулисту, доктору Ландольту. Доктор заглянул в глаз Мопассана. Он заглянул в глаз Мопассана,

---

* Об изумительных глазах цвета жженого топаза (под, увы, воспаленными веками) и нежном взгляде *(франц.)*.

как астроном заглядывает в трубу телескопа. Что увидел астроном-окулист? Иногда небесные тела открываются «косвенно». Например, с помощью снимков отдельного участка звездного неба, где они вращались невидимо и незамеченно; или, как это было с Плутоном, по тому воздействию, которое их незримое присутствие оказывает на жизнь других планет. Ландольт спросил Мопассана, не переносил ли тот тяжелых заболеваний. Мопассан поскреб борцовский лоб, порылся в памяти и ответил отрицательно. «Точно?.. Никакой заразной болезни?..» Мопассан переворошил былое: «Никакой». И все же... На снимке звездного неба среди множества точечек, каждая из которых представляет собой небесное тело, находится новая черная точечка, отсутствовавшая на предыдущих снимках. Но еще неизвестно, то ли это новое небесное тело, то ли пятнышко на фотопластинке. Вот и окулист «косвенно» обнаружил в ранней атрофии глазного нерва [79] присутствие постояльца, угнездившегося внутри Мопассана.

Итак, Мопассан-чревовещатель сидит перед нами на сцене. И для нас — *посвященных* — этот одинокий человек, выхваченный из темноты огнями рампы, являет собой печальное и тягостное зрелище. Для нас, которым ведомо, что внутри этого человека, который утратил прежний бычий норов и переродился в сонного сивого мерина, скрывается некое существо, которое [80] совсем скоро взнуздает и повалит его; и все, что отныне *usque ad finem** скажет сивый мерин, скажет не он, а некто *другой* — по крайней мере, все главное, важное, *новое*. Ибо для нас важнее всего было подойти к тому, о чем не заикнулся еще ни один из мопассанопытов, коим несть числа [81], в какой-то момент в Мопассане зародился другой Мопассан; и первый Мопассан был похож на второго Мопассана, как темный город похож на освещенный город, как погребенный покойник похож на живого мореплавателя, как крот похож на орла.

Мопассан-чревовещатель одет во фрак. Старинный фрак, скроенный и пошитый личным портным «маршала земли французской» [82]. Не столько от времени, сколько от перемены, произошедшей в самом Мопассане, фрак потерял прежний лоск, сидит мешковато, а на коленях отрастил пару отвислых грудей.

Мопассан тоже потерял прежний лоск и сидит мешковато, подобно собственному фраку. Теперь он сам — старый фрак, разгуливающий где попало. Манишка помялась, экс-белоснежные перчатки свисают с запястий, набухшие и полые, как руки почечного больного; огромная голова сплющила гармошкой воротничок; она словно сделана из папье-маше и смахивает на головы тех потешных болванчиков с застывшим взглядом и неизменной ухмылкой, что парят над карнавальной толпой в Ницце; или на головы четырех слабоумных, понуро бредущих гуськом по склонам холмов перед Плумаром в рассказе Джозефа Конрада, — явном подражании сельским *contes* Мопассана.

Только что́ нам теперь до сельского Мопассана? Что нам до парижского Мопассана? Что нам до салонного Мопассана? Что нам до Мопассана «семидесятых», пусть даже лучшего из всех Мопассанов, наименее ограниченного рамками малого жанра, из-под пера которого выходит все меньше вещей со счастливым концом?

Мы пришли сюда, чтобы услышать *другого* Мопассана, Мопассана, таящегося в мешковатом старом фраке, под сморщенной манишкой. Он будет говорить все громче и резче и в конце концов заговорит «абсолютно».

Итог этого дуэта не подлежит сомнению.

Двухголосая партия длится довольно долго. Еще во времена Мопассана № 1, его ослепительного блеска — так блестит фольга от конфетной обертки, — нет-нет да и пробивался одинокий, преждевременный, невнятный голосок, который в один прекрасный день должен был возобладать. И сквозь марево рассказов Мопассана № 1, сквозь гудящий рой всевозможных «Сестер Рондоли», «Дядей Состенов», «Свиней Моренов» и прочих вещиц в том же роде, сварганенных из анекдота, побасенки или авторской находки, то и дело слышался куда более высокий, проникновенный, волнующий голос

---

* Вплоть до самого конца (*лат.*).

Мопассана № 2. Голос (поначалу кажется, что это фальцет — *une voix de tête* [83]) вещает о поразительных, невиданных взлетах и падениях, нашептанных изнутри «черным постояльцем» — вдохновенным и жутким гостем бедного Ги («На воде», «Орля», «Кто знает?»). Они настолько поразительны, что превосходят невероятные рассказы По, настолько впечатляют, что сам Нивазио Дольчемаре был бы счастлив «увидеть» подобные взлеты и падения и поведать о них. С полным правом Мопассан может теперь сказать о себе: *Est deus in nobis*[*].

Взыскательный бог. В первое время он вдохновляет, подсказывает, направляет, но с известным тактом — так, что мнится Мопассану, будто это его мысли, его находки, будто это пишет он. Дальше — больше. Божок-квартирант становится все требовательнее. Пользуясь тем, что художник он более искушенный, что в уме с ним не потягаешься, что воображение у него куда изощреннее, он мало-помалу вытесняет Мопассана из его творчества. Упомянутые нами новеллы «Орля», «На воде» и «Кто знает?» диктует онемевшему и покорному Мопассану уже он. Диктует властно и непререкаемо. Какие там бульвары! Какие салоны в квартале Монсо! Какие фермы плодородной Нормандии! Какие канцелярские крысы и потаскушки! Какие сутенеры и мещане! Какая там обыденность — горькая или сочная, полная разочарований или свинства! Тут совсем другое! *Majora canamus*[**]. Мопассан, писатель *bien parisien*[***], Орфей бульваров и аристократии, на целых сорок лет предвосхитил «автоматическое письмо», став его безупречным практиком.

Взыскательному богу, черному постояльцу мало вытеснить Мопассана-писателя; он начинает вытеснять и Мопассана-человека. И Мопассан уступает. Он живет и работает *за счет того, «другого».* Шаг за шагом тело Мопассана становится инструментом, средством передвижения чужой воли. Мопассан уже не в состоянии понять, где кончается он и где начинается *другой*. Принимаясь за какое-то дело, он не уверен, что *сам* доведет его до конца. Не успеет он о чем-то заговорить, а другой того и гляди продолжит разговор за него. Мопассан *переходит в услужение к «другому».*

Однажды вечером (1889 год) Мопассан сидит за своим рабочим столом и вдруг слышит, как открывается дверь в его кабинет. С чего бы это? У «верного» Франсуа Тассара есть четкое указание никого не впускать к хозяину, пока тот работает. Мопассан оборачивается и видит, что́ он сам, собственной персоной, заходит в кабинет, усаживается за стол напротив него, подпирает ладонью голову и *начинает диктовать то, что он пишет*. Не мы ли чуть выше говорили об автоматическом письме?

По мере того как тело Мопассана наполняется присутствием «другого», оно утрачивает само себя. Но присутствие «другого» *не согревает*, и Мопассану холодно, ему постоянно холодно, ему все холоднее и холоднее.

Докуда простирается братская любовь? Вот редчайший тому пример. Младший брат приносит себя в жертву, словно заранее показывая то, что вскоре произойдет со старшим братом. Эту *благородную и трагическую* демонстрацию устроил своему брату Ги Эрве де Мопассан. Приведем некоторые отрывки из книги Жоржа Норманди «Конец Ги де Мопассана»: «Подобно Ги, Эрве увлекался физическими упражнениями. Юноше нравилось бороться с портовыми грузчиками в Фекане. Находясь на военной службе в Африке, в чине унтер-офицера, он смело бросал вызов лучшим конникам и лучшим клинкам. *(Сколь же велика тяга Мопассанов к неумственной деятельности!)* Перебесившись в молодости, Эрве поселился в окрестностях Ниццы, обзавелся семьей и стал разводить цветы».

Больше о нем ничего не известно. Кроме следующего «эпизода».

Как-то раз Эрве де Мопассан упал в обморок (родители говорили «солнечный удар»; Франсуа Тассар уточнял: мсье Эрве работал под знойным солнцем с непокрытою голо-

---

[*] Бог — в нас *(лат.)*.
[**] *Здесь*: Бери больше *(лат.)*.
[***] Вполне в парижском духе *(франц.)*.

вой). После этого с Эрве случился ночной приступ горячки. Тогда мать уговорила его поехать в Париж и «посоветоваться со старшим братом». Врачи предписали Эрве покой и смену обстановки. Кто же, как не Ги, мог подыскать для него подходящее местопребывание? О покое и смене обстановки врачи сказали матери. Ги они сообщили, что его брата следует поместить в клинику для душевнобольных. Ги встретил беспокойного пассажира на вокзале. Они пошли перекусить. Эрве был в приподнятом настроении. Днем Ги повез Эрве на виллу своего друга, «чтобы посмотреть, устраивает ли брата место и дом». Ги сказал Эрве: «Подойди к окну. Взгляни, какой чудесный вид». Пока ничего не подозревающий Эрве идет к окну, врачи делают Ги знак потихоньку выйти. Когда больной поворачивается, чтобы следовать за братом, откуда ни возьмись выскакивают двое дюжих санитаров, как те портовые грузчики из Фекана, с которыми по молодости лет он любливал мериться силами. Но даже им не удается помешать Эрве просунуть в дверь руку и крикнуть: «Ги!.. Несчастный! Ты заманил меня в сумасшедший дом!.. Но настоящий сумасшедший — это ты! Слышишь?! Потомственный псих!». Спустя год, в ноябре 1890-го, в первую годовщину смерти Эрве, «потомственный псих» едет в департамент Родано на могилу брата. Однако Ги не уверен, действует ли он непроизвольно или по указке «другого». В любом случае он начинает воспринимать смерть брата, как собственную смерть, а могилу Эрве — как собственную могилу.

Ну а черному постояльцу только того и подавай. Теперь он вознамерился вещать устами Мопассана. И в этой гонке, в этом соперничестве, в этом «неустойчивом равновесии» между двумя «ораторами» речь Мопассана густеет, сворачивается; она уже не выражает того, что хотела бы выразить; Мопассан говорит то, о чем вовсе не собирался говорить, о чем и думать не думал; он вынужден говорить то, чего требует от него «другой».

1 января 1892 года Мопассан в Канне. Начинается новый год. Верный испытанному чувству к драгой матушке [84], Мопассан, как всегда, проведет этот праздничный день рядом с нею. В каком-то смысле Мопассан был превосходным кандидатом на получение премии «Мотта» [85]. К тому же в этот раз более веская причина заставляет Мопассана не изменять традиции. И он следует ей не поморщившись [86]. Мопассан встает в семь утра. «Верный» Тассар раздвигает шторы, впуская в опочивальню хозяина восхитительное солнце Ривьеры. Стоит на удивление ясный день. Однако взгляд Мопассана застилает туманная пелена: пелена «личного» тумана. Мопассан начинает бриться, но «другой» то и дело дергает его за руку. Воистину бритье становится рискованной затеей для того, в ком уживаются две разные воли; и все это, заметьте, в эпоху, когда безопасную бритву еще не изобрели.

О Кинг Жиллет! Судьба по праву нарекла тебя королевским именем. Историческое зрение людей слишком дальнозорко, а потому эти слепцы не догадываются, какое изменение внесла в физическую и психическую жизнь человечества безопасная бритва [87]. Письма, доставленные почтальоном, покоятся на столе со вспоротыми животами. Мопассан пробегает рассеянным взглядом многоликие почерки и, в досаде на календарное однообразие жизни, бормочет: «Поздравления... сплошные поздравления». Вот и двое матросов с «Милого друга» наведались поздравить хозяина. Поздравления морских спутников Мопассану как будто больше по душе, чем знаки навязчивого внимания пишущей братии [88]. И все же у «хозяина» убитый вид: матросам невдомек, что «хозяин» вконец измотан неугомонным присутствием «другого». Пока матросы чеканят новогодние пожелания, он прислушивается к настойчивому совету остаться дома. Однако причина куда серьезнее... В десять часов, наперекор черному постояльцу, Мопассан решается. Он говорит Тассару: «Надо идти. Если не явлюсь, матушка, чего доброго, подумает, что я захворал».

Новогодний обед на вилле *Равенель*. Вместе с госпожой Мопассан за столом сидят: ее величественный сын, вдова Эрве, г-жа д'Арнуа — тетушка Ги — и доктор Балестре, врач г-жи Мопассан. Небольшой гастрономический раут, приятный и оживленный.

Мопассан в прекрасном расположении духа и на редкость словоохотлив. Он рассказывает, как может только он... «Это одно из главных событий моей жизни, — говорит Мопассан. — Хотя оно и не было такой уж неожиданностью, ведь меня предупредила *пилюля*...»

Пилюля...

Слово «пилюля» повисает в воздухе — одинокое, невообразимое. Никто не станет отрицать, что не видит его, что не слышит его отзвука.

Гости застыли со вздетыми вилками. Гости переглядываются. Мопассана предупредила *пилюля*? Ги покраснел до ушей. Это незваное, бредовое слово произнес не он: его произнес «другой». Но как объяснить матери, как объяснить тетушке, невестке, доктору Балестре — как объяснить, что он *не один*, что внутри его живет другое существо, невидимое, но властное и дерзкое, и время от времени оно заставляет Ги говорить такое, что он... Мопассан уткнулся носом в тарелку. Трапеза продолжилась в неловком молчании.

Когда Мопассан сообщил ошеломленным сотрапезникам, что о наступлении одного из главных событий его жизни он был предупрежден пилюлей, Нивазио Дольчемаре исполнилось ровно год и четыре месяца — ведь он родился 25 августа 1891 года, а посему еще не мог оценить это сообщение так, как оно того заслуживает. Узнав о нем много позже, Нивазио Дольчемаре оценил его по достоинству, ибо сообщение, сделанное Ги де Мопассаном своим домашним за новогодним обедом 1 января 1892 года, относится к числу событий, которые впору запечатлеть на бессмертных скрижалях мировой памяти: они неподвластны забвению. Только кто из четырех свидетелей этого события, включая матушку Ги, столь высоко ставившую литературные достижения сына, кто из них сообразил, что слово «пилюля» было сигналом нового Мопассана, другого Мопассана, единственного Мопассана, который вправе называться «великим писателем»? Пришлось ждать, пока Нивазио Дольчемаре распрощается с детством, преодолеет зрелость и вступит в то высшее детство, что в иных, особенно напоенных поэзией людях предшествует вступлению в наивысшее детство смерти, чтобы...

«Другому» уже мало того, что он проскользнул *(glissa)* в голову писателя и нашептывает ему, о чем писать: он намерен овладеть и материальным инструментом писателя — рукой. И почерк Мопассана, расшатанный вкривь и вкось двумя несхожими волями, гнется и корчится, словно кривая сейсмографа, отмечающего далекое землетрясение. Вот именно — землетрясение. Землетрясение вселилось в тело Ги де Мопассана, еще слишком плотное, слишком обильное — несмотря на неуклонное исхудание, — чтобы воспринять его полностью и предоставить ему достаточно места для его капризной, неугомонной, гениальной жизни.

Дабы яснее представить себе положение Мопассана в этот поистине переломный для него момент и понять его борьбу — поначалу вялую, затем гнетущую и, наконец, бессильную — с «другим», можно сравнить положение Мопассана с положением доктора Джекила, когда тот уже не в состоянии справляться с собственными превращениями в мистера Хайда и последующими возвращениями в лоно доктора Джекила и окончательно отдается на милость личности мистера Хайда.

Тут в жизни Мопассана происходит случай, позволяющий предположить, что хотя бы однажды Мопассан все же сумел договориться с «другим».

В августе 1891-го Мопассан приезжает в Шампель-ле-Бен, неподалеку от Женевы, чтобы пройти курс водолечебных процедур. Здесь он встречает своего друга, доктора Казалиса, подписывающего свои стихи псевдонимом Жан Лаор. Мопассан показывает ему кожаный портфель, который держит под мышкой, и говорит: «Знаете, что́ в этом портфеле? Первые пятьдесят страниц моего нового романа «Анжелюс». Я уже больше года не могу написать ни строчки. Если через три месяца книга не будет закончена, я пущу себе пулю в лоб. Хотите, расскажу, о чем мой новый роман?»

На подобное предложение, сделанное при любых других обстоятельствах и любым другим автором, Нивазио Дольчемаре ответил бы прямым отказом — он, такой застенчивый, попросту в толк не возьмет, как можно слушать чтение вслух, а тем более читать

вслух самому; он, воспринимающий чтение, и в особенности чтение романа, то есть описанных чувств, как сокровеннейшее занятие, которому следует предаваться в одиночку и тайно. Однако чтение Мопассаном первых пятидесяти страниц его последнего романа и пересказ еще не написанной части являются слишком важным свидетельством решающего отрезка жизни Мопассана, а посему Нивазио Дольчемаре, поборов свое отвращение к восприятию чтения на слух, становится в этот вечер третьим, невидимым слушателем, вместе с доктором Казалисом и его супругой, в уютной гостиной небольшого шале, занимаемого ими в парке водолечебницы.

Вначале Мопассан читает, затем рассказывает:

«Это повесть о женщине, которая собирается стать матерью. В Тяжкую Годину ее муж ушел воевать и оставил жену одну в их деревенском доме. Зимняя ночь. Рождественский сочельник. В дом врываются пруссаки. Женщина оказывает им сопротивление. Ее избивают, даже ранят и запирают в хлеву. И вот, прямо на соломе, под приглушенный перезвон церковных колоколов, как некогда Дева Мария в Вифлееме, она рожает мальчика. Но какого мальчика! Калеку, на всю жизнь изуродованного побоями, доставшимися матери. Увечное дитя никогда не будет ходить, никогда не станет таким, как все люди. Проходят годы. Они не приносят несчастному желанного выздоровления, а лишь делают его более чутким к нежной материнской любви, более чувствительным к страданию. Неужели это сам Христос посетил земную юдоль, чтобы принести нам счастье? Ребенок становится юношей и влюбляется в прекрасную девушку. Но он никогда не сможет признаться ей в любви, а она не сможет полюбить его. Она любит его старшего брата — здорового и красивого. Сами того не ведая, влюбленные являют несчастному жестокое зрелище своего счастья. «Не падай духом, ненаглядный мой, — говорит калеке мать, убаюкивая его, как ребенка. — Мы уедем далеко-далеко, в чудный, сказочный край. Я расскажу тебе необыкновенные, волшебные истории, и все пройдет, ты тоже будешь счастлив: я так этого хочу, так хочу...» Бедняжка только качает головой. Мать и сын отправляются в чудные, сказочные края, но везде и всегда, до последнего дня его жизни, перед глазами калеки будет стоять дорогой образ любимой девушки, с которой ему не суждено соединиться...»

Мопассан закончил. Он плачет. Плачет г-жа Казалис, плачет доктор Казалис. К чему скрывать — плачет и незримо присутствующий Нивазио Дольчемаре. Слезы — как кашель, как чиханье, как тот фатальный звук, что нечаянно вырвался у одного джентльмена в присутствии дамы; когда джентльмен попытался приглушить его скрипом стула, дама добродушно заметила: «Не смущайтесь, друг мой, такой ноты вам все равно уже не взять». Однако самое примечательное в чтении и пересказе «Анжелюса» не плач, а то, что в продолжение сего действа, длившегося неимоверно долго — более двух часов, — Мопассана ни разу не прервал и не сбил «другой»... Это не означает, будто на время пребывания писателя в Шампель-ле-Бен «другой» отказался от намерения присвоить себе поступки и мысли Мопассана и решил оставить его в покое (тем более что по ночам «другой» заставлял Ги вскакивать с постели, врываться нагишом в номера к замужним и незамужним женщинам и набрасываться на них с целью уестествления, вызывая неописуемый гнев как самих этих женщин, так и господина Глаца, директора водолечебницы); просто в соответствии с заключенным договором Мопассан получил право, посредством полного прочтения и пересказа «Анжелюса», а также душеизлияния в плаче, освободиться и окончательно избавиться от *vieil-homme**, еще сидевшего в нем, от «первоначального» Мопассана, от «деамичисовского»** Мопассана. И слезы, пролитые Мопассаном в конце его рассказа, вовсе не оплакивали боль инвалида с искалеченными ногами, который любит, но любить не может; то были слезы прощания нового Мопассана со старым Мопассаном — Мопассаном, уходящим навеки.

Скажем прямо: «другой» отнюдь не великодушен. Он соизволил не вмешиваться в

---

* Старика *(франц.)*.

** От фамилии автора нравоучительных сочинений Э. Де Амичиса (1846 — 1908).

происходящее, пока Мопассан избавлялся от *vieil-homme*, но не выглядит столь же податливым в иных обстоятельствах. Хотя в этом случае великодушие было бы неуместно. Разве требуется великодушие от генерала, когда речь идет о судьбе сражения? У «другого» теперь одно на уме — взять верх. В том числе и над матерью Мопассана? Прежде всего над матерью. Вспомним, что мать Мопассана является в определенном смысле и хозяином Мопассана; поэтому «другой» не сможет, в свою очередь, стать хозяином Мопассана, если вначале не разделается с прежним хозяином. Мопассан не подозревает о «невеликодушной» решимости «другого» и тем же вечером беспечно отправляется в Ниццу. О тайной вечере Мопассана с его матерью мы предоставим право поведать самой матери:

«И только позже, за столом, когда мы ужинали, сидя друг против друга, я заметила, что сын бредит. Вопреки моим мольбам, моим слезам, вместо того чтобы лечь спать, Ги решил немедленно вернуться в Канн... Я оставалась в заточении, прикованная к постели тяжелой болезнью:

— Не уезжай, сын мой! — кричала я. — Не уезжай!

Я цеплялась за его одежду, умоляла, повергла ниц мое дряхлое тело. Напрасно. Он следовал за своим неотступным видением. И вот мой бедный мальчик исчез в ночи, устремившись неизвестно куда, возбужденный, обезумевший, неистовый».

«Он следовал за своим неотступным видением», — изрекла, да еще с каким риторико-драматическим пылом, та, которая несколько лет спустя, исполненная внутреннего достоинства, будет принимать Элеонору Дузе. Однако это не так. Мопассан надеялся, что в тот вечер, из уважения к его матери, «другой» будет вести себя спокойно и не станет его донимать. Увы, вскоре ему пришлось убедиться в обратном. Даже в присутствии старой госпожи, даже за этим последним, как нетрудно было предположить, ужином *en tête-à-tête* «другой» принялся выкидывать свои обычные номера. Мопассан попытался все обернуть шуткой и полагал, что выйдет сухим из воды. Но «другой» упорствовал. Он действовал исподтишка. В самые неожиданные и неподходящие моменты он переводил стрелку путей. И без того пучеглазая старушка [89] лишь таращилась от изумления, смутно начиная о чем-то догадываться. Возможно, она заподозрила, что они с сыном были уже не одни, что *их было трое*. От этого вопросительного и всепонимающего взгляда Мопассан теряется. Тут-то он и решает уехать. Он смущен и боится, как бы не случилось «чего похуже», чего-нибудь, что «другой» мог с минуты на минуту совершить в присутствии его матери. При всей доверительности их отношений — мы помним, какие слова он говорил ей порой, — его решимость была непреклонной и ...

Молодой неаполитанец сватался к девушке, в семье которой придерживались весьма строгих правил. Как-то раз он привел с собой закадычного друга. А друг, надо сказать, слыл большим охотником заливать всякие непотребные байки. Правда, по такому случаю он клятвенно обещал держать язык за зубами. Поначалу все шло вроде бы гладко. И тут приятель нашего жениха возьми да и загни анекдот про печенье, которое макают в кофе с молоком. Анекдот как анекдот. Но жениху почудился в нем похабный намек. Вскочил он со стула точно ошпаренный — хвать говоруна за руку и поволок его вон из гостиной. Невеста и все семейство только рты пораскрывали.

Касательно самоубийства как последнего и самого надежного способа выйти из безвыходного положения см. рассказ «Смерть Инженера» (Альберто Савинио. Сб. «Влюбленный Ахилл», с. 141). Преследуемый злодейкой судьбой и людским коварством, герой рассказа Катерино начинает любить самого себя, как мать любит своего ребенка, и как мать самого себя, Катерино убивает самого себя, то есть укрывается в самом надежном из всех убежищ — в смерти [90]. Тем же путем решает пойти и Мопассан. Самое сложное на этом пути — суметь раздвоиться. Но как показывают некоторые новеллы Мопассана и прежде всего новелла под названием «Он?», в искусстве раздвоения для него нет секретов. Сбежав с тайной вечери у матушки, Мопассан возвращается к себе в Канн. По-

здно ночью «верный» Тассар просыпается от страшного грохота. В ночном колпаке, поддерживая спадающие трусы, «верный» Тассар вбегает в спальню хозяина. Мопассан стоит у кровати. Он радостно возвещает слуге о невероятном открытии.

— Я неуязвим! — восклицает Мопассан.

Его голос звучит взволнованно и торжественно, как голос человека, узнавшего вдруг, что он бессмертен [91].

— Я только что выстрелил себе в висок — и хоть бы что. Не веришь? Смотри!

Мопассан снова приставляет дуло к виску и нажимает на курок. Грохот такой, что вот-вот рухнут стены. Но «бессмертный» Мопассан стоит как стоял возле кровати и довольно улыбается.

— Ну что, поверил? *Отныне мне все нипочем*. Хочешь — перережу себе горло, и кровь не пойдет [92].

Не откладывая дело в долгий ящик, Мопассан переходит от теории к практике. Хватает со стола металлический разрезной нож в форме кинжала и вонзает его себе в горло, желая доказать, что он неуязвим и для холодного оружия. Однако опыт терпит неудачу. Кровь вовсю хлещет из раны, стекая по воротничку, галстуку, жилетке.

Мопассан приходит в ярость. Чтобы совладать с разбушевавшимся хозяином, «верный» Тассар призывает на помощь Бернара и Раймона — матросов с «Милого друга», пришвартованного напротив дома. Но и утроенных усилий было бы мало, ежели бы один из троих, Раймон, не был настоящим Гераклом. Погодя явился доктор Валькур, обработал рану и наложил шов.

То была последняя попытка бунта. Потерпев поражение, Мопассан смиряется. И отдается на произвол судьбы. Точнее — на своеволие «другого». Делать нечего: «другой» взял верх; соперничать с ним ему не по силам. Поражение Мопассана теперь ни для кого не секрет. Если у Мопассана еще и были какие-то сомнения, то и они рассеиваются спустя три дня после случившегося. «Верный» Тассар приносит хозяину кофе и утренние газеты. На первой странице, рядом с фотографией писателя, помещенной на самом видном месте, заголовок гласит: *«Мсье Ги де Мопассан окончательно лишился рассудка»*. Тут уж верь не верь газетам...

Мопассан склоняет голову. Он согласен. Он готов ехать. Хватит топтаться на пороге. Пора добровольно вступить в безумие. Он готов *явиться с повинной*. На этом изломе своей жизни Мопассан пребывает в том же душевном состоянии, в каком пребывал Раскольников, — изнуренный, выдохшийся, бессильный и дальше бороться с судьбой; Раскольников, готовый явиться с повинной к Порфирию.

Мопассан идет на этот шаг и по чисто сентиментальной причине. По семейной причине. Как добропорядочный француз и буржуа, он особенно остро чувствует необходимость строго придерживаться семейных устоев. Ги не забыл слов младшего брата «потомственный псих». Он должен расплатиться с Эрве за свою медвежью услугу. Ги в долгу перед братом. И он навестит Эрве. Они соединятся в сумрачных, но надежных и покойных обителях безумия и смерти. Это будет примирение и возврат к братской любви и нежным чувствам далекого детства. Что может быть выше этого блаженства? Что может быть чище его? Позже к ним наведается мать. Она навеки сольется с ними. Ибо — к чему скрывать — мать тоже сумасшедшая [93]. Вам мало? Еще позже к ним присоединится отец, и произойдет долгожданное воссоединение семьи. Ибо отец тоже сумасшедший. Который отец? Разумеется, не Флобер — «как бы» и «литературный» отец Ги, этот геркулес здравомыслия, — а его родимый батюшка, Гюстав де Мопассан. Так, прежде чем бесповоротно вступить в безумие, Мопассан примиряется с матерью, разрешает щекотливый вопрос отцовства и обретает истинного родителя.

Свой уход из мира большинства — уточним: того посредственного мира, что принял светского писателя [94] Мопассана и увенчал его славой великого писателя, — Мопассан «номер два», поэт высочайшего безумия [95], готовил с тщательностью старого, мудрого скопидома, не упускающего в собственноручно составленном завещании ни еди-

ной мелочи, ни одного самого дальнего родственника. Поскольку санитар, выписанный из Парижа, уже прибыл в Канн, далее оттягивать уход смысла не было. Перед тем как Мопассан навсегда расстанется с морем, которое мопасальная легенда окрестила «любимым морем», его провожатые заключили, что в общую картину прекрасно впишется прощание Мопассана с «Милым другом». Яхта, купленная писателем на авторские гонорары и нареченная именем его излюбленного героя [96], мерно покачивается на волнах, убаюканная свежим бризом, поклевывая заостренным носом с назойливым, но элегантным упрямством. *Мопассан одет как в последний путь*. Он окружен свитой сопровождающих — словно убийца конвоирами, ведущими его по причалу. В Канне даже в январе погода не настолько холодная, чтобы наваливать на плечи перины и обвязываться грелками. Так что не от холода, каким бы мерзлякой он ни был, укутался Мопассан в длиннющее пальто, застегнутое под самый подбородок и доходящее чуть ли не до лодыжек; а для того, чтобы спрятать... Мопассан одет как в последний путь. Он сменил свои знаменитые рубашки, стиравшиеся в Париже и гладившиеся в Лондоне, на смирительную рубашку. Небольшая процессия останавливается. Мопассан смотрит на изящную яхту — родную сестрицу чаек и белых борзых. Он смотрит на нее *без особого интереса*. Таким же невнимательным [97], отсутствующим взглядом взирает Мопассан и на стоящее рядом с «Милым другом» суденышко, где лорд *X* предается вынужденному безделью; примечает вдали кораблик, окидывает горизонт и небо — все, что уже не имеет для него никакого значения. Разочарованная свита поворачивает, так и не дождавшись желанного эффекта. Они поднимаются по улочке, ведущей к вокзалу. Море вот-вот скроется из виду. И тут Мопассан поворачивает голову, но не туловище, и бросает прощальный взгляд на «Милого друга»... Он не проронил ни слова: ни сейчас, ни до этого. Не заговорит он и потом. Короткий взгляд. Узнал ли он «свой» корабль? Неизвестно. У Мопассана полусонный вид. Как у ребенка, который заигрался допоздна и еле сдерживает неподъемное бремя сна. Теперь ему не до копаний в прошлом. Нарочитая внешняя сонливость лишь оболочка его внутреннего пробуждения. Постепенно обнажается обратная сторона Луны, до сей поры неосвещенная. Внезапно, сквозь вязкую дремоту, Мопассану открывается смысл его фамилии, ее «изнанка». Прежде Мопассан не понимал ее, не задумывался над тем, что же она означает. Только сейчас нежданно-негаданно он открывает для себя, что *Maupassant* значит *Mauvais-Passant*. Он открывает, что Мопассан означает Непроходимый. Чему после этого удивляться?.. Человеку, этому недругу одиночества, вечно хочется подыскать себе предков, дальних и близких родственников, товарищей [98]. И вот, по аналогии, Мопассан обнаруживает, что Малларме [99] — это Безоружный. В преддверии будущего ему открывается и прозвище, данное себе Аполлинером, — Нелюбимый [100]. Теперь все они стали товарищами. Вот оно — великое братство. Для довершения облика пассажира, отправляющегося в последний путь, Мопассан отпускает бороду и раньше времени переходит от образа типичного представителя эпохи Второй империи к образу *poilu*[*]. Широкий шарф, обмотанный вокруг подбородка, скрывает рану, нанесенную разрезным ножом.

Мария-Тереза Луиза ди Савойя Кариньяно, принцесса Ламбалльская, до того как ее прелестную головку отделили от туловища и пронесли на длинной пике над головами санкюлотов вокруг тюрьмы дю Тампль, жила себе не тужила в роскошном особняке, окруженном большим парком, на улице Бертон, 17, в Пасси, неподалеку от той самой улицы Ренуар, где жил и с ужасающей силой работал Бальзак, а позднее квартировал и слагал стихи Гийом Аполлинер. Именно в этот особняк, приспособленный доктором Бланше под лечебницу для душевнобольных, и поступил Мопассан 7 января 1892 года, дабы полностью перевоплотиться из «себя» в «другого».

С этого дня жизнь Мопассана не поддается описанию.

---

[*] Пуалю, солдат-фронтовик в годы первой мировой войны *(франц.)*.

На первых порах упрямый *vieil-homme* еще предпринимает немощные попытки избавиться от «другого». В своем меркнущем сознании писатель называет его «дьяволом». *По настоянию Мопассана двери его палаты днем и ночью оставляют открытыми, чтобы дьявол убрался восвояси.* Отголоски детских воспоминаний: *после бессонной ночи Мопассан требует священника; он хочет исповедаться.* Впрочем, тут же, под воздействием более зрелого антиклерикализма, *Мопассан кричит, что не желает никаких священников.*

Его новая личность вырисовывается все отчетливее. *Мопассан слышит голоса. Он подходит к стене, бормочет что-то себе под нос, потом умолкает и слушает ответ.*

Мопассан не останавливается на достигнутом. Он начинает видеть то, чего не видят другие; то, чего бы он сам никогда не увидел, будь он прежним Мопассаном. *Он неподвижно сидит, уставившись в пол, и «видит, что пол кишит насекомыми, испускающими длинные струйки морфия».*

Мопассан приступает к общению с мертвыми. *Он говорит с Флобером и со своим братом Эрве.* Однако беседы выходят крайне незамысловатыми, и Мопассан подумывает об их усовершенствовании. *Он шлет послание папе Льву XIII, предлагая понтифику приступить к сооружению могил-люкс. В них предусматривалась попеременная циркуляция горячей и холодной воды, которая будет омывать тела покойных и способствовать их лучшей сохранности. Открытое окошко в изголовье мавзолея позволит переговариваться с усопшими.*

Сюрреальные зарницы сверкают в сознании Мопассана. *«Император, ты слышишь меня? Слишком много злодейств омрачают наше время».*

Объедки семейных и дружеских застолий свисают с его головы, как паутина с потолка. *31 января Мопассан заказывает обед на четыре персоны: его мать, его свояченицу, его племянницу и его брата... Но приглашенные топчутся в коридоре и не могут найти входную дверь.*

Примерно в эти же дни Мопассан постигает истинную природу дьяволов. *«Только дьяволы вечны».* Он предвосхищает Фрейда и перефразирует Ницше: *«Иисус Христос возлежал с моей матерью. Я — сын Божий».*

Но «сын» недоволен «отцом»: *«Боже! Ты самый жестокий из богов! Я запрещаю Тебе говорить! Ты круглый дурак!»*

Зрение Мопассана чудесным образом обостряется, а горизонты его расширяются настолько, что *без малейших усилий, не выходя из своей* палаты, *он обозревает сказочные просторы России и Африки.* Сам того не ведая, Мопассан изобретает — за несколько лет до ее появления — литературную технику Раймона Русселя.

Мопассан полагает, что в нем запрятаны бесценные сокровища, и, *боясь лишиться их, упорно не хочет испражняться.*

Он ползает на четвереньках по палате и лижет стены: далекий и насмешливый отклик на лестную для него в молодости репутацию человека с бычьим норовом.

Последний, молниеносный проблеск *vieil-homme.* Его приходит навестить Альбер Каэн. Неожиданно Мопассан говорит: *«Уходи побыстрей. Скоро я уже не буду собой».* Не успевает Каэн выйти, как Мопассан звонит, требуя принести смирительную рубашку. Так кричат завсегдатаи в пивных: «Гарсон, кружку пива!»

18 февраля Мопассан торжественно объявляет:

— *Мопассан мертв* [101].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Этот комментарий к эпиграфу из Ницше — не шутка и не парадокс. В такой стране, как Италия, покрывшейся коростой серьезности, меня ни на минуту не покидает сомнение, что сказанное мною всерьез будет воспринято в шутку, а сказанное в шутку — всерьез. Я вовсе не шучу, когда говорю, что определение, данное Ницше, действительно раскрывает фигуру Мопассана. Мало того: оно раскрывает ее от абсурдного. Оно полнее всего раскрывает фигуру писателя, ибо остается лишь догадываться, что же имел в виду Ницше, называя Мопассана «латинянином». Вполне возможно, что и ничего. У Ницше такое бывает часто. Но могу ли я надеяться на понимание со стороны читателя, если скажу, что мы говорим куда больше, *не имея ничего в виду*? Нелепое, бесполезное определение, походя брошенное Ницше, «резко» привлекает внимание к фигуре Мопассана; оно куда вернее, чем любое наивернейшее определение — *глубокое определение*. Я люблю смотреть фильмы на непонятном мне языке. Песни тоже кажутся красивее, если смутно понимаешь, о чем они. В первый и последний раз я прочел *«Ecce Homo»* лет тридцать пять назад. И с тех пор определение Мопассана накрепко засело у меня в голове. При мысли о Мопассане я уже невольно говорю себе: «истинный латинянин», будучи молодым и неопытным, я еще искал объяснения словам Ницше. Постарев и набравшись опыта, я больше его не ищу. Теперь это определение звучит для меня ясно, весомо, убедительно.

[2] По правде говоря, Гераклит требовал изгнать с поэтических ристалищ и Гомера. Однако в отношении Гомера Нивазио Дольчемаре согласен с мнением «раннего» Гераклита, еще не преобразовавшегося и не достигшего совершенства после пребывания в гостеприимном лоне Нивазио Дольчемаре.

[3] Особенно в результате нещадных искажений, которые претерпели его труды в наше время.

[4] А начал его сорока тремя годами раньше, 5 августа 1850 г. Где? «Официально» Ги де Мопассан появился на свет в замке де Миромениль, величественном строении XVII века, с башнями, мансардой, девятью широкими окнами, разряжающими фасад, и парком в итальянском стиле. На самом же деле Мопассан родился в Фекане на улице Су-ле-Буа, которая ныне называется набережная Ги де Мопассана и авеню Жан-Лоррен. Как в тех семьях, где есть гостиная «на каждый день» и гостиная «для приемов», у родителей Ги был дом, где «рождаются на самом деле», и дом, где «рождаются официально». Мопассаны сняли замок де Миромениль вскоре после рождения Ги, потому что госпожа Мопассан *«ne voulait pas que son noble enfant fût officiellment né ni dans une maison bourgeoise, commandant une ancienne saurisserie, ni surtout «dans une ville de commerce et de saleurs», parmi lesquels son frère, Alfred Le Poittevin, s'etait si tragiquement et si stérilement consumé malgré ses dons exceptionnels, avant de mourir deux ans plus tôt?»*[*] Альфред Ле Пуатвен, брат госпожи Мопассан и дядя юного Ги, был своего рода гением провинции, оказавшимся в конечном счете жертвой провинции, мучеником провинции. Никогда еще провинция так не изучалась, так не анатомировалась и не возводилась в ранг действующего лица, как в эпоху «натурализма». И вполне заслуженно. Французскую литературу с легкостью можно разделить на парижскую и провинциальную, по образу и подобию географического деления Франции, согласно которому все непарижское считается провинциальным. Неоднократно отмечалось сходство между Альфредом Ле Пуатвеном и Ги де Мопассаном, между дядей и племянником. Ги де Мопассан неоднократно изображался как «удачное продолжение» Альфреда Ле Пуатвена. Честолюбивая Лора де Мопассан, мать Ги, любой ценой хотела иметь в семье выдающуюся личность. После несостоявшегося возвеличивания брата она сделала ставку (с бóльшим основани-

[*] Не желали, чтобы официальным местом рождения ее благородного отпрыска стал какой-то мещанский угол над старой коптильней или, того хуже, «квартал торгашей и солильщиков», среди которых, за два года до этого, столь бесплодно и столь трагично, несмотря на необычайную одаренность, кончил свои дни ее брат — Альфред Ле Пуатвен (*франц.*).

ем) на возвышение собственного сына (и первенца). Она взращивает мальчика с определенной целью: сделать из него незаурядную личность, «великого писателя», но боится, что у нее ничегошеньки не выйдет, и потому вверяет сына «специалисту» по литературному величию — Флоберу. Довольно частое явление «перенесенного честолюбия». Наш друг Э. Г., грамотный инженер и знаменитый конструктор, в детстве мечтал стать художником. Не получилось. Тогда он перенес свою мечту на младшего брата, Энрико. Он наставляет, подбадривает его, помогая стать тем художником, которым не стал сам. Быть «в другом» тем, кем не можем быть сами. Так объясняются некоторые исключительные случаи «самозабвения». Эккермана в Гёте, например.

[5] *«Il a le faciès d'un petit taureau breton*»*, — сказал Флобер о молодом Мопассане. *«Maupassant avait l'air d'un taureau triste*\»*, — говорил Ипполит Тэн о зрелом Мопассане. *«Maupassant est né en août et mort en juillet, occupant et quittant la terre peu après l'instant où le Taureau emplit le ciel»****, — говорит о Мопассане Поль Моран в «Путях Мопассана». И продолжая этот бычий парафраз: *«Littérairement il n'a vécu que quinze ans, l'âge moyen d'un taureau. Il avait la force de la tête, des épaules, le regard fier, le nez court, le cou charnu, la poitrine large, le poil luisant du taureau. C'était un taureau à face humaine, couvert d'écriture, comme ses frères de Khorsabad qui portent des inscriptions jusque sur les jambes, jusque dans la barbe bouclée. Croissant et multipliant dans toutes les directions, il n'a vécu que pour engendrer. Il n'a mugi que du besoin de sa mère et du désir d'amour. Il n'a pas aimé une femme, mais toutes, les servant impérieusement, comme un etalon qui, dès que la vache est pleine, en a horreur. Il a eu ses années de pâturage, ses années de procréation, et, lardé de coups de seringue de Pravaz comme d'autant de banderilles, son heure de mise à mort»*****.

[6] Единственное «историческое» предание о семье Мопассанов таково: «Одна из прародительниц Ги и любовница Лозена, с которым она отправилась на Корсику в ходе кампании 1768 года, говорила с гордостью: «Думаете, мы, женщины, подвергаем опасности нашу жизнь только во время родов?»

[7] Давно уже выйдя из того возраста, когда к нам применялись телесные наказания, мы крайне удивлены и воспринимаем как немыслимую дикость, что кто-то может использовать наши уши в качестве ручек или своеобразных дужек нашей головы. («Дужкой живота» называют кое-где в Италии другую часть человеческого тела; тем самым итальянский народ напоминает, что иногда способен быть очень даже остроумным. Когда у нас говорят «чтоб тебе нагишом ходить и руки в карманах держать», это доказывает, что итальянский народ умеет быть не просто остроумным, а «метафизически» остроумным. В этом прослеживается некоторое сходство между итальянским и английским юмором. Возможно, кому-то любопытно узнать, почему я написал «юмор», а не «остроумие». Отвечу, что в данном случае меня больше устраивает значение слова «юмор», отличающееся от значения слова «остроумие». Из-за нашего географического положения, долгих лет интеллектуальной скромности, а главное, из-за стойкой предвзятости литературного языка итальянский язык довольно вяло реагирует на постоянный приток новых явлений и новых чувств, которые надо назвать и выразить; поэтому естественно, что любой итальянский писатель, не желающий замыкаться в строго интеллектуальных рамках своей нации, использует иностранные слова всякий раз, когда ему не хватает

---

* У него вид бретонского бычка *(франц.)*.

** Мопассан напоминал грустного быка *(франц.)*.

*** Мопассан родился в августе, а умер в июле, обременив и покинув землю вскоре после того, как в небесах воцарился Телец *(франц.)*.

**** В литературном отношении он прожил всего пятнадцать лет — средняя продолжительность жизни быка. У него была могучая голова и плечи, гордый взгляд, короткий нос, мясистая шея, широкая грудь и лоснящаяся шевелюра — вылитый бык. Бык с человечьим лицом, испещренным письменами, как у его хорсабадских собратьев, покрытых надписями с ног до курчавой бороды. Множась и множа во все стороны, он жил ради того, чтобы плодиться. Ревел он, только призывая мать или испытывая любовный голод. Он любил не какую-то одну женщину, но всех разом. Он нахраписто покрывал их, подобно быку-производителю, который шарахается от телки, едва она понесла. Он познал пору тучных пастбищ, пору плодовитости, а под конец встретил свой смертный час весь истыканный шприцами Праваза, точно бандерильями *(франц.)*.

итальянского слова. В сущности, речь идет о подготовке будущей Европы всеми средствами, из коих первейшее — литературное средство.) Несмотря на наше удивление, следует заметить, отдавая дань истине, что среди прочих частей головы уши имеют стыдливо-пассивный характер, меж тем как, скажем, нос отличается беззастенчиво-активным и даже воинственным нравом. Когда слепая Мария Тереза Паради вновь обрела зрение благодаря Вильгельму Месмеру, первое, что она увидела, был именно нос ее исцелителя. Бедняжка так перепугалась, что едва не умерла со страху.

[8] О Герберте Уэллсе, «писателе так себе», мы считаем своим долгом сказать следующее. Он написал «Краткую всемирную историю». В этой книге, насчитывающей чуть более трехсот страниц, пересказана история нашей планеты с момента ее геологического образования до конференций, созванных после заключения Версальского мира. Мы не знаем другой книги, в которой необъятная, путаная, «бесформенная» история мира была бы собрана с таким изяществом, подана с такой мерой, сообразована с нашей зоркостью, с нашей ловкостью, с нашей статью. Это подлинный энкириdион, подлинный учебник, подлинная книга (и в смысле метафизическом), за которую нужно «держаться двумя руками». В этом смысле «Краткая всемирная история» Уэллса — это единственная подлинно «греческая» книга по всемирной истории. Скажем еще, что «явление» христианства сконцентрировано и истолковано Уэллсом на нескольких страницах лучше, чем в нескольких томах у Ренана; что знаменательные события и выдающиеся исторические деятели (Карл V, например) изображены автором в их истинную величину и расставлены по местам с большим тактом; что в книге встречаются такие вот штрихи: «Шведы изрядно истрепались в баталиях с немцами под предводительством своего картинного короля Густава Адольфа — этого протестантского *Северного Льва*»; что, иначе говоря, от сочинения Уэллса веет той поразительной легкостью в представлении истории и ее действующих лиц, примеров которой не найти со времен Стендаля.

[9] В «Мушке» — одной из самых удачных *contes* Мопассана, выведен не только любопытнейший случай половой коалиции, но и дан наглядный пример того, как можно упразднить вопрос о поиске отцовства. Пятеро гребцов с Сены, среди которых, под именем Жозефа Прюнье, фигурирует и автор, имеют общую любовницу — Мушку. Однажды последняя забрюхатела. Но ни один из возможных отцов и не думает устанавливать, кто же настоящий отец. Ребенок рождается мертвым. Тогда пятеро сотоварищей, утешая мать, говорят ей: «Не горюй, Мушенька, мы тебе еще сделаем». Нужно основательно порыться в «Государстве» Платона, в «Утопии» Томаса Мора, в «Городе солнца» Кампанеллы, чтобы отыскать столь яркий образец высокой половой культуры.

[10] См. Альберто Савинио, «Дом по имени Жизнь», вариант рассказа «Дом по имени Жизнь», с. 265, где Нивазио Дольчемаре зовут Аницетон Негри.

[11] Слишком толстый, на наш вкус. Нам нравятся книги, которые по формату и количеству страниц вполне подходят для покойного и почтительного чтения в постели... Стоит ли избегать сочетаний вроде «почтительное чтение»? Пусть слоги и слова резвятся всласть.

[12] Литературные суждения Элеоноры Дузе определялись прежде всего личными мотивами: Д'Аннунцио, Бойто и т. д. Случай с Элеонорой Дузе не единичен. Большинство мнений, не обязательно литературных, определяется мотивами личного свойства. После личных или эмоциональных мотивов следуют мотивы национальные, партийные и т. д. Мотивы, по которым итальянец восхищается Данте, француз — Расином, немец — Шиллером. Это клеточное деление мира больше всего тревожит Нивазио Дольчемаре. Для него это самый горький источник печали. Какой-нибудь остолоп, верно, снова спросит, чего это Нивазио Дольчемаре взъелся на Элеонору Дузе, Габриеле Д'Аннунцио и др., и снова в который раз обвинит его в ехидстве. К чему тут что-то объяснять? К чему оправдываться? Ведь дело не в ехидстве и не в злорадстве, а всего лишь в воспитании. Всего лишь. Общеизвестно, что нехорошо ставить ночной горшок на обеденный стол, но нехорошо и многое другое. Нужно расширять круг своего воспитания, иначе говоря, того, чего нельзя делать, нельзя говорить, включая и...

[13] Форма эстетизма, в основе которого лежал эстетизм боли.

[14] Мой организм решительно не переносит эстетизма. Стоит мне задуматься о Д'Аннунцио, о Дузе, даже о Малларме (Дебюсси выделяется из разряда музыкантов и тоже входит в эту группу), как я тотчас чувствую на себе дыхание смерти. Скажу точнее: *mort perfumée**.

[15] Мопассан неосознанно вывел образ эстетизма в герое своего рассказа «Маска». Старому парикмахеру еще охота покуражиться, как в молодые годы. Он надевает красивую лакированную маску, модный завитой парик и в таком виде отплясывает на маскараде, изображая из себя записного щеголя.

[16] Эти строки я пишу в Риме в апреле 1944 г. Угасшая Европа смята молотом Тора. Когда я пишу эти строки, океанские лайнеры, ясное дело, не отходят из Гавра в Нью-Йорк. Однако я пишу как писатель, а не как журналист. А писать как писатель — значит писать не из настоящего, но по памяти или в преддверии будущего. Из чего можно вывести следующее определение журналиста: журналист — это тот, кто пишет в беспамятстве. Как-нибудь я и сам, наверное, напишу об этой войне. Но лишь после того, как она отложится в моей памяти.

[17] Первые «метафизические» картины Джорджо Де Кирико навеяны ему вокзалом Монпарнас. Здание вокзала погружено в загадочное одиночество осеннего дня. Его продолжает собственная длинная тень. Стрелки часов на фасаде показывают три часа пополудни. Картины были выставлены в *Salon des Indépendants* и привлекли внимание Пабло Пикассо, который указал Аполлинеру на появление нового художника — *le peintre des gares***.

[18] По своему звучанию глагол «грохотать» *не имеет ничего общего* с колоколом.

[19] Сочетание «высадиться с поезда» придает железнодорожному вокзалу некий морской оттенок. Побольше бы столь же двусмысленных сочетаний.

[20] Не раз мы спрашивали себя, почему человеческая история есть, в сущности, история войн; почему в строении истории войны играют ту же роль, что главы — в строении книги? (Анатоль Франс и другие равные ему по мощи мыслители, высказывали немало ироничных, горьких и вполне своевременных мыслей о навязчивом постоянстве темы войны в истории человечества как отражении неизлечимого коварства человека.) Неужели на этом свете нет ничего важнее, ничего благороднее, ничего памятнее, чем война? Есть. Но это уже отдельные поступки, деяния личностей. В коллективном смысле война — это «наивысший» взлет массы. На войне обыкновенный человек, рядовой, оживает, становится деятельнее, бойчее, смышленее, искреннее. Для людей, не живущих самостоятельной умственной жизнью, жизнь на войне есть лучшее время их жизни, о котором они вспоминают с неподдельной радостью и гордостью. Все мы прекрасно знаем, до чего зануден, до чего невыносим старый друг, рассказывающий о своих ратных подвигах. Но делать нечего: приходится слушать. Как пришлось бы слушать Франческо Петрарку, читающего свои сонеты. Впрочем, пусть войны «метят» всемирную историю — «коллективную» историю человечества. Если Марс по-прежнему так много значит, если Беллона до сих пор не идет ни у кого из головы — дело вовсе не в Марсе и не в Беллоне, а в прискорбно низком умственном уровне людей. Сколько презрения к людям в изречении *Pòlemos patèr andròn****! К каковому презрению мы и присоединяемся.

[21] «Расцвел» употреблено здесь намеренно, чтобы показать, как мало этот глагол сочетается с образом Мопассана. Ведь «расцветать», помимо прочего, обозначает период наибольшего подъема, лучшей поры в жизни выдающегося человека. В этом значении глагол «расцветать» созвучен скорее геральдическим цветам (Карл Великий *à la*

---

* Надушенной смерти (*франц.*).
** Вокзального художника (*франц.*).
*** Война — отец всех (*греч.*).

barbe fleurie[*], сказано в средневековых хрониках), то есть вечноцветущим, кристаллизовавшимся цветам. В случае с Мопассаном цветением и не пахнет. Мопассану куда больше подходят срезанные цветы, мертвые цветы. Крестильные или похоронные. Цветы *piquées sur un corsage*[**] или в петлице Милого друга. Кладбищенские или «блудливые» цветы, с которыми герой «Дела о разводе» предавался в парких теплицах утонченно-алгебраическим любовным утехам. Все это лишний раз указывает на «невсеохватность» Мопассана.

[22] Кому-то может показаться, будто, ницшенствуя, я воспеваю *polémou encòmion*[***]. Заблуждение. Война — это один из способов вырвать человека из его природной лени, из его природной инерции, из его природной трусости и сделать человека активным, сильным, смелым. Но это и самый грубый, простой, общедоступный способ. Есть множество более достойных способов. Наши повседневные сражения мы ведем никак не на поле брани. Однако наперекор всему человек движется вперед: именно в движение вперед мы твердо верим. Мы твердо верим, что в будущем человек постепенно научится поддерживать свои силы, сохранять присутствие духа, не терять душевную чуткость и без хлыста войны — точно так же, как в воспитании подростков уже обходятся без телесных наказаний. Быть может, мы еще увидим на своем веку мир или хотя бы Европу, которым будут присущи живость ума, твердость суждений, энергия созидания — словно на войне без ненависти и крови.

[23] Вообще-то мы хотели написать «покойников», но наша пишущая машинка трижды отстучала «помойников». В конце концов мы покорились этой загадочной воле — тягаться с нею нам было не по силам — и оставили «помойников». Стоит ли следовать устаревшему правилу? Стоит ли проявлять отжившую щепетильность? Стоит ли упрямо исправлять ошибки только потому, что «мы» считаем их ошибками? Не пора ли принять ошибки, сделанные от руки, и ошибки, допущенные машиной, — эту новую форму спонтанности, этот сокровеннейший «голос сердца»? Не пора ли рассматривать эти мнимые ошибки как проявление поэзии, как лирическую ноту, как признак нового образа мышления, которые лишь по лености ума, по предвзятому единомыслию мы не могли до сих пор воспринимать как таковые? «Непревзойденный» Раймон Руссель так и не сумел «вскрыть» целый ряд поэтических механизмов.

[24] Ibidem.

[25] Существует расхожий тип трупа с усами и регалиями. Франция обладает на него исключительным правом. В Италии его дальний родственник изредка мелькает под личиной «черных» персонажей Луиджи Пиранделло. Касательно французских мертвецов см. «Покойного мсье Галле» Жоржа Сименона. Нужно ли добавлять, что в данной фразе мы собирались написать вовсе не «подушки», а «подошвы»? Пускай себе слагается *нечаянная поэзия*.

[26] Военная форма.

[27] Трижды мы пытались написать «подмышек», и трижды у нас выходило «подмашек». Пришлось так и оставить. Вот бы выяснить, что же имела в виду наша пишущая машинка.

[28] «На фоне подобных событий (возможный союз Америки и России), за которыми судьбы мира, темные и грозные, как надвигающийся ураган, укроются, быть может, на века, латинские страны играют весьма незначительную роль. Это относится даже к Франции, чья столица вот-вот превратится в исторический памятник вроде Вены, Флоренции или Афин времен Римской империи» (Освальд Шпенглер, «Решающие годы»).

[29] Значит, в литературных целях поражение гораздо предпочтительнее и плодовитее победы? Мы, право же, не знаем, какие произведения, воспевающие победу, можно

---

[*] С бородой с проседью; *букв.*: с цветистой бородой *(франц.)*.
[**] Пришпиленные к корсажу *(франц.)*.
[***] Хвалу войне *(греч.)*.

противопоставить исполненным высокого трагизма страницам Мопассана, Золя и т. д. Прибавлю, что две самые значительные книги, навеянные Великой войной (сколько уважения, сколько изящества в этом названии, данном потомками войне 1914 года; изящества «былых времен», изящества в духе Версаля... разумеется, Версаля Людовика XIV, а не Вудро Вильсона и Версальского мирного договора), — обе пораженческие: «Огонь» Барбюса и «На Западном фронте без перемен» Ремарка. Мы не отыщем «победоносных» книг в литературном стане победителей. Не оттого ли «победоносные» правительства вечно чинят препятствия писателям?

[30] Конечно, «политическую» окраску «Дуэль» приобрела совершенно непроизвольно. Политические, равно как и всякие другие идеи Мопассана неизвестны. Ги де Мопассан был начисто лишен идей, любых идей, понимаемых как «суждения». Наличие суждений (единственное условие, дающее право на звание «высокого художника») ведет к ясной отрешенности художника от предмета его искусства, к превосходству над ним. Мопассан, напротив, был замкнут, погружен, словно золотарь, в предметику своих рассказов. Поэтому его рассказы достоверны, неоспоримо достоверны, чудовищно достоверны, но преходящи и тленны, как преходящи и тленны люди и вещи. Поэтому рассказы Мопассана, даже те из них, что совсем далеки от идеи смерти, все равно имеют привкус смерти.

[31] Вильгем *(sic)*. Вероятно, Мопассан хотел сказать Вильгельм фон Эйрик. Замечу, что, в отличие от Франции или Италии, в Германии титул маркиза довольно редок. В форме *маркграф* он сохранил свое первоначальное значение «правитель пограничной области, называемой маркой». Пренебрежение к иностранным понятиям и названиям (не обязательно итальянским) является частью типично французского мещанства, достигшего высшей точки загустения в период между войнами 1870 и 1914 гг. Француз того времени воистину оправдывал поговорку «Французу география неведома». Лишь после Великой войны французы начали понемногу вникать в географию. Хотя как будто без особых успехов.

Мопассан приблизителен не только в употреблении дворянских титулов, бытующих в Германии. Его лучший биограф Поль Моран замечает на 105-й странице своей «Жизни Ги де Мопассана» по поводу «Милого друга»: *«Ces duels au pistolet, ces dîners en ville, ces fumoirs sous les palmiers, ces dégrafages dans les garçonnières du quartier de l'Europe, tout cela est devenu bien comique»** . Поль Моран не учитывает процесс «окомичивания», которому подвергаются характеры той или иной эпохи, переходящие из настоящего в недавнее прошлое. Настоящее *убеждено в своей правоте по отношению к недавнему прошлому*. В этом проявляется не только тщеславие и самовнушение настоящего, но и его воля к жизни, его «право на жизнь». Чтобы обрести право на жизнь, настоящее стремится уничтожить своего непосредственного предшественника. Уничтожить любой ценой. И если настоящее придает недавнему прошлому оттенок смешного, то потому, что хорошо знает: «смешное убийственно» *(le ridicule tue)*. То же происходит между детьми (настоящим) и родителями (недавним прошлым). Цепляясь за жизнь, дети понимают, что должны избавиться от родителей. К примеру, я и мои дети находимся сейчас в следующем положении: они — потенциальные отцеубийцы; я — потенциальный Лай. Мои дети хотят меня уничтожить (особенно моя дочь Анжелика, которой уже стукнуло четырнадцать; в Руджеро, моем сыне, инстинкт отцеубийства находится пока в личиночном состоянии). В отношении меня, их отца, они занимают открыто враждебную позицию. Они готовы возразить мне *a priori*. Они норовят сделать все не так, как делаю или велю делать я. Но я не сетую и не обижаюсь, ибо таков закон *здоровой* жизни. Открытие комичности «Милого друга» наивно. Видно, Поль Моран ведать не ведает ни о Лео Лонганези, ни о еженедельнике «Омнибус» — этой библии комичности XIX века. Но сколько же грусти в подобной комичности, сколько пошлой жестокости в этих бестактных и безжалостных потомках, осмеивающих своих предков! Прошлое почитаемо уже

---

* Эти нескончаемые дуэли на пистолетах, ужины в ресторанах, курения под пальмами, раздевания по холостяцким углам в Европейском квартале — все это выглядит весьма комично (*франц.*).

по своей природе. Однако таково лишь неподвижное прошлое. Прежде чем стать неподвижным (почитаемым), прошлое какое-то время подвижно, в нем еще теплится жизнь, как в машине еще теплится движение, хотя двигатель уже выключен. Это «критический» момент прошлого, время его формирования. Прежде чем стать почитаемым, прошлое должно пройти испытательный срок, в течение которого его пригвоздят к позорному столбу, сделают всеобщим посмешищем. Именно в этом положении находится сейчас XIX век. В настоящее время XIX век стоит у позорного столба. Впрочем, время его осмеяния, пожалуй, заканчивается, и уже видны признаки того, что XIX век обретает неподвижность, становится почитаемым... Уже появляются признаки того, что у позорного столба XIX век сменяет век XX, то есть эпоха самого Морана: разухабистый туризм и американистый энергетизм, *liners* и прибытие на встречу *par avion*, купания в Санта-Барбаре и романы, настуканные прямо на портативном «Ремингтоне». Поль Моран продолжает: *«Le financier et sa femme ne répondent guère à ce que nous pouvions attendre d'un romancier de l'époque de Drumont. Les banquiers sont conventionnels, réplique sans originalité des financiers des Rougon-Macquart. Le Juif de «Bel Ami», «l'air trop frais et malsain» se nomme Walter, ce qui, d'ailleurs, est plus anglais que juif* (да позволит нам Поль Моран не согласиться с ним: мы лично знаем в Париже одного Вальтера, владельца галереи *Des Quatre chemins*; и никакой он не англичанин, а русский еврей); *de même que celui de «Mont-Oriol», «Juif méridional», se nomme Andermatt. Ces petites erreurs sont graves; elles prouvent que Maupassant ne connaissait pas les Juifs; elles expliquent qu'il se soit tellement mepris sur la première Juive qu'il aima»*[*].

За *première Juive*, разделившей с Мопассаном ложе, последовало немало других; осмелимся предположить, что в обильном гареме «Ги» дочери Сима составляли большинство. Еще бы. Народ Израилев стоит на стыке различных видов жизненной деятельности. Этот народ, столь же жадный до жизни, сколь и поверхностный, готовый первым воспринять новые идеи, новую науку, новое искусство, новые обычаи, новую роскошь, составляет «первый пласт» общества — тот поверхностный слой, в который неизбежно вляпается его дебютант, в котором неминуемо увязнет всякая ворона в павлиньих перьях, иначе говоря, провинциал, парвеню и честолюбец, иначе говоря, Мопассан. То же произошло с Габриеле Д'Аннунцио во время его парижской антрепризы. Когда бы он не заручился поддержкой всевозможных Ид Рубинштейн и Ян Катюль-Мендес и понадеялся исключительно на крупных буржуа вроде Пуанкаре, успехи нашего Габриеле в *Ville Lumière* были бы куда скромнее. У народа Израилева обязанности поделены между сыновьями и дочерьми Авраама. И если иудейские мужи алчно набрасываются на все сочное, искристое, броское, заманчивое в идеях, науках, *революциях*, то жены столь же рьяно, с той же ненасытностью впиваются во все сочное, искристое, броское, заманчивое в светскости и эротизме. *«ils s'agitent agrèablement»*[**], — говорил о евреях со свойственным ему изяществом Аполлинер. Что обнаруживает в этом народе, традиционно упреваемом в лукавстве, неисчерпаемые глубины простодушия. Впрочем, отношения между литературой и израилитством имеют древнюю и славную историю. *«Une nuit que j'étais près d'une affreuse Juive»*[***] — признается Бодлер с особой цветовой акцентацией. Данное свидетельство весьма своевременно напоминает, что любовь дочерей Сима обладает собственным, незаменимым привкусом. Поверьте опыту Нивазио Дольчемаре.

[32] «Пышка» знаменует начало литературной фортуны Мопассана. Рассказ, вошедший в сборник «Меданские вечера», торжественно возвышается над рассказами пяти других «натуралистов». Реальную Пышку, вдохновившую Мопассана, звали Адриенн

---

[*] Финансист и его супруга вовсе не соответствуют тому, что можно ожидать от романиста эпохи Дрюмона. Банкиры весьма условны; это довольно пресная реплика в адрес финансистов из клана Ругон-Маккаров. В «Милом друге» еврей «чересчур холодной и болезненной наружности» носит имя Вальтер, которое скорее пристало англичанину, нежели еврею; точно так же, как персонаж «Монт-Ориоля», «еврей-южанин», назван Андерматтом. Все эти мелкие огрехи далеко не безобидны; напротив, они доказывают, что евреев Мопассан не знал; что он составил ошибочное представление о первой еврейке, которую возлюбил *(франц.)*.

[**] Они так мило суетятся *(франц.)*.

[***] Я эту ночь провел с еврейкою ужасной *(франц.; перев. Эдлиса)*.

Легэ. Древнейшей из профессий она занималась в Руане. Перейдя в разряд знаменитостей, Мопассан повстречал свою модель в руанском театре спустя несколько лет. Он уважительно здоровается с Пышкой, приглашает ее после спектакля на ужин, а после ужина едет к ней. Но не доводит дело до «логического конца», то есть до *счета* за встречу Мопассана с Пышкой.

[33] Пуристы восстали бы против слова «вагон», поскольку оно не итальянское. Всякий раз, когда из соображений пуристской щепетильности мы приостанавливаемся, прежде чем употребить недостаточно пуристское словцо, нам вспоминается, что Кардуччи называл железнодорожный билет «карточкой», — и тогда вся наша щепетильность мигом рассеивается.

[34] *Livres de comptes**: есть в Мопассане и что-то от бухгалтера. Впрочем, Мопассан был нормандцем, а такие черты, как деловитость, бережливость, хозяйственность, скопидомство издревле отличали нормандцев. Мопассан прекрасно знал эти черты и прекрасно же вывел их в своих нормандских героях.

[35] См., читатель, на с. 60 «Каллиграмм» Аполлинера «написанный» поезд.

[36] Надо бы глубже исследовать самый эффект мерзости, а заодно и уяснить, откуда у нас это желание хорошенько умыться, возникающее по целому ряду «нематериальных» причин. Одна моя знакомая дама, как поговорит дольше обычного со свекровью, так тут же бежит подмываться.

[37] Книги Пруста по своей сути, тематике и глубине вполне достойны быть народными книгами. Но не только поэтому, а прежде всего потому, что их отличает изящество, вычурность, жеманность, утонченность — словом, полный набор избитых прелестей, столь любезных широкому читателю. Ошибаются политики, ошибаются социологи, полагая, будто народ надо ублажать чем-то непременно народным. Народу страсть как хочется того, чего в нем нет, что «не народно». Вот на это и должна быть нацелена прозорливая демагогическая политика. Только где она, эта хваленая прозорливость? Главная причина того, что книги Пруста не народны, — в излишне медлительном развитии их сюжетов. Эти книги-тихоходы следует читать лежа, как, впрочем, они и были написаны.

[38] Флобер, на своем языке нормандского богатыря, говаривал: «Агро-о-мный».

[39] Сименон постдетективного периода, Сименон — автор «Семейства Питар» и таких повестей, как «Красный осел» или «Невеста мсье Ира», ничуть не у́же Мопассана. А его «жизненное пространство» гораздо шире.

[40] Считалось, что Мопассан был *fou*** от живописи. Какой живописи? Решив посвятить своего «верного» Тассара в культ идеальной красоты, Мопассан внушает ему на досуге, что Месонье — это величайший художник. Есть примеры и похлеще: Мопассан восхищался Жервексом. Охотники узнать, кто такой Жервекс, могут заглянуть в «Поведайте, люди, о вашей истории» Альберто Савинио, с. 69.

[41] Тем не менее биографы утверждают, что Мопассан не любил фотографироваться. Видимо, неприязнь к фотозапечатлению являлась составной частью примитивизма Мопассана и объяснялась боязнью быть сфотографированным. Вот и краснокожие не любят, а точнее, страшатся фотографии. С незапамятных времен люди боятся собственных портретов, боятся потерять свой облик, запечатленный на живописном холсте, свою душу, покидающую их, чтобы перейти в изображение.

[42] И в половой жизни можно установить свою иерархию. В половой жизни, как и в других ее проявлениях, можно предпочесть формы, допускающие, подобно чувственности, известное участие интеллекта, формам сугубо материальным, которые, подобно карнальности, наличия интеллекта ни в коей мере не допускают.

---

* Бухгалтерские книги *(франц.) Здесь* игра слов: *livres des contes* — книги рассказов и *livres de comptes*.

** *Здесь*: без ума *(франц.)*.

[43] Нормандский покупатель.

[44] Эпоху полнотелых женщин сменяет эпоха мнимых худышек; последняя, в свою очередь, уступает место эпохе тощих женщин — нашей эпохе, уже клонящейся к закату.

[45] Ну как тут оставаться равнодушными: имя Гюстав прямо-таки довлеет в этом сочинении над Мопассаном! Такое впечатление, что и сам Мопассан был «Гюставом». О том, что значит «быть Гюставом», можно много чего сказать, но не здесь и не сейчас. Кокто понял, что значит «быть Эженом»; а французский народ понимает, что значит «быть Жозефом». Не дадим ввести себя в заблуждение общепризнанным именем. Ги, как и Марсель, во Франции не столько имена, сколько прозвища, уменьшительно-ласкательные обращения, приветливые и милые, любвеобильные и нежные — словом, имена *homme-a-femme**. Вполне возможно, что мать Мопассана, души не чаявшая в своем Ги, нарекла его этим именем-псевдонимом с прицелом на будущее. И что истинным именем Мопассана, втайне от него самого, его родителей и даже метрической книги, было имя Гюстав...

[46] «Пластическое» восприятие женщины художниками и вообще визуалистами чувственно выражается в так называемой «здоровой» любви.

[47] Когда умирает мать гомосексуалиста, гомосексуалист переносит свою любовь на другую женщину, которая по возрасту, облику, поведению могла бы быть его матерью.

[48] Все по тому же закону восполнения, о котором говорилось выше.

[49] Кое-кто из читателей, идущих на поводу у привычки, воскликнет: «А это-то здесь при чем? В свойственной нам литературной манере, по сути своей антимикеланджеловской, мы стараемся окружать предмет повествования как можно более насыщенной, сочной, «неожиданной» средой. С помощью *разного* и *другого* мы стремимся раскрыть *это* как можно полнее, высветить его как можно ярче, проникнуть в него как можно глубже. Мы идем по литературе, как по натянутому канату. А всевозможные ссылки, уподобления, сравнения, разбросанные нами тут и там, нужны для того, чтобы удержать равновесие; они выполняют ту же роль, что балансир или расставленные руки канатоходца. 1821 год является символом освободительного движения, которое постепенно принесло независимость угнетенным народам Европы: вначале Греции, затем Италии и, наконец, Польши. То обстоятельство, что 1821 год оказался еще и годом рождения матери Мопассана, не должно затмевать главного значения этой даты. Наоборот, оно лишь напоминает об этом значении. При сопоставлении двух этих фактов мы наблюдаем, как менее значительное событие окрашивается смыслом более значительного события и проявляется гораздо глубже и полнее.

[50] Дабы не растрачиваться по мелочам, госпожа Мопассан целиком направила свою энергию на первенца. Поэтому второй ее сын, Эрве, не получил причитавшейся ему доли материнской заботы. Госпожа Мопассан здраво рассудила, что если и одного великого человека на семью уже много, то двое великих людей — явный перебор. Эрве, так и не испытавший на себе вдохновенной, целенаправленной и продолжительной опеки со стороны матери, пошел по жизни самостоятельным путем: он служил в чине унтер-офицера в Африке, а потом занялся цветоводством в окрестностях Ниццы. Уточним: у Эрве, так и не познавшего «тоталитарной» материнской любви, не было особых причин оставаться холостяком. И он обзавелся женой.

[51] Определение брака, данное Мопассаном: «Союз дневных размолвок и ночных зловоний».

[52] Определения женщин, данные Мопассаном: «Безмозглая ехидна»; «Нежнотелая прелесть, обитель гнусности и бесчестья».

[53] У Мопассана была квартира, где он жил и работал, и *garçonnière*, где он предавал-

---

* Дамского угодника (*франц.*).

ся своим бычьим игрищам. *Garçonnière* была для Мопассана тем же, чем мастерская для художника.

[54] Вот еще один образчик эпистолярных отношений между Мопассаном и его матушкой. Письмо, датированное январем 1881, в котором Мопассан сообщает матери, что заканчивает «Дом Телье»: *«J'ai presque fini ma nouvelle sur les femmes de bordel à la première communion. Je crois que c'est au moins égal à* Boule de Suif, *sinon supérieur»*[*].

[55] Коль скоро честолюбие есть по природе своей экзальтация личности, остается лишь удивляться этой форме честолюбия, которая упраздняет личность. Стремясь, под воздействием натурализма Мопассана, называть вещи своими именами, добавим, что странная эта форма честолюбия в определенном смысле сродни половому извращению.

[56] Четырежды (!) моя пишущая машинка напечатала «Моппассан» с двумя «п». Трижды я убирал довесок, а на четвертый раз оставил как есть. Для наглядности. Разве не странно, что пишущая машинка страдает манией величия? Вот и Мопассан выказывал признаки мании величия. Психиатры приписывали их прогрессивному параличу. Неужели и моя «Оливетти М.40» подвержена прогрессивному параличу?

[57] Вопли биржевых маклеров на ступеньках парижской Биржи могут иметь и другое объяснение — более глубокое, более «психологическое», менее латинское. Возможно, маклеры издают эти крики потому, что *крик привлекает*, как привлекает свет и в особенности блеск. В этом кроется исконный смысл драгоценностей. Женщина надевает драгоценности, ибо драгоценность (блеск) привлекает. Из этого слишком просто вывести, что драгоценность есть форма варварства. Женщину, увешанную драгоценностями, можно иначе назвать «крикуньей». В наше время вопли частенько используются и в качестве политического инструмента.

[58] Вы не поверите, но я чуть было не написал «мухлеров».

[59] Благодаря любезности моего друга Эрне Лафона, заместителя прокурора Республики, я располагаю текстом песни о Старом Галле, исполняемой на мотив кадрили-лансье:

Si le vieux Gaulois n'a plus de voix voix voix
Il a du moins moins moins
Un instrument charmant,
Car mïeux qu'aucun il exécut' cut' cut'
Les airs les plus connus
Avec le trou d' son c...[**]

[60] Пловец и гребец в юные годы, Мопассан не отказывается от спортивных забав, даже когда его бычья сила начинает понемногу убывать. Только теперь он переходит к забавам менее обременительным. «Верный» Тассар с гордостью показывал картонные мишени, пораженные из пистолета хозяина в самое яблочко.

[61] Служба в Морском министерстве подтолкнула Мопассана к написанию «Воскресных прогулок парижского буржуа» и целой серии «бюрократических» рассказов.

[62] По-итальянски мы сказали бы «мыс Антиба», но это все равно что сказать «фильма».

[63] Мы добились совершенной независимости во взгляде левого и правого глаза; той самой независимости, которая определяет коренное различие между взглядом художника и взглядом фотоаппарата, наделенного лишь одним остекленевшим глазом.

---

[*] Я почти дописал новеллу о девицах из борделя, принимающих первопричастие. По-моему, вышло не хуже «Пышки», а может, и лучше *(франц.)*.

[**] Даже если старый галл
Голос по-по-потерял,
У него под-под рукой
Есть всегда струмент другой,
Чтоб сыграть мотив любой.
Коль нужда его проймет,
Дыркой в ж... он споет.

[64] Я хотел написать «кожа», но «кожа» рифмуется с «кукожилась», и я написал «дерма». Прошу прощения.

[65] Здесь мне следовало бы удержаться, чтобы не нагородить глупостей. Только я уже ничего не боюсь; я преодолел былой страх. Да и что такое глупость? Что вообще считать глупостью, а что *не* глупостью? Не говоря уже об очаровании глупости, о грации глупости, о поэзии глупости, о «правде» глупости. Известна ли вам *Encyclopédie Française du XIX-ème Siècle*? По мнению одного образованного буржуа нашего времени, статьи *Encyclopédie Française du XIX-ème Siècle* тоже сплошные «глупости». Но какие же они милые, вдохновляющие, «полезные» в сравнении, скажем, с «выверенными истинами» Энциклопедии *Treccani*...

[66] Разумеется, мы могли бы навести справки у знакомого врача. Однако опыт учит нас обратному: от «специалистов» все равно никакого прока.

[67] Кроме того, море вызывает чувство бесконечного, «человеческого» бесконечного, «возможного» бесконечного, «достижимого» бесконечного. Гораздо сильнее, чем небо. Потому что небо не является *исконно человеческим*. В чувстве бесконечного заложено чувство бесконечного богатства, бесконечной мощи. С тех пор как при помощи авиации небо стало принадлежать человеку и должно пробуждать в нас чувство «возможного бесконечного». Впрочем, пока еще рано оценивать воздействие покоренного икаризма на историю человечества. Вот разве что одна из примет победы над небом: начавшаяся война между континентами.

[68] Конрад по-настоящему любил творчество Мопассана. Один из ранних рассказов Конрада, «Идиоты», действие которого разворачивается в Бретани, написан под впечатлением сельских *contes* Мопассана. Мопасальное влияние в нем столь очевидно, что в конце концов рассказ осточертел даже его автору. Последний любил не только Мопассана, но и других французских писателей, да и вообще французскую литературу. Это было восхищение вперемешку с ностальгией. Конрад и сам чуть было не стал французским писателем. В начале литературного пути он стоял на распутье, не зная, на каком языке ему лучше писать: на английском или на французском (по происхождению Конрад поляк). Он словно подражал Наполеону: на заре своего конкистадорского поприща будущий император тоже колебался, начать ли ему по-французски или по-итальянски (читай: разыграть французскую или итальянскую карту). И после этого кто-то еще смеет утверждать, что язык впитывается с молоком матери. Любовь Конрада к Мопассану понять сложно. Как сложно понять его ненависть к Достоевскому. Рассказ Мопассана, вдохновивший Конрада, называется «Мать уродов». Сюжет и тут и там почти одинаковый.

[69] Сразу сделаем оговорку: эти строки взяты из юношеского стихотворения Мопассана «Жизнь». Они вырваны из стихотворной плоти, как фрагменты из картины. Данная операция произведена с умыслом и сочувствием. Не дай бог увидеть все стихотворение. Судите сами:

La vie est le sillon du vaisseau qui s'éloigne,
C'est l'éphémère fleur qui croît sur la montagne,
Ñ'est l'ombre de l'oiseau qui traverse l'êther,
C'est le cri du marin englouti par la mer...
La vie est un brouillard qui se change en lumière,
C'est l'unique moment donné pour la prière*.

* Жизнь — это пенный след за темною кормою,
Иль хрупкий анемон, что выращен скалою,
Тень птицы беглая на солнечном песке,
Зов тщетный моряка, что тонет вдалеке.
Жизнь есть туман, лучом нездешним осиянный,
Единственный момент, нам для молитвы данный.
(Перев. З. Бобырь)

Сей стихотворный опус имеет к поэзии такое же отношение, как «Анжелюс» Милле — к живописи. Ничего удивительного, что последняя, незавершенная вещь Мопассана называется «Анжелюс».

Здесь надо бы задаться вопросом: а можно ли назвать Мопассана поэтом? Бенедетто Кроче отвечает, что можно (Бенедетто Кроче, «Поэзия и не Поэзия»). Однако Бенедетто Кроче, рассуждающий о поэзии, — все равно что священник, рассуждающий о лифчиках. Поэт, о чем бы он ни говорил, пусть даже о чем-то невыносимо тяжелом, способен возноситься; он *заставляет летать даже коров...* Мопассан лишен этого дара. (И не потому, что он был *натуралистом* — Флобер тоже *натуралист*; Золя тоже *натуралист;* тем не менее они возносятся гораздо выше, чем «Орля», особенно Золя). Мопассан остается на земле, на унылой, безысходной, смертной земле. Самые внушительные его полеты напоминают полеты инженера Кальдерары: не более трехсот метров в длину и пятнадцати — в высоту. Его рассказы запоминаются благодаря удачно переданному анекдоту или выразительному герою, но в них не хватает души; поэтому можно сказать, что *contes* Мопассана не оставляют по себе никакого следа. Мы, люди пишущие, хорошо знаем, как определить, поэт данный автор или не поэт. Для этого достаточно понять, возникает ли у нас после чтения его произведений *желание работать*. Мы попытались это понять, читая Мопассана, и поняли: произведения Мопассана *не вызвали у нас желания работать*.

[70] Ибо Мопассан пишет убедительно, но он не писатель. Писатель — это тот, кто придает весомость, основательность, вечность каждому предложению, каждому слову. Предложение и слово Мопассана *возникают на короткое мгновение* и сразу же умирают.

[71] На портретах Мопассана изображен человек с куцым взглядом кухарки, не простирающимся дальше стен своего дома.

[72] Мы не знаем, как еще перевести *rond-de-cuir*.

[73] Читатель уже сообразил, что граница между серьезным и шутливым упразднена. Это не наша заслуга: это заслуга остроумия.

[74] Сам Пабло Пикассо, напротив, избегает воды, поскольку боится растаять в ней.

[75] Мопассан носил шляпы, пошитые исключительно на заказ. Акушер, помогавший Мопассану явиться на свет, придал его голове идеально круглую форму, отличную от обычных форматов.

[76] Театр означает: зрелище.

[77] Когда же мы расцветим наши голоса? Охряный голос Петрарки, станиолевый голос Кардуччи...

[78] Портрет Мопассана «набросал» в редакции «Жиль Блаз» Ф. Бак *(Intimités de la III-ème République)*: «Многие писатели и художники посещали редакцию «Жиль Блаз» как салон. Мопассан не был завсегдатаем редакции, но каждое его появление встречало радушный прием. Он был коренастым, темноглазым, с густой шевелюрой и загорелым лицом; над низким воротничком выступала толстая шея; у него был синий галстук в белую крапинку. Он казался застенчивым. Такая застенчивость присуща натурам замкнутым, с необузданным нравом и страстно любящим море». Свои соображения насчет любви Мопассана к морю мы уже высказывали. Описание Ги де Мопассана выйдет неполным, если не упомянуть о маленькой родинке под его нижней губой, придававшей писателю, как и маршалу Мак-Магону, облик времен Второй империи, о котором говорит Абель Эрман.

[79] Мой друг, профессор Витторио Руата, просветил меня: в первую очередь бледная спирохета поражает глазной нерв, что ведет к постепенному ухудшению зрения.

[80] «Для нас, которым ведомо, что внутри этого человека, который утратил прежний бычий норов и переродился в сонного сивого мерина, скрывается некое существо, которое...» Трижды кряду «которым-й-ое» — явная стилистическая оплошностъ, ломающая стройное изящество фразы. Но неужели кто-то еще помышляет о стройном изяществе в

самый разгар этой чудовищной войны, в стремительном водовороте сотрясающих весь мир событий — неужели кто-то еще вспоминает о стройном изяществе слога?

[81] Скажем прямо: до сих пор Мопассаном занимались лишь третьеразрядные исследователи, как, впрочем, того и заслуживает посредственный писатель, сиречь «ранний» Мопассан. Смущает, однако, что никто до сих пор не занялся «вплотную» «поздним» Мопассаном, этим бесспорно величайшим писателем. Даже сюрреалисты, обуреваемые жаждой усыновления и усыновившие-таки Ахима фон Арнима или самого папашу Гюго, не подозревают, что в Мопассане II они обретут более *законного* сюрреалиста.

[82] Рядом с титулом «маршал земли французской» должно поставить имя Поля Бурже. В литературных кругах того времени поговаривали, что Бурже уступил своего портного Мопассану. Обмен портными между писателями куда значимее, чем это можно предположить. Данный обмен точнее любой критической мерки определяет литературный покрой Бурже и Мопассана. Мопассан был писателем с «претензией». На вечерах он появлялся в непременном фраке и белых перчатках. Вместо слова «фрак» я мог бы написать итальянское слово «марсина». Но слова отличают не столько их словарная помета, сколько навеваемые ими чувства, мысли, переживания. При слове «марсина» невольно задумываешься о судьбах итальянской демократии, вспоминаешь о шумном процессе над Нунцио Нази, о министерствах Джолитти — словом, о чем угодно, только не о Бурже и Мопассане. Мопассан изображал из себя ценителя прекрасного. Когда Золя спрашивал у него, к месту ли будет марсина на такой-то церемонии (говоря о Золя, позволительно сказать «марсина», и проницательный читатель поймет почему), Мопассан отвечал: «Фрак, днем? Никогда и ни за что». Эта аксиома Мопассана не долетела до слуха Виктора де Сабаты и Бенедетти Микеланджели, так как они продолжают выходить на дневные концерты в «Адриано» в марсине и белом галстуке. Высшее звание воинской иерархии подходило помпезному умнику Полю Бурже как имя нарицательное. Поль Бурже идеально сочетался с маршалом Фошем. В официальной Франции существует тесное родство между представителями различных социальных групп, а также между последними и государственными институтами. Институт, объединявший военного маршала и маршала литературного, был журнал «Ревю де Дё Монд». Заметим попутно, что этот суровый орган, бывший к тому же оплотом французского литературного чванства, долгие годы держал свои двери закрытыми для Мопассана, хотя и не отличался тем небывалым упорством, каким отличалась Французская академия, так и не впустившая к себе Мопассана до конца его жизни. Мопассан считался удачливым *conteur** , но официальный литературный мир ставил писателя не очень-то высоко, а молодежь даже слегка его презирала. И в наши дни возникают параллели между литературой и армией (речь идет опять же о Франции: в Италии все эти разделения проводятся не так отчетливо и соблюдаются не так строго). В паре Жироду—Гамелен роль «Ревю де Дё Монд» отведена «Нувель Ревю Франсез». История этой пары кончается поражением Франции. У каждой войны есть свой литературный знак. (Речь по-прежнему о Франции.) Война 1914 — 1918 гг. проходит под знаком Поля Бурже. Больше во Франции ничто уже не будет отмечено данным знаком. Это говорит о том, что Великая война некоторым образом завершает эпоху *Vieille-France*** . Война 1939 г. проходит под знаком Жироду, иными словами, той утонченно-пустой литературы, которая объединяет имена Пруста, Жироду, Жида и др. Быть может, крах этого знака в военном отношении (Гамелен) означает и его несостоятельность в литературе? Жироду умер два месяца назад (март I944-го). Итальянские газеты откликнулись на это парой строк, набранных петитом. Конечно, в те дни газеты пестрели новостями совсем иного толка. Мы весьма благосклонно поддались очарованию *«Bella»* и *«Ondine»*. Но полистали мы и *«Choix des élues»**** ; полистали — и вскрыли подноготную этого очарования, весь его мелочной национализм *plein de délicatesse***** и *passablement bébête****** . Мог ли знак Жироду—Гамелена победить с та-

---

* *Здесь*: новеллистом *(франц.)*.
** Старой Франции *(франц.)*.
*** Романы Жана Жироду «Bella», «Ундина», «Выбор избранниц».
**** Вкрадчивый *(франц.)*.
***** Глуповатый *(франц.)*.

кими «задатками»? В ответ на безразличие и презрение молодых, да и пишущей братии вообще, Мопассан столь же презрительно относился к литературной вычурности, называя себя «фабрикантом словесности». Говоря о презрении молодых к Мопассану, уместно вспомнить слова Поля Морана о молодом Жироду: *«Je me rappelle qu'un jour, j'avais alors seize ans, mon père, assez affecté de constater que Jean Giraudoux ne partageait pas ses enthousiasmes pour les écrivains de 1880, lui disait: «Maupassant, tout de meme?...» Giraudoux repondait par une moue douce. «Mais enfin, continuait mon père avec quelque impatience, les paysans de Maupassant, c'est quelque chose!». A quoi le jeune Normalien répliquait cette fois par un oui indifferent, fermé, poli, un oui qui était un non»**. Добавлю, что на тысяче трехстах тридцати двух страницах «Дневника» Жида Мопассан упоминается только однажды, а именно: *«Samedi, 29 Janvier 1916. Retour à Auteuil à 8 heures. Drouin vient après dîner. Je lis un conte de Maupassant («Le Parapluie»), lecture coupée par le bruit des (ou du) Zeppelin (s)»***. Еще один штрих к картине взаимоотношений Мопассана и Бурже: Мопассан «слямзил» у Бурже сюжет романа («Сильна, как смерть»).

[83] Здесь этот термин [*une voix de tête* — головной регистр], пожалуй, впервые звучит в полную силу. Голос Безумия прокрался в голову Мопассана и волнует, сотрясает, опустошает ее, подобно стальной птице, ненароком залетевшей в комнату, где полным-полно хрустальных безделушек; птица разбивает их одну за другой на своих бешеных виражах.

[84] *Драгой*, а не *дорогой*. В словах с тремя слогами и более начальные слоги неплохо бы облегчать, чтобы последние не сгибались под непосильной ношей. Как-то раз мы отважились заметить синьоре Буонариа, что ее фамилию надо бы исправить на Бонариа. Немного сердито она ответила, что ее отец, и дед, и прадед... Сколько еще ошибок совершается только потому, что и отец, и дед, и прадед...

[85] Иначе называемая «Премия Рождественской ночи».

[86] Моя пишущая машинка напечатала «не поморфившись». Прозорливость пишущих машинок. Прозорливость и осведомленность пишущих машинок. Значит, моя машинка («Оливетти М.40») все знает? В последний и самый тягостный период своей жизни Мопассан *принимал наркотики*.

[87] В один прекрасный день люди поймут, что изобретение механической бритвы произвело в физической и умственной жизни человека такой же переворот, какой совершило изобретение фотоаппарата.

[88] Так утверждают биографы Мопассана. Но мы-то не купимся на подобные байки.

[89] Мать Мопассана страдала базедовой болезнью.

[90] Детективная литература учит нас, что лучший способ уберечь человека, которому грозит опасность, — это посадить его в тюрьму. По сравнению с тюрьмой смерть куда более надежное убежище.

[91] Естественная компенсация за невежество Французской академии, так и не удостоившей Мопассана звания *бессмертного*. Бальзак, Флобер, Золя тоже остались за бортом Академии.

[92] Предвидя поступок хозяина, «верный» Тассар извлек пули из гильз.

[93] Из письма Гюстава де Мопассана от 29 марта 1892 года мсье Жакобу, адвокату, другу семьи Мопассанов и душеприказчику Ги: «Моя жена стала чрезмерно вспыльчи-

---

* Помню, как однажды, мне было тогда 16 лет, мой отец, задетый за живое тем, что Жан Жироду не разделяет его восторгов по поводу писателей 80-х, воскликнул: «Но Мопассан-то, Мопассан?..» Жироду ответил слащавой улыбкой. «Но ведь мопассановские крестьяне, — с некоторым нетерпением продолжал мой отец, — чего-то стоят!» На что юный воспитанник «Эколь нормаль» отозвался равнодушным, сдержанным и вежливым «да», означавшим «нет» *(франц.)*.

** Суббота, 29 января 1916 г. В 8 часов вернулся в Отёй. После ужина пришел Друэн. Читаю новеллу Мопассана («Зонтик»); время от времени чтение прерывается шумом(-ами) цеппелина(-нов) (*франц.*).

ва; она взрывается по малейшим пустякам. Этих приступов уже не скрыть от ребенка (Симоны, дочери Эрве де Мопассана), которому они наносят немалый вред. Больше недели она не получала вестей от Ги. *Sa tête déménageait*[*]; к ней невозможно было подойти. Она обращалась с моей невесткой (Марией Терезой де Мопассан, вдовой Эрве) как с последней шлюхой. Она смешала с грязью ее семью, а на днях в припадке гнева и вовсе выгнала Марию Терезу из своей комнаты, велев ей убираться к родителям!.. Бедная Мария Тереза пошла укладывать чемоданы. Когда она спустилась проститься с моей женой, та уже успела принять два пузырька настойки опия и лежала без чувств. Спешно послали за доктором, который дал ей рвотное, и столь же большая доза яда спасла ее. Придя в себя, она разбушевалась безо всякого удержу: вскочила, грубо отпихнула мою невестку и устремилась на улицу. Ее догнали, привели обратно в дом, уложили в постель. Тем временем моя невестка успокаивала несчастного ребенка, у которого началась жуткая истерика. Она отвела девочку в свою комнату, оставила ее под присмотром друзей, а сама вернулась к свекрови. Моя жена воспользовалась небольшим замешательством и попыталась удавиться собственными волосами. Чтобы спасти ее, пришлось обрезать ей волосы. После этого она еще долго задыхалась и билась в мучительных судорогах...» Первые признаки базедовой болезни, сопровождающейся, как известно, повышенной раздражительностью и нещадно терзавшей госпожу Мопассан, появились у нее в 1857 году — за тридцать лет до того. В ноябре 1878-го Флобер писал своему ученику: «Мне грустно слышать все, что Вы говорите о Вашей бедной матушке. Проще всего было бы поместить ее в какую-нибудь лечебницу». Добавим, что базедову болезнь и вызванный ею невроз домашний врач Мопассанов поначалу приписал солитеру. Поэтому Ги, как и подобает любящему сыну, неизменно рекомендует матери в своих письмах новые и весьма действенные глистогонные средства.

[94] Определение «светский писатель» относится не к жанру, а к форме ментальности. Мопассан остается «светским» писателем даже в самых что ни на есть кровожадных историях о *filles-de-ferme*[**] и *goujats*[***], ибо то, как они рассказаны, и эффект, на который они рассчитаны, подразумевает светскую аудиторию и светские аплодисменты.

[95] Но не «высочайший поэт», поскольку такое определение уместно лишь в отношении Вергилия, а следом и Данте. Заботясь об утонченном мировосприятии, мы вынуждены проводить не менее тонкие межжанровые границы.

[96] «Милого друга» Мопассан приобрел на авторский гонорар от тридцати семи изданий одноименного романа, разошедшихся за четыре месяца. О своем герое, зачисленном в пантеон знаменитых литературных героев, Мопассан как-то сказал: «Милый друг — это я». Мопассану нравилось выказывать этакую беспристрастность. В 1883 году он покупает дом в Этрета и называет его «Дом Телье». Однако мать против, и Ги приносит в жертву испытанной преданности своей родительнице это второе и еще более яркое проявление беспристрастности. В этом же году Мопассан нанимает слугу — того самого Тассара, которому суждено стать «верным» Тассаром, надежной опорой своему хозяину.

[97] И невнимающим.

[98] Аристократизм, в смысле обилия предков, — это тоже боязнь одиночества.

[99] Что думал Мопассан о Малларме? В 1877 г. после нескольких напрасных (несмотря на поддержку Флобера) попыток прочно войти в журналистику Мопассан пишет своему учителю и покровителю: «Я мог бы работать в *«Nation»* в качестве литературного или театрального критика вместо мсье Ноэля, *qui est au-dessous même de Mallarmé pour le galimatias*[****]. Мопассан явно не обременен литературным чутьем, литературным мышлением. (Мопассан редактировал посмертное собрание сочинений Флобера. По

---

[*] Она помешалась в рассудке *(франц.)*.
[**] Батра́чках *(франц.)*.
[***] Чернорабочих *(франц.)*.
[****] Который идет сразу за Малларме по части галиматьи *(франц.)*.

этому случаю он написал критический очерк об авторе «Мадам Бовари». Однако вернее было бы воспринимать его как дань уважения учителю и знак сыновней признательности.) В литературном отношении Мопассан — невинное дитя. Но и устами младенца подчас глаголет истина. Разве не ребенок вынимает из лотерейного барабана счастливый билет? Так и в суждении — подспудном — о Малларме, которое, разумеется, следует воспринимать *cum grano...*[*] Так и в словах невежды о Сезанне: «Он не умеет рисовать». Так и в словах того же Мопассана о «Страшном суде» Микеланджело, которые и тут следует воспринимать *cum grano*, даже *cum grano* в квадрате: *«Le Jugement Dernier de Michel Ange a l'air d'une toile de fond peinte pour une baraque de lutteurs par un charbonnier ignorant»*[**]. (В письме из Рима, датированном 1855 годом, Мопассан пишет: *«Je trouve Rome horrible»*[***]; и далее: *«Dans les musées, rien»*[****].) Нет, Мопассан не обременен, как есть не обременен не только литературным или художественным чутьем, но и каким угодно еще.

[100] Наши судьбы, судьбы «цивилизованных» людей, отражаются в наших именах и фамилиях. Редки те люди, которые «не похожи» на свои имена и фамилии. Крайне редки те люди, чья судьба не предсказана в их имени, не предначертана в их фамилии.

[101] Мопассан умер 6 июля 1893 г. в возрасте сорока трех лет. Что происходило между 18 февраля и 6 июля? Этого мы не знаем. И не хотим знать. Для нас Мопассан умер в тот момент, когда самолично объявил, что он умер. Дальнейшее — бесполезный придаток, немощное брюзжание *vieil-homme*. «Другой» *победил* 18 февраля 1893 г.

А Гюстав?.. Мы оставили его там, в Сент-Максиме, когда он возвращался домой с газетой в кармане. Он умер 24 февраля 1899 г., возможно, так никогда и не открыв газету, в которой...

8 декабря 1904 г. в Ницце умерла госпожа Лора де Мопассан. На этом кончается баллада о Мопассанах. Трагическая баллада о Мопассанах.

Во время болезни их сына и сразу после его смерти ни отец, ни мать не покинули ласковый и теплый Лазурный берег.

Чего ради?

У Стивенсона (в «Южных морях») есть такой эпизод. Распрощавшись с туземцами одного из островов Гилберта, мореплаватели еще три дня простояли в бухточке, дожидаясь попутного ветра. Так вот, за все эти три дня туземцы ни разу не показались на берегу, прячась в зарослях, *потому что прощание уже состоялось*.

Гюстав и Ги де Мопассан простились в тот день на мысе Антиб. С тех пор отца и сына больше ничего не связывало. Что касается матери, то она лишилась своего чада во время «тайной вечери». После этого она поняла, что Ги принадлежит уже не ей, а тому, «другому».

■

[*] Cum grano [salis] — критически, с оговоркой *(лат.)*.

[**] «Страшный суд» Микеланджело напоминает задник, намалеванный безграмотным мазилой в борцовском бараке *(франц.)*.

[***] Я нахожу Рим чудовищным *(франц.)*.

[****] В музеях — ровным счетом ничего *(франц.)*.

ЁСАНО АКИКО

«О богиня Медуза, молю...»

СТИХИ

Перевод с японского и вступление ЕЛЕНЫ ДЬЯКОНОВОЙ

Японская поэтесса Ёсано Акико (1878—1942) в юности получила отменное образование в японском духе, увлекалась классической литературой, поэтому выбор ею канонической формы пятистиший *танка*, зафиксированной японской традицией еще в VIII в. в первой антологии поэзии «Собрание мириад листьев», не случаен. К тому времени, когда в 1900 году провинциальная двадцатидвухлетняя девушка из купеческой семьи послала свои первые стихотворения в прославленный столичный журнал «Утренняя звезда», традиция пятистиший *танка* насчитывала уже двенадцать столетий.

Просодической единицей *танка* является строфа, состоящая из группы в 5 и 7 слогов, а само стихотворение представляет собой пять силлабических групп в 5—7—5—7—7 слогов. Темы классических *танка* строго регламентированы: это песни любви, разлуки, песни, написанные в пути, «на случай» и т. д. Человеческие переживания вписаны в смену времен года и происходят непременно на фоне природы, либо каким-то образом с природой связаны. Канонизированы и основные приемы *танка*, чрезвычайно подробно разработанные традицией. Ключевые слова *танка* вызывают у искушенного читателя ряды ассоциаций, не входящих в текст и внятных японцу, но обычно они скрыты от иноземных читателей, поскольку не поддаются переводу. Тесное пространство пятистиший — всего 31 слог — не позволяет развернуть эти ассоциации при переводе. Когда-то академик Н. И. Конрад переводил одно стихотворение *танка* два раза, чтобы во всей полноте представить перекрещивающиеся смыслы.

Ёсано Акико и ее муж Ёсано Тэккан в 1930 году

Изощренность этой поэтической формы, испытавшей на протяжении более чем тысячи лет взлеты и падения, то почти угасавшей, то вспыхивавшей, словно угли на ветру, обернулась к концу XIX в. довольно монотонными повторениями одного и того же, вызывая у ревнителей традиции горечь, а у модернистов, находившихся под европейским влиянием, негодование и желание отречься.

© Е. Дьяконова. Перевод, вступление, 1999

В публикации использованы иллюстрации к сборникам стихов Ёсано Акико «Спутанные волосы» (1901) и «Танцовщица» (1906).

Рубеж веков — эпоха примечательная в японской культуре. Так называемая реставрация Мэйдзи в 1867—1868 гг. открыла страну после трехсотлетней изоляции, когда торговые европейские корабли могли заходить только в два порта на юге, а японцам, покинувшим страну, грозила смертная казнь. В конце XIX века западные влияния буквально хлынули в Японию. На волне этих влияний, а также в осознании необходимости реформировать традицию, и не только поэтическую, возникли разнообразные литературные движения, объединения, поэтические общества и журналы. «Золотые молнии романтизма» (Н. Гумилев) поразили многих японских литераторов, которые объединились в романтическую «Школу Утренней звезды». Душой этой школы стала Ёсано Акико.

Первые романтические *танка* Ёсано Акико печатались на страницах журнала «Утренняя звезда», главным редактором которого был известный поэт Ёсано Тэккан. Он и стал героем ее лирики; отношениям поэтов-любовников посвящена первая книга Ёсано Акико «Спутанные волосы» («спутанные волосы на ложе любви» в ее поэтике — символ любовной страсти, долгое время считавшийся весьма рискованным). Книга немедленно привлекла к себе пристальное внимание. Юная поэтесса бежала из дома и вышла замуж за Ёсано Тэккана, который поспешно освободился от связывавших его прежде брачных уз. Именно Тэккану посвящены, видимо, все ее стихотворения, публиковавшиеся с 1904 по 1906 год в разных сборниках. После 1912 года Ёсано Акико выступала только как критик, пыталась (впрочем, безуспешно) возродить журнал «Утренняя звезда»; ее значительный труд тех лет — перевод на современный японский язык классического романа X века «Повесть о Гэндзи», самого знаменитого произведения японской словесности, принадлежащего, как принято говорить в Японии, кисти придворной дамы Мурасаки Сикибу. Но стихов больше не было...

Еще раз поэтический голос Ёсано Акико зазвучал после кончины Ёсано Тэккана в 1935 году; она выпустила книжечку стихов, посвященных теме разлуки и смерти, некоторые из этих *танка* тронули читателей простотой стиля и нотой бесконечной печали. Вместе с тем нельзя не признать, что самое лучшее, оригинальное, сделавшее поэтессу чудесно знаменитой, было написано на протяжении всего только нескольких лет, примерно с 1900 по 1906 год. Это сборники стихов «Плащ любви», «Танцовщица», «Синие волны моря», «Маленький веер», «Путь падающей звезды», «От лета к осени». Ее голос, слабый, женственный, прозвучал необыкновенно внятно и весомо. В классическую форму, соблюдая все ее законы, она сумела вместить современные представления о чувствах, вводя европейские образы, что, казалось, должно было бы разорвать ткань классической *танка*. Но форма эта под ее кистью оказалась чрезвычайно гибкой и выдержала вторжение чужеродных мотивов, которые неразрывно сплелись с традиционными темами. Более того, именно такой чудесный сплав нового и традиционного, когда порой невозможно отделить одно от другого, положил начало возрождению классической *танка* в XX в. Строчка из *танка* Ёсано Акико, вынесенная в заглавие нашей публикации, — яркий пример такого слияния: образ, заимствованный из античной мифологии — богиня Медуза, которая может взглядом превратить человека в камень, — казалось бы, чуждый японской мифопоэтической традиции, на самом деле сродни «домашним» японским богам *ками*, принимающим форму камня, водопада, острова. К тому же первые *танка* сочинены были именно богами, о чем никогда не забывают японцы, всегда подчеркивающие божественное происхождение национальной поэзии.

Ёсано Акико в Париже. Рисунок в японской газете (1912 г.)

За Ёсано Акико шли другие поэты, они, осваивая ее достижения, создавали другую, новую картину мира, сохраняя и прежнюю форму, и жанровые принципы пятистиший.

Поразительная органичность этого превращения — одна из загадок японской культуры. Культура эта

Обложка журнала «Утренняя звезда» с рисунком к напечатанному в этом номере стихотворению Ёсано Акико «О богиня Медуза»

Поразительная органичность этого превращения — одна из загадок японской культуры. Культура эта способна воспринять и переработать самые разнообразные влияния — китайские в древности, европейские в XIX—XX вв., — оставаясь между тем самой собой и сохраняя любые традиционные канонические формы вроде театра Кабуки, музыки *гагаку*, поэзии трехстиший *хокку* или пятистиший *танка*, без видимого противоречия вбирая в себя западную симфоническую музыку, классический балет или свободный стих.

*

О богиня Медуза, молю,
Окамени меня взглядом,
Чтобы я
В оцепенении сна пребывала
До его возвращения.

*

Всего-то половинка любви —
Любовь без ответа, —
Но разве она пылает не ярче
Слепящего солнца
В высоком небе?

*

Цитры напев
С колокольным гулом смешался.
И на это неблагозвучье —
Удивляюсь сама! —
Эхом откликнулось сердце.

*

Влюбленное сердце
Свирепствует,
Словно лев разъяренный,
Но нежности райская птица
Здесь же, рядом.

*

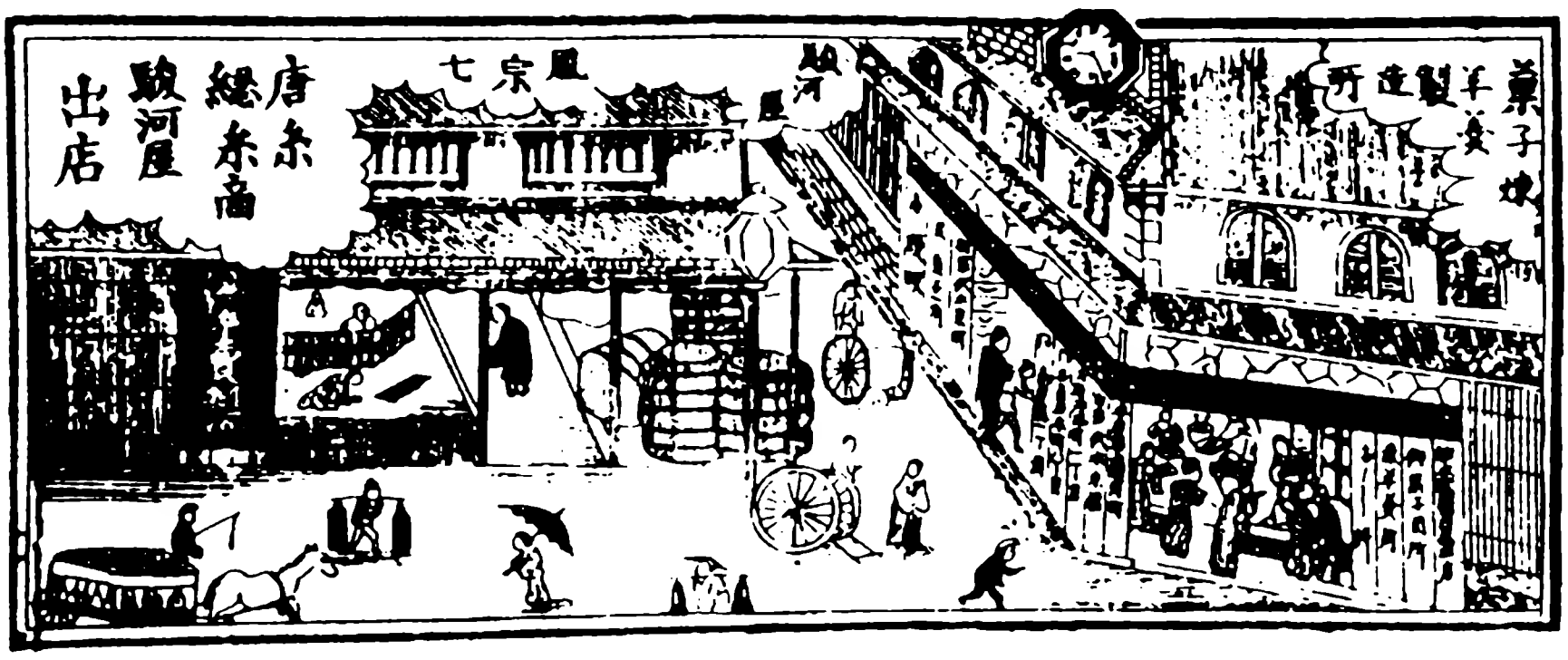
Как узна́ю —
Души ли робость,
Змеи объятья,
Или оковы сковали меня,
Так что слезы рекой?

*

В единый день
Сердце мое,
Мирскую познавшее горечь,
Просквозили — весенний ветр
И осенний — разом.

*

Белеют плечи мои —
В деревянной бадье купаюсь;
Некто подумает, увидав:
Белых лилий бутоны
Распустились.



*

Мнилось:
Сияюще-алая
Твердыня воздвиглась
В моей душе.
А там — пепелище.

*

Всего-то: гость
Прислонился к откосу двери
В моем доме,
И сделался храмом дом.
Сумрак весенний.

*

Об осенних
Жухнущих травах думаю.
Они тоже
Блекнут, вянут —
Со мною схожи.

*

Ветви в цвету —
Ароматные девичьи руки, —
Белея, приветствуют грациозно
Прекрасной весны
Лучшую пору.

*

Во весь окоем неоглядный —
Когда бы могла —
Начертала б слова любви
К людям,
Живущим в моей стране.

*

Предвечен
Ход небесных светил:
Едва закатилось солнце,
Над руинами замка
Луна всплывает.

*

Мечтаю,
Чтобы во тьме щека твоя рдела,
Когда в хижине горной
Я растоплю жарко-жарко
Огонь в очаге.

*

Вот так, склонившись
Над низким столиком с книгой,
Изойду любовью
И время до самой смерти
Скоротаю.

Издали смотрю на дорогую сердцу картину

Вечные чайки
Над гладью реки Синано
Без устали чертят воздух —
Меряют крыльями
Тысячеверстые дали.

*

Небо с землею
Соединились в зыбком сплетении —
Наплывший с моря туман
Проник в цветущие кроны
Сакуры горной.

*

Багряное солнце.
Тяжесть светила закатного
Я бы сравнила
С грузом тяжким
Одного лепестка хурмы.

*

Ты — сияние звезд
В зимнем ночном небе.
Кто-то скажет:
Всего одной, —
Отвечу: всех до единой.

*

Неотвязная мысль:
Любовь до конца исчерпалась.
Вдруг поняла,
Что горечь печали —
Только любви продолженье.

*

Как в былые дни
Называла любовью
Все горести мира,
Так нынче все радости
Смертью зову.

*

Дождь за окном.
В ненастный осенний день
С кем перемолвиться словом?
Радостно стану
С сердцем твоим говорить.

ЖОЗЕ САРАМАГО

Каменный плот

РОМАН

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

Нам, находящимся в отдалении, мало известно о том, как вился и развивался кризис, который, начавшись сразу после отделения Пиренейского полуострова от континента, набрал силу во время приснопамятных захватов отелей, когда закон и порядок были попраны взбунтовавшейся чернью, правительства же, а особенно те его члены, что отвечали за внутренние дела, понятия не имели, каким образом разрешить ситуацию, вернуть собственность ее владельцам в соответствии с высшими интересами морали и права, да притом еще в кратчайшие сроки, в обозримом будущем. Прежде всего потому, что никто не знал, какой срок им отпущен и сколько этого будущего будет. Когда разнеслась весть о том, что полуостров ускорил ход до двух километров в час и движется прямо на Азоры, португальский кабинет министров в полном составе подал в отставку, мотивируя свое решение усложнившейся обстановкой и опасностью, грозящей всем и каждому, из чего можно, пожалуй, заключить, что правительства способны работать отчетливо, ритмично и эффективно лишь в те периоды, когда нет оснований требовать, чтобы они работали отчетливо, ритмично и эффективно. Премьер-министр в своем обращении к нации указал на однопартийный характер возглавляемого им кабинета как на главное препятствие к достижению общенационального согласия, без которого в тяжелейших условиях переживаемого отчизной момента нечего и думать о восстановлении нормальной жизни. В связи с этим президенту страны было предложено сформировать правительство национального спасения на самой широкой основе, с участием всех политических партий и движений, независимо от того, представлены ли они в парламенте, — понимать это следовало так, что в нынешних обстоятельствах местечко заместителя помощника заместителя помощника какого-нибудь министра найдется даже для тех, кому в нормальной обстановке не доверили бы и двери открывать. Бывший премьер не преминул с полнейшей ясностью дать понять, что он сам, равно как и члены его кабинета, считает себя по-прежнему на службе отечеству и готов на любом посту исполнением прежних, новых или каких угодно обязанностей вносить свой вклад в дело спасения страны и борьбы за счастье народа.

Президент республики отставку правительства принял и во исполнение конституционных норм и демократических принципов, лежащих в основе функционирования институтов власти, сейчас же поручил отставленному премьеру в качестве лидера крупнейшей парламентской партии, до сей поры правившей страной без союзников, сформировать пресловутое правительство национального спасения. Потому что — пусть ни у кого не останется на сей счет сомнений — правительства национального спасения — это очень хорошие правительства, может быть, даже самые лучшие из всех возможных правительств, и жаль только, что отчизна призывает их лишь время от времени, по каковой причине мы никак не обзаведемся правительствами, которые умели бы править нами в национальном духе. По этому деликатному вопросу давно уже шли нескончаемые дебаты между изощренными толкователями конституции, политологами и прочими знатоками, но за много лет не много сумели они добавить к очевидному значению слов — то есть что правительство национального спасения будет править нацией во имя ее спа-

---

Окончание. Начало см. «ИЛ» №9, 1999 г.

сения. А интересней во всем этом то, что чуть только было оповещено о создании этого самого правительства, как население осознало, что спаслось или что вот-вот спасется, хотя, когда стало известно о составе нового кабинета, а портреты новых министров замелькали в газетах и на телеэкране, дал себя знать врожденный и природный скептицизм, проявившийся в разнообразных формах, в том числе и в недоуменных восклицаниях: Ведь те же самые морды — интересное дело, а чего вы ждали? где мы вам других возьмем?

Оживленно обсуждалось, какой опасности подвергнется Португалия, когда со всего размаху треснется об Азоры, а также и то, что будет, если Пиренейский полуостров изменит курс, подставив под удар Галисию, но с наибольшим жаром — что ждет население островов. А что такое остров? А остров — или в данном случае целый архипелаг — это вышедшие на поверхность подводные горы, причем порой над поверхностью воды высятся лишь острые вершины тех скал, которые непостижимым образом стоят на тысячеметровой глубине, короче говоря, остров — это случайнейшая из возможностей, возможнейшая из случайностей. А теперь нам представляется возможность увидеть — слава богу, хоть издали! — как другой остров, плавучий и стремительный, обезглавит последовательно Сан-Мигел, Терсейру, Сан-Жоржи и Фаял и все прочие Азорские острова, уничтожив на них все живое, если, конечно, правительство национального спасения, завтра приступающее к исполнению своих обязанностей, не изыщет способа эвакуировать сотни тысяч людей в безопасные места, буде таковые найдутся. Президент Португалии, не дожидаясь, пока правительство будет приведено к присяге, воззвал к мировому сообществу, вспомнив о международной солидарности, благодаря которой, как все мы помним, — впрочем, это лишь один пример! — удалось избежать голода в Африке. Европейские страны, к счастью снизившие тон по отношению к Испании и Португалии после того, как на потрясенном кризисом самоидентификации континенте столько европейцев громогласно заявили о своей принадлежности к иберийцам, благосклонно восприняли этот призыв о помощи и запросили, какого рода помощь должна быть нам оказана, хотя по обыкновению поспешили предупредить, что помощь целиком будет зависеть от того, насколько полно могут быть удовлетворены наши надобности ихними свободными ресурсами. Что же касается Соединенных Штатов Северной Америки — именно так пространно надлежит называть их впредь, — они, хоть и высказали свое неудовольствие по поводу принципа, по которому формируется правительство национального спасения, да уж ладно, пусть будет, заявили о своей готовности эвакуировать с Азорских островов все их население, не превышающее, впрочем, двухсот пятидесяти тысяч, оставив на потом рассмотрение вопроса о том, куда девать спасенных — ну не в Америку же, естественно: иммиграционные законы этому препятствуют, — а идеальным решением было бы, если бы во исполнение заветнейшей мечты Государственного департамента и Пентагона Азоры задержали, пусть хоть и не без ущерба для себя, дальнейшее продвижение полуострова, а он и застрял бы посреди Атлантики на благо дела мира во всем мире, во имя процветания западной цивилизации и ради неоспоримых стратегических преимуществ. Средства массовой информации сообщали, что все военно-морские силы США получили приказ направиться к Азорам для эвакуации населения — сколько-то тысяч жителей корабли возьмут на борт, прочие будут вывезены с помощью «воздушного моста». Португалии и Испании предстоит самим урегулировать свои проблемы, что, конечно, испанцам, известным баловням истории и фортуны, будет сделать легче, чем нам.

За исключением Галисии, во всех смыслах слова находящейся на периферии, территория Испании защищена от катастрофических последствий столкновения, поскольку Португалия в этом случае погасит удар, сыграв роль буфера или, если угодно, переднего бампера. Сложные проблемы могут возникнуть лишь при расселении таких крупных городов, как Виго, Понтеведра, Сантьяго-де-Компостела и Корунья, тогда как жители деревень настолько привыкли к постоянным и непреходящим трудностям, сопровождающим их всю жизнь, что сами, не ожидая распоряжений, советов и рекомендаций, сми-

ренно и покорно двинулись во внутренние районы страны, используя и вышеперечисленные способы сообщения, и иные, из которых главный — способ пешего хождения.

А в Португалии ситуация совершенно другая: вся береговая линия, кроме южной части провинции Алгарви, открыта для азорского камнепада — да-да, именно камнепада, ибо не все ли равно: камень ли тебя стукнет, ты ли стукнешься головой о камень? последствия будут одинаковы, весь вопрос в скорости и в силе инерции, причем в данном случае не следует забывать и единственную разницу: голова, даже разбитая, разотрет все эти азорские камешки в порошок. Ну-с, так вот, если вдобавок припомнить, что вся территория лежит ниже уровня моря, а на территории этой чуть не у самой воды выстроены крупные города, а также и вечную неподготовленность португальцев к ничтожнейшим из стихийных бедствий — к землетрясению, наводнению, лесному пожару или засухе, — то возникают серьезнейшие сомнения в том, что правительство национального спасения сумеет исполнить свою миссию. Единственное решение — вызвать панику, заставить людей бросить свои дома и весь скарб и бежать куда глаза глядят. Плохо то, что в пути и при обустройстве на новом месте люди будут голодать, и невозможно даже представить себе, до каких пределов дойдет их возмущение, какие крайние формы примет их протест. Все это, совершенно естественно, заботит и тревожит нас, но не станем скрывать — тревожило бы куда больше, если бы судьба не занесла нас в Галисию, не заставила присутствовать при сборах в дорогу, которая предстоит Марии Гуавайре и Жоакину Сассе, Жозе Анайсо и Жоане Карде, Педро Орсе и псу, а тому, кто упрекнет нас в том, что эти события несопоставимы по своему значению, скажем, что все зависит от точки зрения, от настроения, от личной симпатии, ибо объективность рассказчика есть зловредное измышление модернистов, и сам Господь Бог далек был от объективности, осеняя духом своим Священное Писание.

По прошествии двух дней конь, получая рацион повышенной калорийности — овсяной крупы до отвала, бобов от пуза, — обрел рабочую форму даже без вина, которое Жоакин Сасса предложил было подливать ему в кормушку, а прохудившийся парусиновый тент галеры заделали заплатами, вырезанными из брезентового верха Парагнедых, так что теперь не страшны дожди, — не забудем, что дело происходит в Галисии, да и сентябрь уж наступил, а в эту пору и в этих краях интимные выделения природы особенно обильны. За время сборов и подготовки к путешествию Пиренейский полуостров, если верить подсчетам Жозе Анайсо, отъехал от первоначального своего расположения еще на полтораста километров, и, стало быть, остается семьсот пятьдесят километров, а иначе говоря — недельки две до того момента, когда — днем раньше, днем позже — произойдет первое столкновение, и, Матерь Божья, царица небесная, что тогда только будет с несчастными алентежанцами, и чем поможет им то, что они — люди привычные ко всему, вроде галисийцев, и такие толстокожие, что вполне уместно будет, припомнив, что они сами говорят не «кожа», а «шкура», воздержаться от дальнейших объяснений. Но у пребывающих здесь, на севере, в райской долине Галисии, есть еще время — и даже в избытке его, — чтобы переместиться в безопасное место. В трюм галеры загрузили уже матрасы, одеяла и простыни, и чемоданы четверых путешественников, и необходимую кухонную утварь, и запас провианта на первые дни, а если желаете подробней, извольте — сухие маисовые лепешки, фасоль белую и красную, рис и картофель, бочонок воды, бурдюк вина, двух курочек-несушек — рябенькую и хохлатую, вяленую треску, кувшин масла, бутыль уксуса, соль, без которой крещеный человек обойтись не может, перец и прочие пряности, весь хлеб, какой был в доме, мешок муки, сено, овес, бобы для коня, о собаке, слава богу, заботиться не надо, она сама себе добудет пропитание, а если ей сунуть что-нибудь — так только в виде угощения и в знак приязни. Мария Гуавайра, не объясняя, зачем она это делает и, вполне вероятно, не будучи в силах ответить на этот вопрос, связала из голубой шерсти браслеты-напульсники для людей, коню — хомутик, собаке — ошейник. А гора на полу почти и не уменьшилась. А захотели бы взять ее с собой, ну никак бы не поместилась она в тарантас, да вроде бы и не было у них таких

намерений, не говоря уж о том, что негде в этом случае будет прилечь молодому поденщику-землепашцу, когда придет он сюда.

В последнюю перед отъездом ночь легли поздно, засиделись допоздна за разговорами, словно наутро после горестной разлуки предстояло каждому следовать своей стезей. Должно быть, искали они друг у друга поддержки и душевной силы, ибо недаром говорится, что веника не сломишь, а прутья по одному все переломаешь. Расстелили в кухне на столе карту Пиренейского полуострова, к которому вопреки всякой очевидности была еще накрепко приторочена Франция, и прочертили первоначальный маршрут, стараясь по возможности, чтобы пролегал он по ровной местности, ибо памятовали о том, сколь немощен тот, кому надлежит влачить их колесницу. Однако все равно придется дать крюк и заехать в Ла-Корунью, где в соответствующем заведении содержится скорбная главой мать Марии Гуавайры — долг дочерней любви требует забрать бедную безумицу, вы представьте себе, что будет, когда целый остров вдвинется в окна и двери, обрушится на город, толкая перед собой стоящие на якорях корабли, и как в одно мгновение разлетятся вдребезги все стекла в доме скорби, расположенном на отдаленной улочке, а пациенты остатками утлого разума решат, должно быть, что вот и настал он, Страшный суд. Мария Гуавайра честно сказала: Не знаю, как это мы поедем с ней, с мамочкой моей, хотя она не буйная, да, впрочем, это будет, лишь пока не доберемся до безопасного места, уж потерпите немножко. Все ответили, что потерпеть согласны, беспокоиться не о чем, все устроится наилучшим образом, хотя нам-то известно: не очень-то много любви устоит под натиском собственного нашего безумия, каково же будет с чужим уживаться — в данном случае с безумной матерью одной из безумных. Хорошо хоть, осенила Жозе Анайсо счастливая мысль — позвонить в больницу, как только доберутся до телефона, узнать, не собираются ли власти эвакуировать умалишенных, а может, уже к этому времени будут они переправлены туда, где им ничего не грозит, ибо это бедствие — особого рода: тут первыми спасаются те, кто уже пропал.

Но вот наконец разошлись обе пары по комнатам, занялись тем, чем всегда принято заниматься в подобных обстоятельствах: кто знает, вернемся ли мы сюда когда-нибудь, так пусть же останется в этих стенах хоть отзвук плотской человеческой любви — ей нет равных, как нет и подобия, поскольку состоит она из вздохов, шепота, бормотания, сдобрена слюной, приправлена потом, граничит со смертью, приносит и требует муку, умирает от жажды, но в одиночку утолить ее не согласна, — лишить которой нас не могут ни старость, ни смерть. Педро Орсе стар и одинок, а это значит, что смерть подала ему о себе первую весть; он выходит из дому, чтобы еще раз посмотреть на каменный корабль, и пес, зовущийся всеми именами и ни на одно не откликающийся, идет с ним, но тот, кто скажет, что раз он идет с ним, то Педро Орсе — не один, ошибется, ибо забудет о происхождении этого животного, а псы преисподней уже видели всё и живут на свете так долго, что никому не могут составить компанию, это люди, чей век краток, сопровождают псов. Каменный корабль на месте, нос его высок и остер, как в первую ночь, и Педро Орсе не удивляется — каждый из нас видит мир теми глазами, что даны ему от природы, а глаза видят, что захотят, и разнообразят мир, и населяют его чудесами — пусть каменными — и кораблями с высоким заостренным носом, пусть даже это привиделось нам.

Занимается хмурое и дождливое утро — выражение, хоть и распространенное, но совершенно неправильное, ибо утро ничем не занимается, это мы занимаемся, проснувшись поутру, всякими глупостями: подходим, например, к окну, видим, что с неба, задернутого темными, низкими тучами, сеется мелкий дождь, но столь велика сила литературной традиции, что если бы в предстоящем плавании велся вахтенный журнал, то первая запись в нем выглядела бы именно так: Занимается хмурое и дождливое утро, словно там, наверху, насупились и прослезились по поводу нашей затеи, в таких случаях всегда, в дождь и в вёдро, принято ссылаться на волю небес. Парагнедых вручную втолкнули на место галеры, под крышу, а верней сказать, под навес, где он, ободранный и расставшийся с брезентовым верхом, пошедшим на заплаты, всеми покинутый, будет гнить, ибо стоит

не в сарае, а именно под навесом, открытым всем ветрам, поскольку с вещами происходит то же, что с людьми: стал негоден — стал неугоден, минула надобность — кончилась жизнь. А вот галера, напротив, несмотря на свой почтенный возраст, помолодела, выкатившись на вольный воздух, и дождь будто спрыснул ее живой водой, добившись волшебного эффекта, и клеенка, закрывающая спину коня, заблистала под дождем, как начищенный перед турниром панцирь рыцарского скакуна.

Не следует удивляться тому, что мы столь подробными описаниями застопорили ход повествования, — они призваны передать хотя бы приблизительно, как трудно обрывать корни, снимаясь с насиженного места, где жилось когда-то хорошо и счастливо, тем паче что происходит планомерная эвакуация, а не паническое бегство: Мария Гуавайра тщательно запирает все двери, выпускает остающихся кур из курятника, кроликов — из крольчатника, свинью — а вот и нет! — из хлева, а ведь все эти домашние животные и птицы привыкли к ежедневной кормежке, теперь же им говорят в лучшем случае: Ступайте с богом, а в худшем: Подите к черту, а черт тому и рад, про кроликов ничего сказать не могу, но вот свинья по дьявольскому наущению вполне способна истребить всю живность в округе. А когда появится тут молодой поденщик, ему, чтобы пробраться в дом, придется взломать ставни на окне, и на много миль кругом не окажется ни единого свидетеля вторжения. Я пришел с добром, скажет поденщик, и, быть может, эти слова заключают в себе истину.

Мария Гуавайра села на козлы, а рядом с нею поместился, держа раскрытый зонт, Жоакин Сасса: это его священный долг — сопровождать любимую женщину, защищать ее от стихий, вот только не может он перехватить у нее вожжи, ибо из всех пятерых она одна умеет управляться с лошадью и упряжью. Впрочем, потом, ближе к вечеру, когда развиднеется, она преподаст своим спутникам начальные уроки, и первым воспримет эти азы Педро Орсе, добрейшей души человек — благодаря ему обе пары смогут предаться отдохновению под парусиновым пологом, а ширина козел, на которых запросто умещаются трое, идеально решит вопрос интимной близости двух остающихся внутри фургона, хоть и будет эта близость поспешна и беззвучна. Но пока еще Мария Гуавайра только шевельнула вожжами, и конь, поняв, что напарника ему не дождаться и влечь пароконный тарантас придется в одиночку, сделал первый шаг, почувствовал сначала, как натянулись постромки, а потом уже ощутил тяжесть клади, и когда повторился полузабытый звук — заскрипела земля, перемалываемая первым оборотом колес на железном ходу, — старые его кости и мышцы вспомнили давнюю науку. Нужда заставит — все усвоится, а потом позабудется и в свой час вспомянется. Метров сто пробежал за фургоном под дождем пес, пока не сообразил, что может укрыться от непогоды, следуя своим ходом, под высоким днищем этой колесницы — неудобно, зато сухо. Он так и поступил, приноровя свой шаг к шагу лошади, — и отныне во все время этого странствия, дождь ли льет, или солнце сияет, мы там и будем видеть его, раз уж он отказался следовать в передовом дозоре или свершать по окрестностям бесцельное и бессмысленное шастанье, делающее людей и собак столь схожими друг с другом.

В первый день проехали не много. Надо поберечь лошадиные силы, поскольку дорога то в гору, и тогда надо тянуть, то под гору, и тогда надо притормаживать, упираясь всеми четырьмя. А вокруг, насколько взгляд хватает, не видно ни единой живой души: Наверно, мы последние, кто решил убраться из здешних краев, сказала Мария Гуавайра, а низкое небо, буроватый воздух, пейзаж, вселяющий тревогу, говорят уже о предсмертном забытьи обезлюдевшего мира, бесконечно измученного и утомленного тем, что он столько жил и столько умирал, одинаково усталого и от упорства жизни, и от постоянства смерти. Но в этом фургоне едут две новые любви, а сильнее новой любви, как всем известно, ничего нет в мире, вот они и не страшатся дорожных происшествий, ибо они сами — главное происшествие на жизненной дороге, нечто такое, что из ряда вон, пусть даже и в кювет, внезапная вспышка, полет кувырком, но с улыбкой, осознанное падение под колеса. А потому не стоит так полно доверяться первым впечатлениям: обманчиво

сходство с похоронной процессией по безлюдью под уныло моросящим дождем, и, не будь мы столь тактичны, лучше бы навострить ухо и прислушаться к жизнеутверждающим разговорам Жоакина Сассы с Марией Гуавайрой, Жоаны Карды с Жозе Анайсо, а Педро Орсе молчит, и оттого его присутствие почти незаметно.

Первая деревня, через которую они проехали, покинута не всеми ее обитателями. Нашлись в ней старики, объявившие своим чересчур легким на подъем детям и родичам, что с места не тронутся и лучше так помереть, чем загнуться от голода или мучительной болячки, тем более что подвертывается такой славный вариант — сгинуть вместе со всем миром, и пусть эти старики не вагнеровские герои, но ждет их Вальхалла, куда, свершившись, возвращаются мировые катастрофы. Разумеется, старые галисийцы или португальцы — это, в сущности, одно и то же — понятия не имеют ни о Вальхалле, ни о Вагнере, но по каким-то необъяснимым причинам находят основания сказать: Шагу отсюда не сделаю, вам страшно — вы и бегите, и это отнюдь не свидетельство неслыханной отваги, просто именно в этот миг своей жизни они поняли наконец, что отвага и страх — всего лишь две покачивающиеся чаши весов, а стрелка их замерла в неподвижности, будто оцепенела в изумлении перед такой бесполезной выдумкой, как чувства и эмоции.

И когда фургон проползал по улице, любопытство, которое, судя по всему, отмирает последним, заставляет стариков выйти из дому, медленно помахать проезжающим, словно прощаются они с самими собой. Тогда Жозе Анайсо и сказал, что хорошо было бы заночевать в одном из этих брошенных и опустелых домов, здесь или в другой деревне, там наверняка кровати найдутся, лучше можно выспаться, чем в фургоне, но Мария Гуавайра ответила, что без разрешения хозяев никогда не войдет в чужой дом, — вот какие бывают щепетильные люди, не то что другие, которые, увидев затворенное окно, взламывают его, приговаривая: А что тут такого, я с добром пришел, и если даже пришел он не с, а за добром, причем чужим, все равно остаются сомнения насчет истинных мотивов его поступка. И Жозе Анайсо устыдился поданной им идеи, не потому что она была плоха, а потому что нелепа, и слов Марии Гуавайры хватило, чтобы вывести правило порядочности: Довольствуйся самим собой сколько сможешь, а когда не сможешь — положись на того, кого ты заслуживаешь, а еще лучше — на того, кто заслуживает тебя. По тому, как развиваются события, можно заключить, что эти пятеро путешественников друг друга заслуживают и взаимодополняют, отчего и едут в этой галере, жуют лепешки, говорят о том, что осталось за спиной и что ждет впереди, Мария Гуавайра теоретическими выкладками подкрепит практические уроки того, как следует себя вести, лошадь под деревом будет жевать и пережевывать свое сено, собака же на этот раз удовольствуется домашней пищей, а потом обследует округу, распугивая филинов. Вот и дождь перестал. Фонарь освещает внутренность фургона, и случись здесь человек посторонний, сказал бы он: Как в театре, и правда, похоже, хоть наши герои — это действующие лица, а не исполнители.

Когда на следующее утро Мария Гуавайра сумеет наконец дозвониться до Коруньи, ей скажут, что матушку ее и других пациентов уже перевезли в безопасное место, а на вопрос: А как она? — ответят: Как всегда, но и на том спасибо. Путешествие продолжится до тех пор, пока земля вновь не заселится людьми. Что ж, подождем.

Итак, новоиспеченное правительство национального спасения с ходу, без раскачки приступило к работе, и глава его — тот самый, бывший и нынешний премьер, отправился на телевидение, чтобы произнести фразу, без сомнения долженствующую остаться если не в анналах, так на скрижалях, что-нибудь вроде: Кровью, потом, слезами, или: Похоронить павших и позаботиться о живых, или: Отчизна надеется, что каждый выполнит свой долг, или: Обагренная кровью мучеников земля даст новые всходы, однако в данном случае, учитывая все особенности переживаемого момента, он счел за благо воскликнуть лишь: Португальцы и португалки, наше спасение — в отступлении!

Однако проблема размещения во внутренних районах тысяч беженцев с побережья

представляла собой такие немыслимые сложности, что ни у кого не хватило отваги — или дури — выработать общенациональный и всеохватный план эвакуации, который бы при этом учитывал возможности местных властей. Вот, к примеру, в отношении Лисабона анализ ситуации и перечень вытекающих из этого анализа мер начинался с предпосылки, которую можно сформулировать так: Значительное — да почему бы прямо не сказать? — подавляющее большинство жителей Лисабона родилось не там, а те, кто родились все же в Лисабоне, связаны с жителями провинций узами родства. Этот факт определяет многое и имеет решающее значение, поскольку те и другие должны будут переселиться туда, откуда они родом и где у них, как правило, еще остаются родственники, многих из которых они потеряли из виду из-за разнообразных житейских обстоятельств, а теперь получают возможность, пусть и вынужденную, обрести вновь утраченную было гармонию, воссоединить семью, предав забвению давние неурядицы и разногласия, имущественные тяжбы и наследственные распри, ненароком вырвавшееся злоречие, и таким образом, есть своя светлая сторона и в обрушившемся на нас несчастье — оно споспешествует примирению и душевному сближению. Вторым следствием, естественным порядком вытекающим из первого, является вопрос прокорма этих перемещенных лиц, и восстановление родственных связей снимает с государства это бремя, тогда как родня сыграет здесь наиболее значительную роль, и старинное речение «Даст Бог его, даст и на него», прежде относившееся исключительно к возможности выкормить и вырастить ребенка, на новом макроэкономическом уровне обретает иной, расширительный смысл, передающийся пословицей «Без корня и полынь не растет», что следует с мягкой улыбкой трактовать как то, что отчизна — это всего лишь большая семья.

Казалось бы, людям холостым, родни не имеющим, а также мрачным нелюдимам грозит остаться без поддержки, но даже и таких не исключат автоматически из нашего семейного сообщества, ибо всегда остается вера в дружеский порыв, в то, что при любых обстоятельствах не угаснет любовь к ближнему, которая проявляется так ярко на железной, например, дороге, в вагонах второго класса, где мать семейства, перед тем как вскрыть корзинку с припасами, непременно предложит совершенно незнакомым попутчикам-соседям присоединиться к трапезе. Угощайтесь, скажет она, чем бог послал, а если кто примет приглашение, никто с него не взыщет, хотя обычно все лишь отвечают хором: Премного благодарны, кушайте на здоровье. Ну ладно, это стол, а вот как быть с кровом, ибо одно дело предложить ломоть вяленой трески и стакан вина и совсем другое — отдать половину той самой кровати, где мы сами спим, но если удастся вбить в голову, что все эти одинокие и брошенные суть новые воплощения Господа нашего, который в свое время тоже ходил по свету в обличье сирого и убогого, испытывая людскую доброту, то, глядишь, найдется и им местечко под лестницей, топчанчик на чердаке или, на самый худой конец, охапка соломы, и Господь, сколь бы ни были многочисленны эти его перевоплощения, получит прием, достойный того, кто сотворил род людской.

Это все было сказано о Лисабоне, но — разница чисто количественная — может быть отнесено и к Порто или Коимбре, к Сетубалу или Авейро, к Виане или Фигейре, не говоря уж о великом множестве мелких городков и деревень, раскиданных по всей стране, хоть порой, быть может, и возникнет резонный, но тревожный вопрос: Куда же деваться тем, кто сгодился там, где и родился, или тем, кто живет где-то на побережье, но и родился тоже у самого моря, только в другом месте? Эти затруднения были повергнуты на рассмотрение кабинета министров, и кабинет устами своего представителя дал ответ: Правительство надеется, что в каждом отдельном случае, не вписывающемся в рамки общенациональной схемы эвакуации населения и его обустройства, будет проявлена инициатива и найдено нестандартное решение, которое послужит ко всеобщему благу. И вот так, с благословения властей, мы в отношении Порто ограничимся лишь упоминанием о коллегах и начальстве нашего Жоакина Сассы. Довольно будет сказать, что если бы он, побуждаемый служебной этикой и профессиональным долгом, ринулся бы прочь от галисийских гор, бросив возлюбленную и друзей, то обнаружил бы, что контора его за-

крыта, а на двери висит последнее объявление, сделанное начальством: Наше учреждение переехало в Пенафьел, куда надлежит явиться возвращающимся из отпуска сотрудникам и где мы готовы, как и прежде, оказывать нашим уважаемым клиентам весь спектр услуг в полном объеме. Еще скажем, что родня Жоаны Карды — та самая чета, что жила в Эрейре, — оказалась теперь в Коимбре, в доме еще одного своего кузена, а вернее сказать — двоюродного деверя, да-да, того самого, покинутого мужа, в котором поначалу еще теплилась надежда и он думал, что они прибыли подготовить почву для возвращения беглянки, но время шло, а о ней и речи не заходило, и когда он осведомился: А где Жоана? — сестрица выдавила из себя признание: Понятия не имеем, она гостила у нас, но потом исчезла куда-то еще до начала всех этих бурных событий, ни слуху о ней, ни духу. Если и такой малости хватило, чтобы сразить бывшего мужа удивлением, можно представить себе, что бы сказал он, если бы знал дальнейшее развитие истории.

И мир замер в тревожном ожидании, гадая, обрушится ли несчастье на лузитанские пляжи и на западное побережье Галисии. И снова, в который уж раз, повторим, сами утомясь от повторения: нет худа без добра — именно таков был взгляд на происходящее европейских правительств, ясно видевших, как параллельно с целебными репрессалиями, в свое время уже помянутыми на этих страницах, явно идет на спад, никнет и гаснет революционный энтузиазм европейского юношества, внявшего голосу рассудка, и на уговоры родителей: Смотри, сынок, скверно кончится все это для тебя, если будешь упорствовать и твердить, что ты иберец, — сынок отвечал кротко: Да, папа. А покуда разыгрывались эти умилительные сцены семейного примирения и социального умиротворения, спутники, крутящиеся по более или менее постоянной геостатической орбите, из космоса фотографировали и производили замеры, и если на снимках Пиренейский полуостров представал в неизменном виде, то замеры показывали, как расстояние между ним и мелкой россыпью Азорских островов неумолимо сокращается каждую минуту на тридцать пять метров. В наши-то времена, в эпоху ускорителей элементарных частиц, тридцать пять метров в минуту — это не повод для беспокойства, но если вспомнить, что за этими просторными и удобными пляжами, посыпанными мелким песочком, за живописными бухточками, за пологими спусками и скатами движется пятьсот восемьдесят тысяч квадратных километров и не поддающееся исчислению, астрономическое число миллионов тонн, составляющих вес всех горных массивов и плоскогорий, — так вот, если вспомнить все это и прикинуть, какова будет инерция пришедшей в движение громады Пиренеев, хоть и уменьшившихся вдвое против прежнего, то нам останется лишь дивиться мужеству народа, в котором смешалось столько разных кровей, дивиться и воспевать его фатализм, с течением столетий воплотившийся в замечательно лапидарную формулу: Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Лисабон опустел. По безлюдным улицам еще ходят армейские патрули, а над ними кружат вертолеты — в точности так, как было это во Франции и в Испании в первые, бурные дни после того, как обнаружилась трещина. Покуда их не убрали отсюда — а произойдет это, когда до предполагаемого столкновения останутся сутки, — солдатам вменено в обязанность бдить и охранять национальное достояние, хотя в этом, судя по всему, нет ни малейшего смысла, поскольку все ценности были своевременно увезены из банков. Однако никто не простит правительству, если оно бросит просто так столь прекрасный город — красивый, гармоничный, пропорциональный, где жить бы да радоваться, — как непременно будут говорить о нем, когда уж его не будет. И потому солдаты оставлены, словно символическая замена отсутствующих жителей, как почетный караул, которому предстоит — если успеет, конечно — троекратным залпом траурного салюта воздать городу последние почести в тот высший миг, когда он погрузится в воду.

Но покуда солдаты постреливают в мародеров и громил, дают советы и указания тем одиночкам, которые упорно не желают покидать свои жилища, и тем, кто решился наконец убраться из города, и время от времени встречающимся им тихим безумцам, неприкаянно бродящим по улицам, ибо в довершение несчастий отпустили их из лечеб-

ницы в самый день всеобщей эвакуации, а теперь они оказались брошены на произвол судьбы и не знают, куда податься. В общении патрулей с умалишенными проявились две основные тенденции. Иные капралы или сержанты, считая, что безумцы опасней грабителей — в тех все же тлеет искра разума, схожего с их собственным, — без долгих раздумий и колебаний приказывают открыть по ним огонь. Другие не склонны рассуждать столь категорично и, сознавая жизненную необходимость нервной разрядки в условиях боевых или приближенных к таковым, позволяют своим подчиненным развлечься и позабавиться за счет попавшегося навстречу дурачка, которого потом отпускают с богом, не применив к нему насилия — в том случае, разумеется, если это в самом деле дурачок, а не дурочка, ибо как в рядах вооруженных сил, так и вне их в избытке людей, которые стараются извлечь как можно больше пользы из того элементарного и очевидного факта, что умственная неполноценность затрагивает одну лишь голову, остальные же части тела и полны, и ценны, а короче говоря, помешательство — не помеха развлечься с бабой, и тронутой не всегда суждено остаться нетронутой.

Но когда во всем городе, на всех его улицах, площадях, проспектах, в скверах и в парках не будет больше ни души, когда человеческий силуэт не мелькнет в окнах, когда воцарившееся в домах полнейшее безмолвие будет нарушаться только трелями канареек, не передохших покуда от голода и жажды, когда ничья рука не потянется к впустую играющей на солнце струе воды из фонтана, когда статуи начнут водить вокруг себя мертвыми глазами в поисках тех, кто взглянул бы на них, когда настежь открытые кладбищенские ворота покажут, что нет никакой разницы между отсутствием одним и другим, когда, наконец, настанет и потянется, все никак не истекая, мучительная минута ожидания удара, от которого разрушен будет город, — вот тогда и случится эта чудесная история о не менее чудесном спасении одинокого мореплавателя.

Больше двадцати лет бороздил он моря-океаны. Купил ли он свой корабль, получил ли его по наследству или в подарок от другого мореплавателя, тоже проплававшего на нем лет двадцать, а до того, если за столь протяженный срок не спутались и не стерлись воспоминания, в одиночку боролся с водной стихией и еще один, первый мореплаватель. Истории кораблей и тех, кто управляет ими, полны разнообразных приключений, на долю их выпадает множество испытаний вроде свирепых штормов и мертвых штилей, которые будут пострашнее любого урагана, и в историях этих непременно должен присутствовать романтический элемент, без него никуда, и в основе его лежит — вернее, сидит — женщина, ожидающая в далеком порту возвращения моряка: это, пожалуй, чересчур жизнеутверждающий взгляд на жизнь, ибо опровергается он по большей части и самой жизнью, и поведением женщины. Моряк сходит на берег пополнить запас пресной воды, купить табаку или запчасти для мотора, машинное масло, лекарств, толстых иголок, непромокаемый плащ от непогоды и брызг, рыболовные крючки, леску, свежую газетку, чтобы лишний раз убедиться в том, что уже и так знает, так что можно ее и не покупать, но никогда, слышите — никогда! — не сойдет одинокий мореплаватель на берег для того, чтобы найти женщину, которая, если он захватит ее с собой, станет спутницей во всех его скитаниях. Если и вправду случается такое, что ждет его женщина в порту, то он ее, конечно, не отвергнет — глупо даже и предполагать такое, — но обычно она сама этого хочет, а одинокий моряк никогда не скажет: Жди меня, и я вернусь, ибо это не та просьба, с которой можно обратиться к женщине, поскольку и он никак не сумеет гарантировать, что вернется, но когда все же возвращается, видит иной раз пустой пирс, а если и стоит на нем женщина, то ждет она совсем другого моряка — не так уж редко бывает, что, если нет того, кого ждешь, сгодится тот, кто есть. И надо ли говорить, что ни женщины, ни мореплаватели в этом не виноваты, а виновато исключительно одиночество, становящееся порой нестерпимым и приводящее моряка в порт, женщину — на пирс.

Сами видите, нас время от времени — то перед изложением простых фактов, то после него — заносит в возвышенную метафизику, но она не всегда помогает прояснить их. А

без затей говоря, одинокий мореплаватель вдосталь поплавал вдоль движущегося в океане острова, бывшего некогда Пиренейским полуостровом, на своем суденышке, снабженном парусами и мотором, оснащенном радио, плавал, вооружась подзорной трубой, чтобы подальше видеть, и поистине неисчерпаемым терпением, которое свойственно лишь тем, кто однажды решил поделить свою жизнь надвое и поровну между небом и морем. Но ветер внезапно стих, и наш моряк убрал парус, а огромная волна, несшая его корабль, стала постепенно терять свою силу и разбег, выпрямлять круто выгнутый хребет, так что и часа еще не прошло, как море сделалось гладким и ровным, и просто немыслимо было представить себе, что эта тысячеметровая бездна способна обрести внутри себя равновесие столь безупречное, чтобы не колыхнуться ни влево, ни вправо, — и покажется это наблюдение дурацким только тому, кто убежден, будто все, что происходит в этом мире, объясняется самим фактом существования происходящего, тогда как это объяснение необходимое, но явно недостаточное. Ритмично пощелкивал двигатель, посверкивало и поблескивало море, простиравшееся вокруг насколько хватало взгляда, в точности отвечая классическому образу зеркала, а мореплаватель, который благодаря многолетней вахтовой муштре хоть и научился не путать сон и явь, отдых и бодрствование, все же закрыл глаза и заснул — его сморило на солнце, — и показалось — на несколько минут или часов, а на самом деле на несколько мгновений, и проснулся, будто его толкнули, от страшного грохота, а во сне почудилось, что кораблик, наскочив на кита, разлетелся вдребезги. Он вскочил — бешено, с перебоями колотилось сердце, — пытаясь понять, что это за грохот, и не сразу понял, что двигатель заглох. От внезапной тишины он проснулся окончательно, но тело, еще погруженное в сонную одурь, продолжало искать более натуральных причин для своего пробуждения — какое-нибудь морское чудовище, столкновение, удар грома. На суше и на море случается, что моторы отказывают: об одном таком мы уже знаем — в душе у него что-то повредилось непоправимо, и поставили его под навес, открытый всем ветрам, и оставили ржаветь. Однако наш одинокий мореплаватель не чета тем автомобилистам: он человек сведущий и понимающий, у него есть все необходимые детали, купленные в последний раз, когда нога его касалась суши, а рука — женщины, он разберет его, проберется, докуда только будет можно, доберется до причины неисправности. Неутешителен будет итог его стараний, ибо выяснится, что лошади, дававшие двигателю лошадиные свои силы, загнаны до смерти и воскресить их нельзя.

Отчаяние, как всем нам хорошо известно, — свойство, присущее исключительно человеку: истории естествознания случаи отчаяния у животных неизвестны. Однако человек, неотделимый от отчаяния, выучился жить с ним, сдерживать его натиск на последней линии обороны, и мореплаватель, у которого в открытом море вышел из строя двигатель, не станет рвать на себе волосы, взывать к небесам, молить их о помощи или, наоборот, проклинать — то и другое одинаково бесполезно, — понимая, что остается только ждать и надеяться, что тот, кто поднимает ветер, пошлет его вновь. Но ветер не вернулся. Шло время, настала и минула тишайшая ночь, родился новый день, а море было все так же неподвижно: опусти вниз легчайшую шерстинку — не шелохнется, отвесно протянется к земле, и ни малейшей зыби на воде, и корабль подобен каменному утесу на каменной плите. Одинокий мореплаватель не слишком обеспокоен — ему уже случалось попадать в такие вот мертвые штили, но радио почему-то тоже не действует, слышно только легкое гудение аккумуляторных батарей, и принимает оно одну тишину, словно за пределами этого круга густо запекшейся воды мир, затаив дыхание, стараясь не проронить ни звука, внимательно следит откуда-то из укрытия за тем, как мореплаватель будет впадать во все большее беспокойство, как сойдет он с ума, как в конце концов умрет здесь, в море. У него достаточные запасы провианта и питьевой воды, но часы идут, и каждый следующий тянется дольше, чем предыдущий, корабль обвит шелковистыми змеиными кольцами безмолвия, и мореплаватель время от времени стучит багром по палубе, чтобы услышать еще что-нибудь, кроме шелеста крови по жилам и стука сердца, о котором он время

от времени забывает и тогда просыпается уже после того, как решил, что проснулся, ибо ему приснилось, будто он уже умер. Парус натянут так, чтобы закрывал от солнца, но зной и жар копятся в неподвижном воздухе, лицо одинокого мореплавателя обгорело на солнце, и губы растрескались. Минул этот день, а наставший за ним следом был точно такой же. Мореплаватель бежит в сон, спускается в свою маленькую, раскаленную, как кузнечный горн, каюту, где стоит единственная койка, чья ширина свидетельствует, что наш моряк и вправду странствует в одиночку, и там, раздевшись донага и сначала плавая в поту, а потом ощущая, как дыбом встал на пересохшей коже каждый волосок, борется со снами, видит ряд высоченных деревьев, плавно и дружно качающих ветвями под ветром то в одну сторону, то в другую, в одну и в другую, в одну и в другую, и так без конца. Мореплаватель просыпается от жажды, допивает остаток воды, вновь проваливается в сон. Деревья больше не шевелятся, но на мачту присела чайка.

На горизонте, заполняя его сплошь, возникает что-то темное. По мере приближения становятся видны дома, протянувшиеся вдоль пляжей, и воздетые белые пальцы маяков, и тонкая линия пены, а в широком устье реки — большой город, расползшийся по холмам, красный мост, соединяющий оба берега, издали кажется, будто все это прочерчено тонким перышком. Мореплаватель спит, все глубже погружаясь в оцепенение, но вот возвращается сон: от стремительного порыва ветра вздрогнули ветви деревьев, корабль закачался на волне и, проглоченный рекой, вплыл в нее, теперь море ему не страшно, оно еще неподвижно, чего не скажешь о земле. Одинокий мореплаватель костями и мышцами ощутил установившееся равновесие, открыл глаза, подумал: Ветер, ветер вернулся, сполз с койки, выбрался на палубу, ему казалось, будто он каждую минуту умирает, но все еще может воскреснуть, солнце бьет в глаза, но теперь это свет земли, он несет с собой все, что сумел собрать с зелени древесной листвы, с темной глубины пашни, с окрашенных в мягкие тона стен домов. Спасен, хоть и не знает, как это произошло, ибо воздух по-прежнему неподвижен, а порыв ветра ему привиделся. Не сразу понимает он, что его спас остров, называвшийся когда-то полуостровом, плывший ему навстречу и раскрывший ему объятия своей реки. Все это представляется таким немыслимым, что и сам одинокий мореплаватель, давным-давно услышавший про геологический сдвиг, знавший, что находится как раз на пути этого каменного ковчега, все же не мог поверить, что будет спасен таким вот чудом, неслыханным с тех пор, как гибнут в море суда и тонут люди. Но никого нет ни на суше, ни на палубах стоящих на якоре кораблей, и безмолвие царит такое же, как в беспощадном море. Это Лисабон, пробормотал тогда мореплаватель, а куда же все подевались? Сверкает и дробится свет в оконных стеклах, стоят машины и автобусы, большую площадь, окруженную колоннадой, венчает в глубине триумфальная арка, украшенная каменными фигурами и бронзовыми коронами — да, по цвету похоже, что бронзовые. Одинокий мореплаватель, который знает Азоры, может отыскать их и на карте, и в море, вспомнил в этот миг, что острова находятся в той точке, куда неумолимо движется полуостров, то, что спасло его, погубит острова, то, что погубит острова, погубит и его, если он не уберется отсюда как можно скорей. Но стоит безветрие, и мотор заглох, ему не подняться вверх по реке, и единственное спасение — бросить якорь, чтоб корабль не отнесло течением, надуть резиновую лодку, на веслах добраться до суши. Появляется надежда — прибывают силы, это уж как водится.

Одинокий мореплаватель оделся тогда: брюки, рубашка, шапка с помпоном, башмаки — все белоснежное, первого срока, как полагается для берега. Подвел свою резиновую лодку к берегу, пологими ступенями спускавшемуся к морю, помедлил еще несколько мгновений, оглядываясь вокруг и ожидая прилива сил, но прежде всего давая время кому-нибудь выплыть смутной тенью из-под колоннады, а машинам и автобусам — возобновить движение, и людям — заполнить площадь, и, быть может, даже — появиться улыбающейся женщине, слегка — не слишком, а в меру — покачивающей бедрами с призывным намеком, от которого застилает взор и отнимается язык у мужчины, особенно если он только что сошел на берег. Но пустыня так пустыней и оставалась. И

тогда одинокий мореплаватель понял то, что давно следовало понять: все покинули город, спасаясь от удара об острова. Он оглянулся назад, увидел свой корабль на середине реки, понял, что видит его в последний раз, потому как даже броненосцу не уцелеть в таком страшном столкновении, что уж говорить о парусной скорлупке, к тому же покинутой экипажем. Он пересек площадь, чуть пошатываясь, потому что отвык ходить по суше, а выглядел форменным чучелом: обгоревший на солнце, с торчащими из-под шапки патлами, в болтающихся на ногах башмаках. Поднял глаза, приблизившись к высокой арке, увидел буквы, складывающиеся в слова Virtutibus Majorum ut sit omnibus documento P.P.D.[1], и, хоть не был обучен латыни, сообразил, что памятник поставлен, чтобы увековечить подвиги предков здешнего народа, и двинулся вперед по узкой улице, зажатой рядами одинаковых домов, покуда не вышел на другую площадь, поменьше, в глубине которой стояло здание в греческом или римском духе, а перед ним бил фонтан, украшенный фигурами обнаженных женщин, — вода текла и струилась, и он ощутил нестерпимую жажду и неодолимое желание погрузиться в эту воду, в эту наготу. Он идет, вытянув перед собой руки, будто в забытьи, или во сне, или в трансе, и что-то бормочет, а спроси его — что, сам не сможет ответить, самому невдомек, он знает только, чего хочет.

На углу появился патруль — пятеро рядовых и некто с нашивками. Они увидели безумца — действия его были нелепы, речи бессвязны, так что и без приказа было ясно, что с ним делать. Одинокий мореплаватель остался лежать на земле, откуда далеко еще было до воды. Женщины, как нам известно, — железные.

В эти самые дни настал третий исход.

Первый, о котором в должном месте представлены были исчерпывающие сведения, начали иностранные туристы, в панике устремившиеся прочь от того, что теперь, по прошествии времени, кажется опасностью столь ничтожной — трещина рассекла тогда Пиренейские горы от вершин до самого моря, и очень жаль, что она не остановилась на этом и что дело этим не кончилось: представьте себе, как тщеславилась бы Европа, получив каньон, по сравнению с которым Ниагара не более чем жалкий ручеек. Во втором исходе приняли участие главным образом власть и деньги имущие — это случилось после того, как стало ясно, что полуостров хоть и медленно, но неотвратимо отделяется от континента, доказывая при этом довольно убедительно, сколь шатки и непрочны идеи и структуры, почитавшиеся незыблемыми. Именно тогда стало очевидно, что конструкция нашего общества при всей своей сложности — это карточный домик, который только с виду кажется надежным: дуньте — и рассыпется он по столу. И, продолжая сравнение, скажем, что стол в данном случае, и впервые в истории, взял да и стронулся сам, своей волей, и что же нам остается, господи боже, как не бежать, спасая драгоценное достояние наше и не менее драгоценную жизнь?!

А третий исход, о котором мы повели речь, прежде чем упомянуть вкратце о двух предыдущих, состоял из двух компонентов или, если угодно, проходил в два этапа, столь различных меж собой по самым основополагающим признакам, что, по мнению иных, следует считать их не частями единого целого, но отдельными явлениями — исходом третьим и исходом четвертым. Завтра — то есть в отдаленном будущем — историки, посвятившие себя изучению процессов, не в переносном, а в самом буквальном смысле преобразивших лицо земли, установят окончательно, есть ли основания для разделения, на котором кое-кто с жаром настаивает уже сегодня, и нам остается лишь уповать на взвешенность грядущих суждений и беспристрастие оценок. А нынешние критики уверяют, что было бы совершенно некорректно валить в одну кучу такие несопоставимые по природе и масштабу вещи, как бегство миллионов людей с побережья в глубь страны и отъезд нескольких тысяч за границу, на том лишь основании, что процессы эти совпали

[1] Воздвигнуто благодарной отчизной как свидетельство доблести предков наших (*лат.*).

по времени. В этом научном споре мы не собираемся становиться на чью-либо сторону и уж подавно — выносить свое просвещенное суждение, ограничившись лишь тем, что заметим: участники третьего и четвертого исходов обуяны были одним и тем же страхом, но многоразличны были способы и средства борьбы с ним.

В первом случае мы имеем дело прежде всего с людьми неимущими, которые под давлением суровых обстоятельств и не менее суровых властей принуждены были перебраться в иные края, спасая прежде всего жизнь, причем весьма традиционными способами — уповали на то, что им повезет, а кривая вывезет, фортуна улыбнется, Господь не попустит, царица же небесная примет под свой покров, верили в счастливую звезду, в удачу, в чудо, в освященную ладанку на шее и во многое другое, что мы за неимением места перечислять не будем и что в конечном итоге сводилось к емкой формуле: Еще не пришел мой час. Были и другие — они располагали доходом средним и высоким, а главное — таким, который легко обратить в наличность, а во вторую волну не попали, потому что решили выждать и посмотреть, как все обернется, теперь же, осознав, что ждать больше нечего и надежд на благоприятный оборот не остается, до отказа заполнили самолеты нового воздушного моста, каюты и палубы лайнеров, танкеров, сухогрузов и всего, что могло плыть своим ходом, а обо всем том, что при этом происходило, мы лучше умолчим, набросив завесу сострадания на творившиеся козни, интриги, предательства, прямые преступления — известно, что были случаи убийства с целью завладения билетом, — и описывать в подробностях эту безрадостную картину не станем, ибо помним, что мир таков, каков он есть, и верхом наивности было бы ждать от него чего-либо иного. И все же по зрелом размышлении, все оценив и взвесив, предполагаем мы, что в трудах грядущих историков отмечены будут именно четыре, а не три исхода — и не потому, что силен будет зуд классификаторства, а по очевидной необходимости не смешивать божий дар с яичницей.

Оговоримся, впрочем, что в нашем кратком анализе могло, пусть и помимо нашей воли, проявиться известное воздействие манихейства — то есть обнаружиться склонность к идеализации низших классов и недоброжелательство по отношению к верхам общества, к которым злорадно приклеивается без достаточных на то оснований ярлык богатых и могущественных, а это порождает злобу и ненависть, равно как и то недостойное чувство, которое называется завистью и служит источником всех зол и бед. Да, конечно, есть на свете бедные, с этим очевидным фактом не поспоришь, но не следует переоценивать их достоинства, тем более что они не являются и никогда не являлись образцом смирения, терпения, сердцем воспринятой порядливости. И тот, кто, находясь вдали от здешних мест и событий, вообразит, будто все эти покинувшие родные очаги иберийцы, сгрудившиеся вповалку в больницах, школах, пакгаузах, казармах, бараках и времянках, в палатках, которые удалось реквизировать для них или были предоставлены армией, эти люди вкупе с еще более многочисленной толпой вовсе не нашедших себе пристанища и ночующих под мостами, под деревьями, в брошенных автомобилях, а то и просто в чистом поле, — вообразит себе, говорю, будто они чистые ангелы, к которым нисходит сам Господь, много знает, вероятно, о Господе и об ангелах, но о том, что такое люди, не имеет ни малейшего понятия.

Не будет преувеличением сказать, что ад, в мифологические времена равномерно распределявшийся по всему полуострову, как было описано в начале нашего повествования, сконцентрировался ныне в полосе шириной километров тридцать, протянувшейся с севера Галисии до Алгарви, с запада у нее безлюдные места, причем, если честно сказать, мало кто верит, что они погасят удар. Повезло испанцам: их правительству нет никакой надобности покидать Мадрид, так удобно и безопасно расположенный во внутренних районах страны, а чтобы найти правительство португальское, следует отправляться в Элвас, в городок, который, если прочертить по меридиану более или менее прямую горизонталь, окажется наиболее отдаленным от Лисабона и от побережья. Беженцы недоедают, недосыпают, старики умирают, дети кричат и плачут, мужчинам негде взять

работу, женщины везут весь воз на себе — случаются ссоры, вспыхивают злобные перебранки и драки, бывает, что воруют еду и одежду, а то и грабят друг друга, а вдобавок ко всему — кто бы мог подумать — установилась в этой среде необыкновенная вольность нравов, этакая моральная распущенность, превратившая лагеря для беженцев в форменные вертепы, где бог знает что происходит, и подается отвратительный пример подрастающему поколению, которое своих родителей еще помнит, но не заботится, от кого и с кем и где оно само зачинает потомство. Разумеется, этот аспект проблемы не так важен, как кажется на первый взгляд, если судить по тому, как мало внимания уделяют нынешние историки периодам, которые этим ли, тем ли напоминают переживаемый момент. Да и потом вовсе не исключено, что буйство плоти, проявляющееся в кризисные эпохи, отвечает глубинным интересам человечества и отдельного человека, в благополучные периоды затравленных требованиями морали и нравственности. Постулат весьма сомнителен и противоречив, а потому, ни на чем не настаивая и оставив его, двинемся дальше: сделали наблюдение — и довольно с нас, с беспристрастных наблюдателей.

Но во всем этом хаосе и безобразии существует некий оазис мира и согласия, где в полнейшей гармонии живут бок о бок семеро — две женщины, трое мужчин, собака и конь, и, хотя у последнего прежде имелись основания роптать на судьбу, сетуя, что обязанности в этом сообществе распределяются несправедливо — ему одному приходилось тащить тяжелую галеру, — но даже это в последние дни исправилось. Две женщины и двое мужчин составляют две пары, две счастливые четы, и только третий мужчина пребывает в одиночестве, которое с учетом возраста вроде бы его особенно не тяготит — по крайней мере, до сих пор не замечалось за ним раздражительности, являющейся безошибочным признаком сексуальной неудовлетворенности. Что же касается пса, то, вероятно, он, отправляясь добывать себе пропитание, утоляет и иной голод, но нам об этом ничего не ведомо, ибо среди собак, самых бесстыдных во всем животном мире существ, встречаются особи на редкость целомудренные, предающиеся своим любовным играм и забавам в полном уединении, а следить за ним, потворствуя своему нездоровому любопытству, никому, слава богу, не пришло в голову. Наши рассуждения относительно характера отношений и их проявления не затрагивали бы сферу сексуальности, если бы две образовавшиеся парочки — оттого ли, что страсть слишком сильна, или оттого, что вспыхнула она слишком недавно, — не выставляли ее напоказ так охотно и часто, но, предваряя дурные мысли, спешим сообщить, что это вовсе не значит, будто они по целым дням и где попало целовались и обнимались, вовсе нет: они достаточно сдержанны и скромны, но не в их власти сделать так, чтобы угасло или хотя бы померкло окружавшее их сияние, то самое, которое Педро Орсе еще несколько дней назад наблюдал с вершины горы. А здесь, поселившись на опушке леса, достаточно далеко от цивилизации, чтобы чувствовать себя свободно, и достаточно близко к ней, чтобы добывание съестного не превращалось в неразрешимую задачу, они могли бы полностью уверовать в свое счастье, если бы не висела над ними угроза вселенской катастрофы. Однако они вняли совету поэта, рекомендовавшего некогда: Carpe diem[1], а мы заметим, что истинная ценность древних латинских изречений в том, что они содержат целую кучу значений вторых и третьих, не говоря уж о неисчислимом множестве возможных, вероятных, полускрытых и трудноопределимых, так что если перевести это наставление как призыв «Наслаждайся жизнью!», то получим нечто мелкое, дряблое и пресное, отбивающее охоту предпринять какие-либо усилия, чтобы попробовать последовать этому доброму совету. Вот поэтому мы воздерживаемся от перевода и упорно повторяем: Carpe diem, и чувствуем себя богами, отрешившимися от бессмертия, чтобы в полном и точном смысле этого выражения с толком и вкусом провести, не тратя его попусту, отпущенное нам в сей юдоли время.

Тем более что неизвестно, сколько еще его осталось. Радиоприемники и телевизо-

[1] Лови день *(лат.)* — девиз Горация.

ры включены теперь круглосуточно, ибо привычная сетка вещания изменена — в любую минуту может быть прервана передача и прочитан выпуск новостей, сводка последних известий, нарастающих как снежный ком: осталось триста пятьдесят километров, триста двадцать пять, сообщаем, что полностью завершена эвакуация населения островов Санта-Мария и Сан-Мигель, а на прочих она идет ускоренными темпами, осталось триста двадцать, на базе в Лажисе находится небольшая группа американских ученых, которые покинут ее на вертолетах в самый последний момент, дабы с воздуха следить за столкновением, мы говорим «столкновение», воздерживаясь от определений и эпитетов, просьба португальского правительства включить нашего соотечественника в качестве наблюдателя в состав группы была отвергнута, осталось триста четыре километра, а сотрудники радио- и телередакций, отвечающих за развлекательные и образовательные программы, ломают себе голову над тем, что же выпускать в эфир: Классическую музыку, говорят одни, это соответствует драматизму ситуации, Это произведет гнетущее впечатление, возражают им, лучше бы что-нибудь полегче, французские шансонетки тридцатых годов, португальские фадо, испанские малагеньи и севильисы, и, конечно, рок и фолк, и побольше победителей конкурсов Евровидения, Подобное веселье оскорбит чувства людей, переживающих самые критические часы своей жизни, отвечают им поборники симфоний, Ну да, тогда давайте сплошной траурный марш запустим, огрызаются адепты эстрады, и спору этому не видно конца, осталось двести восемьдесят пять километров.

Жоакин Сасса включал свой транзистор лишь время от времени и ненадолго, хоть у него имелись запасные батарейки, но кто же знает, что завтра будет? — это самая ходовая фраза, она у всех на устах — но нетрудно предположить, что ничего завтра не будет, а может, не будет и самого завтра, и вообще ничего, кроме смерти и разрушения, миллионов трупов, гибели половины Пиренейского полуострова, который уйдет под воду. Однако те минуты, когда приемник выключен, очень быстро становятся совершенно непереносимыми, а время делается физически ощутимым, плотным и вязким, застревает в глотке, стоит комом в горле, то и дело кажется, что вот сейчас и последует такой удар, что мы издали почувствуем его, и, не в силах выдержать подобное томление и напряжение, включает Жоакин Сасса свой прибор. И тогда раздается пленительный голос самой жизни, распевающей на разных языках про любовь и разлуку, и тогда все переводят дух, хотя за то время, которое потребовалось, чтобы сообщить нам: Милый мой Пантоха, мне без тебя так плохо, мы приблизились к смерти еще на двадцать километров, но разве это имеет значение, если нас еще не оповестили: Прямо по курсу Азоры! — так что можем еще попеть.

Они сидят под деревом, в тени, только что окончили свою трапезу, а выглядят настоящими дикарями, да и ведут себя не лучше: такие разительные перемены за столь ничтожный срок: вот оно, отсутствие комфорта — грязная мятая одежда, мужчины обросли щетиной, нет, конечно, мы не осуждаем ни их, ни их подруг, чьи поблекшие от забот и тревог губы давно забыли вкус и цвет помады, быть может, в последние часы они причешутся, подкрасятся, подмажутся, ибо если прощание с жизнью, по их мнению, таких забот не стоит, то смерть надлежит встретить как полагается. Мария Гуавайра, склонясь на плечо Жоакина Сассы, сжимает ему руку, две слезы повисли у нее на ресницах, но это не от страха перед тем, что случится, это любовь увлажнила глаза. Жозе Анайсо обнимает Жоану Карду, прикасается губами к ее лбу, к зажмуренным векам: ах, если бы хоть этот миг взять с собой туда, куда я отправляюсь, о большем я и не прошу, один лишь миг, вот этот, не обязательно тот, когда звучат эти мои слова, можно другой, тот, что был раньше, за миг до него, за миг до того мига, который сейчас уже почти неотличим от всех прочих, но я не ухватил его, когда он длился, а теперь уже поздно. Педро Орсе встал и отошел прочь, седые волосы холодным блеском сверкают на солнце, тоже ведь нимб, не хуже, чем у спутников его. Пес понуро побрел следом. Но уйдут они недалеко. Теперь все стараются держаться вместе, поближе друг к другу, никто не хочет оказаться в одиночестве,

когда пробьет час неизбежного. Конь, который, как уверяют ученые, — единственное животное, не знающее, что когда-нибудь умрет, испытывает настоящее блаженство, отдыхая после тяжелейших трудов и долгой дороги. Он жует солому, вздрагивает кожей, чтобы согнать мух, обмахивает длинным хвостом гнедой круп и, вероятно, не предполагает, что, не будь всех этих событий, окончил бы свои дни в полумраке разрушенной конюшни, где все углы затянуты паутиной, вот уж воистину — не было бы счастья, да несчастье помогло.

Прошел день, настал и минул другой, оставалось полтораста километров. Страх растет, как черная тень, прибывает, будто вода, испытывающая плотину на прочность, подрывает ее каменный фундамент и вот — где тонко, там и рвется — вырывается наружу, а люди, которые до сих пор держались более или менее спокойно в местах, облюбованных ими для своих биваков, устремляются на восток, сообразив теперь, что находятся чересчур близко от побережья — всего в каких-нибудь семидесяти-восьмидесяти километрах, — и в воспаленном воображении им представляется, как следом за распарывающими пиренейскую твердь Азорами врывается море, и, как знать, вдруг от удара проснется вулкан на острове Пико, и никто в эту минуту знать не хочет, что нет на острове Пико никакого вулкана, и никаких иных объяснений не слушает. Ну, разумеется, дороги вновь забиты до отказа, намертво затянулись узлы транспортных развязок, а потому нельзя ни продвинуться вперед, ни вернуться назад, но из оказавшихся в мышеловке людей очень немногие решились бросить свои убогие пожитки и броситься в чем есть в поля — не до жиру, быть бы живу. Чтобы сдержать эту волну, португальское правительство решило подать пример мужества и, покинув безопасный Элвас, обосновалось в Эворе, тогда как правительство испанское переехало в Леон, и президент республики с королем отправляют обращение к нации — каждый, разумеется, свое и к своей, — ибо мы, к сожалению, забыли упомянуть, что президента и короля во всех этих передрягах сопровождают соответствующие должностные лица, и спешим исправить это упущение, ибо иначе не сумеем объяснить, что оба первых лица изъявляли готовность устремиться навстречу обезумевшим толпам своих граждан, раскинуть руки крестом и рискнуть собственной жизнью, чтобы остановить их, снова воскликнув: Friends, Romans, countrymen, но нет, ваше величество, нет, господин президент, объятая паникой невежественная чернь не оценит и не поймет вашего порыва, нужно обладать высокой культурой и достичь определенной степени цивилизованности, чтобы, увидев посреди дороги монарха или законного избранника с раскинутыми руками, остановиться и спросить, чего они тут забыли.

Итак, это случилось. В семидесяти пяти километрах от восточной оконечности острова Сан-Мигель, когда ничто не предвещало перемену, без всякой видимой причины, без малейшего толчка Пиренейский полуостров отвернул северней. Покуда во всех европейских и американских географических институтах обескураженные исследователи всматривались в данные, полученные со спутников, и спорили, надо ли обнародовать их, миллионы пребывавших в ужасе испанцев и португальцев оказались вне опасности, хоть и не знали этого. Покуда длились эти трагические минуты, нашлись такие, кто затевал драку в надежде получить удовлетворение и погибнуть в честном бою, а другие, не в силах побороть страх, покончили с собой. Одни каялись в грехах, иные, сочтя, что уже не успеют снять с души их бремя, спрашивали Бога и дьявола, какие новые прегрешения могут они совершить в остающееся время. Родильницы жалели, что дети их не родились мертвыми, роженицы были уверены, что плод так навсегда и останется у них во чреве. И когда на весь мир грянул крик: Спасены! Спасены! — многие не поверили в спасение и продолжали оплакивать близкую и неотвратимую гибель до тех пор, пока не развеялись последние сомнения: правительства поклялись в этом, ученые представили объяснения: все дело в сильнейшем подводном течении, созданном искусственно, вот только непонятно кем — тут и разгорелись споры — американцами или же русскими.

Поднялось ликование по всему полуострову, а особенно на той узкой его полоске,

где сгрудились беженцы. Как хорошо, что час спасения пришелся на светлое время суток, как раз когда те, разумеется, кому еще было что есть, собрались обедать, а иначе последствия могли быть просто непредсказуемыми и уж во всяком случае трагическими, говорили лица, облеченные властью, но уже очень скоро они пожалели о своей скороспелой радости, поскольку, едва успев убедиться в истинности доброй вести, люди тут же всей многотысячной толпой пустились в обратный путь, домой, и властям пришлось распустить довольно жестокий слух о том, что полуостров может еще вернуться к первоначальной своей траектории. Не все поверили в эту уловку — людей уже обуяло новое беспокойство, и в мыслях они уже видели города, деревни, села, которые пришлось оставить, город, деревню, село, где они жили прежде, улицу, по которой ходили, дом — дом, который опустошили и разорили расторопные молодцы, не поверившие вздорным россказням, а если и поверившие, то принявшие зловещую перспективу как нормальный профессиональный риск, неотъемлемый от работы, требующей еженощно совершать тройное сальто-мортале, и не сочтите это игрой больного воображения — по всем этим опустелым городам и селам уже шастало, сторожко оглядываясь, разнообразное ворье и жулье, честно, в лучших традициях корпоративной этики договорившееся между собой: Кто первый пришел, первым и чистит дом, разборок не устраивать, потому что хватит на всех. Несказанно повезло этим мазурикам, что никто из них не попытал счастья в доме Марии Гуавайры, ибо его стережет поденщик с заряженной двустволкой, который пустит туда лишь законную хозяйку, сказав ей: Сберег я, сеньора, ваше добро, теперь выходите за меня замуж, если только, утомясь от бессменного и бессонного, ночи напролет, караула, не приляжет он на гору голубой шерсти и не заснет, подрубив таким образом под корень возможность своего семейного счастья.

Жители Азорских островов благоразумно воздержались покуда от возвращения по домам — а вы бы как поступили на их месте? — непосредственная опасность не миновала, а всего лишь отодвинулась на неопределенный срок, кружит где-то поблизости. Однако не осторожность удерживает на месте пятерых, по-прежнему сидящих под деревом, тогда как все остальные уже двинулись по направлению к побережью Португалии и Галисии, устраивая триумфальные шествия с цветами, ветками, оркестрами, шутихами, петардами и колокольным звоном: семьи возвращаются домой, чего-то, быть может, и лишившись, но вновь обретая самое главное — жизнь возвращается вместе с ними в опустелые дома, к столу, за которым будут они есть, к кровати, на которой будут они спать и на которой нынче ночью, ликуя, предадутся любви, какой еще не видано было в мире. А здесь, под деревом, рядом с готовым к новым странствиям тарантасом и конем, отъевшимся и восстановившим силы, пятеро смотрят на пса, смотрят так, словно от него ждут приказа или совета: Ты, явившийся неведомо откуда, ты, пришедший однажды из такой дали, что на ногах не держался, ты, который вышел из-за кустов в минуту, когда эти люди смотрели на то место на земле, где я вязовой палкой провела черту, ты, который ждал нас, улегшись возле машины, загнанной под навес, ты, который держал в зубах обрывок голубой шерстяной нити, ты, который провел нас по стольким дорогам и тропам, ты, который сопровождал меня на берег моря и отыскал там каменный корабль, — ответь нам теперь, подай какую-нибудь весть или знак, махни хвостом, шевельни ушами, если даже залаять не можешь, скажи, куда нам теперь должно направиться, ибо ни один из нас не хочет возвращаться в дом, стоящий в долине, и для каждого путь этот станет началом последнего возвращения: Сеньора, выходите за меня, скажет мне человек, который хочет жениться на мне, А где же накладная? — скажет мне мой начальник, Вернулась все-таки, скажет мне муж, Господин учитель, отхлещите его линейкой, скажет мне отец последнего из моих двоечников, Дайте что-нибудь от головной боли, скажет мне страдающая головными болями жена нотариуса, — так вот, укажи нам путь, встань и иди, а мы за тобой следом.

Пес, лежавший под галерой, вскинул голову, словно мог услышать эти беззвучные речи, потом резко вскочил, подбежал к Педро Орсе, обеими руками обхватившему его

голову, и прозвучали слова: Хочешь, чтобы я взял тебя с собой? — но произнесены они были человеком. Мария Гуавайра, хозяйка галеры, владелица коня, ничего пока не решила, но Жоана Карда взглянула на Жозе Анайсо, и он понял ее: Что бы вы ни решили, я не вернусь, и тогда Мария Гуавайра произнесла звонко и отчетливо: Время оставаться и время уходить, а время возвращаться еще не настало, и тогда спросил Жоакин Сасса: Куда же мы хотим идти? Пойдемте к другому концу нашего полуострова, предложил Педро Орсе, я никогда не видел Пиренеев. Не видел и не увидишь, потому что половина их осталась во Франции, припомнил Жозе Анайсо. Не важно, по мизинчику узнают великана. Все обрадовались принятому решению, но Мария Гуавайра сказала так: Конь в одиночку привез нас сюда, но больше он такого пути не выдержит, ибо стар, и фура эта пароконная, один конь — все равно что одна рука. Так что же делать? — спросил Жоакин Сасса. Товарища ему искать. Поди-ка сыщи здесь коня, а если и найдем, конь — большая ныне редкость, у нас и денег на него не хватит.

Трудность представляется неодолимой, но в этот самый миг Мария Гуавайра лишний раз демонстрирует, как переменчив нрав человеческий, — не она ли всего несколько дней назад заявляла, что в чужой дом не войдет, ночевать там не будет, и слова этой отповеди еще не успели смолкнуть в ушах ее спутников, а теперь вот — велика сила необходимости — говорит, пустив под откос всю прежнюю свою безупречную, без единого пятнышка прожитую жизнь: Мы его не купим, а украдем, и уж теперь Жоана Карда возражает, хоть и не впрямую, чтобы не обидеть: Мне в жизни своей ничего не приходилось красть. Тут настала довольно неловкая тишина: людям надо освоиться с новыми понятиями о морали, и первый шаг в этом направлении сделан был Педро Орсе, хотя старики обычно самые рьяные поборники и ревнители старого: В своей жизни никто ничего не крадет, крадет только в чужой, промолвил он, и эта смягченная улыбкой констатация факта прозвучала как парадокс античного киника, однако слово было сказано. Хорошо, быть по сему, украдем коня, только кому и как это сделать, давайте, что ли, жребий бросим. Какой там жребий, возразила Мария Гуавайра, мне идти, вы же в лошадях не смыслите и увести ее из стойла не способны. Я пойду с тобой, сказал Жоакин Сасса, и хорошо бы, чтобы пес нас сопровождал, какая-никакая защита на всякий случай.

И в ту же ночь трое вышли из расположения своего лагеря и направились на восток, поскольку там, в спокойных краях, больше было возможностей обрести желаемое. И перед выходом Жоакин Сасса сказал: Неизвестно, когда мы вернемся, ждите нас здесь. Лучше бы, наверно, было достать такую машину, куда бы поместились мы все с барахлом и собакой, сказал Жозе Анайсо. Нет таких машин, грузовик нужен, а ты разве забыл, что мы не видели ни одного нераскуроченного и на ходу, да и потом — у нас же конь, мы же не можем его тут бросить. Один за всех и все за одного! — воскликнули тут хором три мушкетера, которых на самом деле было четверо, а в нашем случае — пятеро, не считая собаки. И лошади.

Мария Гуавайра и Жоакин Сасса пустились в путь, а пес бежал перед ними, принюхиваясь к ветру, обследуя тени. Довольно абсурдная затея, надо признать, где ж тут лошадь найти? Сгодится и мул, ответила бы Мария Гуавайра, хотя понятия не имеет, найдется ли в округе нечто подобное, и легче, наверно, было бы отыскать вола, но давно и не мною сказано, что в одну галеру впрячь не можно коня и тучного вола, равно как — коня и щуплого осла, это то же, что из двух слабостей сделать одну силу, прок от таких соединений бывает только в притчах и в пословицах, вроде той, где говорится о прутьях и венике, мы ее как-то уже приводили. Они шли да шли, сходя с дороги всякий раз, когда впереди в прогалине между полей появлялись сторожки или домики, если есть лошади, то они где-нибудь здесь обретаются, мы ищем тягловую скотину, а не циркового жеребца, не рысака для парада. Стоило им чуть приблизиться, собаки поднимали лай, поднимали, но тотчас и обрывали, и мы никогда не узнаем, какие чары пускал в ход наш пес, но факт остается фактом: самый голосистый и чуткий сторож внезапно смолкал, будто онемев, и не потому, что этот зверь из тьмы убивал его — в этом случае обязательно слышался бы

шум схватки, лязг зубов, стоны и скулеж, а здесь стояла тишина, которую мы не называем мертвой лишь оттого, что все оставались живы.

Уже близился рассвет, Мария Гуавайра и Жоакин Касса еле передвигали ноги от усталости, и он сказал: Надо бы сделать привал, но она настаивала: Надо искать, надо искать, а поскольку кто ищет, тот находит, то и они нашли, и произошло это как нельзя более просто, когда небо посветлело и чернота на востоке сменилась густой синевой, и тут откуда-то снизу, обочь дороги донеслось приглушенное ржание — истинное чудо, — будто конь подал им весть о себе: Я здесь, они двинулись на звук и вскоре обнаружили стреноженного коня, и привел его сюда не Господь Бог для пополнения каталога сотворенных им чудес, а всего лишь законный его владелец, которому накануне кузнец сказал так: У него спина сбита, помажь ссадину мазью, и пусть три ночи кряду, начиная с пятницы, пасется на воле, если не заживет, верну тебе деньги и провалюсь на этом месте. Коня, если он стреножен и если нет под рукой острого ножика перерезать его путы, за пазухой не унесешь, однако Мария Гуавайра знает, как обращаться с такими тварями, и, хоть конь нервничает, не узнавая незнакомых людей, уводит его под деревья, где, рискуя тем, что конь ее потопчет или от души навернет копытом, развязывает узел, которым стянута грубая и толстая веревка, обычно-то в таких случаях делают простой узел, чтобы сразу можно было развязать, но, быть может, до здешних мест эта наука еще не добралась. Помогло, конечно, и то, что конь понял — его хотят освободить, а свобода — всегда драгоценный дар, даже если преподносят его незнакомцы.

Чтобы избежать нежелательных встреч и не навлечь на себя подозрений, возвращались самыми что ни на есть окольными дорогами, больше, чем когда-либо, доверяясь собачьему чутью. Когда рассвело, они были уже далеко от места преступления, и, хоть теперь попадались им люди, работавшие в поле или шедшие навстречу, никто из них не узнал коня, оттого, быть может, что особо не присматривался, ибо слишком восхитительно-невинное, выдержанное в средневековом духе зрелище открывалось их взорам — дама, сидевшая бочком, как амазонка, и странствующий рыцарь, который шел пешком и вел ее коня под уздцы — слава богу, не забыли прихватить уздечку! Огромный пес дополнял пленительную картину, которая одним казалась грезой наяву, другим — внятным знаком грядущих перемен к лучшему, и не ведали одни и другие, что перед ними всего лишь пара конокрадов, воистину — внешность обманчива! — вот только неизвестным остается, что обманывает она дважды, так что лучше доверяться первому впечатлению и не углубляться в расследование. Вот поэтому многие и сейчас говорят: Утром видел Амадиса и Ориану[1], она верхом ехала, он пешком шел, и пес был при них. Не могут это быть Амадис и Ориана, у тех никогда никакой собаки не было. А я тебе говорю, видел, один свидетель не хуже сотни. Но в книге про их жизнь, любовь и приключения ни слова не говорится про собаку. Стало быть, надо переписать эту книгу, и столько раз, сколько потребуется, чтобы влезло туда все. Все? Все не все, но чем больше, тем лучше.

Вечерело, когда они добрались до своего — ну, скажем, стойбища — и были встречены радостным смехом и объятиями. Гнедой старожил искоса глянул на гнедого новичка: Вижу, ссадину у тебя на спине помазали мазью, а самого выпустили попастись на три ночи, считая с пятницы, это самое верное средство.

Покуда беженцы возвращались к своим домашним очагам, а жизнь, как принято выражаться, мало-помалу входила в прежнее русло, с необыкновенной силой разгорелась научная дискуссия о причинах, побудивших полуостров in extremis[2], когда катастрофа казалась уже совершенно неминуемой, изменить траекторию своего движения. Прийти к единому мнению по этому вопросу не удалось, гипотезы высказывались самые поляр-

---

[1] Персонажи рыцарского романа «Амадис Гальский» анонимного португальского автора XIV в. Роман получил известность в более поздней переработке испанского писателя Гарси-Ордоньеса де Монтальво (XV в.).

[2] *Здесь*: в последний момент *(лат.)*.

ные, непримиримо противоречившие друг другу, что, выражаясь математическим языком, поспособствовало несократимости ученых мужей, принимавших участие в споре.

Первая гипотеза отстаивала абсолютную непреднамеренность нового курса, исходя из того, что полуостров двинулся строго перпендикулярно к предыдущей траектории, что решительно исключало самую возможность некоего, скажем так, волевого акта, тем паче что непонятно было, чьей воле можно его приписать, поскольку никто не возьмет на себя смелость предположить, будто неимоверная громада земли и камня, на которой суетятся несколько миллионов человек, может обрести путем простого сложения или взаимоумножения разум и способность рассчитать курс с такой невероятной — так и хочется сказать «дьявольской» — точностью.

Другая гипотеза доказывала, что смена курсов, которыми движется полуостров, будет всякий раз происходить под новым прямым углом, что позволяет допустить невероятную возможность того, что он вернется в исходный пункт, но лишь после того, как пройдет полный цикл этих последовательных смещений, которые, начиная с какого-то определенного момента, будут измеряться миллиметрами и в конечном итоге приведут его в точности в ту самую точку, откуда он начал дрейф.

Третья гипотеза предполагала существование сильного электромагнитного поля, излучаемого полуостровом, которое при приближении к постороннему и достаточно объемному предмету начинает действовать, запуская процесс своеобразного отталкивания, каковое следует, впрочем, понимать не в общеупотребительном смысле, а — заимствуя автомобильный термин — как боковой занос, то есть неуправляемое скольжение. Причины того, почему это скольжение идет по направлению к северу или к югу, ускользнули от внимания исследователей.

И наконец, четвертая, идущая вразрез со всеми прочими гипотеза, опираясь на понятие «метемпсихоза», утверждала, что полуостров избежал столкновения благодаря тому, что в последнюю долю секунды возник новый вектор движения, образованный концентрацией индивидуальных чувств, прежде всего отчаяния, ужаса и жгучего желания спастись, охвативших всех тех, кому эта катастрофа грозила гибелью. Объяснение имело большой успех, особенно возросший после того, как в целях приближения его к постижению простых, не обладающих специальными познаниями людей автор доктрины провел параллель с известным физическим феноменом, когда пучок солнечных лучей, собранных в фокус благодаря двояковыпуклой линзе, выделяет тепловую энергию. Не то ли происходит и в данном случае, когда на место линзы, многократно усиливающей воздействие света, приходит сгусток коллективной воли, в кризисный момент концентрирующейся, стимулирующейся и доходящей до пароксизма. Вздорность такой аналогии никого не смутила, напротив — многие сейчас же задались целью отныне и впредь объяснять феномены духа, души, воли, психической и нервной деятельности физическими терминами и понятиями, даже если концы с концами решительно не сходились. Гипотезу изучали и развивали с тем, чтобы применить ее основополагающие принципы к нашей повседневности, и прежде всего — к деятельности политических партий и к спортивным соревнованиям, если упоминать лишь две сферы нашей деятельности.

Нашлись, разумеется, и скептики, твердившие, что о праве на существование всех этих гипотез судить можно будет лишь спустя несколько недель и лишь в том случае, если полуостров не изменит своего нынешнего направления, которое приведет его в створ между Гренландией и Исландией, места неблагоприятные для испанцев и португальцев, привыкших к мягкому, теплому и умеренному климату. Если это произойдет, то единственным логическим выводом из всего вышеизложенного будет: путешествие лишено смысла. С другой стороны, налицо чересчур упрощенный подход к проблеме, ибо каждое путешествие существует не само по себе, но заключает в себе множество иных, и если одно из них представляется столь бессмысленным, что мы чувствуем себя вправе сказать: Да ну его к черту, то хотя бы здравый смысл, голос которого вечно заглушается нашей ленью или предубеждением, должен бы побудить нас убедиться в том, что и со-

ставляющие того путешествия, о котором идет речь, также не представляют ни малейшей ценности и значения не имеют. Совокупность этих соображений советует нам воздержаться от окончательных выводов и скороспелых суждений. Путешествия идут друг за другом чередой и при этом сливаются воедино, в точности как поколения людей: случается, что, еще не перестав быть внуком, ты становишься дедом, пребывая одновременно и отцом. И никуда не денешься.

Жозе Анайсо произвел некоторые вычисления, проложил маршрут так, чтобы избежать отрогов Кантабрийских гор, и доложил о результатах: От Палас-де-Рея, где мы находимся, до Вальядолида будет километров четыреста, а оттуда до границы — ой, простите, тут на карте есть еще граница! — еще четыреста, итого выходит восемьсот, долгий путь, если на лошади, да еще шагом. Извините! — перебила его Мария Гуавайра, у нас теперь пароконный экипаж, и поедем мы не шагом, а рысью. Конечно, если двоих впрячь, начал Жоакин Сасса и вдруг осекся, как человек, внезапно осененный некой ослепительной догадкой, и расхохотался: Как забавно получилось, машину, прозванную мною Парагнедых, мы бросили, а на другой паре гнедых теперь снова пускаемся в путь, и я предлагаю назвать нашу галеру в честь ее предшественницы, это будет справедливо и де-факто и де-юре, так, кажется, говорится на латыни, на языке наших далеких предков, которого я не знаю. Парагнедых жует сено, ссадина на спине у одного затянулась окончательно, а другой если не помолодел, то явно окреп и приободрился и хоть держит голову не так высоко и гордо, как его напарник, но стесняться его не приходится. Когда стих общий смех, Жоакин Сасса продолжил: Ну так вот, на паре сколько примерно мы будем делать в час? Лиги[1] три, отвечает Мария Гуавайра. Стало быть, по-новому считая — пятнадцать километров? Точно. Десять часов по пятнадцать километров — это сто пятьдесят, то есть меньше чем за трое суток доберемся до Вальядолида, а еще через трое будем в Пиренеях, это быстро. План хорош, говорит Мария Гуавайра, поджавши губки, особенно если ты задался целью загнать лошадей как можно скорее. Ты же сама сказала. Я сказала — по ровной местности, и в любом случае никакая лошадь десять часов бежать не может. Мы им будем давать роздых. Хорошо, что не забыл, отвечает Мария Гуавайра, и по ее ироническому тону можно судить о том, что она раздражена.

В подобных ситуациях — и далеко не только там, где дело касается лошадей — мужчины обычно чувствуют унижение, а женщины все никак не постигнут эту истину, замечая лишь досаду, объясняющуюся, как им кажется, ущемленным самолюбием мужчины, которому осмелились возражать и перечить, и от этого проистекают все недоразумения и размолвки, и, вероятно, все дело в несовершенном устройстве органов слуха у человека вообще, а у женщин в особенности, хотя они и тщеславятся тем, что ухо всегда держат востро, тогда как ушки — на макушке. Где уж нам, пробурчал Жоакин Сасса, мы в кавалерии не служили. Спутники слушали эту словесную дуэль и улыбались, понимая, что поединок идет не всерьез, нет на свете уз прочнее, чем голубая шерстяная нитка, что вскоре найдет себе новое подтверждение. Часов шесть в сутки — это самое большее, говорит Мария Гуавайра, а в час можно покрыть три лиги, да и то если лошадки согласятся. Завтра тронемся? — спросил Жозе Анайсо. Если все согласны, ответила Мария Гуавайра и особым, женским голосом спросила Жоакина Сассу: Ты не против? — на что тот, уже совсем обезоруженный, ответил: Я — за, и улыбнулся.

Вечером произвели подсчет всей наличности: эскудо — столько-то, песет — столько-то, иностранных денег, добытых Жоакином Сассой на выезде из Порто, — столько-то, всего несколько дней прошло, а кажется, будто уже столетие назад покидали они Порто, — наблюдение не слишком оригинальное, но зато, как всякая банальность, неотразимо убедительное. Припасы, взятые в дорогу Марией Гуавайрой, подходят к концу, а как их пополнить, неизвестно, орда беженцев, прокатившаяся по здешним местам, все смела, капустного кочана не найдешь, не говоря уж о разграбленных курятниках, обитатели

[1] Путевая мера длины, равная примерно 5 км.

которых стали жертвами праведного гнева голодных людей, вынужденных за тощего куренка платить неимоверные деньги. Когда ситуация, как принято говорить, начала нормализоваться, цены слегка снизились, но к прежнему уровню не вернулись — такого не бывает. А теперь вот — во всем нехватка, нашим героям, вздумай они пойти по этой преступной дорожке, воровать стало бы трудно: то, что они коня свели, не в счет, не будь у того болячки на спине, он и сейчас бы украшал собою стойло и помогал своему прежнему хозяину в трудах праведных, а теперь о нем известно лишь, что украли его — судя по следам — мужчина, женщина и собака. Столько раз и так упорно твердят и повторяют: Нет худа без добра, что можно подумать, будто и впрямь речь идет об универсальной истине, тем более что мы взяли на себя труд тщательно и скрупулезно отделить одно от другого, и потому говорит Педро Орсе: Надо пойти поработать да заработать кое-каких деньжат, и предложение показалось сперва логичным, но когда перебрали имеющиеся в их распоряжении профессии, пришли к самым неутешительным выводам: вот Жоана Карда, к примеру, обучалась словесности, но по специальности не работала ни дня, а как только вышла замуж, ничем, кроме домашнего хозяйства, не занималась, а здесь в Испании не так уж велик интерес к португальской литературе, тем более что у испанцев в это время есть заботы посерьезней; Жоакин Сасса, как он уже объявил не без раздражения, в кавалерии не служил, что в его устах равносильно признанию в принадлежности к племени конторской шушеры, канцелярских крыс, — спору нет, они делают важнейшее дело, но лишь в условиях социального спокойствия, когда все идет по накатанной колее, а Педро Орсе всю жизнь занимался изготовлением лекарств, мы с ним и познакомились в тот миг, когда он делал хининовые облатки, и как жаль, что он не сообразил взять с собой запас своих медикаментов, — мог бы сейчас пользовать страждущих и получать за это недурные деньги, ибо в здешних краях «лекарь» и «аптекарь» — совершенно одно и то же; ну а Жозе Анайсо — учитель начальной школы, и этим все сказано, кроме того, сейчас он пребывает в стране с совсем другой историей и другой географией, и как ему объяснить испанским детишкам, что в битве при Алжубарроте[1] победили наши, португальцы, если их приучили крепко-накрепко забыть, что испанцев там разбили, а что касается Марии Гуавайры, то она единственная, кто может не только спросить: Нет ли какой работы? — но и работу эту выполнить, да и то в меру сил своих и умения, а ведь ни то, ни другое не безгранично.

Они переглядываются в некоторой растерянности, и Жоакин Сасса задумчиво говорит: Если будем то и дело останавливаться, чтобы подработать, до Пиренеев никогда не доберемся, да и сколько мы так заработаем? что заработаем, то и потратим, а по-моему, лучше нам будет уподобиться цыганам, кочующим с места на место, они-то чем живут? — он не то спрашивает, не то просит подтвердить, что — манной небесной. Отвечать ему берется Педро Орсе, поскольку он родом с юга, из тех краев, где племя это представлено полно и разнообразно: Мужчины подковывают и лечат лошадей, женщины торгуют всякой всячиной по рынкам или из-под полы и предсказывают судьбу. Нет уж, лошадей с нас довольно, и так сраму не оберешься, а кроме того, мы в этой материи слабо разбираемся, что же касается судьбы, то как ни старайся, от нее все равно не уйдешь. Ты забыл еще, что перед тем как продать коня, его сперва надо купить, а у нас денег не хватит, даже тот, что есть и то краденый. Молчание воцарилось, но уже через минуту было свергнуто Жоакином Сассой, который в очередной раз проявил практическую сметку: Я вижу единственный выход из положения — в первом же большом городе надо купить на толкучке одежду и продавать ее по деревням чуть дороже, эту бухгалтерию я возьму на себя. Идея за неимением лучшего показалась привлекательной: раз уж учителями, фармацевтами, сельскими тружениками наши герои быть не могут, а конокрадами не хотят, значит, станут старьевщиками и тряпичниками, бродячими торговцами готовым платьем, мужским, дамским, детским, занятие почтенное и, если с умом взяться, небезвыгодное.

---

[1] В этой битве, состоявшейся в 1385 г., войска португальского короля Жоана I разбили армию Хуана I Кастильского.

Набросав таким образом план жизни, они легли спать, и теперь пришло время сказать, каким образом размещаются эти пятеро в галере, которая называется теперь Парагнедых: Педро Орсе — в передней части, поперек, на узком соломенном тюфячке, Жозе Анайсо и Жоана Карда — вдоль, в проеме между бортом и наваленным багажом, а Жоакин Сасса и Мария Гуавайра — у другого борта, но ближе к задку фургона. Оба ложа целомудренно отгорожены подобием занавесок, и по этой же причине, если Жозе Анайсо и Жоане Карде требуется ночью выйти на вольный воздух, то они выбираются через передок, мимо Педро Орсе, но он не в претензии: здесь все, в том числе и беспокойства с неудобствами, делится поровну. Ну а как же поцелуи, объятия, ласки и любовные игры? — осведомятся те, кто сверх меры наделен от природы интересом к нескромным подробностям, а мы им на это ответим, что любовники для отклика на сладостный зов плоти избирают один из двух возможных способов: либо находят в окрестных лугах и рощах укромное и уютное место, либо пользуются намеренным отсутствием своих спутников, без слов понимающих, когда надо оставить их наедине.

Вопреки тому, что советует лирическое чувство, отправились они в путь не с первым проблеском зари — зачем вставать спозаранку, если времени у них теперь сколько угодно? — впрочем, это соображение было не единственным и не главным, — задержались они прежде всего потому, что приводили себя в порядок: мужчины побрились, женщины почистили перышки, вытряхнули и выбили пыль из одежды и, отыскав в лесу подходящую полянку, натаскали туда воды из реки и вымылись по очереди и попарно, а в голом виде или нет происходило это купанье, мы не знаем и спросить некого. Последним принял эту, с позволения сказать, ванну Педро Орсе, взявший с собою пса, и они разыгрались там, хочется сказать, как малые дети: пес толкал старика мордой, старик пригоршнями плескал в него воду, и оба хохотали, хоть звучит это неправдоподобно, и случись здесь быть прохожему человеку, он строго сдвинул бы брови, глядя на такое несообразное с преклонными годами мальчишеское веселье. И следов не осталось от их стойбища — разве что вытоптанная трава, да лужи в том месте, где происходило купанье, да пепел меж почерневших от огня камней, на которых разводили они костер, — первым же порывом ветра сдует его, первый же сильный дождь прибьет и пригладит истоптанную землю, и только закопченные камни укажут, что были здесь люди, и в случае надобности послужат для нового костра.

Погодка стоит — как по заказу. Со склона холма, где был их лагерь, они съезжают вниз, на дорогу, лошадьми правит, никому не доверяя бразды правления — сиречь вожжи, — Мария Гуавайра: такой спуск требует от возницы искусства и умения говорить с лошадьми, кругом валуны да утесы, не дай бог подвернется копыто, сломается ось — не выберешься. А лошади еще не успели приноровиться друг к другу, не достигли, так сказать, полного взаимопонимания: Пиренеец не доверяет крепости ветеранских сухожилий, а Галисиец, получив нежданно-негаданно напарника, все тянет в сторону, словно хочет отделаться от него, вынуждая того тем самым к дополнительным усилиям. Эти недоразумения не укрываются от зоркого глаза возницы, и, оказавшись на дороге, она приводит старика в чувство, виртуозно перемешав в должных пропорциях ласку и таску. Имена для коней придумал Жоакин Сасса, рассудив, что эти две лошадиные силы не чета тем, что были запрятаны под капот Парагнедых: те были неразличимы и хотели одновременно одного и того же, а эти отличаются всем решительно, кроме разве что масти, — и нравом, и видом, и возрастом, и темпераментом, а потому совершенно необходимо дать каждому из них собственное имя, вот пусть и зовутся — Пир и Гал. Очень глупо, сказал на это просвещенный Жозе Анайсо, Пирр — это был такой невезучий древний царь, а галл — значит «француз». Мы не в древности, отрезал Жоакин Сасса, и не во Франции, я — их крестный и нарекаю одного Пиренеец, а другого — Галисиец, а сокращенно — Пир и Гал. Женщины с улыбкой переглянулись, слушая шутейную перепалку своих возлюбленных. Совершенно неожиданно встрял Педро Орсе: Будь они жеребцом и кобылой и произведи на свет сыночка, его по правилам коннозаводства следовало бы назвать

Пигаль, и его спутники, знакомые с достижениями европейской культуры, воззрились на старика в удивлении, недоумевая, с чего это вспомнилась ему достозлачное место, — да ни с чего, простое совпадение, непреднамеренная игра созвучий, и многие удачные каламбуры суть плод случайности. О том, что есть в Париже Place Pigalle, не имел Педро Орсе ни малейшего представления.

В первый день проделали не более семидесяти километров — прежде всего потому, что лошадям следовало втянуться после долгого периода праздности, в котором одна пребывала из-за болячки на спине, другая — оттого, что ждала, когда же будет принято решение, а во-вторых, надо было дать небольшой крюк и заехать в городок Луго, лежавший чуть в стороне, к северо-западу от дороги, чтобы там разжиться товарами для грядущей торговли. Купили городскую газету, чтобы узнать новости, и увидели напечатанный там с опозданием на день снимок, красноречиво свидетельствовавший о том, что полуостров сменил курс относительно прежней траектории своего движения, для удобства читателей предусмотрительно показанной пунктиром. Сомнений не было — полуостров свернул под прямым — прямее некуда — углом, однако по поводу всех вышеприведенных гипотез газета из-за давних разочарований, быть может, высказывалась с долей здорового скептицизма, который, впрочем, объясняется и столь характерным для провинции неумением видеть дальше собственного носа.

В магазинах готового платья, куда, естественно, отправились женщины, которым поручено было произвести отбор, и Жоакин Сасса, который должен был производить подсчеты и расчеты, они долго колебались, не зная, отдать ли предпочтение коллекциям осенне-зимнего сезона или же взять прицел на весну. На окончательное решение повлияли их собственные надобности, и стоит ли удивляться тому, что Жоана Карда и Мария Гуавайра, считавшие себя форменными оборванками, не совладали с искушением принарядиться самим и приодеть своих спутников. Подводя итог, можно сказать, что приобретенные вещички сулили известную выгоду, если, конечно, спрос будет соответствовать предложению. Жоакин Сасса, однако, выказывал некоторые признаки нетерпения и досады, говоря так: Вы ухнули половину всех наших денег, и если через неделю не вернем себе хотя бы половину этой половины, можно будет закрывать лавочку, поймите же, что в нашем положении, когда нет возможности взять кредит, а оборотный капитал сильно ограничен, единственное спасение — в идеальном регулировании товаропотоков в поисках золотой середины между затовариванием и дефицитом. Эта речь, произнесенная на первом же привале после выезда из Луго, была благосклонно выслушана остальными.

То, что дорога к коммерческому процветанию не будет усыпана розами, выяснилось очень скоро, когда первая же покупательница торговалась так искусно и отчаянно, что две юбки пришлось продать ей почти себе в убыток. Продавщицей на этот раз выступила Жоана Карда, которая потом просила у своих компаньонов прощения и божилась, что очень скоро станет самой свирепой и неуступчивой из всех, кто на пространстве бывшего Пиренейского полуострова промышляет торговлишкой. Если не спохватимся — очень скоро профукаем и деньги и товар, еще раз напомнил всем Жоакин Сасса, а ведь нам не только самим пить-есть надо, но и кормить три рта: на нашем попечении пес и две лошади. Ну, положим, пес сам себе пропитание находит, сказал Педро Орсе. До сих пор так и было, но однажды выдастся у него неудачная охота, он вернется к нам с поджатым хвостом, и что тогда мы ему дадим? Половину того, что мне причитается. Это очень благородно с твоей стороны, но наша забота — не равенство в нищете, а преумножение богатства. Нищета и богатство, заметил Жозе Анайсо, в данном случае всего лишь слова, но в данный момент нашей жизни мы оказались беднее, чем обычно и чем на самом деле, в странную ситуацию мы попали: живем так, словно сами выбрали себе в удел нищету. Если уж говорить о выборе, то мы его не сделали, а лишь подчинились обстоятельствам, но при этом выбирали из них лишь те, которые отвечали нашим планам, мы уподобились актерам или же их персонажам; если, к примеру, я вернусь к мужу, то кем

стану — актрисой, оторвавшейся от своей героини, или же героиней, играющей роль актрисы, а сама-то я где? — и рассуждения, и вопрос принадлежали Жоане Карде. Мария Гуавайра слушала все это молча, а потом сказала не в такт и не в лад, будто начиная новую тему разговора или не слишком хорошо поняв смысл предыдущего: Люди рождаются на свет ежедневно, только от них самих зависит, перейдет ли в сегодня то, что было вчера, или от корня и колыбели начнется новый день. Однако существует ведь опыт, возразил Педро Орсе, мы учимся и постигаем. Да, ты прав, сказал на это Жозе Анайсо, но жизнь проживаем так, словно никаких уроков из прошлого не извлекли, или же используем лишь ту часть этого опыта, которая позволяет нам упорствовать в наших заблуждениях и ошибках, извлекая из опыта оправдания и ссылаясь на него, и вот что мне пришло сейчас в голову — быть может, вам это покажется чушью и бессмыслицей, — опыт важнее для всего общества в целом, чем для каждого отдельного члена этого общества, ибо общество использует опыт всех, тогда как никто из нас, людей, не хочет, не умеет, не может использовать весь свой опыт целиком.

Вот какие захватывающие вопросы обсуждались на привале, под деревом, во время обеда — скромного и скудного, как и пристало путникам, не завершившим еще свой дневной переход, а ежели кому покажется, что беседа, которую они при этом вели, не соответствует ни месту, ни обстоятельствам, то мы принуждены будем напомнить, что образование и культурный уровень наших странников позволяет им вести — а нам ввести в повествование — разговор, на который, если глядеть на него исключительно с точки зрения литературной композиции, требующей исключительного же правдоподобия, у них и в самом деле не хватило бы умственных ресурсов. Вспомним, однако, что всякому, безотносительно к его мыслительным способностям, случается хоть раз в жизни сделать или произнести такое, что намного превышает его природные и благоприобретенные качества и свойства, и если бы нам удалось вырвать этих людей из размывающей очертания тусклой мглы повседневности или же они сами, с мясом, как говорится, выдрались бы из этой паутины, то каких только чудес не свершили бы они, какую глубину постижения не обнаружили бы — потому что каждый из нас знает неизмеримо больше, чем полагает, а каждый из них — если есть мы, должны быть и они — неизмеримо больше того, что готовы за ним признать другие. Пятеро под деревом собрались по обстоятельствам чрезвычайным, так что удивляться надо было бы, если бы они не сумели сказать чего-нибудь, выходящего из ряда вон.

Автомобили в здешних краях большая редкость: лишь время от времени проползет грузовик с предметами первой необходимости для местных жителей — прежде всего с продовольствием, потому что из-за всех передряг и происшествий совершенно и вконец разладилось снабжение, захирела торговля, что и неудивительно, если вспомнить, что никогда еще человечество не попадало в подобную переделку, — плавать-то оно всегда плавало, но все же не таким способом. Надо сказать, что здешние люди в большинстве своем миролюбивы и доброжелательны, но чувство зависти, упорно гнездящееся в душе человеческой, не знает классовых различий, а потому вид Парагнедых, появлявшегося в этом безлошадном пейзаже, не раз и не два склонял алчных к нехорошим намерениям. Вполне могло быть, что шайка отважных злодеев решилась бы напасть на наших путешественников, предварительно пересчитав их и убедясь, что один из мужчин — старик, а двое других — не Самсон с Геркулесом, а о женщинах и речи нет: когда справятся с их спутниками, они станут сладостной добычей победителей, их возьмут голыми руками, разве что Мария Гуавайра способна будет оказать достойное сопротивление. Вполне вероятно, говорю, было, что не избежали бы наши герои стремительного налета, после которого лишились бы всего своего достояния и средств передвижения, женщины остались бы опозоренными и обесчещенными, а мужчины — избитыми и искалеченными, вовсе не исключена была такая возможность, если бы не пес, при первом же появлении людей на дороге выбиравшийся из-под галеры и занимавший позицию перед лошадьми или позади галеры: он бежал рысцой или оста-

навливался, по-волчьи опустив голову, исподлобья обжигая встречных — которые ничего худого, как правило, не замышляли — ледяным огнем, внушавшим неодолимый ужас. Этот пес, если припомнить все деяния, совершенные до сего дня, безусловно заслуживает звания ангела-хранителя, несмотря на периодически повторяющиеся намеки на то, что он ведет свое происхождение от нечистой силы. Нам, пожалуй, возразят на это со ссылками на весь авторитет христианской и нехристианской традиции, что у ангела должны быть крылья, но признаем, что часто возникают ситуации, когда ангел требуется безотлагательно, а вот летать ему незачем да и некуда, и он тогда принимает обличье пса, не беря на себя обязанности лаять, что, согласимся, ангелу — воплощенной, хоть и бесплотной, духовности — уж никак не пристало.

Под вечер устроили привал на берегу реки Миньо, в окрестностях городка Портомарин. Покуда Жозе Анайсо и Жоакин Сасса распрягали, кормили и поили лошадей, таскали хворост, чистили картошку, нарезали овощи, женщины в сопровождении Педро Орсе и четвероногого ангела-хранителя воспользовались последним светом дня, чтобы постучаться в двери ближайших домиков. По причине языкового барьера Жоана Карда рта не раскрывала, памятуя, в какие протори и убытки прошлый раз ввело ее незнание местных наречий, и дав себе зарок, что больше уж так не обмишулится. Торговлишка шла недурно: все, что продали, продали без убытка для себя, а даже и с прибылью. Когда же вернулись, родным домом показался им разбитый на берегу бивак — меж камней уютно потрескивал костер, свисавший с задка галеры фонарь успокоительно бросал полукруглое пятно света, а в котелке булькало и пахло так, словно сошел с небес сам Господь Бог.

Когда же после ужина затеялись вокруг костра разговоры, Жоакин Сасса, поддавшись безотчетному побуждению, спросил вдруг: Откуда это у тебя имя такое чудное — Гуавайра, что оно значит? — и Мария Гуавайра ответила: Насколько мне известно, больше ни у кого такого имени нет, его во сне услышала мать, еще когда мной ходила, и потребовала, чтобы так меня и нарекли, но отец уперся и добавил еще и Марию, вот я и зовусь так странно — Мария Гуавайра. И ты не знаешь, что оно значит? Оно же из сна. У снов тоже есть смысл и значение. У снов, может, и есть, а у имени, во сне мелькнувшем, нет. А ваши имена что означают? Ей ответили — каждый по очереди, каждый о своем, и тогда Мария Гуавайра, поворошив тлеющие угли, сказала: Имена, которые мы носим, — это наши сны, но что же мне увидеть во сне, если снится мне твое имя.

Когда говорят «погода меняется», нам почти всегда в смягченном, или в нейтрально-объективном виде, или просто экономя время за счет того, что и так ясно, дают понять: Погода меняется к худшему. Моросит мелкий дождичек близкой уже осени, но пока не залило все вокруг, еще тянет прогуляться по этим окрестным полям, в плаще, конечно, в резиновых сапогах, подставить лицо мельчайшей водяной пыли, с меланхолической отрадой вглядываясь в затянутый пеленой горизонт, в деревья, которые первыми стряхнули листву и теперь зябнут голышом и будто просят у нас защиты и участия, иные так и хочется пожалеть, обнять и прижать к груди, прильнуть щекой к коре, влажной, словно заплаканная, мокрая от слез щека.

Но верх галеры затянут парусиной, изготовленной на самой заре цивилизации по технологии, предусматривавшей доброту и прочность, но о водонепроницаемости не заботившейся нимало: делали ее в ту эпоху и в тех краях, когда и где люди были способны просушить одежду прямо на теле, а согревались — да и то не всегда — стаканом водки. Губительно сказалась и смена сезонов — полотно кое-где иссеклось, а кое-где разлезлось по швам, и содранный с Парагнедых брезент всего ущерба, причиненного временем, возместить не мог. А потому с крыши галеры капает да покапывает, вопреки убежденным заявлениям Жоакина Сассы о том, что, мол, когда пропитанные влагой волокна ткани разбухают, пространство между ними сокращается и капель прекращается, надо только набраться терпения. В теории все так, но практика со всей очевидностью демон-

стрирует обратное, и если бы не позаботились заблаговременно скатать и прикрыть матрасы, нынче ночью всем было бы не до сна.

Когда уже не покапывает, а льет, путники пережидают ненастье под виадуком, жаль только, мало их на этой полупроселочной дороге — это же не магистраль, не скоростная автострада из тех, которые пересекают страну из конца в конец и, дабы избежать скрещений, покорно ныряют под многоуровневые развязки. В один из таких дней Жозе Анайсо осенила счастливая мысль — покрыть парусину слоем лака или водонепроницаемой краски — и он бы, несомненно, привел ее, идею то есть, в исполнение, да вот беда: единственная краска, оказавшаяся под рукой, была пронзительно-алого цвета, да и той не хватило бы и на четверть навеса. Хорошо, что Жоане Карде пришло в голову сшить вместе несколько больших пластикатовых листов и покрыть ими верх галеры, а не то — не забудем, что ближе чем за тридцать километров не достать было краски того же колера и оттенка, — катить бы нашей галере по бескрайним мировым просторам, сияя и переливаясь синими, зелеными, оранжевыми и лиловыми, белыми и бурыми, а быть может, и черными кругами, квадратами, полосами и прочими фигурами, на изображение которых побудили бы художника проснувшееся в нем творческое начало и необузданность воображения.

После краткого и невразумительного обмена мнениями по поводу значения имен и смысла снов возникла дискуссия о том, каким именем назвать снящегося им всем пса. Мнения, как и следовало ожидать, разделились, поскольку все это дело вкуса, более того, мы возьмем на себя смелость утверждать, что мнение и есть вкус в его наиболее явном и рациональном выражении. Педро Орсе предложил имя незатейливое и традиционное — Трезор: оно отлично подходит псу, чьи моральные качества вроде беззаветной преданности и отваги поистине бесценны[1]. Жоана Карда колебалась между Рексом и Кингом, но августейшее их звучание вроде бы плохо вязалось с плебейским происхождением полукровки, которому предназначалось, однако душа женщины наделена бездонными глубинами, и сидящая за прялкой Маргарита всю жизнь принуждена обуздывать порывы, свойственные леди Макбет, которую носит в себе, и даже в смертный час не может она сказать уверенно и твердо, что одержала верх в этой борьбе. Что же касается Марии Гуавайры, то она, неведомо почему, как уж не раз бывало с нею, предложила назвать пса Ангел-Хранитель, причем слегка смутилась и покраснела, будто сама поняла, до чего же нелепо будет, когда она прилюдно позовет ангела-хранителя, а на зов вместо светозарного и сияющего существа в незапятнанных одеждах, шелестом крыл возвещающего о своем появлении, прибежит, весь в грязи и в крови очередного, только что сожранного зайца, этот четвероногий собачий ужас, признающий только своих хозяев, если они и вправду его хозяева. Жозе Анайсо, желая потушить смех, вспыхнувший после слов Марии Гуавайры, сказал, что в какой-то книжке встречалось ему такое хорошее имя — Констан, что значит «стойкий, постоянный». Не помню точно, где я его вычитал, но оно как бы заключает в себе все качества, определяемые предложенными вами именами, ибо стойкость есть главное достоинство, лишенный его, будь он хоть стократ аристократ или сам царь, утратит свое благородство и отвагу, собьется с пути, сложит оружие, ангел-хранитель же вместо того, чтобы оберегать невинную девицу от искушений, сам соблазнится ею. Все захлопали в ладоши, принимая это предложение, хотя у Жоакина Сассы и было свое особое мнение по этому поводу и он предпочел бы, чтоб пса звали просто Псом, поскольку он у них один-единственный, а потому путаницы не произойдет: как ни зови, никто, кроме него, не придет. Итак, решено, пес получил кличку Констан, но скажем все же, что напрасно тратили они время и труды на эти крещальные заботы — пес отзывается на любую кличку, словно давным-давно узнал истинную цену любому слову, обращенному к нему, хотя временами всплывает в его памяти еще одно имя — Ардан, но это никому здесь не известно. Пусть и не согласится с этим наша Мария Гуавайра, но все же прав был сказавший когда-то, что имя вообще ничто и нечто меньшее даже, чем сон.

---

[1] Трезор (trésor) — драгоценность, сокровище *(франц.)*.

А двигаются они, сами того не зная, древним путем Сантьяго, мимо городов и сел, названных в честь надежды, осенявшей когдатошних путешественников, либо недоброй памяти происшествий, случившихся с ними, — Сарриа, Самос или пользовавшаяся особыми правами Виллафранка-дель-Бьерсо, где пилигрим, утомясь или заболев, мог постучать в двери тамошней церкви Святого Иакова и, не продолжая паломничество, получить такое же отпущение грехов, как если бы дошел до самого Сантьяго-де-Компостелы. Видите, уже и тогда имелись у веры свои, так сказать, удобства и приспособления, хотя стародавние времена не идут ни в какое сравнение с нашими, с нынешними, когда удобства эти востребованы, пожалуй, не в пример больше самой веры, кто бы и во что бы ни верил. Однако нашим путешественникам известно, что, если они хотят убедиться в существовании Пиренеев, придется до них все-таки дойти, причем мало ступить на них ногой человека, надо будет еще и руками потрогать, ибо руки гораздо чувствительнее ног, да и глаза нас обманывают куда чаще, чем принято считать. А дождь понемногу утихает, уже не льет, а накрапывает, а потом капает, а потом и вовсе стихает. Но небо по-прежнему затянуто тучами, оттого и смеркается раньше, чем полагалось бы. Разбили лагерь под деревьями в видах защиты от нового ливня. Костер было развести нелегко, а когда в конце концов искусство Марии Гуавайры одолело сопротивление сырого валежника, он поднял такую пальбу, словно решил отстреливаться до последней капли древесного своего сока.

Перекусили чем нашлось, и этого хватило, чтобы ночью не урчало в пустом животе, ибо справедлива поговорка «Кто без ужина ложится, тот всю ночку провертится». Ужинали не на вольном воздухе, а в галере, при свете коптящего светильника, в неуюте и разоре — от волглой одежды шел тяжелый дух, свернутые матрасы были стоймя приткнуты по углам, прочие же пожитки кучей навалены на полу, хорошей хозяйке смотреть на такое — нож острый. Но никакая беда вечно не длится, и дождь, даже самый затяжной, не исключение, и вот распогодилось, и сразу же была предпринята генеральная уборка: тюфяки вынесены и разостланы, чтобы просохли до последней соломинки, одежда развешана по кустам, расстелена на камнях, и долго еще потом будет от нее веять тем славным, теплым ароматом, который оставляет за собою солнце, а женщины, образовав прелестную жанровую композицию, тем временем подгоняли один к другому и сшивали пластикатовые полотнища, призванные в будущем навсегда покончить с течью в нашей галере, благословен будь тот, кто изобрел прогресс!

Текла, как обычно это бывает, когда делать нечего, а спать ложиться рано, вялая и неспешная беседа о том о сем, как вдруг Педро Орсе, перебив сам себя, заговорил так: Прочел я, где — не помню, будто наша галактика движется по направлению к какому-то созвездию — как оно называется, я тоже запамятовал, — а то, в свою очередь, направляется в некую точку космического пространства — и хотел бы вам рассказать потолковее, да не могу: все подробности вылетели из головы, — ну так вот: мы с вами ходим по полуострову, а он плывет по морю, море вращается вместе с нашей планетой, а та вращается вокруг своей оси да еще и вокруг Солнца, которое тоже на месте не стоит, и вся эта конструкция движется к некоему созвездию, вот я и спрашиваю: может, мы с вами — самое ничтожное и крайнее звенышко в этой цепи движений, и тогда я хотел бы знать, что же движется внутри нас и куда направляется, да нет же, я не про микробов и не про бактерий и, боже избави, не про глистов, я о другом, о том, что движется само и, вероятно, нас движет, как это движутся и нас движут созвездие, галактика, наша Солнечная система, Солнце, Земля, море, полуостров, Парагнедых, как называется тот или то, кто или что все это запустил, кто там на другом конце цепи, хотя не исключено, что и нет никакой цепи, а Вселенная представляет собой кольцо — такое тонкое, что кажется, будто состоит из нас одних, и одновременно такое огромное, что способно вместить невероятных размеров Вселенную, которая оно, впрочем, и есть, так вот я и спрашиваю, как зовется то, что вытягивает нас всех? С человека начинается незримое, без раздумий, зато с удивлением ответил Жозе Анайсо.

Крупные капли, соскальзывая с листка на листок, звучно шлепаются на парусиновый навес, снаружи слышно, как под своими клеенчатыми накидками переступают с ноги на ногу Пир и Гал, для таких вот минут и существует тишина. Каждый из тех, кто находится здесь, думает, что просто обязан высказать высокому собранию свое просвещенное мнение, и каждый боится, что чуть лишь раскроет рот, как посыпятся из него — да нет, не жабы из старой сказки, а онтологические, но оттого не менее избитые банальности о природе бытия, хотя, с другой стороны, не оставляет их сомнение насчет того, что слова, когда прозвучат в этом первозданном контексте, состоящем из безмолвия, стука капель о парусину, лошадей — не забудем и про спящего пса, — переменят свое значение. Первой заговорила Мария Гуавайра, как самая необразованная из всех: Незримому даем мы имя Бога, сказала она, и забавно, что сказала с вопросительной интонацией. Или называем это волей, сказал Жоакин Сасса. Или умом, добавила Жоана Карда. Или историей, внес свою лепту Жозе Анайсо. И лишь Педро Орсе ничего не произнес, ограничившись тем, что минуту назад задал вопрос, и впросак попадет тот, кто подумает, будто это самое простое, ибо неисчислимо количество вопросов, только и ждущих ответа.

Благоразумие учит нас, что обсуждение таких сложных материй следует прерывать прежде, чем каждый из его участников начнет выдвигать тезисы и постулаты, отличные от тех, что обнародовал раньше, и вовсе не потому, что непременно переменит верное мнение на ошибочное, — нет, беда в том, что при полном отличии окончательных суждений от первоначальных может случиться — и обычно случается — так, что дискуссия нечувствительно для ее участников вернется к своему исходному пункту. И потому первая, по наитию произнесенная Жозе Анайсо фраза после того, как все по очереди высказались, теперь стала бы банальнейшей концовкой, ибо более чем очевидно, что Бог, воля, ум невидимы, что же касается истории, то это не столь явно, а потому не столь банально. Притягивая Жоану Карду, пожаловавшуюся, что озябла, к себе поближе, Жозе Анайсо борется с дремотой, поскольку намерен еще поразмыслить над своей идеей: а вправду ли история невидима, если оставляет вещественные и зримые свидетельства? И, стало быть, эта ее относительная видимость не есть ли всего лишь некая покрышка, вроде той одежды, что надевал, оставаясь невидимым, уэллсовский персонаж? Жозе Анайсо недолго предавался этой мыслительной вольтижировке, и хорошо сделал, потому что за мгновение до того, как соскользнуть в сонное забытье, сосредоточил свои умственные усилия на довольно нелепой проблеме: в чем разница между невидимым и тем, чего нам не дано увидеть? — проблема же эта по здравом и основательном размышлении особого значения не имеет. При свете дня все эти запутанные хитросплетения теряют смысл, и Бог — самый очевидный из вышеперечисленных примеров невидимого — сотворил мир потому, что вспомнил об этом, когда ночь была на дворе, и почувствовал в это наивысшее мгновение, что тьму больше выносить не в силах, а случись дело днем, наверняка оставил бы все как есть. И вот, подобно тому, как небо на рассвете очистилось и освободилось и выглянувшее солнце засияло без помехи, вот так же рассеялось и ночное мудрствование — все внимание теперь тому лишь, чтобы Парагнедых резво тянула галеру по нашему полуострову, плывет он или нет, и если даже ведет меня стезя к неведомой звезде, это еще не повод не двигаться по земным дорогам.

А в тот же день, но попозже, когда занимались своей коммерцией, узнали, что полуостров, достигнув некой точки, находящейся строго перпендикулярно к северу от Корво, самого южного из Азорских островов, — само собой разумеется, что крайняя южная точка Иберийского полуострова, Тарифа, находилась при этом несколько восточней, на другом меридиане, к северу от самой северной точки острова Корво, называемой Тарсаисом, — так вот, после этого полуостров наш немедленно вернулся на первоначальный курс и стал дрейфовать к западу, двигаясь параллельно прежней траектории движения, то есть — ну чтобы вам уж все до конца стало ясно — взял на несколько градусов выше. Это событие наполнило торжеством и гордостью сердца тех, кто отстаивал концепцию движения по прямой, разбитой на ряд отклонений под углом в 90 градусов, и

если до сих пор не проявилось еще одного смещения, способного подтвердить гипотезу постепенного возвращения в исходный пункт, то это еще не доказывает принципиальной невозможности такого возвращения — иначе пришлось бы допустить, что полуостров вообще никогда больше не остановится, а до скончания века обречен блуждать по морям и океанам всего мира, уподобясь столько раз уж поминавшемуся на этих страницах Летучему голландцу, и получит иное название, благоразумно здесь не приводимое во избежание взрыва национализма и ксенофобии, который в нынешних обстоятельствах может возыметь самые трагические последствия.

Деревню, где пребывали наши путешественники, столь разнообразными новостями не баловали — известно было лишь, что Соединенные Штаты Америки устами самого президента объявили о том, что страны, которые прибьет к берегу континента, могут твердо рассчитывать на моральную и материальную поддержку американского народа: Если они доплывут до нас, мы примем их граждан с распростертыми объятиями. Но резонанс от этого заявления, неслыханного до сей поры как с точки зрения гуманитарной, так и геостратегической, был слегка притушен нежданной суматохой, которая поднялась в туристических агентствах по всему миру, подвергнутых форменному штурму со стороны клиентов, непременно желавших как можно скорее любыми путями и не считаясь ни с какими затратами отправиться на остров Корво — а любопытно было бы узнать зачем? Затем, что если полуостров не изменит направление, то пройдет в виду острова Корво, а это зрелище и сравнить нельзя с гибралтарским камушком, торчащим в забросе и одиночестве посреди морской пучины. Теперь перед глазами тех, кому посчастливится разжиться местечком на северной оконечности Корво, пройдет настоящая громадина, но, несмотря на ее неимоверные размеры, счастье зевак будет недолгим — считанные часы продлится оно и уж никак не более двух суток, — потому что из-за причудливых очертаний этого Пиренейского плота откроется взору лишь самая крайняя и южная его часть. Прочее же из-за того, что есть у земли такое свойство — искривляться, от взглядов будет скрыто, и только представьте себе, что было бы, двигайся полуостров не таким вот причудливым манером — под прямым углом — да повернись он к югу, то есть возьми поправей — вы следите за моей мыслью? — и тогда это горделивое дефиле продолжалось бы целых шестнадцать дней, если бы, конечно, сохранил он прежнюю скорость в пятьдесят километров в час. Ну ладно, так или иначе, ожидается на острове неслыханный наплыв денег, а потому местные уже заказали дверные замки и вызвали слесарей, которые эти замки врежут и установят новые щеколды, засовы и охранную сигнализацию.

Время от времени случается небольшой дождичек или вдруг обрушится короткий и бурный ливень, но по большей части день состоит из солнца, синего неба и высоких облаков. Полиэтиленовый навес скроили, притачали и укрепили: теперь, стоит лишь собраться дождику, как в три счета — один разворачивает, другой натягивает, третий привязывает — и пожалуйста вам, готова надежная защита от непогоды. Никогда еще не спали путники на таких сухих тюфяках, исчез запах прели и сырости, в галере чисто, уютно и прибрано, не галера, а прямо пенаты. Однако теперь очень даже видно, что дожди поработали не зря — дороги раскисли, смотреть надо теперь в оба, чтобы не заехать в непролазную грязь на обочине, завязнет фура — семь потов сойдет, пока вытянешь: пара лошадей, трое мужчин и две женщины не стоят и одного трактора. Пейзаж изменился, позади остались горы и пригорки, сходят на нет всхолмления, местность ровная как стол, перед глазами теперь равнина, которой, кажется, конца не будет, а над нею небо, и такое огромное, что поневоле удивишься и засомневаешься, неужто оно одно на всех, вернее, что у каждого местечка и деревушки, если не у каждого человека, оно свое, побольше или поменьше, повыше или пониже, — глядите-ка, мы так ненароком совершили великое открытие, установив, что небосвод есть совокупность куполов, бесконечно переходящих один в другой и покрытых инкрустацией, и вы не смотрите, что термины не те, а посмотрите вы лучше на него, на небо. Когда Парагнедых достигает вершины очередно-

го холма, кажется, что больше уж никогда до самого края света не пойдет земля на подъем, и, как часто бывает, порождают различные причины одно и то же следствие, и дыхание у нас пресекается, словно после подъема на Эверест, — кто взбирался, пусть подтвердит, что было с ним то же самое, что и с нами на этой плоской равнине.

Недаром говорится: хорошо считал Педро, да не спросясь хозяина. Сразу оговорюсь: этот Педро — не наш Орсе, а какой именно — бог его ведает, мы сами не знаем, кто он и откуда, хоть и допускаем, что речь тут, пусть и не прямо, идет о тезке нашего испанского Педро, об апостоле Петре, который трижды отрекся от Христа, а почему трижды, спросить бы надо самого Бога — может, потому, что он един в трех лицах и дальше, хоть и хозяин, считать не выучился. «Хорошо считал Педро, да не спросясь хозяина» говорится в тех случаях, когда счеты наши не сходятся, и означает это ироническое народное речение, что свои планы не следует строить на том, что всецело зависит от других: вот, к примеру, если Жоакин Сасса прикинул, что будут они покрывать полтораста километров в день, и попал пальцем в небо, то и Мария Гуавайра, сказавшая, что не больше девяноста, ошиблась. Дело-то все в том, что, если смешать кило дерьма и кило варенья, получим мы два кило дерьма, а в данном случае неспешный ход старого коня сдерживал прыть молодого, хотя вовсе не исключено, что объясняется это добросердечием и душевной чуткостью, человечностью — да-да! — сего последнего, ибо кичиться силой перед слабым не есть ли моральное уродство? Развести все эти рацеи автор счел нужным исключительно затем, чтобы объяснить — едем мы медленней, чем предполагали, но краткость не всегда достоинство, готов согласиться, что порою и впрямь теряешь из-за многословия нить, но разве не бывает так, что, сказав больше, чем было необходимо, остаешься в выигрыше. Лошади идут шагом, как им самим хочется, а подстегнешь — пустятся, повинуясь желанию возницы, рысью, но мало-помалу, плавно и постепенно, так что и не заметишь, вновь замедляют аллюр, и тайной для меня остается, как это они добиваются такой согласованности, ведь ни разу не слышно было, чтобы один сказал другому: Сбавь рыси, а тот ответил: Ладно, как поравняемся вон с тем деревом.

По счастью, путники никуда не торопятся. Это поначалу, когда только остались позади такие теперь уже далекие галисийские края, им казалось, что есть у них некое расписание и какие-то сроки, и возникала даже какая-то спешка, словно каждый из них торопился спасти отца от петли, поспеть на рыночную площадь, прежде чем палач выбьет табурет из-под ног приговоренного. Хотя какой там отец — ни про отца, ни про мать наших путешественников сведениями мы не располагаем, если не считать умалишенную матушку Марии Гуавайры, эвакуированную вместе со всей психиатрической больницей из Ла-Коруньи, а может, уже и вернувшуюся туда после того, как опасность миновала. О прочих родителях, равно как и о более отдаленных предках, ничего, повторяю, нам не известно, ибо если дети молчат, то и нам следует воздержаться от вопросов и расспросов — в конце концов, мир с нас начинается и нами же завершается, надеемся, что этим заявлением не нанесем мы ущерба семейным святыням, наследственным интересам, чистому блеску родового имени. Но минуло всего несколько дней — и дорога эта стала миром не от мира сего, как происходит и с человеком, который, в мире находясь, обнаруживает, что он-то сам и есть целый мир: сделать это нетрудно — достаточно лишь создать вокруг себя более или менее полное одиночество, в чем и преуспели наши путешественники — они едут вместе, но каждый сам по себе. Потому и не торопятся, потому и перестали подсчитывать, сколько пройдено, сколько осталось, и остановки служат для отдыха и торговли, а порой останавливаются исключительно потому, что захотелось, а на поиски причин этого внезапного желания — если они вообще существуют — мы обычно тратить время не склонны. В конце концов все мы прибудем туда, куда направляемся, это всего лишь вопрос времени и терпения, заяц проворней черепахи, вероятно, он попадет в пункт назначения первым, если только не повстречает по дороге охотника с ружьем.

А мы оставили позади пустоши Леона и катим теперь по Тьерра-де-Кампос, где

родился и процвел тот самый монах Херундио де Кампасас, знаменитый проповедник, чьи слова и дела, скрупулезно собрав, сохранил и пересказал не менее славный падре Исла[1] для вящего посрамления пространных ораторов, бесстыдных начетчиков и страдающих недержанием литераторов — и жаль только, что мы не усвоили этот, казалось бы, такой ясный урок. Не бойтесь, в зародыше будет придушена попытка новыми разглагольствованиями увести наше повествование в сторону, и скажем прямо и просто, что путники заночуют нынче в селении Вильялар неподалеку от Торо, Тордесильяса и Симанкаса, которые имеют самое непосредственное отношение к нашей португальской истории. А в душе Жозе Анайсо, преподающего этот предмет детишкам, названия эти всколыхнули многое, хотя и не слишком многое, ибо он учит всеобщей истории, самым начаткам ее и азам, и осведомлен о подробностях лишь чуточку лучше своих спутников — благодаря щедрой струе сведений, равно как и национальной идее, которой проникнуты учебники отечественной истории по обе стороны границы, то, что они учили в школе о Торо, Тордесильясе и Симанкасе, еще не успело позабыться. Однако о самом Вильяларе никто и не слышал, за исключением Педро Орсе: тот, хоть родом из Андалусии, имеет представление обо всех, кто хаживал когда-то по всему нашему Пиренейскому полуострову, а если благосклонный читатель, ловя нас на противоречиях, напомнит нам, что в Лисабоне старик впервые побывал два месяца назад, а до тех пор ничего о нем не знал, мы возразим, что противоречия здесь никакого нет: может, он попросту не узнал сегодняшний город, как не узнали бы его основавшие нашу древнюю столицу финикийцы, завоевавшие ее римляне, грабившие и предававшие ее огню визиготы, лишь слабое подобие уловили бы мусульмане да и сами португальцы.

Они сидят вокруг костра, разбившись на пары — Жоакин с Марией, Жозе с Жоаной, Педро с Констаном; ночь довольно прохладная, однако небо спокойно и чисто, и звезд почти не видно, потому что рано вышедшая луна заливает сиянием окрестные равнины, и совсем невдалеке — крыши Вильялара, алькальд которого, душа-человек, не возражал против того, чтобы так близко к вверенному его попечению городку разбили свой табор испано-португальские кочевники, не убоялся, что они, торгуя мануфактурой и готовым платьем, составят конкуренцию местным лавочникам. Луна еще очень высоко, и у полночного светила, так легко вдохновляющего на стихи и еще легче — на чувства, именно тот облик, который нам больше всего по нраву, и сквозь это шелковое сито сеется на притихший затаившийся мир белая мука. В таких случаях принято говорить: Какая прелесть, и забываешь, как бросало нас в дрожь, когда там, где искривляется земная поверхность, вставала луна в другом своем виде — огромная, багровая и грозная. Сколько тысячелетий прошло, а выкатывающаяся из-за горизонта луна и сегодня является нам как знак опасности, как предвестие гибели, но стоит пережить несколько томительных минут, и светило, выплыв на середину неба, станет маленьким и белым, и можно будет перевести дух. Успокаиваются и животные — пес еще совсем недавно глядел на луну, весь напружившись, подобравшись, и шерсть взъерошилась, словно чья-то ледяная рука прошлась у него по спине от крестца до загривка, и, будь у него голосовые связки, он бы, наверно, подвыл на нее. В такие минуты мир сдвигается со своей оси, и мы понимаем, до чего же все шатко, и если бы дано нам было высказать то, что мы ощущаем, сказали бы просто: На этот раз пронесло, и отсутствие риторических красот придало бы нашим словам особую выразительность.

А о том, что Педро Орсе знает про Вильялар, узнаем скоро и мы, когда окончится ужин. В неподвижном воздухе пляшет пламя, путники глядят на него в задумчивости и протягивают к нему руки, словно заклинают его или умоляют, между нами и огнем существует связь древняя и таинственная, и даже если сидим мы под открытым небом, все равно кажется, что мы с ним наедине затворены, как младенцы в материнской утробе, в

[1] Франсиско Хосе Исла (1703—1781) — испанский иезуит и писатель, автор сатирического романа «История достославного проповедника брата Херундио де Кампасаса».

глубине какой-то природной пещеры. Мыть посуду сегодня черед Жозе Анайсо, но спешить некуда, вокруг такой мир и покой, и отсвет языков пламени озаряет обветренные лица — словно их озаряет восходящее солнце, а солнце — другой природы, в том-то и разница, что в отличие от луны оно — живое.

И сказал Педро Орсе так: Вам, должно быть, неизвестно, что много-много лет назад, в тысяча пятьсот двадцать первом году, здесь, в Вильяларе, произошла великая битва — великая по своим последствиям, а не по количеству павших в ней, а если бы победили те, кто проиграл ее, мы, ныне живущие, получили бы в наследство совсем другой мир. Жозе Анайсо знает достаточно обо всех великих сражениях, оставшихся в истории, и попроси его назвать хоть некоторые, он с ходу, без запинки перечислит десяток, начав из уважения к античности с Марафона и Фермопил и продолжив, не придерживаясь хронологии, Аустерлицем и Бородино, Марной и Монте-Кассино, Арденнами и Аль-Аламейном, Пуатье и Азенкуром, а потом непременно упомянет и неведомую прочему миру, а для нас поистине судьбоносную, а потому в перечислении стоящую особняком, без парочки, битву при Алжубарроте. Но про Вильялар ему ничего не известно. Так вот, продолжал Педро Орсе, в битве этой испанские общины восстали против императора Карла Пятого, иноземного государя, но не потому восстали, что он был иноземцем, ибо в протекшие века в порядке вещей считалось, чтобы тем или иным народом правил монарх, говорящий на другом языке, такие вещи решались на самом верху, в узком кругу коронованных особ, королевских домов, члены которых решали судьбы народов не партией в карты или в кости, а выгодной партией, подысканной для своих принцев и принцесс, осуществлением дальновидных замужеств и предусмотрительных женитьб, почему и нельзя сказать, что восстали испанцы против чужеземного владычества или что это была великая война бедных против богатых, славно было бы, если бы все сводилось к таким простым вещам, — нет, каша заварилась оттого, что высокородным испанцам пришлось не по вкусу, что иностранные царедворцы быстро разобрали и к рукам прибрали все выгодные должности и едва ли не первым делом решили увеличить подати и налоги — а иначе из чего же прикажете оплачивать всяческие роскошества и авантюрные предприятия? — и, короче говоря, первым восстал Толедо, и тотчас последовали примеру его Торо, Мадрид, Авила, Сория, Бургос, Саламанка, а за ними еще и еще, и у каждого были свои мотивы для этого, порою они совпадали, но чаще противоречили друг другу, а если так обстояло дело с городами, то что уж говорить о людях, их населявших: знатные господа преследовали исключительно собственную выгоду, действовали лишь в угоду своей гордыне, а потому с чуткостью флюгера улавливали, откуда дует ветер удачи, и переходили из стана в стан, а народ встревал во все это по своим, а чаще по чужим резонам, так уж повелось с тех пор, как мир наш стал миром, был бы народ един и сплочен, легче было бы, да народ-то не единое целое, никак эту мысль нам не вбить в голову людям, не говоря уж о том, что народ обычно дурят как хотят, и сколько раз бывало, что идут его избранные в кортесы и ассамблеи, а как придут, то, под воздействием угроз ли, посул, голосуют наперекор воле тех, кто послал их туда, и просто чудо, что при всей этой разобщенности умудрились общины созвать ополчение и выступить против королевской армии, и не стоит даже говорить, что победы чередовались с поражениями, а последнее сражение, состоявшееся вот здесь, в Вильяларе, было проиграно, и кто ж его знает почему: просчет допустили, либо сказалась скверная выучка, либо случилась измена, а многие воины, устав дожидаться обещанного жалованья, плюнули да ушли, грянула, короче говоря, битва, и была она одними выиграна, другими проиграна, и до сих пор неведомо, сколько народу здесь полегло, по нынешним меркам — не много: кто говорит — две тысячи, кто божится, что вполовину меньше, а кто твердит, что всего, мол, человек двести, неизвестно это и никогда не будет известно, если только в один прекрасный день кто-нибудь не решится разворошить кладбище да пересчитать, сколько там по могилам черепов, ибо если считать другие кости, то путаница только усилится, а наутро после сражения трех предводителей общин, трех капитанов, судили, приговорили и обезглавили на вильяларской пло-

щади, а были они — Хуан де Падилья из Толедо, Хуан Браво из Сеговии и Франсиско Мальдонадо из Саламанки, и если бы одержали верх те, кто потерпел поражение в этой битве, иначе бы сложилась судьба Испании, и при такой луне, как сегодня, можно представить себе, как бились люди, увязая в размокшей от беспрестанного дождя земле, и, конечно, на наш сегодняшний взгляд, потери были невелики, и все же хочется сказать, что на весах истории малая горстка павших в древних войнах перевесит те сотни тысяч и миллионы убитых в войнах двадцатого века, и только луна не меняется и льет свой свет на поля Вильялара, как и на поля Аустерлица, или Марафона, или Алькасаркивира[1]. А что это было за сражение? — спросила Мария Гуавайра. А сражение было такое, что, окончись оно иначе, иначе сложилась бы судьба и Португалии, и нас самих, отвечал наш историк. Я где-то читал, что под Вильяларом воевал и ваш король дон Мануэл, припомнил Педро Орсе. В учебниках, по которым я преподаю, не сказано о том, что мы в ту эпоху сражались на вашей стороне. Да это были не португальцы, а пятьдесят тысяч крестоносцев, которых ваш король одолжил у императора. Ах, вот оно что, сказал Жоакин Сасса, ну, раз пятьдесят тысяч крестоносцев — тогда конечно, где ж общинам было выстоять против них, крестоносцы, они всегда побеждают.

А псу Констану приснилось в ту ночь, будто он разрывает могилы, где похоронены павшие на поле битвы. Сто двадцать четыре черепа он уже нашел, но тут зашла луна и стало совсем темно, а пес проснулся и опять заснул. Два дня спустя мальчишки, игравшие в войну, прибежали к алькальду и рассказали, что в пшеничном поле лежат черепа, и откуда они там взялись, кто их там сложил аккуратной горкой — так никогда и не узналось. Однако тех португальцев и испанцев, что проезжали через Вильялар в пароконной галере, местные женщины поминали только добром, ибо из всех бродячих торговцев, бывавших в здешних краях, эти оказались самыми честными — и брали дешевле, и товар у них был наилучшего качества.

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, говорили древние, и были совершенно правы, и, по крайней мере, умели рассматривать новые по тому времени обстоятельства в свете уже известного — опять же к тому времени, — мы же с редкостным упорством не желаем извлекать уроков из опыта седой старины. Президент Соединенных Штатов сказал Пиренейскому полуострову «Добро пожаловать!», Канада же — ну надо же! — заявила, что ей это не по вкусу. Если полуостров не переменит курс, сказали канадцы, это нам придется стать радушными хозяевами, и будет не один Новый Свет, а два, и бедные иберийцы не подозревают даже, что их ждет, да они от холода все околеют, в лед вмерзнут, и единственная выгода будет — и то не для всех, а только для португальцев, — что окажутся они поближе к столь любимой ими треске, вот и весь выигрыш.

Представитель Белого дома поспешил объяснить, что заявление президента было продиктовано исключительно соображениями гуманизма, исключающими всякий политический расчет, и что пиренейские державы, столько времени болтыхаясь по морям, не утратили своего суверенного статуса и когда-нибудь же окончится это плавание, и станут они тогда такими же, как все остальные, после чего добавил: Администрация США твердо гарантирует, что традиционные отношения союзничества и добрососедства, связывающие обе североамериканские державы, не будут поколеблены ни при каких обстоятельствах, а в доказательство нерушимой дружбы народов США и Канады мы предлагаем провести двустороннюю конференцию для рассмотрения различных аспектов новой реальности, каковая конференция в свете этих разительных перемен, преобразующих политический и геостратегический облик мира, станет первым шагом к оформлению

[1] В 1580 г. в битве при Алькасаркивире пропал без вести юный португальский король Себастьян, что, во-первых, привело к утрате Португалией независимости до 1640 г., а во-вторых, способствовало возникновению так называемого «себастьянизма» — стойкого мессианского мифа о «скрытом короле», с чьим возвращением связывались надежды на новое величие страны, на пришествие царства счастья и справедливости.

новой международной общности, состоящей из США, Канады, Португалии и Испании, причем представители двух последних стран получат приглашение принять участие в работе конференции в качестве наблюдателей, поскольку чисто физически не подошли на расстояние достаточно близкое для того, чтобы можно было с полной определенностью определить перспективы интеграции.

Канада публично удовлетворилась представленными объяснениями, однако дала понять, что считает немедленный созыв конференции несвоевременным, поскольку статус наблюдателей способен ущемить национальные чувства испанцев и португальцев, и предложила четырехсторонний саммит с тем, чтобы обсудить, какие меры следует принять для минимализации ущерба, последующего в том случае, если полуостров врежется в канадское побережье. США немедля согласились, а лидеры ее втайне возблагодарили Бога за то, что сотворил Азоры. Если бы Пиренейский полуостров не отвернул севернее, а продолжал двигаться по той же прямой, что и после отделения от континента, город Лисабон оказался бы повернут окнами своих зданий к окнам зданий Атлантик-Сити, и представьте себе, что стало бы с Нью-Йорком, Бостоном, Провиденсом, Филадельфией и Балтимором, лишившимися своих портов, и как страшно упал бы в них уровень жизни, короче говоря, президент явно поторопился со своим радушным заявлением. Последовал обмен конфиденциальными дипломатическими нотами, предварявшими тайную встречу американского и канадского лидеров, в ходе которой пришли они к следующему выводу: наиболее приемлемым решением было бы остановить полуостров в некой точке его пути — достаточно близкой, чтобы вывести его из зоны европейского влияния, однако и достаточно удаленной от американского континента, чтобы ни сейчас, ни впоследствии не причинить ущерб интересам США и Канады, для чего уже сейчас внести подобающие изменения в соответствующие законы об иммиграции, обратив особое внимание на разделы, эту иммиграцию ограничивающие, — пусть не думают испанцы с португальцами, будто могут вот так, здорово живешь, вломиться к нам в дом оттого лишь, видите ли, что мы оказались их соседями по этажу.

Правительства Испании и Португалии заявили протест против подобного отношения и желания определять их национальные интересы и курс, причем особый пыл проявило португальское правительство — что же ему еще оставалось, раз оно именовалось правительством национального спасения. По инициативе испанцев между представителями высшего руководства двух островных государств установлены были прямые контакты с целью выработки общей платформы и с тем, чтобы выйти из новой ситуации с честью и без урона для себя, однако в Мадриде сильно сомневались, пойдут ли португальцы на эти переговоры, поскольку появился у них некий камень за пазухой — а именно желание извлечь особые выгоды из того обстоятельства, что именно они, португальцы, окажутся в непосредственной близости к североамериканскому побережью — а уж к США ли или к Канаде, видно будет. И еще стало известно, что в определенных политических кругах Португалии вынашивается идея заключения соглашения, пусть пока и неофициального, с Галисией, каковая идея доставила мало отрады Мадриду, не склонному поощрять сепаратистов, в какие бы одежды те ни рядились, а кое-кто не без ехидства мечтал вслух — как было бы хорошо, если б располагалась Португалия в Пиренеях, а еще лучше — если б осталась она, когда расселись они, по ту сторону трещины, и тогда был бы один полуостров и одна страна, и решена была бы раз и навсегда сложнейшая проблема его истинно иберийской сути, но на это мы скажем лишь, что заблуждаются испанцы, ничего бы не решилось — и к сказанному не прибавим более ни слова. Подсчитывали, сколько же дней остается до того мига, когда появится на горизонте Новый Свет, разрабатывались планы с тем, чтобы начать переговоры в самый нужный момент — так, чтобы не промедлить, но и не поторопиться, — это ли не золотое правило дипломатии?

А полуостров, безразличный ко всем этим политическим хитросплетениям и интригам, плыл себе да плыл к западу, скрываясь из виду так ходко, что с острова Корво уже уехали самые богатые и самые ученые наблюдатели, обеспечившие себе деньга-

ми или же научными заслугами местечко в первом ряду. А зрелище было такое, что дух захватывало, — достаточно будет сказать, что полуостров прошел от Корво всего в каких-то пятистах метрах, доплеснув до берега волной, и все это казалось кульминацией вагнеровской оперы, но еще удачней будет иное сравнение: представьте себя на утлом челноке в открытом море, когда совсем рядом с вами проплывает исполинская туша порожнего и оттого высоко сидящего танкера, да от такого зрелища голова закружится, захочется пасть на колени, воззвать к небесам, тысячу раз раскаяться во всех грехах и дурных поступках и в том, что не был тверд в вере и впадал в ересь, и признать безусловное существование Господа Бога — вот какое действие оказывает даже на так называемых культурных людей грубая сила стихии.

Но покуда Пиренейский полуостров таким образом вносит свою малую лепту в движение Вселенной, наши путешественники уже миновали Бургос, причем торговля их шла так успешно, что они решили даже двинуться по автостраде, которая, что говорить, получше проселочных дорог. Впрочем, после Гастейса они все равно свернут туда, иначе не подъедешь к маленьким городкам и деревням, где обитает основная их клиентура, и вот тут-то окажется Парагнедых в родной стихии и запряженный гнедыми лошадьми тарантас, органично вписавшись в сельский ландшафт, прекратит свое наглое и вызывающее издевательство над скоростной магистралью, по которой он плетется рысью как-нибудь — да не как-нибудь, а делая километров пятнадцать в час, и то если под гору и лошади в добром расположении духа. Но столь разительные перемены постигли иберийский мир, что даже патрули дорожной полиции, когда видят такое глумление, не останавливают галеру, не штрафуют гужевой транспорт, попавший не на свое место, а, не слезая с седла своих форсированных мотоциклов, машут путникам ручкой, желая счастливого пути, и лишь в самом крайнем случае и если окажутся с нужной стороны, осведомляются, почему у них кусок парусины выкрашен в такой ярко-красный цвет. Погожие дни, дождя нет, можно было бы подумать, будто лето вернулось, если б только не задувал временами холодный ветер законно вступающей в свои права осени — особенно когда уже невдалеке показываются горные вершины. Когда женщины пожаловались однажды, что ветер пробирает до костей, Жозе Анайсо поведал им, какие тяжкие последствия возымеет приближение к высоким широтам, и сказал даже так: Если нас и в самом деле прибьет к Новому Свету, кончится наше путешествие, в тамошнем климате на вольном воздухе жить может только эскимос — однако слушательницы не обратили внимания на его слова, оттого, вероятно, что не видели карту.

А еще вероятней — оттого, что говорили они не столько о том, что продрогли под резким ветром, а о том, как зябнет другой человек, ибо они-то согревались в объятиях своих возлюбленных еженощно, а также и днем, если обстоятельства благоприятствовали, и сколько раз, покуда одна парочка составляла компанию Педро Орсе на козлах, другая, убаюканная ровным ходом Парагнедых, нежилась внутри, переживая приятнейшие ощущения, наступающие непосредственно после того, как удовлетворено желание — внезапно возникшее или терпеливо ждавшее своего часа. Тот, кто знает, как распределялись по половому признаку пассажиры галеры, и к тому же обладает самомалейшей житейской опытностью, без труда угадает, что происходило под парусиновым пологом — в зависимости от того, какая композиция выстраивалась на облучке: если там сидели трое мужчин, можно предположить, что женщины заняты домашними делами — шитьем прежде всего; если же на козлах, как уже было сказано, двое мужчин и женщина, то еще одна женщина и другой мужчина пребывают в любовном уединении, пусть даже оба одеты и заняты не чем-нибудь, а беседой. Разумеется, мы перебрали не все возможные комбинации, но вот чего никогда не бывало — как говорится, старожилы не упомнят, — это чтобы женщина ехала на козлах не в сопровождении своего избранника, ибо это означало бы, что внутри фургона сидит другая женщина с другим мужчиной, а такой симметрии обе парочки стремились всячески избегать, и не требовалось собирать семейный совет для того, чтобы обсудить, как поддержать и укрепить моральные устои внутри

и снаружи галеры, а раз так, то под действием простейшего математического закона получалось, что Педро Орсе сидел на козлах почти постоянно, за исключением тех редких случаев, когда все мужчины отдыхали, а лошадьми правили женщины или когда, умиротворясь и утишив страсти, одна пара шла пешком, а другая под сенью парусинового полога не занималась ничем таким, что могло бы смутить, обидеть или обеспокоить Педро Орсе, прикорнувшего на своем узком тюфяке, положенном поперек, от борта к борту у самого передка. Бедный Педро Орсе, говорила Мария Гуавайра Жоане Карде, покуда Жозе Анайсо распространялся о стуже, царящей в Новом Свете, и о выгоде быть эскимосом, и соглашалась с нею Жоана Карда: Бедный Педро Орсе.

Привал устраивали они еще до наступления темноты, выбирали какое-нибудь приятное и живописное место, невдалеке от ручья или речки, с видом на ближайшее поселение, а если место особенно приходилось по вкусу, задерживались там подольше, превращая привал в дневку. Незримо витал теперь над путешественниками древний и верный принцип «Тише едешь — дальше будешь», благодаря которому кони обрели бодрую игривость, а люди отрешились от вечно снедающего их нетерпения. Однако с той минуты, как Мария Гуавайра произнесла: Бедный Педро Орсе, что-то изменилось в атмосфере этого дома на колесах и в настроении его обитателей, и это тем более странно, что слышала жалостливую реплику подруги только Жоана Карда, а повторенные ею слова, в свою очередь, достигли лишь слуха Марии Гуавайры, а мы, зная, что на этом сентиментальный диалог оборвался и больше никому женщины об этом не сообщили, вправе заключить: произнесенное слово живет долго, живет и после того, как замер воздух, сотрясшийся звуковыми колебаниями, из которых состоит оно, незримо и безмолвно присутствуя средь нас, храня свою тайну, уподобясь скрытому в глубине земли семени — мы же не видим, как прорастает оно, не видим до тех пор, пока наружу, к свету не пробьется туго скрученный росток или мятый и медленно расправляющийся побег. Ну-с так вот, путники останавливались, распрягали и разнуздывали лошадей, разводили костер, и поскольку эти процедуры повторялись изо дня в день, все в совершенстве и в равной степени владели теперь нехитрым искусством, ибо каждому в свой черед выпадала обязанность делать то-то и то-то. Впрочем, не в пример тому, что было в начале пути, говорили ныне мало и, вероятно, сами удивились бы, скажи им кто-нибудь: Знаете, вот уж десять минут никто из вас не проронил ни слова, и осознали бы, наверно, особенную природу своей молчаливости, а может быть, ответили бы как тот, кто, не желая признавать самоочевиднейших фактов, придумывает бесполезное объяснение: Что ж, бывает, и в самом деле нельзя же молоть языком беспрестанно. Но если бы в этот миг взглянули они друг на друга, то будто в зеркале увидели бы собственное смущение, замешательство, неловкость, присущие тем, кто понимает: объяснения — вздор и звук пустой. Здесь надо, правда, отметить, что взгляды, которыми обмениваются Жоана Карда с Марией Гуавайрой, явно значат для обеих что-то особое и действуют так сильно, что обе поспешно отводят глаза.

А у Педро Орсе вошло в обыкновение после того, как исполнено было порученное ему, уходить вместе с псом из лагеря — якобы для того, чтобы обследовать окрестности. Пропадали они очень надолго — оттого, вероятно, что шли медленно, а может, и оттого, что не по прямой, а куда глаза глядят, и, оказавшись за пределами видимости своих спутников, присаживались — человек на камень, пес Констан подле него — поглядеть, как тихо блекнет и меркнет день. И однажды Жоакин Сасса сказал прочим: Он явно сторонится нас, чего-то загрустил наш старик, на что Жозе Анайсо заметил: Я бы на его месте тоже загрустил. Женщины, которые как раз в это время, завершив постирушку, развешивали белье на веревке, протянутой от задка тарантаса к ветви дерева, слушали их молча, благо беседа их не касалась. И лишь по прошествии нескольких дней, когда зашла речь о том, какие холода ждут их в Новом Свете, произнесла Мария Гуавайра эти самые, вам уже известные слова: Бедный Педро Орсе.

Они сидят в одиночестве, как бы странно ни казалось, что можно быть вчетвером и

в одиночестве, ждут, когда придет наконец пора снять пену с закипевшего супа, еще совсем светло, и для препровождения времени Жозе Анайсо с Жоакином Сассой проверяют, в каком состоянии упряжь и сбруя, Мария Гуавайра же с Жоаной Кардой записывают дневную выручку, которую испытанный счетовод Жоакин Сасса внесет потом в свой гроссбух. Педро Орсе уже минут десять как удалился, исчез меж деревьев, и как обычно — пес с ним. Сейчас не холодно, но налетающий по временам ветерок — это последнее, слабое дуновение осени, а может, мы ощущаем его лишь как боязливое предвкушение настоящих заморозков. Фартуков надо будет купить, сказала Мария Гуавайра, а сказав, подняла голову и взглянула в сторону деревьев и, не вставая с места, сделала всем телом такое движение, будто старалась побороть некое безотчетное побуждение, но тут же и уступила ему, и теперь слышно было только, как громко жуют лошади, и тогда женщина встала и направилась туда, куда был направлен ее взгляд, — в сторону деревьев, в гуще которых скрылся Педро Орсе. Она шла не оглядываясь, не оглянулась и когда Жоакин Сасса спросил: Ты куда? — но и вопрос этот, по совести вам сказать, прозвучал так, будто его оборвали где-то, ну, скажем, на середине фразы, ибо ответ был ясен заранее и разночтений не допускал. Спустя еще несколько минут появился пес, улегся под галерой. Жоакин Сасса отошел на несколько шагов и, казалось, с необыкновенным интересом изучает гребень отдаленных гор. Жозе Анайсо и Жоана Карда сидели, не глядя друг на друга.

Начинало темнеть, когда Мария Гуавайра вновь появилась у костра. Она была одна. Подошла к Жоакину Сассе, но он с негодованием повернулся к ней спиной. Пес вылез из-под галеры и исчез. Жоана Карда зажгла фонарь. Мария Гуавайра сняла с огня котелок, где бурлил суп, налила масла на сковороду, поставила ее на железную треногу поближе к пламени, дождалась, пока масло закипит, разбила туда несколько яиц, бросила нарезанную кружочками колбасу, и вскоре в воздухе поплыл аромат, от которого в иных обстоятельствах у всех слюнки бы потекли. Однако Жоакин Сасса ужинать не пошел. Мария Гуавайра позвала его, а он не пошел. Еды оказалось слишком много — Жоана Карда и Жозе Анайсо ели безо всякого аппетита, и когда вышел из лесу Педро Орсе, вокруг было уже совсем темно и только огонь костра догладывал последние головни. Спать Жоакин Сасса улегся под галерой, однако ночь выдалась студеная: со стороны гор при полном безветрии надвигались, как выражаются синоптики, массы холодного воздуха, и тогда он попросил Жоану Карду лечь к Марии Гуавайре, по имени, правда, он ее не назвал, сказавши так: Сделай милость, переберись к ней, а я лягу с Жозе, и поскольку ему показалось, что сарказм будет очень уместен и своевременен, добавил: Не бойся, ничего с ним не будет, он не в моем вкусе. Вернувшись, Педро Орсе забрался на козлы, и пес Констан умудрился влезть туда же, пристроиться рядом — впервые было такое.

Наутро, когда пустились в путь, Педро Орсе оставался на козлах, вместе с ним ехали Жозе Анайсо и Жоана Карда, а в самом тарантасе оставалась в одиночестве Мария Гуавайра. Лошади шли шагом, переходя время от времени и в соответствии со вкусами и желаниями на рысь, но Жозе Анайсо, исполнявший должность возницы, обуздывал их несуразный норов и неуместный порыв. А Жоакин Сасса шел пешком, позади — и сильно позади — галеры. В этот день проехали мало. Чуть ли не сразу после полудня Жозе Анайсо остановил Парагнедых в лощине, казавшейся точнейшей копией той, где ночевали они накануне, и столь разительным было сходство, что казалось, будто и не уезжали никуда или, сделав полный круг, вернулись на прежнее место — даже деревья вроде бы росли здесь те же самые, что и там. Позднее, когда солнце уже покатилось к западу, появился Жоакин Сасса. При виде его Педро Орсе ушел в лес, и сомкнувшиеся за ним ветви деревьев скрыли его от взглядов, а пес последовал за ним. Высоко взвивалось пламя костра, но ужин готовить было рано — впрочем, с вечера еще оставались и похлебка и яичница с колбасой. Жоана Карда сказала Марии Гуавайре: Передники-то так и не купили, всего два у нас есть. Жоакин Сасса сказал Жозе Анайсо: Завтра я уйду и свою часть денег заберу, покажи-ка мне на карте, где мы, наверно, неподалеку проходит железная дорога, доберусь до станции. В эту минуту Жоана Карда поднялась и двинулась туда, куда ушли

Педро Орсе и пес Констан. И Жозе Анайсо не спросил ее: Ты куда? Через несколько минут вернулся и залез под галеру пес. Еще через некоторое время появилась Жоана Карда и с нею Педро Орсе: он явно противился, и она подталкивала его, но — слегка, словно для этого не надо было прилагать особой силы или же сила эта должна быть какой-то особой. Они вышли к костру — Педро Орсе стоял, опустив седую взлохмаченную голову, в отблесках пламени казалось, что белые пряди пляшут на голове, а Жоана Карда заговорила и, только тут обнаружив небольшой непорядок в туалете — блузка с одной стороны вылезла, — принялась, не осекшись и не смутясь, заправлять ее в штаны, продолжая в то же время свои речи: Та ветка, которой я провела когда-то черту по земле, потеряла свою силу, но еще пригодится: можно провести ею новую черту и узнать, кто окажется по эту сторону, кто — по другую. Мне до этого дела нет, завтра я уйду, сказал Жоакин Сасса. Нет, это я уйду, сказал Педро Орсе. Жизнь как однажды свела нас, так когда-нибудь и разведет, сказала Жоана Карда, чтобы оправдать разлуку, надо кого-нибудь обвинить, только не вините ни в чем Педро Орсе, если кто и виноват, то я и Мария, но если вам что-то надо объяснять, то, значит, в тот самый день, как встретились мы с вами, не встретились мы, а разминулись. Завтра я уйду, повторил Педро Орсе. Нет, сказала Мария Гуавайра, если уж уходить, то всем, разойтись в разные стороны, ибо они не способны более оставаться с нами, а мы — с ними, и не потому, что мы разлюбили друг друга — нет, просто мы отныне утеряли способность друг друга понимать. Жозе Анайсо поглядел на Жоану Карду, внезапным движением протянул руки к огню, словно вдруг озяб, и сказал так: Я остаюсь. А ты, спросила Мария Гуавайра, уйдешь или останешься? Жоакин Сасса ответил не сразу, погладил по голове подошедшего в этот миг пса, дотронулся кончиками пальцев сначала до вязанного из голубой шерсти ошейника, потом — до такого же браслета у себя на запястье и наконец произнес: Остаюсь, но с одним условием. Он не успел договорить. Я, сказал Педро Орсе, старик или почти старик, в таком возрасте, что толком и не поймешь, но все же я скорее стар, чем молод. Этого не скажешь, улыбнулся Жозе Анайсо, и улыбка вышла довольно печальная. Разное случается в жизни, случается порою и такое, что больше не может повториться, все ждали продолжения, но вскоре поняли — все уже сказано, и Педро Орсе опустил голову и отошел от костра, чтобы поплакать без помехи. Долго ли, горько ли он плакал, много ли слез пролил — нам знать не дано, ибо ни мы и никто другой при этом не присутствовали. Ночевали все внутри галеры, но поскольку свежи еще были раны, отдельно легли женщины, отдельно — мужчины, которым они изменили, а усталый Педро Орсе, как ни хотелось ему изнемочь этой ночью от бессонной муки, заснул как убитый — натура пересилила.

А проснулись рано, как пташки, и первым, когда еще только едва-едва развиднелось, вылез через передок галеры Педро Орсе, потом выбрались наружу через задние, так сказать, ворота Жоакин Сасса и Жозе Анайсо и, наконец, обе дамы, и все это было похоже на первую встречу пришельцев из других — и разных — миров. Поначалу они старались не встречаться друг с другом глазами, только скользили друг по другу беглыми мимолетными взглядами искоса и по касательной, так что можно было подумать, что после пережитого в эти дни увидеть лица спутников в полном объеме — это невыносимо и намного превышает слабые силы человеческие. Но выпили кофе, и тогда стали раздаваться слова — тщательно подобранные и обдуманные, заключавшие в себе просьбу, совет или распоряжение, а вскоре возникла перед путешественниками и проблема: как им теперь размещаться в своем тарантасе с учетом того, что под воздействием изменившихся обстоятельств непременно должна измениться и попарная расстановка действующих лиц. Ну, Педро Орсе сядет на козлы, это ясно, но как быть с прочими? Дамы и кавалеры еще не остыли от давешней ссоры, так что же, прикажете им разлучаться? — сами посудите, что за двусмысленная и неприятная ситуация возникнет, если Жоакин Сасса, Жозе Анайсо и Педро Орсе окажутся рядом, на облучке, какого рода разговор может затеяться меж ними? а если компанию вознице составят Мария Гуавайра с Жоаной Кардой, получится еще того хуже, страшно даже вообразить, что за сомнительная беседа пойдет у них с Педро Орсе, я

уж не говорю о том, что внутри, под навесом, начнут мужчины кусать себе ногти — или локти? — с ума сходя от ревнивых подозрений и допытываясь друг у друга: Ну о чем они с ним говорят? Со стороны все это может, конечно, показаться смехотворным, но примерьте на себя тоскливый транс, в котором пребывают наши герои, станьте на их место, и станет вам не до смеха. К счастью, все на свете поправимо, только от смерти пока средства нет. Педро Орсе уже восседал на своем месте, разбирая вожжи в ожидании того, какое решение примут остальные, когда Жозе Анайсо сказал, обращаясь словно бы к незримым духам воздуха: Поезжайте, а мы с Жоаной немного пройдемся. И мы тоже, молвил Жоакин Сасса. Старик шевельнул вожжами, лошади налегли на постромки, потянули, сдвинули галеру с места, но на этот раз, даже если бы захотели, не смогли бы идти быстрее — дорога поднималась в гору, и слева вырастали настоящие горы. Ну вот и добрались до пиренейских предгорий, думает Педро Орсе, и такое величавое спокойствие исходит от них, что не поверится, будто именно в здешних местах разыгрались драматические сцены, о которых доложено вам было выше. За галерой идут четверо — порознь, разумеется, то есть попарно, ибо женщине с мужчиной желательно объясняться без свидетелей.

Горы вообще не лучшее место для торговли, а уж эти-то и подавно. В данном случае следует, помимо немногочисленности населения, дивующегося крутым завиткам этой орографической шевелюры, следует принять в расчет и страх местных жителей, еще не сжившихся с мыслью, что здешние Пиренеи лишились поддержки и опоры со стороны Пиренеев тамошних. Деревни опустели и обезлюдели, иные пребывают и в полном забросе, и мрачные чувства рождает в душе громыхание колес Парагнедых по мощеным улицам, мимо закрытых дверей, затворенных окон. Лучше бы я отправился посмотреть на Сьерра-Неваду, думает Педро Орсе, и от этих волшебных слов душа его полнится сладкой тоскою, меланхолической ностальгией, которая на разных языках именуется по-разному, но значит одно и то же. Единственное преимущество этого безлюдья в том лишь, что путешественники после стольких ночей, проведенных в оскорбляющей нравственность тесноте, — обиды, как мы знаем, пришли потом, не станем сейчас рассуждать о самом недавнем и характерном проявлении безнравственности, ибо тут возможны разные его толкования, а допустившие ее и от нее пострадавшие не упустят случая еще всласть об этом потолковать, — ну так вот, смогли наши путешественники переночевать в брошенных домах, все более или менее ценные пожитки оттуда, разумеется, вынесены, но кровати остались. Боже, боже, как далеко мы теперь от того дня, когда Мария Гуавайра наотрез отказалась войти в чужой дом; будем же уповать, что теперешнее ее согласие свидетельствует не об упадке морали, а всего лишь о том, что преподанные жизнью уроки не прошли даром.

Педро Орсе поместился вместе с Констаном отдельно от прочих, чтобы, если придет охота к ночным прогулкам, выйти и вернуться, не беспокоя своих спутников, которые на этот раз легли вместе: как и прежде бывало, Жоакин Сасса разделил ложе с Марией Гуавайрой, Жозе Анайсо — с Жоаной Кардой, и, вероятно, все, что должно было быть сказано между ними, уже сказано, но не исключено, что до глубокой ночи и далеко за полночь продолжалось выяснение отношений, хотя, если учесть особенности человеческой природы, вполне естественно, что побуждаемые понятной усталостью, не до конца смытой горечью, нежностью и мгновенно вспыхнувшей страстью мужчина и женщина окажутся совсем рядом друг с другом, робко обменяются первым — со дня размолвки — поцелуем, а потом — хвала тому, кто сделал нас такими! — пробудится плоть и потребует своего — ну не безумие ли это? согласен, безумие — еще душевные раны не до конца зарубцевались, но пламя разгорается все жарче, и если выйдет нынче ночью Педро Орсе прогуляться по окрестностям, увидит сияние, окружающее два рядом стоящих дома, и, быть может, испытает ревность, и снова слезы навернутся на глаза, и он не узнает, что в этот самый миг рыдают от мучительного счастья и высвобожденной страсти примирившиеся любовники. И в самом деле утро вечера мудренее, и завтра уже потеряет всякое значение давешняя кадриль — кому на козлы, кому внутрь галеры — годятся любые комбинации, и ни одна не покажется сомнительной.

Лошади притомились, а дорога все в гору да в гору. Жозе Анайсо и Жоакин Сасса с максимальным тактом и осторожностью — чтобы, не дай бог, не решил старик, что ими движут какие-то иные соображения, — приступают к Педро Орсе с вопросом: не хочет ли он удовольствоваться тем видом Пиренеев, что уже предстал его взору, или же надо лезть выше и дальше, а Педро Орсе отвечает, что его влечет и прельщает не столько такая-то высота над уровнем моря, сколько сам край света, хоть он и понимает, что с края света откроется ему всего лишь все то же море. И потому, говорит он, мы движемся не по направлению к Доностии — что за радость оказаться на клочке песчаной суши, к которой слева и справа подступает вода. Но до той точки, откуда ты хочешь увидеть море, лошади, боюсь, не дотянут, замечает Жозе Анайсо. Но нам вовсе не обязательно забираться на две или три тысячи метров, если даже на такой высоте есть дорога, но все же, все же хотелось бы подняться еще немного, а там видно будет. Развернули карту, и Жоакин Сасса сказал: Судя по всему, мы где-то здесь, и палец его, проползя между Наваскуэсом и Бургуем, двинулся в сторону границы. Вот тут, пожалуй, не слишком высоко, дорога идет вдоль реки Эски, потом — вбок и вверх, вот тут нам тяжко придется, тут высота вершины больше тысячи семисот метров. Была, поправил его Жозе Анайсо. Ну разумеется, была, согласился Жоакин Сасса, надо бы попросить у Марии Гуавайры ножницы да разрезать карту по линии границы. Пройдем по этой дороге сколько сможем, а если лошадям будет не под силу, повернем назад, сказал Педро Орсе.

Это заняло у них двое суток. Ночью они слышали волчий вой, и им делалось жутко. Только теперь поняли они, жители равнин, какой опасности подвергаются, — волки могут напасть на лагерь, начнут с лошадей, а кончат людьми, у людей же даже дробовика нет и отбиться нечем. Это из-за меня вы так рискуете, сказал Педро Орсе, надо возвращаться, но Мария Гуавайра ответила: Пойдем вперед, пес нас защитит. Пес в одиночку не может справиться с целой стаей, возразил Жоакин Сасса. Этот — может, был ответ Марии Гуавайры, и каким бы странным ни казался он людям, разбирающимся в данном вопросе лучше автора этих строк, дальнейшие события подтвердили ее правоту. Когда на вторую ночь волки, осмелев, подошли совсем близко и кони заржали в испуге, стали рваться с привязи, а мужчины и женщины не знали, где найти убежище, одна только Мария Гуавайра, хоть ее самое била крупная дрожь, продолжала повторять: Они не сунутся, они не сунутся, и люди ночь напролет без сна просидели у ярко горящего костра, а стоящий в пятне света пес словно вырос втрое, и в пляшущих языках пламени почудилось, будто у него не одна голова, а несколько, и все с ощеренными пастями, с вываленными языками, с оскаленными клыками — обман зрения, ясное дело, игра теней — и тело стало вдруг неимоверной величины, волки же в самом деле дальше не пошли, хоть и продолжали выть, но теперь уже от страха — от волчьего своего страха.

А дорога оказалась перерезана — в самом буквальном смысле перерезана. Слева и справа, горы и долины вдруг оборвались гладким, как по ниточке стесанным, будто бритвой отсеченным обрывом. Оставив тарантас под охраной пса, путники боязливо и осторожно двинулись дальше пешком. Метрах в ста от разреза стояла будочка — таможенный пост. Вошли. На столах еще стояли две пишущие машинки с заправленной бумагой — бланками таможенных деклараций — и было даже напечатано несколько слов. В открытое окно врывался холодный ветер, ворошил груду бумаг на полу. Валялись птичьи перья. Конец света, молвила Жоана Карда. Пойдем поглядим, как он кончается, сказал Педро Орсе. Вышли. Опасливо глядя под ноги, выбирая, куда ступить, ибо Жозе Анайсо очень вовремя вспомнил, что появление трещин грозит новыми разломами и сдвигами, побрели дальше, но дорога была ровной и гладкой, если не считать обычных рытвин и выбоин. Когда до пропасти оставалось метров десять, Жоакин Сасса сказал: Пожалуй, лучше будет стать на четвереньки, а то как бы голова не закружилась. Опираясь на локти и колени, проделали еще несколько шагов, припали к земле и поползли, ощущая, как колотится сердце от страха и напряжения, обливаясь потом, несмотря на пронизывающий холод, про себя, то есть не вслух, гадая про себя, хватит ли смелости

добраться до самого края, заглянуть в бездну, однако никому не хотелось сплоховать и спасовать, и вот, как бывает во сне, с умопомрачительной тысячевосьмисотметровой высоты совершенно отвесного пика увидели далеко внизу искрящееся море и крохотные волны, отороченные белой каемкой пены, — океанские валы, бившие о подножье горы так рьяно, словно хотели повалить ее. Переиначив слова Жоаны Карды, в страдальческом ликовании, в восторге вскричал Педро Орсе: Это край света! — и все подхватили эти слова, принялись повторять их, а неизвестно чей голос произнес: Господи Боже, счастье-то существует, и, быть может, большего и не бывает — море, свет, головокружение.

Мир наш полон совпадений, и отрицать это нельзя, даже если что-то одно не совпало с чем-то другим, рядом лежащим, и то, что кажется нам несовпавшим, на самом деле просто укрыто от взора. В тот самый миг, когда путешественники, склонясь над бездной, смотрели на море, полуостров остановился. Никто этого не заметил, все произошло без толчка и рывка, и равновесие не нарушилось нигде и ни в чем, ничего не замерло, не оцепенело. Лишь по прошествии двух дней, спустившись с этих чудесных высот и дойдя до первой обитаемой деревни, услышали наши герои эту ошеломительную новость. Но Педро Орсе сказал: Если уверяют, что остановился, наверно, так оно и есть, но я клянусь самим собой и этим псом, что земля продолжает содрогаться. Рука старика лежала на загривке пса по кличке Констан.

Газеты всего мира напечатали — иные на всю первую полосу — исторический фотоснимок, запечатлевший полуостров, который теперь уж окончательно надлежит называть островом, застывший посреди океана, с точностью до миллиметра восстановивший свое положение относительно главных ориентиров: Порто, как ему и положено, находится где и всегда — к северу от Лисабона, Гранада — к югу от Мадрида, где пребывает с тех пор, как он появился, и все прочее заняло свое привычное место. Журналисты употребили весь свой творческий запал и изобразительный дар на придумывание пышных и броских заголовков, поскольку тайна этого тектонического сдвига осталась нераскрытой и ни одна из загадок, возникших в первый же день после отделения Пиренеев, так и не была разгадана. По счастью, так называемое общественное мнение подуспокоилось, недоуменные вопросы мало-помалу стали смолкать, народ удовлетворился пищей для размышлений, которую подбрасывали ему то впрямую, то обиняками статьи под оглушительными заголовками: РОЖДЕНИЕ НОВОЙ АТЛАНТИДЫ, ПИРЕНЕЙСКИЙ ДЕФИС МЕЖДУ АМЕРИКОЙ И ЕВРОПОЙ, ЯБЛОКО РАЗДОРА МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АМЕРИКОЙ, ПОЛЕ БИТВЫ ЗА БУДУЩЕЕ, но наибольшее впечатление произвела шапка на целый разворот в одной португальской газетке: НУЖЕН НОВЫЙ ТОРДЕСИЛЬЯС[1]: это и в самом деле было до гениальности просто — в редакции взглянули на карту и увидели, что полуостров находится приблизительно — ну, плюс-минус миля — на той самой линии, которая в былые героические времена разделяла мир поровну, так, чтобы ни нам, ни испанцам не было обидно.

В так называемой редакционной, то есть неподписанной статье обеим пиренейским державам предлагалось выработать совместную стратегию, которая в случае успеха позволит им стать новой осью мирового равновесия: Португалия развернется на запад, в сторону Соединенных Штатов, Испания — к востоку, к Европе. Испанская газета, чтобы не ударить в грязь лицом и не показаться менее оригинальной, выдвинула Мадрид в качестве политического центра этой затеи под тем предлогом, что якобы он находится и в самом геометрическом центре полуострова — что на самом деле не соответствует действительности, достаточно опять же посмотреть на карту, но есть люди, которые добиваются своих целей не смотря ни на что, а на карту — и подавно. Гневный голос протеста возвысила не одна лишь Португалия — идея была с возмущением

[1] В 1494 г. в этом леонском городке был подписан договор, по которому будущие колониальные захваты в Америке были разграничены между Испанией и Португалией: первая могла претендовать на земли, лежащие восточней 60-й параллели, вторая — западнее.

отвергнута всеми испанскими автономиями, увидевшими в ней новое проявление кастильского централизма. В Португалии, кроме того, как и следовало ожидать, вновь вспыхнул жгучий интерес к эзотерике и оккультизму, не разгоревшийся ярким пламенем лишь по причине радикальной перемены ситуации, но тем не менее побудивший граждан расхватать сочинение падре Антонио Виейры «История будущего», «Пророчества» Бандарры и, разумеется, «Послание» Фернандо Пессоа — о последнем можно было бы и не упоминать[1].

С точки зрения практической живее всего обсуждалась во внешнеполитических ведомствах Европы и США проблема сфер влияния: имеется в виду, что полуостров или остров, как бы далеко ни находился он ныне от своей континентальной колыбели, должен сохранить естественные связи с Европой или по крайней мере не разрывать их полностью, даже если населяющие его народы захотят отныне связать свою судьбу с судьбой великого американского народа. Советский Союз напомнил раз и другой, что хоть и не собирается влиять на решение, но решительно возражает, чтобы какие бы то ни было вопросы рассматривались без его участия, а заодно усилил оперативное соединение, которое с самого начала сопровождало дрейф плавучего острова, само при этом находясь под неусыпным оком боевых кораблей НАТО.

Такова была обстановка, когда посол Соединенных Штатов Чарльз Диккенс, испросив срочную аудиенцию у португальского президента, сообщил, что, по мнению Белого дома, дальнейшее существование правительства национального спасения теряет всякий смысл, поскольку исчезли самые причины, породившие его, не правда ли, господин президент? Об этой бестактной фразе мгновенно стало известно, но не потому, что соответствующие службы допустили утечку или же обнародовали коммюнике, сделав ее достоянием гласности, или же сделал какие-то заявления посол — тот, выходя из дворца Белень, ограничился всего лишь сообщением, что беседа с главой португальского государства прошла в откровенном и конструктивном ключе. Этого, однако, хватило, чтобы партии, представителям которых пришлось бы покинуть кабинет — поскольку был бы сформирован новый либо объявлены всеобщие выборы, — яростно выступили против недопустимого и нетерпимого вмешательства во внутренние дела страны — решать их, кричали они, надлежит нам, португальцам, и добавляли с сарказмом: То обстоятельство, что господин посол сочинил «Дэвида Копперфильда», еще не дает ему права распоряжаться страной, подарившей миру «Лузиады». Да-с, такова была обстановка, когда полуостров без предупреждения вновь сдвинулся с места и поплыл дальше.

Прав, прав был Педро Орсе, когда еще в пиренейских предгорьях сказал: Может, и остановится когда-нибудь, но земля продолжает трястись, будьте уверены, и в подтверждение своих слов провел ладонью вдоль хребта Констана, и собаку тоже била дрожь, и две женщины приняли участие в том эксперименте, что когда-то на выжженных землях между Орсе и Вента-Мисеной, под единственной оливой-кордовесой провели Жоакин Сасса и Жозе Анайсо. Однако теперь ужас обрел масштабы если не вселенские, то глобальные, и плыл полуостров не на запад и не на восток, не к северу и не к югу. Он вращался вокруг собственной оси, причем против часовой стрелки, и от этого немедленно пошла голова кругом у португальского и испанского народов, хотя, прямо скажем, не та была скорость вращения, чтобы от нее закружилась голова. Перед лицом феномена неслыханного и противоречащего всем законам физики — механики особенно, — которыми управляется наша планета, прервались, само собой, все политические переговоры, все правительственные затеи и кулуарные махинации, отставлены были все дипломатические демарши. Признаем, правда, что и в самом деле нелегко сохранять спокойствие,

---

[1] Португало-бразильский политический деятель, философ-утопист и моралист Антонио Виейра (1608—1697) в созданном им «ключе» к мистической поэме «Стансы Бандарры», приписываемой португальскому сапожнику, жившему в XV в., и в книге «История будущего» предназначал португальцам особую роль в грядущей мировой мистерии — они принесут земле мир и благо и должны готовить себя к этой миссии. Мессианскими настроениями проникнута и книга Ф. Пессоа «Послание».

хладнокровие и взвешенность суждений, когда стол, за которым в полном составе заседает кабинет министров, вместе с домом, улицей, городом, страной и всем полуостровом пошел крутиться, как во сне, медленной каруселью. Самые слабонервные божились, будто ощущают это вращение, не отрицая, впрочем, того, что вращения Земли не чувствуют, но это не мешало им вытягивать руки, хвататься друг за друга, падать навзничь и, лежа на спине, наблюдать медленно плывущее перед глазами небо: если дело было ночью, то — луну и звезды, а если днем — то солнце через закопченное стеклышко, и все это, по мнению медиков, свидетельствовало лишь о приступах если не массового психоза, то уж коллективной истерии — точно.

Разумеется, не было недостатка и в скептиках самого радикального толка, твердивших, что не может полуостров вращаться вокруг собственной оси: ну стронулся он, допустим, ну поплыл под воздействием каких-то тектонических сдвигов или селевых потоков, схода лавин, оседания почвы, подмытой ливневыми дождями — хоть и не было никаких дождей, — но вот такое кружение на одном месте немыслимо, ибо это значит, что рано или поздно полуостров отделится от центрального земного ядра и вот тогда мы и в самом деле станем игралищем стихий, добычей слепой судьбы. Они забыли, наверно, что может происходить просто что-то подобное вращению одного пласта на другом, если вдруг ослабеют силы, притягивающие их друг к другу, и какой-то слой пластинчатых — обратите внимание: пластинчатых — сланцев может прийти в движение, и при этом — чисто теоретически, конечно, — сохраняя до определенной степени некое внутреннее единство, препятствующее полной дезинтеграции. Вот это и имеет место, говорили защитники вышеизложенной гипотезы. И в подтверждение ее снова стали посылать аквалангистов и водолазов, снаряжать подводные экспедиции в самую что ни на есть пучину океана, в этих местах славящегося своими глубинами, снова отправили «Архимед» и еще один японский аппарат с непроизносимым названием, а в результате всех этих усилий пришлось повторить знаменитую фразу: итальянский ученый всплыл, отвинтил люк, вышел из батискафа и произнес в микрофоны телекомпаний всего мира: Этого не может быть, но все-таки он вертится. Не обнаружилось ни перекрученной как струна оси, ни расслоения пластинчатых сланцев, однако полуостров продолжал величаво кружиться посреди Атлантики, и чем больше он кружился, тем неузнаваемей становился. Это что же, мы здесь живем? — раздавались недоуменные вопросы, когда португальское побережье повернулось на юго-запад, куда раньше выходила обращенная к Ирландии восточная оконечность Пиренеев. Маршруты трансатлантических коммерческих авиарейсов прокладывали теперь непременно с таким расчетом, чтобы можно было взглянуть на полуостров, хотя, конечно, зрелище было не слишком интересное — не хватало неподвижной точки, с которой можно было бы зафиксировать вращение и перемещение. Разумеется, ничто не могло заменить съемку со спутника — только фотография, сделанная с космической высоты, передавала в полной мере все это дивное диво.

А длилось оно целый месяц. При взгляде с полуострова вселенная постепенно менялась. Что ни день, с новой точки на горизонте начинало солнце свой восход, то же происходило и с луной, а звезды приходилось отыскивать на небе, поскольку, не довольствуясь прежним кружением в центре Млечного Пути, двигались они теперь иным путем, и от безумного мельтешения, творящегося в космосе, казалось, что созидается все мироздание заново, будто кто-то пришел к выводу, что первая попытка не удалась. В один прекрасный день солнце село в точности там, где обычно всходило, и не стоило попусту тратить слова и утверждать, будто это не так, что это чистейшая видимость, что солнце движется по определенной и неизменной траектории, — все эти аргументы не оказывали на так называемых простых людей ни малейшего действия: Извините, профессор, не объясните ли вы мне потолковей — раньше солнце по утрам било мне в эти окна, а теперь — в эти, как это так получается? Из кожи лез ученый муж, показывал фотографии, рисовал на бумажке схемы, разворачивал карту неба, но ни на пядь не продвигалось дело, и в конце лекции слушатель умильно просил профессора поспособствовать тому, чтобы

восходящее солнце снова, как прежде, освещало фасад дома, а не заднюю часть. И в бессильном отчаянии отвечал профессор: Ладно, вот сделает полуостров полный оборот, и будете вы видеть солнце по утрам там же, где раньше, но недоверчиво осведомлялся бестолковый ученик: Стало быть, вы считаете, что все происходящее кончится тем, что все будет как было? — и глубокий смысл таился в этом вопросе, ибо так, как было, никогда и ничего уже не будет.

Надо бы уже наступить зиме, но зима, стоявшая у порога, взяла да отступила — иначе просто и не скажешь. Это была не зима, но и не осень, а про весну и речи нет, да и на лето непохоже. Очень странное это было время года, неопределенное, никакое, словно мы присутствовали при сотворении мира, когда еще не решено было, какому сезону какая погода будет соответствовать. Медленно двигался Парагнедых вдоль пиренейских подножий, торопиться путникам было решительно некуда, и, переночевав там или тут, дивились они по утрам редкостному и величественному зрелищу — солнце поднималось теперь не над вершинами гор, а над морем, освещая первыми лучами весь отрог от подошвы до заснеженной макушки. Вот как раз там, в одной из таких деревенек поняли Мария Гуавайра и Жоана Карда, что беременны. Обе. Ничего удивительного, странно было бы, если бы этого не произошло, ибо женщины на протяжении всех этих месяцев и недель исправно и, если позволительно так выразиться, безоглядно предавались любви, не принимая ни малейших мер предосторожности сами и не требуя их от своих кавалеров. Одновременность же залета также не должна никого смущать — это всего лишь одно из тех совпадений, что образуют и организуют мир и творящуюся в нем жизнь, и как славно, что иные могут быть для посрамления скептиков представлены въяве и вживе. Щекотливость ситуации, однако, просто бросается в глаза, а заключается она в том, что обе дамы затруднялись однозначно установить авторство — то есть определить отца будущего ребенка. Конечно, конечно, если бы не тот опрометчивый шаг, который совершили движимые состраданием ли, другим ли, более сложным чувством Мария Гуавайра и Жоана Карда, когда — каждая в свой черед — отправились в лес отыскивать одинокого человека, а отыскав, упросили, едва ли не умолили его, донельзя неловкого от волнения и вожделения, совокупиться с ними, излить в них скудеющее семя, — так вот, если бы не этот щедро сдобренный лирикой, но почти лишенный эротики эпизод, не было бы ни малейших сомнений, что Мария Гуавайра зачала от Жоакина Сассы, тогда как Жоана Карда понесла от Жозе Анайсо. Но тут появился, откуда ни возьмись, Педро Орсе — верней сказать, его взяли внезапно выскочившие из-за кустов искусительницы — и нормальный порядок вещей пристыженно спрятал заалевшее лицо. А кто отец — не знаю, сказала Мария Гуавайра, подавая пример, и повторила за ней: И я не знаю, Жоана Карда, побуждаемая к сему двумя обстоятельствами — во-первых, ей не хотелось выглядеть менее героично, чем подруга, а во-вторых, ошибку лучше всего исправлять ошибкой, а правило превращать в исключение.

Но все это меркнет перед главным — перед необходимостью сообщить об открывающихся перспективах соответственно Жоакину Массе и Жозе Анайсо: весьма любопытно, как и с какими выражениями лиц воспримут они сообщение: У нас будет ребенок. Останутся ли их отношения гармоничными, как всегда, как велит обычай — или то, что мы понимаем под велением обычая, — сойдут ли они с ума от радости и после первого ошеломления засияет ли в глазах у них ликование или после опять же первого потрясения лица их нахмурятся, брови сдвинутся, предвещая грозу? Жоана Карда предложила вообще пока ничего не говорить — пусть время идет, а живот растет, пока само значение свершившегося факта постепенно не уймет саднящую боль уязвленного мужского самолюбия, попранной гордости, вновь разожженной ревности, но Мария Гуавайра решительно возразила против этого: нехорошо, показалось ей, если то, что начиналось с отваги и великодушия, проявленных всеми заинтересованными сторонами, завершится трусливым притворством, которое еще хуже притворной снисходительности. Ты права, согласилась Жоана Карда, надо брать быка за рога, и сама не заметила, как двусмысленно

получилось это, ну, насчет рогов: ох, уж эти мне всегда готовые к употреблению идиоматические присловья и поговорки — черт знает чем могут обернуться, особенно если говорящего не заботит, в каком контексте они прозвучат.

В тот же день обе отозвали своих возлюбленных в сторонку, предложив прогуляться по окрестным лугам, чьи ширь и простор пригасят, низведя до еле слышного бормотания, самые яростные, из самого нутра исторгнутые крики — по этой печальной причине и не доходят до небес наши голоса, — и там, без околичностей, как и было условлено и договорено между ними заранее, напрямую объявили: Я — беременна, только не знаю, от тебя или от Педро Орсе. Отреагировали на это Жозе Анайсо и Жоакин Сасса тоже вполне предсказуемым образом: последовал взрыв ярости, вспышка отчаяния, острый приступ душевной муки, и хотя мужчины не видели друг друга, но говорили одно и то же и жестикулировали примерно одинаково, изъясняя словами и движениями невыразимую горечь: Тебе, значит, мало того, что произошло, теперь ты являешься и сообщаешь, что ждешь ребенка, только неизвестно от кого. Вот родится он — и сразу станет известно. Это еще почему? Потому что он будет похож на отца. А предположим, в мать пойдет? Тогда это будет значить, что он — мой и больше ничей. Ты еще и насмехаешься? Вовсе нет, я этого и не умею. Ладно, но надо же что-то решать? Если ты смог принять, что я однажды отдалась Педро Орсе, прежде чем принять решение, сумей подождать еще девять месяцев: похоже будет дитя на тебя — оно твое, на Педро Орсе — отвергнешь его да заодно, если захочешь, и меня, а насчет того, что похож ребенок только на мать, ты не верь: всегда найдется в нем хоть ниточка из другого клубка. Ну а Педро Орсе ты собираешься сообщить? Нет, первые два месяца, а может, и больше, это вообще незаметно, ты посмотри, в чем мы ходим, — в сто одежек укутаны. Знаешь, давай вообще об этом больше не говорить, признаюсь тебе, что сильно разозлюсь, когда увижу, как Педро Орсе глядит на тебя, на вас обеих, с видом племенного производителя, — последнее высказывание принадлежит Жозе Анайсо, изъясняющемуся культурно, тогда как Жоакин Сасса выразился проще и приземленней: С души воротит, когда увижу, как Педро Орсе ходит будто петух, перетоптавший всех своих курочек. Итак, восприняли мужчины столь досадное обстоятельство довольно мирно, чему способствовала надежда на то, что оно будет устранено по прошествии известного срока, в день, когда загадка эта, пока почти бесплотная, разгадается самым естественным путем.

А Педро Орсе, в жизни своей и не знавшему, что это такое — иметь детей, даже в голову не могло прийти, что две женщины вынашивают под сердцем его, быть может, потомство, и это характернейший пример того, что мужчина, по правде сказать, никогда до конца не оценивает последствия своих поступков и деяний: постепенно стирается память о блаженных мгновениях, пережитых им, а плодотворный, пусть пока и едва-едва заметный, почти неразличимый результат этих мгновений, который важней, чем все прочее, сокрыт от его глаз и вообще неведом ему, но ведь и сам Бог тоже творит людей, так сказать, вслепую. Педро Орсе, во всяком случае, не настолько слеп, чтобы не замечать какой-то разлад между двумя парами своих спутников, возникшее отчуждение и не то чтобы холодность, а какую-то сдержанность, лишенную, впрочем, всякой враждебности, но порождающую долгие периоды молчания, а ведь как славно начиналось это путешествие, теперь же — будто истощились слова или не осмеливаются Жоакин Сасса, Жозе Анайсо, Мария Гуавайра, Жоана Карда произнести те единственные, что передали бы, какие чувства владеют ими на самом деле. Что-то кончилось, скончалось бывшее некогда живым, а может быть, опять разгорелась прежняя ревность, может быть, просто надо выждать, набраться терпения и все будет как прежде. А может быть, я им мешаю? — думал Педро Орсе и потому, едва лишь разбивали лагерь, снова стал подолгу бродить по окрестностям: просто невероятно, как только у этого человека сил хватает.

И в один прекрасный день — к этому времени уже остался позади тот волнообразный ландшафт, что загодя возвещал о приближении еще очень неблизких Пиренеев, — в тот день, когда по обыкновению брел Педро Орсе незнамо куда, едва одолевая искуше-

ние вообще не возвращаться больше в лагерь — приходят порой такие мысли в голову измученному человеку, — он вдруг увидел сидящего на обочине человека своих примерно лет или же чуть постарше, истомленного и усталого. Рядом стоял заседланный и навьюченный осел, перетиравший желтыми зубами жухлую траву, — погода, если помните, не способствовала тому, чтобы лезли из земли нежно зеленеющие новые побеги, а если они и появились, то, видно, не попались ослу, и любитель метафор сказал бы, что природа окончательно сбилась с пути. Хозяин осла жевал ломоть черствого хлеба без ничего и пребывал, вероятно, в стесненных обстоятельствах, а проще говоря, был бродягой, которому в отличие от небезызвестной попрыгуньи нигде не был приготовлен ни стол, ни кров, однако выглядел он мирно, опасений не внушал, да, впрочем, нашего Педро Орсе, который и сам был не робкого десятка, что многократно подтверждалось во время этих его долгих и одиноких блужданий, сопровождал пес, не оставляя одного ни на мгновенье — нет, вру, дважды оставлял он его, но, во-первых, не одного, а в приятном обществе, а во-вторых, так велели ему правила приличия.

Педро Орсе сказал ему: Здравствуйте. Здравствуйте, эхом отозвался тот, и уши обо-их зафиксировали знакомый акцент, южный, андалусийский выговор. Однако страннику с ломтем хлеба в руке странным и подозрительным показалось появление в этой глуши, вдали от всякого жилья, человека и собаки, будто вылезших из летающей тарелки, а потому он, на всякий случай и не стараясь, чтобы это осталось незамеченным, придвинул поближе окованную железом палку, лежавшую на земле. Педро Орсе не мог не обратить на это внимания, да тот и не таился, его, должно быть, привел в замешательство неподвижный, опустивший голову и внимательно глядящий на него исподлобья пес. Не бойтесь, он не кусается, то есть кусается, конечно, но никогда не трогает тех, кто не замышляет дурного. Откуда это собаке знать, кто что замышляет? Вопрос хорош, я и сам бы хотел знать, не только откуда пес это знает, но и откуда он сам взялся, однако ни я, ни спутники мои ответа пока не нашли. Я думал — вы один и живете где-то в здешней округе. Да нет, мы с друзьями странствуем, у нас такой тарантас, «галера» называется, пустились в путь из-за всех этих происшествий и все никак с пути этого не свернем. По выговору судя, вы, должно быть, андалусиец. Точно так, я из Орсе, что в провинции Гранада. А я — из Суфре, что в провинции Уэльва. Очень приятно. Очень приятно. Я присяду, если не возражаете? Сделайте одолжение, и вот, не угодно ли, жаль, кроме этой черствой краюхи, больше нечем вас угостить. Благодарствуйте, я сыт, недавно пообедал с моими спутниками. А кто они, ваши спутники? Двое моих друзей и их, ну, вроде жены, они сами и одна из женщин — из Португалии, а другая женщина — галисийка. Как же это вас всех судьба свела? Ох, это долгая история, в двух словах не расскажешь.

Встреченный, видно, понял, что настаивать не следует, и сказал: Вот сижу и думаю, каким же это манером занесло меня из Уэльвы сюда. В наши времена мало кто остается на прежнем месте. Сам-то я из Суфре, у меня там все семейство — уж не знаю, застану ли кого, — а когда прошел слух, будто Испания отделяется от Франции, я решил пойти взглянуть своими глазами. Да не Испания, а весь Иберийский полуостров. Может, и так. И не от Франции он отделился, а от Европы, это вроде бы одно и то же, разница, однако, есть. Ну, в таких тонкостях я не разбираюсь, но вот пошел взглянуть. И что же увидел? Да ничего — дошел до самых Пиренеев, а увидел только море. Мы тоже ничего, кроме моря, не увидели. Не увидел я ни Франции, ни Европы, а мое мнение такое, что если чего нет, то, значит, никогда и не было и зря, выходит, я только время потерял и труды впустую потратил, не говоря уж про благие мысли, а ведь сколько сотен миль протопал в поисках того, чего нет. Тут вы немного ошибаетесь. В чем же? Пока полуостров не отделился, Европа-то все-таки была, была граница, разумеется, ходили через нее люди взад-вперед, португальцы и испанцы — туда, а иностранцы — к нам, разве вы никогда не встречали туристов в своей Уэльве? Отчего же, встречал иногда, да только там у нас смотреть нечего. Ну так вот, это и были приезжие из Европы. Не знаю, не знаю, покуда я жил в Суфре, никакой Европы не видел, а теперь из Суфре уехал и опять же никакой Европы не вижу,

в чем разница? На Луне же вы тоже не были, а она-то ведь существует. Да ее-то я вижу, хоть она и ходит теперь по небу как-то чудно́, но все равно — вижу. Зовут-то вас как? Роке Лосано, к вашим услугам. А меня — Педро Орсе. Вы, стало быть, со своим городком тезки. Нет, я родился не в Орсе, а в Вента-Мисене, поблизости. Вот теперь припоминается мне, что, когда только выехал я из дому, повстречались мне двое португальцев и спросили дорогу на Орсе. Может, это те самые и есть? Любопытно было бы узнать. Пойдемте со мной, удостоверитесь. Что ж, если приглашаете, не откажусь, а то я уж столько времени все один да один. Ну тогда поднимайтесь, только потихоньку, осторожненько, чтобы пес не заподозрил вас в недобрых намерениях, а палку не трогайте, палку я вам потом дам. Роке Лосано перекинул через плечо свою котомку, потянул осла за узду, и они двинулись, и пес занял свое место у ноги Педро Орсе, наверно, так и должно быть: где человек, там и меньшие его братья — попугай сидит на плече, змея обовьется вокруг запястья, жук-скарабей пристроится на лацкане, а вошка — в волосах, могли бы мы еще добавить, если бы эта кровососущая вторичнобескрылая не принадлежала к презренному сословию паразитов, которыми гнушаются даже другие насекомые, хотя, с другой стороны, разве же виновата она, что такой создал ее Господь?!

Ехали куда глаза глядят, а оказалось, что заехали в Каталонию, причем глубоко внедрились на ее территорию. Бизнес их процветал, идея заняться именно этой отраслью коммерции оказалась в самом деле блистательной. Людей на дорогах стало значительно меньше, а это значило, что, хоть полуостров и продолжает вращаться, жители его вернулись к нормальной жизни, если, конечно, их обычные и привычные труды и досуги, поведение и нравы можно счесть нормальной жизнью. Почти не встречались теперь брошенные безлюдные деревни, однако нельзя сказать, что все дома обрели теперь прежних своих владельцев: многие мужчины привели себе новых жен, многие женщины — новых мужей, и дети перемешались — таково обычное следствие крупных войн и миграций. И не далее как сегодня утром сказал вдруг Жозе Анайсо, что необходимо решить судьбу их маленького сообщества, раз уж, похоже, прекратились сшибки и стычки: полуостров — эта версия если не самая верная, то, по крайней мере, самая приятная — будет по-прежнему кружиться на месте, что не причинит никаких неудобств гражданам в их повседневных заботах, ну разве что никогда отныне нельзя будет сориентироваться на местности, но это не так уж страшно: ни в каком законе не сказано, что нельзя жить, не зная, где север. Особенно теперь, когда им посчастливилось увидеть Пиренеи и с высоты их — море. Наверно, с самолета так! — воскликнула Мария Гуавайра, но Жозе Анайсо, как человек более опытный, поправил: Да что ты, никакого сравнения: когда смотришь из иллюминатора, голова не кружится, а здесь, если б мы не цеплялись за землю изо всех сил, сами, по доброй воле, бросились бы в море. Ну так вот, продолжал он, завершая это утреннее совещание, рано или поздно нам придется решать нашу судьбу, ведь нельзя же, в самом деле, до гробовой доски кочевать по дорогам. Жоакин Сасса высказал свое согласие, женщины воздержались, подозревая, что есть какая-то тайная причина подобной торопливости, и только Педро Орсе робко напомнил, что земля продолжает содрогаться, и если это не признак того, что путешествию их еще рано завершаться, то он попросил бы, чтобы ему объяснили: ради чего тогда они его затевали? В иных обстоятельствах подобный аргумент при всей своей сомнительности пронял бы присутствующих до глубины души, но после известных событий, оставивших такие глубокие рубцы в этих самых душах — или еще где-нибудь, — в словах Педро Орсе увидели своекорыстие и личный интерес, и эта мысль ясно читается в глазах Жозе Анайсо, который за ужином говорит так: Вот сейчас поужинаем, и пусть каждый скажет, что он думает по поводу того, продолжать ли нам путь или возвращаться домой. Где он, дом? — только и спросила Жоана Карда.

Тут появляется Педро Орсе, ведя с собой еще кого-то: как издали показалось, старика, вот и славно, его нам только и не хватало. Тот тянет за узду осла под вьючным седлом, ничем этот осел особо не примечателен, кроме разве что серебристой шкуры, обтяги-

вавшей ребристые его бока, отчего и дано ему было имя Платеро[1], которое, мы надеемся, он покроет славой — ведь и Росинант, то есть по-нашему «Одр», оказался достаточно бодр. Педро Орсе, остановившись у невидимой черты, отделяющей бивак от остального мира, приступает к церемонии представления незнакомца, что всегда надлежит делать по эту сторону крепостного рва, и нам даже не надо запоминать эти и подобные правила — сильна обитающая в нас историческая память. Торжественно произносит Педро Орсе: Вот мой земляк: я встретил его и пригласил откушать с нами чем бог послал — ну, насчет земляка вышла небольшая натяжка, вполне, впрочем, извинительная, ибо в эту пору тоскует португалец из Миньо и португалец из Алентежо по одной и той же родине, и если одного от другого отделяет пятьсот километров, то между ними и Европой километров этих пролегло шесть тысяч.

Человека Жоакин Сасса и Жозе Анайсо не узнают, чего нельзя сказать об осле: в нем чудится им нечто знакомое, и ничего удивительного — за несколько месяцев с ослом, слава тебе господи, не происходит таких разительных перемен, как с грязным и взлохмаченным человеком, который может обрасти щетиной, растолстеть или исхудать или из волосатого стать плешивым, и родной жене придется раздеть его догола, чтобы убедиться в том, что безобманная примета на прежнем месте, но порою слишком поздно все это произойдет, и раскаяние не стяжает себе плод прощения. Исполняя долг гостеприимства, произносит Жозе Анайсо: Добро пожаловать, садитесь с нами, а если угодно — можете расседлать осла, пусть отдохнет, соломы у нас хватит и на его долю. Разнузданный и развьюченный, ослик выглядит моложавей, и видно теперь, что он будто отлит из серебра высокой пробы, но двух сортов — потемней и посветлей. Кони покосились на вновь прибывшего, явно сомневаясь, что он по тщедушию своему сможет послужить им подспорьем — как ты такого маломерка впряжешь к ним третьим? Хозяин же, устроив ослу ужин, вернулся к костру и, прежде чем подкатить камень, который должен был служить ему сиденьем, представился: Роке Лосано, а обо всем прочем, требующемся по самым элементарным правилам повествования, мы умолчим, дабы избежать повторения. Только собирался Жозе Анайсо спросить, есть ли у осла кличка и если есть, то какая, не Платеро ли, как последние слова, произнесенные Роке Лосано: Пошел поглядеть на Европу, — заставили его придержать язык — внезапное воспоминание воздело перст в памяти его, и он пробормотал: Я знаю этого человека, и озарение это было более чем ко времени: согласитесь, обидно, в сущности, что требуется осел для того, чтобы узнать человека. Подобные же движения происходили, вероятно, и в голове Жоакина Сассы, который не без колебаний промолвил: Мне кажется, мы с вами уже где-то встречались. И мне тоже, ответил Роке Лосано, припоминаются двое португальцев, что попались мне в самом начале пути, только те были на машине и без спутниц. Мир наш, сеньор Роке Лосано, так крутится и вертится, и на каждом витке что-то теряешь, а что-то приобретаешь, и потому немудрено было потерять автомобиль по прозвищу Парагнедых, а взамен разжиться этой вот галерой, двумя конями, двумя женщинами и еще одним мужчиной, сказала Мария Гуавайра. И еще кое-чем, что окажет себя лишь впоследствии, — смысл этой сентенции, прозвучавшей из уст Жоаны Карды, остался темным и невнятным для Педро Орсе и для Роке Лосано, но зато его отлично поняли Жозе Анайсо с Жоакином Сассой, и обоим не понравился этот намек на тайны человеческого организма — женского в особенности.

Итак, произошло взаимное узнавание, рассеялись последние сомнения — Роке Лосано был именно тот, кого повстречали наши португальцы между Сьерра-Мореной и Сьерра-Арасеной верхом на осле по дороге в Европу, куда он так и не попал, но разве не похвально само намерение? А теперь куда направляетесь? — спросила Жоана Карда. Домой иду, и путь назад будет, наверно, короче, если ему самому теперь не стоится на одном месте. Вы про что? Я — про дом, дом — там, где земля. Мария Гуавайра принялась разливать по мискам похлебку, сначала разведя ее немного, чтобы всем хватило, и

[1] Platero — осел серо-серебристой масти *(исп.)*.

вскоре все в молчании занялись едой, и наступившую тишину нарушали только пес, методично обгладывавший кость, да вьючная наша, тягловая скотина, жевавшая солому, и время от времени слышалось, как лопается, попав на зуб, сухая фасолина, — нет-нет, не вправе животные сетовать на дурной рацион, несмотря на переживаемые нами трудности.

С одной из них, особого, впрочем, рода, попытается нынче вечером совладать семейный совет, и присутствие постороннего ему не помеха — скорей напротив: ведь было же сказано, что Роке Лосано возвращается домой, а что надлежит делать нам — кочевать по-цыгански, торгуя готовым платьем, или последовать его примеру, вернуться к прежней, нормальной и упорядоченной жизни, ибо, хотя полуостров никогда больше не остановится, человек в конце концов ко всему привыкает — привыкли же мы к постоянно вращающейся нашей планете и без малейшего труда сохраняем равновесие, живя на жужжащем волчке, который крутится в некоем водном пространстве вокруг исполинской рыбы-солнца. Простите великодушно, что вмешиваюсь, раздается тут неведомо чей голос, но ихтиологии не известна никакая рыба-солнце — рыба-луна есть, латинское ее название «Orthogoricus mola», а рыбы-солнца нет. Я спорить с вами не собираюсь, нет так нет, однако ее явно не хватает. К сожалению, сказал Жозе Анайсо, приходится выбирать что-то одно — удобства со свободой несовместимы, в нашей бродяжьей жизни есть своя прелесть, однако четыре стены и крыша над ними защищают лучше дырявого парусинового навеса. Сказал Жоакин Сасса: Так тому и быть, сначала доставим до дому Педро Орсе, а потом — и запнулся, явно не зная, чем закончить фразу, но тут вмешалась Мария Гуавайра и произнесла то, что и надо было произнести: Значит, так — отвезем Педро Орсе до его аптеки, потом отправимся в Португалию, доставим Жозе Анайсо в его школу, я и не знаю, как называется этот край, Жоане Карде придется выбирать — оставаться ли в Эрейре у своей родни либо пасть в объятия супруга в Коимбре, а разделавшись с этим, проследуем в Порто, высадим Жоакина Сассу у дверей его конторы, владельцы, должно быть, уже вернулись из Пенафьела, после чего я уж одна поеду домой, ждет меня там один, хочет на мне жениться, скажет, что оберегал и стерег мое добро, пока я была в отсутствии, так что теперь выходите за меня замуж, милая сеньора, и я возьму головню да подожгу эту галеру, пусть станет она дымом и дымом развеется, а уж потом, может, удастся мне спустить на воду тот каменный корабль да отчалить на нем.

От столь долгой речи перехватило дыхание у говорящей, затаили дыхание внимавшие ей. Примерно минуту все молчали, а по прошествии этого времени вдруг осенило Жозе Анайсо: Да ведь и так уже плывем мы на каменном плоту. Больно он велик, чтобы могли мы почувствовать себя моряками, заметила Жоана Карда, и с улыбкой откликнулся Жоакин Сасса: Верно, ведь оттого, что странствуем мы в космосе на Земле, не становимся мы астронавтами. Снова помолчали, и настал черед говорить Педро Орсе: Давайте по очереди — возьмем-ка с собой, довезем до Суфре Роке Лосано, где ждет его семья, а потом решим, что нам делать с нашей жизнью. Места в тарантасе нет, спать ему будет негде, возразил Жозе Анайсо. Если дело только в этом и других причин не имеется, то я и под открытым небом переночую, мне не привыкать, лишь бы дождя не было, а пойдет дождь, залезу под вашу галеру, чем не крыша, и если вам угодно знать, я ужасно устал от одиночества, признался Роке Лосано.

И на следующий день они возобновили странствие. Пиренеец и Галисиец поварчивают по поводу завидной доли, достающейся на этом свете ослам, — Платеро, привязанный к задку галеры длинной веревкой, трусит налегке, сверкая будто слиток серебра, а его хозяин, сидя на козлах, ведет беседы о жизни с Педро Орсе, обе четы устроились внутри, а пес выслан в передовой дозор. С каждым мгновением, будто чудом каким-то, восстанавливаются в этом сообществе мир и лад. Вчера после окончательного обсуждения прочертили примерный — так просто, чтобы не катить куда глаза глядят, — маршрут: сперва спустимся в Таррагону, оттуда по бережку — в Валенсию, оттуда, забираясь поглубже, — в Альбасете, потом до Кордовы, вниз в Севилью, а оттуда уж рукой подать до

Суфре, восьмидесяти километров не будет, там и скажем: Вот вам ваш Роке Лосано, целый и невредимый воротился он из беспримерного странствия, бедняком уходил, бедняком пришел, Европу не нашел, Эльдорадо не открыл, ибо не всякий обретает то, что ищет, и не всегда это вина ненашедшего, очень часто случается, что там, где по невежеству или коварству сулили нам богатство, вообще ничего не оказалось, и мы постоим в сторонке, наблюдая за радостной встречей, слушая восклицания, исполненные ласки и привета: Дедушка, дедушка приехал, вот и снова папаша наш с нами, милый мой муженек, вернулся все-таки, экая, право, досада, я-то думала, подох давно в глуши и безлюдье, волки тебя задрали — не все, что будет подумано в ту минуту, прозвучит вслух.

И вот там, в Суфре, вновь будут держать наши путники совет: куда же мы теперь тронемся? куда, зачем, к кому. К чему прикидываться и задавать вопросы, если ответы вам заранее известны? — вновь и уже во второй раз за столь краткое время раздается неведомо чей голос.

Когда ровно на 180 градусов завершился полуоборот с востока на запад, полуостров начал падать. Да, именно в этот и на этот миг и в самом точном значении слова, насколько могут быть точны метафоры, Португалия и Испания перевернулись вверх тормашками. Ладно, предоставим испанцам, всегда гнушавшимся нашей помощью, возможность и ответственность определить с использованием высших достижений научной мысли новые конфигурации физического пространства, в котором они оказались, мы же, не мудрствуя лукаво, со скромной простотой, присущей слаборазвитым нациям, сообщим, что провинция Алгарви, спокон веку находившаяся на юге, то есть внизу карты, сделалась в эту сверхъестественную минуту самым северным краем страны. Невероятно, но истинно, как и по сию пору учит нас один из отцов церкви, не потому учит, что еще жив — все отцы церкви давно померли, — а потому, что к урокам его по-прежнему прибегаем мы ежечасно, пользуясь ими без разбору как для вящей славы Божией, так и в собственных наших интересах. И если судьбе было бы угодно, чтобы полуостров наконец остановился именно в этом положении, то социальные и политические, культурные и экономические последствия — не забудем, впрочем, и психологический аспект, коему не всегда уделяется должное внимание, — так вот, последствия всего этого во всем своем многообразии были бы сокрушительно-сильнодействующими и без преувеличения сказать — космическими. К примеру, славный город Порто безвозвратно утратил бы столь дорогой ему титул северной столицы, и если этот пример в глазах космополитов грешит близоруким провинциализмом, то пусть представят они себе, что Милан, скажем, очутился где-нибудь в Калабрии, а южане-калабрийцы — на богатом, процветающем, индустриально развитом севере, и ничего невозможного нет в таких метаморфозах — помните о том, что стряслось с Пиренейским полуостровом.

Но, как мы уже говорили, длилось это одну минуту. Упал полуостров, но круговорот не прекратился. А мы, прежде чем приступить к продолжению нашего повествования, просто обязаны пояснить, какой смысл в данном контексте влагаем мы в понятие «падать» — ну, не тот, разумеется, не прямой и не буквальный, ибо тогда следовало бы нас понять так, что полуостров начал погружаться, тонуть, идти ко дну. Если за столько дней этого дрейфа, когда катастрофа столько раз казалась не то что близка, а просто неминуема, ни этого бедствия, ни иного, сопоставимого с ним по масштабам, все же не произошло, то уж теперь не изберем мы для завершения нашей одиссеи финала столь плачевного, как уход на дно морское. Нелегко нам это далось, но, безропотно смирившись с тем, что Улисс не встретит на берегу нежную Навзикаю, желаем, чтобы, по крайней мере, позволено было усталому мореходу причалить к населенному феаками острову Схерия, а не к нему, так к любому другому, и если уж не обретет он там обещанной женщины, на груди которой мог бы он упокоить главу, пусть послужит ему изголовьем собственная рука. Ну, прежде всего успокоимся. Ручаемся вам честным словом, что полуостров не уйдет в пучину жестокого океана, где, случись с ним такая неприятность,

сгинули бы в глубочайших безднах без следа даже высочайшие вершины Пиренейских гор. Да, падает полуостров — другого слова не подобрать, — но падает на юг, ибо привыкли мы делить планисферу на верх и низ, высшее и низшее, на, фигурально выражаясь, белое и черное, хотя нас и удивляет, что страны, расположенные ниже экватора, не перевернут географические карты, что по справедливости придало бы облику нашего мира недостающую ему черту. Но есть у фактов такое неоспоримое достоинство — быть фактами, и даже первоклассник без дополнительных объяснений поймет, и словарь синонимов, столь легкомысленно отвергнутый, подтвердит, что наш полуостров движется вниз, то есть падает, и, господи боже, как повезло нам, что движется этот наш каменный плот вниз, а не вглубь, булькая ста миллионами легких, смешивая пресные воды Тежу и Гвадалквивира с горькой водой бескрайнего моря.

Много, ох много тех, кто и прежде утверждал, и ныне утверждает, будто, по совести говоря, вполне можно обойтись без поэтов, но я на это возражу: что стало бы с нами со всеми, если бы поэзия не помогала нам понять, сколь мало ясности в том, что мы считаем ясным как божий день. До сей поры, а ведь сколько уже страниц исписано, рассказ наш сводился к описанию морского путешествия, пусть и не совсем обычного, и даже в этот драматический момент, когда полуостров возобновил свое движение, теперь устремясь к югу, продолжая при этом вращаться вокруг собственной воображаемой оси, повествование так и осталось бы сухим, скудным и скучным перечнем фактов, если бы не вдохновение того португальского поэта, сравнившего повороты и спуски нашего полуострова с еще не рожденным младенцем, совершающим в утробе матери первые шевеления. Чудесное, великолепное сравнение, хоть мы и принуждены упрекнуть его автора за то, что не устоял перед искушением антропоморфизма, когда все на свете непременно видится и воспринимается не иначе как в связи с человеком, словно природе в самом-то деле кроме как о нас больше думать не о чем. Все станет на свои места, если мы просто и честно признаемся, что обуяны безмерным страхом, который и заставляет нас населять мир персонажами, созданными по нашему образу и подобию, — по крайней мере, нам кажется, что они нам подобны и с нами сообразны, — хотя вовсе не исключено, что все обстоит как раз наоборот и эти отчаянные усилия объясняются не страхом, а отвагой или просто упорным нежеланием оставаться в пустоте и осмыслять то, что смысла не имеет. Весьма вероятно, что пустота не может быть заполнена нами и понятие «смысл» — не более чем беглая вереница образов, которые в какой-то миг вдруг покажутся исполненными гармонии и которые наш ужаснувшийся ум пытается выстроить по порядку, придать им значение, согласовать и примирить их друг с другом.

Чаще же всего бывает так, что голос поэта, звуча невнятно и глухо, пониманию недоступен, однако во всяком правиле случаются исключения — и эта вот удачная метафора, обретя невиданную популярность, переходила из уст в уста, повторялась на всех углах, толковалась и перетолковывалась, хотя взрыв народного ликования не затронул большинство других поэтов, и это не должно нас удивлять, ибо и поэтам не чужды обычные человеческие чувства вроде, например, досады и зависти. Одним из самых примечательных последствий этого вдохновенного сравнения стали возрождение — ну, с учетом, разумеется, тех сокрушительных перемен, которые внесла современность в семейную жизнь, — возрождение, говорю, духа материнства, сильнейший прилив материнских чувств, обуявших, как мы, учитывая известные всем нам обстоятельства, вправе предполагать, Марию Гуавайру с Жоаной Кардой, — они-то ведь, ни о чем таком не помышляя, ничего не загадывая, одной лишь возвышенно-естественной силой вещей оказавшись, как говорится, в положении, предрекли и положение всего Иберийского полуострова. Решительно обе переживали миг торжества. Их репродуктивные органы, уж извините за анатомическую терминологию, сделались наконец-то символом и выражением, я бы даже сказал — уменьшенной, но безупречно действующей моделью того хитроумного механизма, работающего во Вселенной, когда непрерывно идет процесс превращения ничто во что-то, маленького в большое, конечного в бесконечное. Ну, на этом месте толковате-

ли и герменевты запнулись и засбоили — и опять же это неудивительно, если вспомнить, сколько раз убеждались мы на собственном опыте, как недостаточны оказываются слова по мере приближения к границе того, что словами не выразить, хоть тресни: стремимся изъяснить любовь, а язык не поворачивается, предполагаем сказать «люблю», а произносим «не могу», намерены вымолвить последнее слово и понимаем в этот миг, что вернулись к самому началу.

Но во всем этом хитросплетении причин и следствий было и еще одно обстоятельство — одновременно стало оно и фактом и фактором, — благодаря которому изменился заумно-серьезный тон обсуждений, а весь народ, с позволения сказать, расцвел улыбками и раскрыл друг другу объятия. Все дело в том, что глазом моргнуть не успели — простим преувеличение, всегда содержащееся в подобных фигурах речи, — как все женщины детородного возраста оказались беременны, о чем и сообщили — и это при том, что никаких особых изменений в способах предохранения не допускали ни сами они, ни те, кого они до себя допускали, — имеются в виду мужчины, с которыми регулярно или от случая к случаю делили они ложе. Дела, впрочем, пошли такие, что люди уже ничему не удивлялись. Минуло несколько месяцев с той минуты, как полуостров отделился от материка, тысячи километров проплыли мы в море — не то что открытом, а просто-таки настежь распахнутом, — чудом не напоролись всей своей левиафанской тушей на бесстрашные Азоры, хотя и выяснилось чуть погодя, что никакого чуда здесь не было, а мы и не должны были столкнуться с ними, но откуда же нам было это знать в тот миг, когда удар казался неизбежным, понятия об этом не имели тамошние и здешние мужчины и женщины, принужденные бежать и спасаться, произошло еще много всякого дивного и чудного, и солнце, ожидаемое слева, стало всходить справа, и луне словно бы мало показалось того извечного непостоянства и переменчивости, которыми мучит она нас с тех пор, как отделилась от земли, и ветры дуют ныне не так, как прежде, и облака, несясь со всех горизонтов, водят над нашими головами умопомрачительный хоровод — причем помрачению этому не мешает, а способствует ослепительно горящее в поднебесье пламя, и все выглядело так, словно человеку, наконец, нет нужды медленно, задерживаясь на каждом перекрестке истории, брести из тьмы животного мира, — теперь его, целого, невредимого и чистенького, поместят в мир заново отделанный, светлый, блещущий нетронутой красотой. Ну а раз все это происходило, и если, по слову португальского поэта, полуостров проделывает тот же путь, что и дитя в утробе матери, если он растет и ворочается, словно в исполинской матке, в лоне океана, готовясь к появлению на свет, то есть ли у нас основания удивляться тому, что заполнились и матки обитательниц полуострова, — откуда нам знать, не оплодотворил ли их огромный камень, спускающийся к югу, и в самом ли деле эти новые дети — сыны и дочери человеческие или же отцом их следует считать гигантский каменный киль, расталкивающий море у себя на пути, внедряющийся в него, проникающий в лепечущие волны под вздохи и шепот ветра?

Наши путешественники услышали об этой массовой беременности по радио, прочли в газетах, да и телевидение в стороне не осталось, такого случая не упустило — едва завидя на улице женщину, репортеры тотчас совали ей в лицо микрофон, засыпали вопросами — как, когда, а имя уже придумали? — и, захваченная врасплох бедняжка, на которую наезжала, будто собираясь проглотить живьем, камера, заливалась краской, бормотала нечто невнятное и не ссылалась на дарованные ей конституцией права оттого лишь, что догадывалась — всерьез их не воспримут. И среди наших странников вновь стала замечаться известная напряженность, но если все женщины Пиренейского полуострова оказались беременны, эти две продолжали молчать, и это было понятно — объяви они о своем положении, неизбежно будет внесен в список отцов Педро Орсе, после чего согласие, мир и лад, с таким трудом восстановленные, погибнут безвозвратно — второго удара им не вынести. Вот поэтому однажды вечером Мария Гуавайра и Жоана Карда, готовя ужин, взяли да и воскликнули с комическим отчаянием: Нет, вы только представьте себе — все женщины в Испании и Португалии с пузом, только мы вдвоем порожние

ходим. Представь себе теперь и ты, читатель, представь это мимолетное притворство, представь и не осуди Жоакина Сассу и Жозе Анайсо за то, что они изобразили досаду, столь понятную, столь присущую всякому мужчине, чьи способности к продолжению рода оказались под сомнением, представь себе также и то, что досада эта не была совсем уж деланной и наигранной, ибо вполне вероятно, что так оно и оказалось в действительности: если истинно то, что обе женщины беременны, то не менее истинно и то, что доподлинно неизвестно от кого. По всему по этому маленький спектакль разрежению атмосферы не способствовал. С течением времени станет окончательно очевидно, что Мария Гуавайра и Жоана Карда были беременны, когда со смехом сетовали на свою долю, а уж какие объяснения дадут они тогдашнему своему поведению — бог весть; правда всегда нас поджидает, и придет день, когда никуда от нее не убежишь.

А премьер-министры обеих пиренейских стран появились на телеэкране в сильном смущении, и причиной его отнюдь не была необходимость говорить о демографическом взрыве, который через девять месяцев должен потрясти полуостров, не те двенадцать или пятнадцать миллионов младенцев, которые появятся на свет практически одновременно и дружным хором издадут свой первый крик, не то, что Пиренейский полуостров превратится в родильный дом, не счастье матерей и ликование тех отцов, у кого имеются достаточные основания не сомневаться в своем отцовстве. Дело было не в этом — при известном старании можно было извлечь из ситуации даже кое-какую политическую выгоду, выложить козырного демагогического туза, напомнить о светлом будущем наших детей, порассуждать о сплочении нации, противопоставить нашу пиренейскую плодовитость бесплодию остального западного мира. В другом была загвоздка: совершенно неизбежно у каждого из нас возникнет лестное сознание того, что для подобного демографического взрыва необходим столь же мощный — ну не взрыв, так всплеск — половой активности, ибо кто же поверит, будто это коллективное оплодотворение произошло каким-нибудь сверхъестественным путем. Премьер сообщает о том, какие санитарные меры будут приняты, о национальной программе акушерской помощи, о формировании специальных медицинских бригад, которые будут направляться в нужное время в нужное место, — но при этом на лице говорящего заметна какая-то борьба чувств: торжественно-официальное выражение явно борется с желанием расхохотаться и кажется, он вот-вот скажет: Португальцы и португалки, велика наша прибыль, думаю, что не меньше было и наслаждение, ибо нет казни злее, чем делать детей без удовольствия. Люди слушают, переглядываются и улыбаются, каждому вспоминается та ночь, тот день, тот час, когда под влиянием внезапного побуждения сделал он то, что надлежало, и не важно, где было дело — под медленно ли вращающимся небом, в присутствии ли обезумевшего солнца или спятившей луны или бешеной мельтешни звезд. На первый взгляд все кажется мороком, наваждением, грезой, но когда у женщин стали заметно обрисовываться животы, ясно стало, что дело происходит наяву.

Обратился к миру и президент США: Несмотря на то, сказал он, что полуостров изменил курс и направляется в неведомую точку на юге, Соединенные Штаты никогда не откажутся от принятых на себя обязательств и от своей ответственности по защите цивилизации, свободы и мира, однако теперь, когда народы Пиренейского полуострова оказались в зоне противоборствующих влияний, они не могут рассчитывать, так и сказал и еще повторил: Повторяю, не могут рассчитывать на помощь, которая ожидала бы их в том случае, если бы их будущее оказалось неразрывно связано с судьбой американского народа. Это все предназначалось для мирового общественного мнения, но в уединении Овального кабинета, под позвякиванье кубиков льда в стакане с «бурбоном», президент сказал своим советникам: Эх, прибило бы их к Антарктиде — и гора с плеч, а то носит из стороны в сторону, как прикажете иметь с ними дело, какая стратегия это выдержит, и что нам теперь проку от наших военных баз, разве что нанести ракетный удар по пингвинам. Один из советников заметил, что новый курс полуострова при ближайшем рассмотрении может оказаться не так уж и плох: Они спускаются в створ между Африкой и Ла-

тинской Америкой, господин президент. Да, это сулит определенные выгоды, но может также и осложнить ситуацию в регионе, привести к неповиновению, и тут под воздействием, вероятно, какого-то досадного воспоминания президент так стукнул кулаком по столу, что подскочил улыбающийся портрет первой леди. Самый старый советник вздрогнул от неожиданности, огляделся по сторонам и сказал: Поосторожней, мистер президент, не надо кулаком стучать, сами знаете, чем это чревато.

Теперь это похоже не на распяленную бычью шкуру, а на исполинский кремниевый нож, вроде одной из той поделок, что служили людям в доисторические времена, которую терпеливо и кропотливо обтесывали с разных сторон, пока не получалось некое орудие, чья верхняя часть ловко и удобно охватывалась ладонью, а нижняя становилась пригодной для того, чтобы ею скоблить, рубить, резать, копать, отмечать, рисовать, а также — мы и по сей день не сумели одолеть это искушение — чтобы ранить и убивать. Полуостров прекратил вращение вокруг своей оси и спускается перпендикулярно вниз, по направлению к югу, куда-то между Африкой и Центральной Америкой, как следовало бы сказать советнику американского президента, и формой своей совершенно неожиданно для тех, кто еще помнил, как выглядел он на карте, разительно напоминает оба континента, окружающих его с двух сторон: мы видим на севере Португалию и Галисию, заполняющие с запада на восток все его пространство, затем эта громадина сужается, слева выпирает округлость Андалусии и Валенсии, справа — кантабрийское побережье и — на той же линии — стена Пиренеев. Каменным клювом, навершием или, если угодно, режущей кромкой этого инструмента стал мыс Креус, приплывший сюда из средиземноморских вод, оказавшийся так далеко от родных небес, испанский мыс Креус, соседствовавший некогда с маленьким французским городком Сербером, о котором столь пространно докладывали мы в начале нашего повествования.

Полуостров ползет вниз, но медленно, потихоньку. Ученые осторожно предрекают, что рано или поздно произойдет полная остановка: они исходят из того, что если целое как таковое не прекращает движения никогда, то с его составляющими подобное иногда случается, и в доказательство этой аксиомы приводят жизнь человеческую, открывающую, как известно, богатейшие возможности для сравнения. После того как наука оповестила об этом, во всем мире практически одновременно началась игра, поветрием охватившая нашу планету, — нечто вроде тотализатора: надо угадать, когда и где остановится Пиренейский полуостров: ну, например, ставлю столько-то, что произойдет это, скажем, в шестнадцать часов тридцать три минуты сорок девять секунд по местному, разумеется, времени, а местоположение ограничивалось лишь указанием такого-то градуса, минуты и секунды такой-то широты относительно вышеупомянутого мыса Креус. На кону стояли уже триллионы долларов, и если бы сыскался такой, кто сумел бы угадать оба ответа, вероятность чего, по предварительным расчетам, даже не была нулевой, а представляла собой величину отрицательную, то этот человек, обладающий силой почти божественного предвидения, получил бы денег больше, чем имелось в наличии на всей нашей столько повидавшей планете. Сами понимаете, что не было и быть не могло игры чудовищней, — ведь с каждой протекшей минутой, с каждой пройденной милей сокращалось и убывало число заключивших пари и соответственно возрастал «джек-пот», по каковой причине многие из выбывших вновь включались в игру, доводя общую сумму ставок до астрономических цифр. Вполне очевидно, что не всем удавалось наскрести денег на новые ставки, а еще очевидней, что многие, очень многие предпочли полной и беспросветной нищете, в которой оказались, пулю в лоб. И полуостров медленно полз на юг, оставляя за собой, можно сказать, кровавый след, сея, извините за выражение, смерть, хоть ни сном ни духом не был виноват ни в этом, ни в том, что во чреве обитательниц его зародились миллионы новых жизней.

А Педро Орсе пребывает в каком-то странном беспокойстве. Говорит мало и неохотно, часами бродит в окрестностях лагеря, возвращается в изнеможении, не ест, а когда

спутники спрашивают: Ты часом не заболел ли? — отвечает кратко: Нет. Если и произносит он несколько скупых слов, то лишь в беседе с Роке Лосано, и беседы эти всегда и исключительно — об отчем крае того и другого, словно иных тем нет вовсе. Пес следует за ним неотступно, чувствуется, что снедающая человека тревога передается ему, ибо и он, прежде такой спокойный, места себе не находит. Жозе Анайсо сказал Жоане Карде: Если Педро Орсе воображает, что история повторится, что найдется милосердная женщина, которая пожалеет бедного, одинокого, всеми покинутого, утешит его, приласкает и освободит от скопившейся тяготы, то он очень ошибается. Это ты очень ошибаешься, с невеселой улыбкой ответила ему Жоана Карда, если его и в самом деле что-то гнетет, то уж не это. А что? Не знаю, но готова поклясться, что он нас не хочет, у женщины на этот счет сомнений не бывает. Ну тогда надо поговорить с ним, вытянуть из него правду, может, он и вправду болен. Может быть, но думаю, что нет.

Они едут вдоль горной гряды Алькарас и сегодня разобьют свой бивак неподалеку от деревни, которая, если верить карте, называется Бьенсервида, хорошо, если и вправду так окажется. Сидящий на козлах Педро Орсе говорит Роке Лосано: Отсюда, если бы мы двинулись вон в ту сторону, рукой подать до Гранады. Не-ет, до моих краев еще ехать и ехать. Доедешь. Доехать-то я доеду, хотелось бы только знать, стоит ли. Это обычно узнается лишь впоследствии, подстегни-ка Пира, видишь, дурака валяет. Роке Лосано тряхнул вожжами, чуть тронул, будто приласкал, кончиком кнута круп гнедого, тот послушно прибавил рыси. Обе четы — внутри галеры, переговариваются вполголоса, и вот что говорит Мария Гуавайра: Может быть, ему уже хотелось бы оказаться дома, а сказать не решается, боится, что мы обидимся. Может быть, согласился Жоакин Сасса, надо с ним потолковать начистоту: так, мол, и так, мы все понимаем, в конце концов, ты клятву не давал, контракт не подписывал, что останешься с нами до конца дней, были мы друзьями, друзьями и останемся, когда-нибудь приедем к тебе в гости. Дай-то бог, пробормотала Жоана Карда, чтобы дело было всего лишь в этом. А в чем же еще? Да нет, ни в чем, так, предчувствие у меня какое-то. Какое предчувствие? — спросила Мария Гуавайра. Предчувствие, что Педро Орсе умрет. Все там будем. Он — первый.

Бьенсервида стоит в стороне от дороги. Путешественники продали там кое-что из своего товара, купили припасов, пополнили запас воды и, благо было еще рано, вернулись на шоссе, но проехали не много. Невдалеке оказалась часовня Турручель, и, сочтя, что лучше места для ночевки не найти, там они и сделали привал. Педро Орсе стал слезать с козел, и Жоакин Сасса с Жозе Анайсо, спрыгнув наземь, чуть только тарантас остановился, против обыкновения, поспешили ему помочь, протянули ему руки, а он, опершись на них, сказал: Да что вы, друзья, я ведь не паралитик, не заметив, что при слове «друзья» слезы вдруг навернулись на глаза этим двоим, все еще державшим на старика зло и страдавшим от этого, но все же подхватившим усталое тело, кулем свалившееся им на руки, — несмотря на гордое заявление, бывают, а верней сказать, настают такие минуты, когда у гордости ничего, кроме слов, не остается и сама она становится всего лишь словами. Педро Орсе утвердился на земле, сделал по ней несколько шагов и внезапно остановился, всем видом своим, позой и выражением лица напоминая человека, чем-то безмерно удивленного, словно ярчайший сноп света ослепил его и приковал к месту. Что с тобой? — спросила, подойдя, Мария Гуавайра. Нет-нет, ничего. Тебе нехорошо? — спросила Жоана Карда. Нет-нет, тут что-то другое. Он опустился на землю, обеими руками оперся о нее, потом подозвал пса Констана, опустил ему ладонь на голову, провел пальцами по шее, проскользил по загривку, вдоль спины, до самого крестца, и пес стоял не шевелясь, давя на землю так тяжко, словно хотел по колени уйти в нее. Потом Педро Орсе вытянулся во весь рост — седая голова откинулась на траву, где попадались стебельки цветов, распустившихся несмотря на то, что по календарю вроде бы зима. Мария Гуавайра, Жоана Карда встали на колени, взяли старика за руки: Что с тобой, скажи, у тебя болит что-нибудь? — да наверно болит, и сильно болит, судя по тому, как кривится его лицо, как широко раскрыты уставленные в небо глаза, где отражаются скользя-

щие облака, так что женщинам, чтобы увидеть их, нет нужды задирать головы, медленно проплывают облака в глазах Педро Орсе, как плыли когда-то уличные огни ночного Порто в глазах собаки, как давно это было, как давно уже они все вместе и неразлучны, да еще Роке Лосано, человек, знающий жизнь — да и смерть, наверно, тоже, — и пес, будто завороженный взглядом Педро Орсе, не сводит с него пристальных глаз, опустив голову, ощетинясь, словно собрался защищать хозяина от всех волчьих стай, сколько ни есть их на свете, а тот произносит раздельно и отчетливо, ставя слово к слову: Больше не чувствую, как земля дрожит, больше не чувствую. Глаза его потемнели, помутнели, должно быть, пепельная, свинцовая туча медленно-медленно плыла в этот миг по небу. Мария Гуавайра, едва прикасаясь, приподняла веки Педро Орсе, сказала: Умер, и тогда пес подошел еще ближе и взвыл, как воют в деревнях по покойнику.

Умер человек — и что же теперь? Плачут четверо его друзей, даже Роке Лосано, недавний его знакомец, яростно трет глаза кулаками, и пес коротко взвыл еще раз, теперь он совсем рядом с телом, еще миг — и вытянется рядом, положит тяжелую свою башку на грудь Педро Орсе, но теперь надо думать и решать, что делать с покойником, и говорит Жозе Анайсо: Отвезем его в Бьенсервиду, сообщим куда следует, что же еще можем мы для него сделать, и тут осенило Жоакина Сассу: Помнишь, ты сказал когда-то, что поэта Мачадо схоронить надо было под каменным дубом, давайте там и его положим, однако последнее слово осталось за Жоаной Кардой: Нет, и в Бьенсервиду не повезем, и под деревом не зароем, доставим его в Вента-Мисену, положим в родную землю.

Легло на топчанчик поперек галеры тело Педро Орсе, женщины сидят рядом, держат его холодные руки, те самые, что когда-то от волнения едва успели узнать, как сотворены женские тела, а трое мужчин — на козлах, правит Роке Лосано, думали привал сделать, вот тебе и отдохнули, и едут теперь в ночь-полночь, чего прежде никогда не бывало, должно быть, Пиру вспоминается другая ночь, а может, он на ходу и видит во сне, как стреножили его, чтобы полечить мазью и пастьбой на вольном воздухе злую болячку на спине, а тут пришли трое — мужчина, женщина и собака, освободили его от пут, и не знает он, начался тогда сон или же окончился. Пес бежит под днищем галеры, под распростертым в ней телом Педро Орсе, словно несет его на спине, так тяжко ему, словно и впрямь взвалили на него весь тарантас. Зажгли лампу, приладили ее впереди, к железному обручу, на котором крепится парусиновый навес. Больше полутораста километров предстоит покрыть.

Кони чуют смерть за собой, и другого кнута им не надо. Так глубоко ночное безмолвие, что едва слышно погромыхивание колес по неровностям и выбоинам старой дороги, и стук копыт на рыси звучит приглушенно, словно обернули их тряпками. Луна, видно, так и не взойдет. Путь лежит в непроглядном мраке, в кромешной тьме, и так же, наверно, было темно в ту самую первую из всех ночей перед тем, как Бог сказал: Да будет свет, и не было в этом особенного чуда, ибо Он знал, что дневное светило, хочешь не хочешь, часа через два выкатится на небо. Мария Гуавайра и Жоана Карда плачут — заплакали они, как только тронулась галера в путь. Этому человеку, который лежит теперь мертвым, милосердно отдали они свое тело, сами притянули его к себе, сами помогли и направили, и, быть может, это от него зачала каждая из них дитя, которое сейчас растет под ноющим от муки сердцем, в сотрясающемся рыданиями животе. Господи ты боже мой, до чего же все на свете связано и переплетено между собой, и величайшую ошибку совершаем мы, полагая, что вольны сами перерезать или вновь скрепить эти нити, а ведь сколько дано нам было доказательств обратного — и черта, проведенная по земле вязовой палкой, и стая скворцов, и камень, брошенный в море, и чулок голубой шерсти — и все впустую, все равно что слепому показывать, что к глухому взывать.

В Вента-Мисену приехали еще затемно. Во весь путь, за все эти тридцать лиг, не встретилось им ни одной живой души. И призрачным казался спящий Орсе с лабиринтом своих улочек, с запертыми дверями и затворенными окнами домов, с замком Семи Башен, высившимся над крышами, — морок какой-то, наваждение. Уличные фонари мерцали,

будто звезды, грозя вот-вот погаснуть, голые — ствол да ветви — деревья на площади вполне могли быть остатками окаменевшего леса. Миновали аптеку, на этот раз останавливаться было незачем, а дальнейший маршрут еще не успел изгладиться из памяти: Поезжайте сначала все прямо и прямо, по направлению к Марии, через три километра от окраины будет мостик, за ним — олива, там меня ждите. Ну вот и дождались. За последним изгибом дороги открылось кладбище, белая стена ограды, огромный крест. Ворота были заперты, придется ломать. Жозе Анайсо добыл лом, просунул было его меж створок, но Мария Гуавайра удержала его: Нет, не здесь мы его похороним, и показала на белые холмы, где отрыли когда-то череп самого древнего европейца, который жил больше миллиона лет назад, и прибавила: Вон там, наверно, он и сам бы выбрал для себя это место. Доехали, докуда можно было, кони еле брели, копыта их вязли в пыли. Никто из Вента-Мисены не пришел на похороны — никого там не осталось, все дома были брошены, а многие лежали в развалинах. На горизонте едва различим был смутный очерк сьерры — последнего, что видел перед смертью «орсейский человек», а сейчас еще ночь, и Педро Орсе мертв, и в глазах его навсегда застыло только темное облако, и больше ничего.

Когда кони стали, трое мужчин вытащили из галеры покойника, Мария Гуавайра поддерживала с одного боку, а у Жоаны Карды появилась в руке вязовая палка. Они поднимаются по склону на плоскую, будто стесанную, вершину холма, иссохшая земля крошится под ногами, осыпается вниз, тело Педро Орсе покачивается из стороны в сторону, в какой-то миг перевешивает и чуть было не увлекает за собой тех, кто несет его, — нет, справились, удержались, вскарабкались на самый верх и, взмокшие от пота, сплошь в белой пыли, опустили свою ношу наземь. Могилу выкопает Роке Лосано, он попросил, чтобы ему поручили эту работу, земля податлива, хоть вместо кирки — просто ломик, а вместо лопаты — пальцы и ладони. Небо на востоке понемногу светлеет, и зубчатая полоска гор на горизонте становится черной. Роке Лосано выбирается наружу, становится на колени и, отряхнув руки, просовывает их покойнику под спину. Жозе Анайсо берет Педро Орсе за руки, Жоакин Сасса — за ноги, и все вместе они начинают медленно опускать его в землю, могила неглубока, если когда-нибудь снова придут сюда антропологи, им нетрудно будет отыскать его, и скажет Долорес: Глядите, череп, а руководитель экспедиции кинет взгляд и ответит: Научной ценности не представляет, у нас таких полно. Забросали труп землей, притоптали ее, чтобы слилась с окружающей землей, но пришлось отогнать пса, который хотел когтями разрыть могилу, и Жоана Карда воткнула в головах Педро Орсе вязовую палку. Это не крест, сами видите, и не памятник, не надгробная плита, а всего лишь вязовая палка, утратившая свою волшебную силу, но, быть может, она еще пригодится — послужит, например, стрелкой солнечных часов в этой прокаленной до белизны пустыне, а быть может, и дерево вырастет из нее, если, конечно, сухой прут, воткнутый в землю, способен сотворить чудо, пустить корни, освободить глаза Педро Орсе от темного облака, навсегда отраженного в них, может, завтра прольется дождь на эти поля.

Полуостров остановился. Путники отдохнут здесь, проведут день, ночь и следующее утро. Когда отправятся дальше, будет идти дождь. Стали звать пса, все эти часы неотступно сидевшего у могилы, но он не подошел. Обычное дело, заметил Жозе Анайсо, собаки не хотят разлучаться со своими хозяевами, иногда даже умирают на могиле. Он ошибался. Пес Ардан поглядел на него и медленно пошел прочь, опустив голову. Больше они его не видели. Странствие продолжается. Роке Лосано доедет до Суфре, постучит в двери своего дома, скажет: Я вернулся, но это уже другая история, кто-нибудь когда-нибудь и ее расскажет. А эти четверо — двое мужчин, две женщины — снова двинутся в путь навстречу неведомой судьбе, неизвестному будущему. Зеленеет ветка вяза, весной, быть может, расцветет.

■

ЛИТературный ГИД

http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://www-koi.kulichki.com/ /206.42.196.13/limeriki/ slova/hokku/ http:// frog/renga/r- www.cs.ut.ee/~roman_l/ www.lib.ru/http:// texts/razborka.html http://www- trolit/br.cgihttp://www- trolit/sonnet.cgihttp:// http://www.litera.ru/ www.net.cl.spb.ru/ http://www.cs.ut.ee/ http://www.lib.ru/ ~ache/texts/ www.gazeta.ru/http:// centrolit/br.cgi http:// centrolit/sonnet.cgi limeriki/http:// hokku/http:// frog/renga/r-rules.htm ~roman_l/hyperfiction/ http://nagual.pp.ru/ razborka.html http:// www-koi.kulichki.com/ www-koi.kulichki.com/ http://206.42.196.13/ www.litera.ru/slova/ www.net.cl.spb.ru/ http://www.cs.ut.ee/ http://www.lib.ru/ ~ache/texts/ www.gazeta.ru/http:// centrolit/br.cgi http:// centrolit/sonnet.cgi limeriki/http:// hokku/http:// www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htm http://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/ http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgi http://206.42.196.13/limeriki/ http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htm http://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/ http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgi http://206.42.196.13/limeriki/ http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htm http://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/ http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgi http://206.42.196.13/limeriki/ http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htm http://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/ http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www.gazeta.ru/http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http://www.litera.ru/slova/hokku/ http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htmhttp://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/ http://www.lib.ru/http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html http://www. http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi http://www-koi.kulichki.com/centrolit/so nnet.cgihttp://206.42.196.13/limeriki/http:/ .litera.ru/slova/hokku/ ht tp:/

КНИГА И/ИЛИ КОМПЬЮТЕР

МИЛОРАД ПАВИЧ

Новеллы

Перевод с сербского Н. ВАГАПОВОЙ

Дамаскин

Новелла для компьютера и плотничьего циркуля

ЗОДЧИЕ

Однажды в конце XVIII века некий турок, паромщик на Дрине, тот самый, что варил куриные яйца для пущей сохранности в конской моче, удивленно и добросовестно сосчитав всех, кого перевозил, сообщил своему начальству, что в районе Осата на сербскую сторону переправились восемьсот сербских зодчих, каменщиков и плотников, причем все восемьсот по имени Йован. В порыве своеобразного строительного транса они буквально наводнили недавнее поле боя только что прошедшей австро-турецкой войны. Движимые столь же беспримерным порывом, предвкушая великие дела, навстречу им двинулись в долину Дуная зодчие и каменщики из Карловаца, Земуна, Сремской Митровицы, Нови Сада, Осиека, из Панчева, Румы — словом, кто из города, а кто прямо от сохи. Эти каменщики и «деревянных дел мастера», «инженеры», «баукюнстлеры», «баугаутпманы», плотники и столяры, а также отделочных и мраморных дел искусники днем покупали мулов, выбирая тех, что, пока щиплют траву и пьют, пускают в ход все пять органов чувств, ибо иначе какой же это мул, а по ночам видели себя стоящими на берегу исчезнувшего моря, и в их снах оно еще продолжало гудеть и катить волны распаханного чернозема с севера на юг Паннонии, ударяясь о горный хребет близ Белграда.

В кратчайшее время они восстановили с невиданным размахом и монастырь Месич, и подворье монастыря Врдник, воздвигли новые церкви в городках Крнешевци, Стара Пазова, Чортановци на Фрушка Гора и Буковац, достроили собор в городе Карловац, колокольню в Бешке, храм в Эрдевике, Николаевскую церковь в Ириге. Сербы из Равницы или из Боснии, а вместе с ними многочисленные чехи, немцы и фракийские валахи стали направо и налево заключать договоры, увенчивая их неуклюжими подписями — крестом, кириллицей или латиницей. Все восемьсот Йованов с той стороны Дрины, все эти Станаревичи, Лаушевичи, Влашичи, Аксентиевичи, Дмитриевичи, Ланеричи, Георгиевичи, Вагнеры, Майзингеры, Лангстеры, Хинтенмайеры, Бауэры, Эбени, Хаски, Киндлы, Бломбергеры и Гакеры пригоняли свои суда, груженные бревнами и камнем, своих коней, тащивших свинец, песок и известь, и видели во сне своих жен такими, какими они уже теперь, конечно, не были. Строители не умели плакать во сне, и это было невыноси-

© M. Pavih, 1998
© Н. Вагапова. Перевод, 1999

мо. Они наперебой предлагали свои услуги равнинным помещикам и сербским купцам, превознося свое искусство и с гордостью перечисляя свои титулы и рекомендации. Они, носившие усы кто по константинопольской, кто по венской, а кто и по пештской моде, предпринимали в двух империях, в Австрийской и Османской, неслыханные начинания в области строительства, получая за свой труд то императорские дукаты с изображениями Иосифа II и его матери, то старые цехины, то новые наполеондоры, то серебряные форинты и посеребренные перперы, не отказываясь, впрочем, ни от египетских динаров, ни от обрезанных и необрезанных турецких аспр, а иногда не брезгуя и древними фоларами, что ходили в Которе. Они строили и строили, не забывая проверять подлинность монет красным мускатным вином. Строили непрерывно. От усталости они временами забывали себя, свою жизнь, продолжая помнить только запахи...

Видя сны на пяти языках и осеняя себя двумя разными крестами, зодчие возводили новые православные церкви в местечках Бачевцы, Купиново, Мирковци, Яково, Михальевац, Бежания, что возле Земуна, и Добринци. Они споласкивали бороды в торбах своих лошадей. Охотнее всего брались они за постройки к северу от «соляной черты», что проходит по горному хребту близ Белграда, отделяя северные солончаки в тех местах, куда раньше доходило Паннонское море, от жирного южного чернозема в тех местах, где ни моря, ни соли никогда не было. Возводя сербские церкви над соляными залежами в долинах Дуная и Савы, они нарочно ели и пили с прищуром, чтобы построенное крепче стояло. Они поставили новые храмы и в Шиде, и в монастырях Яско и Кувеждин.

Затем, по приглашению митрополита Карловацкого, они перешли на плодородные земли, что южнее «соляной черты», и стали там соблюдать свои сербские, греческие и лютеранские посты, подновляя или заново строя монастыри Кривайя, святого Романа у Ражня, Памбуковица, Райиновац, Челие. Лупя лошадей по мордам наотмашь, как бьют жен, они прошли со своими мастерками и плотницкими топорами сербское восстание 1804 года, ибо сербские купцы, торговавшие свиньями, шерстью, зерном и воском, оплачивали эту революцию и точно так же оплачивали восстановление монастырей Крчмар, Боговаджа, Рача, что на Дрине, Волявча, Клисура на речке Моравице и Моравци под горой Рудник.

Одни зодчие и плотницких дел мастера, кормившие своих тяжеловозов солью и мукой, восстанавливали древние монастыри, пострадавшие во времена турецкого нашествия, — Манасия, Раваница, Преображение и Николье. Другие же в это время нанимались строить особняки для богатой знати.

Эти новые постройки хранили еще отпечатки древнегреческой архитектуры или стиля ампир — колонны, тимпаны, разорванные фронтоны. Таковы, например, дворец семейства Сервийски в Турецкой Каниже, или дом Чарноевичей в Оросине, или особняк семьи Текелия в Араде, или виллы Стратимировичей в Кулпине, палаты господ Одескалки в Илоке, особняки семейств Эльцов в Вуковаре, Хадик в Футоге, Гражалковичей в Сомборе или Марцибани в Каменице. Схожий облик приобрели штабы австрийских гарнизонов, которые были размещены на границе — в Петроварадине, Тителе, Земуне, в городах Панчево и Вршац. Новые каменщики, на чьих цеховых знаменах был начертан плотничий циркуль, отступили от традиций своих дедов и предшественников — от всех этих аляповатых табернаклей, витиеватых картушей, тяжеловесных карнизов. Используя одни только линейки и отвесы, эти мастера украсили здания магистратов в городах Карловци, Темишвар и Кикинда простыми фасадами с аттиками и овальными картушами, а затем и ампирными порталами с классической плоскостью фронтона. Дело венчали ампирные фасады курзала в Меленци и здание местной управы в Башаиде.

Не все авторы этих построек стали известны в равной мере. На заре нового, XIX века более прочих центров строительного искусства прославилось село Мартинци — благодаря одному человеку из рода потомственных зодчих, дававшего из поколения в поколение первоклассных архитекторов-левшей. Это был мастер Димитрие Шувакович. Начиная с 1808 года он со своими помощниками-мраморщиками строил все, за что только

пожелали платить купцы и богатые ремесленники в местечках Бановци, Кленак, Адашевац, Бешенова, Дивош, Визич, Гргуревци, Лединци, Нештин и Ямина. Его девизом было и осталось: «Если хочешь жить на земле долго и счастливо, ни в чем себя не щади».

Одному из самых своих почтенных заказчиков, господину Сервийски, Шувакович предложил соорудить в его имении грот, в котором поместил статую греческого бога. Для другого заказчика, его светлости благородного господина Николича фон Рудна, разбил рядом с его небольшим стильным особняком новомодный парк с античными мраморными урнами вдоль дорожек.

— А зачем они? — спросил Шуваковича заказчик.

— Чтобы собирать слезы.

— Слезы?! — изумился Николич и прогнал Шуваковича прочь.

ОБЕД

Кавалер ордена Золотого руна господин Николич фон Рудна был ректором сербских школ города Осиека и главным судьей жупании Торонталской и Сремской. То обстоятельство, что он во время войн с французами и турками предоставлял Австрийской империи беспроцентные займы, не помешало ему приобрести за 52 028 форинтов пустошь Рудна. В частной жизни господин Николич был человеком весьма чувствительным — он пьянел, едва увидев рюмку, и начинал стремительно толстеть, представив себе более двух блюд на столе. Сыновей у него не было. Была только дочь по имени Атиллия, и он дал ей образование, какое тогда давали мужчинам. Между прочим, дедушка Атиллии по материнской линии был известный педагог Мириевский, реформировавший школьную систему не только в Австрии, но и в России.

Фройляйн фон Николич впорхнула в свое пятнадцатилетие с «Вечным календарем» Захария Орфелина под мышкой и с ощущением, что время стоит на месте. Ей нравилось смотреть на птиц, летящих сквозь метель, глаза и груди у нее были крапчатые, как змеиные яйца. И она уже постигла искусство в мгновение ока надевать кольца на левую руку, не прибегая к помощи правой. Она носила платья венского покроя, высоко подпоясанные, с мелкой, похожей на укроп, вышивкой. При этом грудь, в соответствии с господствовавшим вкусом, прикрывалась прозрачной вуалью, сквозь которую должны были просвечивать мушки ее сосков.

— Вот глупые курочки, все хотят, чтобы их разбудил какой-нибудь петушок, — сказала она, глядя на них удивленно, точно видя в первый раз. Затем она обратила свой безжалостный крапчатый взор на отца. — Беда не в том, что ты прогнал Шуваковича, а в том, что ты его прогнал раньше времени. Подойди сюда. Взгляни в окно. Что ты там видишь? Естественно, лес. А как я сказала? Что я хочу видеть через это окно? Дворец, в котором я буду жить, когда выйду замуж. А в другом окне? Ну, скажи, что ты видишь?

На груди Атиллии, прямо на прозрачной вуали, трепетали две вышитые бабочки. Между ними на золотой цепочке висел дорогой отцовский подарок — швейцарские часы, усеянные драгоценными камнями. С обратной стороны в них был вделан компас.

— Ничего ты не видишь, — продолжала Атиллия бранить отца. — А кому я толковала, что должно быть видно через это окно? Церковь, в которой я буду венчаться. Ты выгнал Шуваковича. Где его теперь искать? Все твои дела мне приходится делать самой. Пришли-ка ко мне Ягоду.

Таким-то образом кучер Ягода получил от юной фройляйн Атиллии приказание найти архитектора получше изгнанного Шуваковича.

— Отыщи мне самого лучшего Йована из всех этих Йованов, — велела она ему. Ягода, как всегда, молча повиновался.

Когда он поступил на службу к Николичам, его прежде всего научили молчать. Это

было достигнуто следующим способом: целую неделю Ягода один день должен был держать полный рот воды, а другой день — полный рот ракии.

— Молчать, набравши в рот ракии, совсем не то, что набравши в рот воды, — так полагал господин Николич.

По соседству с их имением работал один из тех восьмисот плотников, что пришли из Осата. Не успел Ягода его привести, как фройляйн Николич спросила, который из Йованов самый искусный зодчий.

— Не тот ли, что работал у Стратимировичей?

— Нет, — гласил ответ, — лучших у нас двое. Одного назвали в память Иоанна Дамаскина, что строил в сердцах человеческих. А другого — в память отца церкви Иоанна Лествичника, который строил лестницу до неба. Дамаскину удаются самые красивые дома, а другой Йован преуспел в возведении церквей.

— Приведи ко мне обоих, — приказал Николич. — Пусть один построит дворец для моей дочери, а другой — церковь, в которой она будет венчаться.

В следующую же среду Ягода привез обоих Йованов в имение Николича обедать. Их усадили в столовой и подали им самый острый паприкаш и сухой чернослив, который хранился в трубочном табаке и впитал его приятный запах. Была открыта и бутылочка монастырского вермута из Фенека. За обедом договорились, что оба Йована через месяц предъявят Николичу свои чертежи: Йован, что постарше, — для храма, а Йован младший, по прозвищу Дамаскин, — для дворца.

— Платить буду каждый год за год вперед, но и то и другое должно быть готово в одно время, — сказал им Николич. — Храм ничего не стоит без дворца, а дворец — без храма. И то и другое должно быть готово к сроку. А срок — свадьба. Жених у Атиллии уже есть. Поручик Александр, молодой красавец из хорошей семьи. Его отец был генералом в России, а родом они из наших краев. Сейчас господин Александр служит у одного прелата в Верхней Австрии.

Старший зодчий, испуганный короткорукий человечек, был настолько молчалив, что, когда его вынуждали говорить, губы у него лопались, как рыбьи пузыри. Услышав, что ему предстоит построить церковь к венчанию барышни Николич, он озабоченно спросил, сколько же ей лет.

— Да она еще с детишками играет в десять слов на одну букву, — успокоил его господин Николич. — Ей только пятнадцатый год пошел.

В ответ на это старик нахмурился и начал что-то быстро подсчитывать карандашом на ладони. Младший зодчий вообще не произнес ни слова, и только когда господин Николич упомянул о том, что церковь и дворец надо строить рядом с его нынешним особняком, Дамаскин в знак несогласия несколько раз повел вправо-влево указательным пальцем.

— Строить будем на том месте, где дует только один ветер, — пояснил жест Дамаскина его сотоварищ, архитектор Йован.

Дамаскин был красивый левша с крепкими икрами ног и жесткой черной бородкой, стянутой в хвост золотой пряжкой. Запястья рук у него были перевязаны белыми платками, как у всех, кто искусно владеет холодным оружием. Когда такой человек сражается на ножах или на саблях, эти платки трепещут и ослепляют противника, который не может определить ни где острие сабли, ни с какой стороны защищаться. Но при молодом Дамаскине не было ни сабли, ни ножа. Подозрительно озираясь, он их оставил в прихожей. Он ничего не говорил, зато все время что-то делал руками. Во время обеда он смастерил из корки хлеба и лучинки для раскуривания трубок кораблик, который преподнес молодой хозяйке, вошедшей в столовую.

К изумлению отца и смущению гостей, Атиллия по случаю их прихода подрисовала своим грудям глаза и ресницы. Они смотрели на гостей из-под вуали в разные стороны, немного кося, но завораживая блестящими зелеными зрачками. Общее оцепенение нарушил Дамаскин. Он впервые раскрыл рот, обращаясь к Атиллии и протягивая ей кораблик.

— Это вам, прекрасная барышня, — сказал он.

Она же на это возразила:

— Если хочешь узнать, красива ли женщина, подожди, пока она зевнет, или улыбнется, или заговорит. Но главное — ты не узнаешь, хороша ли она, пока она не начнет есть у тебя на глазах. Поэтому я и не люблю, когда на меня смотрят во время еды. И моя собака тоже не любит…

Она взяла кораблик, подошла к подставке с трубками, выбрала одну из них, уже набитую, с длинным чубуком, и подала ее Дамаскину.

— Этот табак сушился вместе с черносливом и впитал его аромат, — сказала она.

Дамаскин взялся было за трубку, но Атиллия не выпускала ее из рук. Повернувшись, она повела молодого человека на длинном чубуке в свой музыкальный салон.

Они оказались в просторной зале с открытыми окнами. При входе на Дамаскина бросилась огромная борзая, к счастью привязанная к кожаному креслу со следами собачьих зубов. Атиллия моментально оказалась за роялем и тут же взяла первый аккорд. Пес сразу успокоился и, поскуливая, забрался в свое кресло. Рояль стоял посреди залы, похожий на лакированный фиакр с двумя фонарями. Ножки его были обглоданы, черные клавиши казались огромными. Маленькие белые клавиши были сделаны из слоновой кости. Атиллия заиграла. От этих звуков все, что было в комнате, загудело, заколыхалось, словно закипело где-то в недосягаемой вышине, а потом сорвалось и с грохотом обрушилось наземь. Дамаскин захлопал в ладоши, пес снова заскулил. Атиллия стремительно оборвала игру.

— Вы, наверное, думаете, что я играю? — насмешливо обратилась она к Дамаскину. — Вовсе нет! Это я музыкой поливаю цветы под моим окном. Они от этого лучше растут… Есть песни, которые цветам особенно нравятся. Точно так же, как некоторые песни нравятся нам. Но есть и другие песни, особенно редкостные и дорогие, — те, которые умеют любить нас. Многие из этих песен мы не слышали и никогда не услышим, потому что тех песен, что умеют нас любить, гораздо больше, чем тех, которые мы любим. Это относится и к книгам, картинам или домам. А что можно сказать о домах? Просто одни дома обладают даром нас любить, а другие — нет. Каждый дом — это, в сущности, непрерывная переписка строителя с теми, кто в нем живет. Жилища людей — как письма, хорошие или плохие. Жизнь в доме может походить на деловую переписку, или на обмен письмами двух врагов, ненавидящих друг друга, или на обмен посланиями господина и слуги, пленника и тюремщика, но может быть и любовной перепиской… Ведь жилища́, так же как и мы, бывают женского или мужского рода. В этом-то все дело. Я хочу, чтобы ты мне построил дворец, похожий на любовное письмо. Знаю, не каждому дано разжечь огонь. Некоторым это не удается. Но ты сможешь. Я знаю, что сможешь.

— А откуда вы знаете, высокочтимая барышня? — спросил Дамаскин, надевая колечко дыма, пахнувшего черносливом, прямо на нос борзой. Пес чихнул.

— Откуда я знаю? Ну ладно, слушайте, господин мой! Когда мне пошел седьмой год, у меня появились первые мысли. Причем реальные и крепкие, как веревки. Длинные, аж до Салоник, и натянутые так туго, что прижимали мои уши к голове. А над ними витали такие же крепкие чувства или мечты, как хотите. Всего этого было так много, что мне пришлось научиться забывать. Я забывала не пудами или килограммами, а тоннами, причем каждый день. Тогда-то я поняла, что могу и буду рожать детей. И сразу решила попробовать. В тот же день, в четверг, ближе к вечеру, без промедления, я мысленно родила мальчика трех лет и стала его любить и воспитывать. Ведь любовь — это нечто такое, чему надо учиться, в чем надо упражняться. Кроме того, любовь — это нечто, что надо украсть. Если не красть каждый день у самого себя немножко сил и времени для любви, никакой любви не получится. В мечтах я кормила мальчика грудью и заметила у него на предплечье шрамик, похожий на закрытый глаз. Я мыла ему головку вином, в мечтах целовала его в ушко как можно громче, чтоб память была хорошая, играла с ним в десять слов на одну букву, учила его смотреть на мою буссоль, бегать наперегонки до

реки и обратно, строить на Тисе домики из песка... Он рос быстрее, чем я, и на моих глазах становился старше меня. Я мысленно отправила его учиться. Сначала в Карловци, в сербско-латинскую школу, а потом в Вену, в военно-инженерное училище, чтоб он стал лучшим архитектором, чтоб строил самые красивые дома... С тех пор я его не видела, но не переставала любить. Я совершенно ясно представляю себе, как он сейчас выглядит где-то там, далеко, и очень без него скучаю. Без моего мальчика...

— Прекрасный рассказ, барышня Атиллия. Но в нем нет ответа на мой вопрос. В нем нет ни вашего дворца, ни меня. Или вы думаете, что ваш воображаемый подросший мальчик выстроит вам дворец?

— Выстроит, — отвечала Атиллия, отходя от рояля. Быстрым движением она завернула рукав рубашки Дамаскина, и на его предплечье оказался шрам, похожий на закрытый глаз.

ПЕРВЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Читатель может сам выбрать, в каком порядке ему читать следующие две главы. Можно читать сначала главу «Третий храм» (стр. 146; если же вы читаете с компьютера, то щелкните два раза «мышью» на это слово). Можно читать сначала главу «Дворец» (стр. 148, или же два щелчка «мышью» компьютера на это слово). Разумеется, читатель может пренебречь нашими предложениями и читать так, как он привык, как любую другую новеллу.

ТРЕТИЙ ХРАМ

Точно в праздник святого Андрея Первозванного архитектор Йован по прозвищу Лествичник принес господину Николичу фон Рудна чертежи нового храма Введения, о котором было договорено, что он будет воздвигнут в поместье Николича над Тисой и передан во владение барышни Атиллии. Подходящее место выбрал сам зодчий — там, где, как он пояснил, дует только один ветер. Когда мастер развернул свои чертежи в столовой у Николича, они заняли весь стол.

В церкви должно было быть семь окон. Рядом с алтарем были предусмотрены сиденья для семейства Николич с их гербами над спинками.

Господин Николич долго рассматривал чертежи, а потом сказал:

— Мастер Йован! Здесь чертежи для трех церквей, причем совершенно одинаковых. А ведь я заказывал только одну.

— Чертежи и вправду на три церкви, но вам, господин Николич, придется платить только за одну. Первая, та, что нарисована зеленым, будет стоять у вас перед глазами в вашем саду. Строить ее не надо, она сама по себе вырастет.

— Да что ты мне плетешь небылицы про чудеса в решете! С каких это пор церкви растут сами по себе!

— Растут, и вы сами в этом убедитесь, господин Николич. Я завтра же пришлю к вам трех садовников, и они точно по моему чертежу посадят в вашем саду самшит! Он будет расти примерно с той же скоростью, с какой я буду возводить каменную церковь в назначенном месте, в вашем поместье над Тисой. Эта церковь здесь, на моих чертежах обозначена желтым. Мои садовники будут каждую неделю подстригать самшит в соответствии с чертежом, а вы из своего окна сможете наблюдать, насколько мы там, я и мои каменщики и мраморщики, продвинулись в строительстве храма над Тисой. Вы все увидите в окошко — и когда будут делаться дверные своды, и когда воздвигнут алтарь, и когда поднимется купол. Дай бог начать, и сделаем все по порядку и вовремя…

— Красиво и складно рассказываешь, мастер. Но скажи мне, для чего третья церковь? Вот этот третий чертеж фиолетовыми чернилами?

— Это тайна, которая откроется только под конец строительства. Потому что без тайны нет удачной постройки, как нет и настоящего храма без чуда.

На том они и расстались, и архитектор Йован стал строить над Тисой храм Введения Богородицы, а господин Николич показал Атиллии в окошко растущую у них в саду самшитовую рощицу, подстриженную в виде церкви, распахнутые двери которой представляли собой аллею сада. Атиллия каждое утро гуляла по этому естественному храму, иногда останавливалась перед зеленым алтарем на том месте, где должна будет венчаться, а однажды вечером в понедельник увидела в первое окошко, прорубленное в новой церкви, вечернюю звезду. Самшитовый храм тянулся к небу.

Разумеется, время от времени Атиллия и ее отец ездили к Тисе и наблюдали, как в их поместье воздвигается храм Введения Богородицы из камня и мрамора. С не меньшим интересом они наведывались и на другую стройку — дворец Атиллии, который строил Дамаскин. Но сам Дамаскин редко бывал на стройке. Он словно от кого-то скрывался.

И тут случилось нечто непредвиденное.

Однажды утром к господину Николичу пришел Ягода и доложил:

— Самшит перестал расти!

— Ну и что из того, — оборвал его господин Николич. — Я этот храм из самшита не заказывал и за него не платил.

Однако тут же решил лично убедиться на месте, как обстоят дела, и срочно отправился на Тису посмотреть, когда он сможет принять законченный храм и освятить его. Но в своем храме он обнаружил меньше окон, да еще и на одну дверь меньше, чем раньше. А из каменщиков и мраморщиков не застал никого.

«Да. Дело и впрямь поползло по всем швам», — подумал господин Николич.

Он поступил по своей старой, проверенной привычке. Чтобы выяснить, что происходит, он не позвал зодчего храма, Йована по прозвищу Лествичник, но приказал Ягоде хоть из-под земли достать и привести к нему его соперника, Йована Дамаскина. Он не мог себе представить двух подрядчиков, которые не ревновали бы друг к другу в работе, а в жизни не были бы злейшими врагами. Дамаскин появился через два дня, с перевязанной головой. Его явно кто-то поранил. Сквозь повязку проступала кровь.

— Что с церковью? — спросил его взволнованный Николич.

— Сами видите. Они больше не строят.

— Как это больше не строят? Почему?

— Что-то мешает Йовану закончить храм, — отвечал Дамаскин. — Самшит перестал расти.

— Да что вы мне все о самшите да о самшите толкуете! — вскричал господин Николич. — Что мне за дело до самшита! Я Йовану заплатил за церковь, которую он будет строить из камня, и он должен строить из камня. Разве он не может достроить недостающее?

— Господин мой, Йован может и дальше строить из камня. Но если самшит не рас-

тет, это значит, что не растет и третий храм, который вы видели на плане — фиолетовый. А ведь каменный храм продвигается здесь ровно на столько пядей, на сколько пядей продвигается строительство того, третьего храма...

— И что теперь делать?

— В чем-то вы согрешили, господин Николич. Или кому-то должны остались, или кусок изо рта у кого-то вырвали. Когда вспомните, в чем согрешили и кому нанесли урон, покайтесь и искупите свой грех или долг верните, и тогда Йован вам достроит церковь.

— Да скажи, бога ради, Дамаскин, где же строит Йован этот третий храм?

— На небе. Третий храм Йован всегда строит на небе.

Если вы уже прочли главу «Дворец», направляйтесь ко «Второму перекрестку». Если нет, читайте следующую главу.

ДВОРЕЦ

Как и было условлено, точно в день святого Андрея Первозванного, после обеда, зодчий Йован, прозванный Дамаскином, принес господину Николичу фон Рудна чертежи дворца, который он собирался строить в его поместье над Тисой. На благоприятном месте, где дует только один ветер. В столовой особняка Николича над бумагами склонились Атиллия, ее отец и Дамаскин. Его запястья опять были перевязаны белыми платками. Саблю и нож он оставил в прихожей.

Фасад здания, согласно чертежам, должны были венчать четыре колонны, которые будут держать тимпан. В доме предполагался большой холл с камином и две прекрасные жилые комнаты — просторная прямоугольная столовая и спальня.

— Хорошо ты все это придумал, сын мой, — сказала Дамаскину Атиллия, направляясь в свою комнату, к борзой собаке и роялю. В дверях она обернулась и добавила: — Посмотрим, оправдаешь ли ты мои ожидания. А какие это ожидания, ты, сынок, хорошо знаешь. Я тебе в прошлый раз сказала. Дворец как любовное письмо.

И она навела на него ладонь своей левой руки с двумя кольцами, повернутыми камнями внутрь. Они глянули на него как два голубых глаза. Точно чары на него напустила... Затем каждую субботу Атиллия приказывала Ягоде закладывать лошадей и ехала, с отцом или без него, на Тису. Дворец рос быстро. Но Дамаскина на строительстве почти никогда не было. Стены уже поднялись выше чем в рост человека с вытянутой рукой, а Атиллия за все это время едва ли сумела два раза перекинуться словами со своим зодчим. Он точно избегал Николичей. Потом вдруг все обернулось иначе. Дамаскин попросил господина Николича срочно приехать на берег Тисы. Еще когда закладывали фундамент, Дамаскин нашел в земле мраморную статую женщины. Волосы и глаза у нее были зеленые, а тело темное, почти черное. Девушка словно кого-то подзывала к себе согнутым указательным пальцем. Дамаскин предложил Николичу поставить эту статую в холле дворца.

— Как, эту уродину? — воскликнул Николич, едва глянув на скульптуру.

Тогда Дамаскин схватил молоток и отбил у статуи руку. Брызнула какая-то красноватая жидкость, похожая на ржавую воду. На камне проступили жилки, мускулы и кости, как на живом теле, только мраморные.

Узнав о случившемся, Атиллия чуть не убила отца, но было уже поздно. Дамаскин уже куда-то перенес статую, в поместье ее больше не было. С тех пор начались неприятности. Атиллии больше ни разу не удалось встретиться со своим «сыночком» Дамаскином. Вскоре Ягода принес вести невероятные и совсем плохие.

— Теперь все ясно, — рассказывал кучер, не переводя дыхания. — Понятно, почему Дамаскин все время носил с собой саблю и нож. Поговаривают, он большой любитель женского пола. Брошенные его женщинами любовники, женихи и мужья клялись,

что головы ему не сносить. Справедливости ради, надо сказать, что на днях Дамаскин ваш дворец над Тисой уже подвел под крышу и даже мебель расставил. Но в первую ночь, когда он там решил переночевать, на него напали и ранили. Неизвестный злодей неслышно подкрался к месту, где спал Дамаскин, и убил бы его, не случись с ним, с позволения сказать, незадача. Нападавший нарочно не поужинал, как это делают и дуэлянты перед поединком. И потому, когда он крался во мраке, у него громко забурчало в животе. Дамаскин проснулся, и это спасло ему жизнь. Увернувшись от сабельного удара, он успел схватить свой нож. В короткой схватке Дамаскин был ранен в голову, но сумел отрубить нападавшему указательный палец. Тот бежал без пальца, а Дамаскина нашли окровавленным на постели…

Услышав эту новость, Атиллия и ее отец помчались в поместье, но Дамаскина там не было. Посреди огромного парка возвышался неоштукатуренный дворец. Вокруг него стояли помощники Дамаскина.

— Где Дамаскин? — спросила испуганная Атиллия.

— Где Дамаскин? — спросил разгневанный господин Николич.

— Его увезли. Он ранен. Он нам велел спросить с вас плату. За двенадцать месяцев мы построили то, что другие строят три года, а вы нам заплатили только за год вперед.

Услышав это, господин Николич пришел в бешенство:

— Слушайте меня хорошенько и плюньте мне в глаза, если я вру! Ни гроша не получите, пока не закончите постройку!

С тем он и вернулся домой.

В подобных случаях господин Николич никогда не разговаривал с тем, чьими поступками был недоволен. Он не стал разыскивать раненого зодчего Дамаскина, но призвал его соперника, Йована Лествичника, архитектора храма, и попросил его поподробнее объяснить, кто такой и что такое этот Дамаскин.

— Подобно святому отцу Дамаскину, названный его именем зодчий Йован пользуется какой-то небесной математикой, отличной от здешней, земной, — отвечал Йован Лествичник. — По крайней мере, настолько же, насколько святая лингвистика Оригена[1] отличается от нашей земной грамматики…

— А нельзя ли попонятнее и поближе к Дамаскину? — прервал мастера господин Николич.

— Можно. Дамаскин владеет великим искусством. Это — искусство спать. Он встает до зари, кормит своих лошадей, обходит стройку, завтракает. Потом, прислонившись к дому, который он строит, несколько минут дремлет стоя. Второй раз, после обеда, присев на корточки в тени у стены, он во сне обегает свои воспоминания. В третий раз, после ужина, он укладывается и спит положенную ему часть ночи… Да, чтобы не забыть, — заключил свои рассуждения мастер Йован, — Дамаскин просил вам передать, что больше строить у вас не будет, и прислал вам эту шкатулку.

Когда господин Николич фон Рудна открыл шкатулку, он увидел в ней окровавленный указательный палец.

Если вы не читали главу «Третий храм», читайте эту главу на стр. 146. Если же читали, продолжайте чтение и направляйтесь ко «Второму перекрестку».

[1] Ориген — знаменитый христианский богослов и философ, живший в Александрии (ок. 185 — ок. 254 г. н. э.) *(Прим. перев.)*.

ВТОРОЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Читатель может сам выбрать, в каком порядке читать следующие две главы. Можно читать сначала главу «Спальня» (стр155; если же вы читаете на компьютере, щелкните два раза «мышью» на это слово). Или читайте сначала главу «Столовая» (стр.150 или два щелчка «мышью» компьютера на это слово). От вашего выбора зависит, какая из этих двух глав станет концовкой новеллы.

СТОЛОВАЯ

Каждый новый ключ приносит только новые заботы, утешала себя Атиллия, разглядывая незаконченные покои своего дворца над Тисой. Она безуспешно искала Дамаскина, но не для того, чтобы заставить его кончить работы, а для того, чтобы доказать самой себе, что ее «сыночек» действительно может построить красивый дворец. Но зодчий исчез. Даже Ягода был не в силах его разыскать. И все же Атиллия с удовольствием ходила по недостроенному дому, мечтала и рассматривала красивые вещи, которые Дамаскин собирал для нее и которые теперь валялись в беспорядке там и сям. Иногда ей казалось, что Дамаскин ей где-то оставил послание или письмо. Она не могла поверить, что он уехал, не сказав ей на прощанье ни слова. Правда, извинением могло послужить то, что он ранен, но ей причиняла досаду мысль о том, что он, еще не сняв повязки, все-таки побывал в доме ее отца, а с ней не захотел говорить. Коротко сообщил то, что знал о своем тезке, архитекторе Йоване, и все.

Однажды, задремав после обеда на диване в недостроенном дворце, Атиллия услышала сквозь сон какие-то звуки. В холле были свалены всевозможные еще не расставленные по местам предметы, и один из слуг Николича переписывал их, громко произнося их названия. Он повторял по слогам, глядя в свой список: «Стул, стол, еще два стула, сеть, сумка, сито, ступка, солонка...»

Атиллия вдруг поняла, что названия всех этих вещей начинаются на одну букву. Как будто Дамаскин затеял с ней игру в десять слов на одну букву. Правда, это свидетельствовало только о том, что Дамаскин запомнил сказанное отцом за обедом о ее играх. Или ему запало в память, что она девочкой воображала, как она играет в эту игру со своим сыном. Атиллия была тронута. Во всем этом, несомненно, содержалось послание, но какое-то странное. Из слов на букву «с» ничего не складывалось.

И тут Атиллию осенило. Она достала из ящика ключ от столовой и кинулась туда. Столовая ее поразила. Стены еще были голые, кирпичные. Зато потолок был закончен полностью. Покрытый лепниной, он сверкал позолотой. На потолке было представлено синее небо с солнцем, луной и звездами. Самым необычным казалось солнце, изображенное в виде золотых часов, которые, правда, не шли. А стояли, показывая без десяти десять. На небе оказалось и еще оно чудо: на нем сияли всего четыре звезды. Та, что была в самом нижнем краю неба, находилась над одним из окон. На подоконнике лежал под стеклянным колпаком кораблик, совсем такой же, как тот, что Дамаскин сделал из корки хлеба и лучинки для раскуривания трубок и преподнес Атиллии в день, когда он впервые появился в доме ее отца.

«Речь идет о плавании, — подумала Атиллия, — значит, Дамаскин приглашает меня в путешествие. И я должна ориентироваться по звездам, чтобы не заблудиться. Но это еще не все...»

И она стала внимательно рассматривать вещи, стоявшие вдоль стен. На первый взгляд они были поставлены как попало. Она задумалась, потому что названия предметов в столовой не начинались на одну букву, как в холле. Надо было попробовать по-другому. Она стала называть первые буквы вещей, начав справа от входа и двигаясь влево, но ничего не получилось. Тогда она двинулась слева направо, и тут сердце у нее запрыгало от

счастья. Она обнаружила послание. Оно гласило нечто странное и непонятное, но все же первые буквы названий вещей складывались в три слова. «Аршин = сто миль», — сказали ей предметы, стоявшие вдоль стены дворца. Фраза заканчивалась ложкой, лежавшей на одном из подоконников. Несомненно, Дамаскин ей оставил письмо. Надо было только суметь его прочитать.

— Ягода! — Развеселившись, Атиллия позвала кучера и велела ему измерить расстояние от первой до второй звезды на потолке в столовой.

Он оторопел, но повиновался.

— Полтора аршина, — сообщил он с лестницы.

— Какой город расположен отсюда в ста пятидесяти милях? — заторопилась Атиллия.

— Смотря в какую сторону ехать, барышня. Мы, так сказать, находимся в Аде. Если поехать на юг, кто его знает, куда доедем, может, до Белграда, а может и дальше…

«Значит, мы еще ничего не узнали, — подумала Атиллия и взглянула еще раз на солнце-часы. — А что, если на него посмотреть как на компас?» Часики-компас как раз висели у нее на груди на золотой цепочке.

Она открыла их.

— Без десяти десять значит северо-запад! — воскликнула она. И спросила Ягоду: — Какой город находится в ста пятидесяти милях отсюда на северо-запад?

— Будапешт, дорогая барышня, какой же еще!

— Измеряй дальше! — крикнула ему снизу Атиллия.

Расстояние от второй до третьей звезды на потолке столовой было аршин с четвертью, так что от Будапешта следовало проехать еще примерно сто тридцать миль.

Теперь Атиллия могла ориентироваться на небесной карте Дамаскина без компаса, с помощью звезд. Вторая часть пути вела почти прямо на запад. Звезды на небе над столовой показывали это совершенно ясно.

Расстояние от третьей до четвертой звезды было чуть больше аршина, что составляло, если подсчеты Атиллии были точны, еще около ста миль. Потом звезды повели ее дальше на запад. Но четвертая звезда была изображена не так, как остальные. Она была обозначена золотым крестом.

— Запрягай! — закричала Атиллия Ягоде, смеясь про себя и думая: «Неужели Дамаскин хочет меня отправить в монастырь?»

На следующий же день она выпросила у отца разрешение попутешествовать. Он выделил ей позолоченную лакированную коляску, кучера Ягоду, борзых собак и своих вооруженных охотников, которые должны были их сопровождать на лошадях. Охотников Николич нарядил в парадные костюмы. Днем раньше выслали вперед гонца на быстром иноходце. Он должен был найти им пристанище в Будапеште. На следующий день рано утром Атиллия посадила рядом с собой в коляску свою борзую, обитавшую в музыкальном салоне, и они тронулись в путь. Она переночевала в Пеште и позавтракала в Буде пирожными в кондитерской, а Ягоде велела тем временем расспросить, что находится на расстоянии ста тридцати миль западнее Будапешта.

— Как — что там находится? — отвечал, изумившись, кондитер. — Да это каждый знает. Там Вена.

— Ну, тогда гони в сторону Вены!

И юная барышня Атиллия направилась в Вену, размышляя, что же будет после Вены, в то время как Ягода размышлял о ночлеге для нее, для своих людей, лошадей и собак. Приехав в Вену, Атиллия, согласно указаниям Дамаскина, обнаруженным в столовой, приказала ехать дальше на запад. В Санкт-Пёльтене они остановились перед витриной, где было выставлено множество сверкающих лаком скрипок.

Над входом была надпись золотыми буквами:

ЭВСТАХИУС ШТОСС

На этот раз Атиллия решила сама узнать дорогу.

— А что, нет ли на пути к Линцу какого-нибудь большого монастыря? — спросила она у старого продавца скрипок.

— Как не быть, — ответствовал тот. — Там, gnädiges Fräulein, Кремсмюнстер!

Спустя пять дней Атиллия сидела в гостинице в городе Кремсмюнстере и писала письмо отцу. Ей хотелось поведать ему хотя бы частичку незабываемых впечатлений, которые она испытала в этом городке за последние три дня.

Дорогой отец, город Кремсмюнстер расположен на равнине, в долине речки Кремс. Городок невелик, но в нем есть очень красивые дома. Неподалеку от города, в стороне, возвышается гора, а на ней большой монастырь дивной красоты. В нем живут монахи католической веры, именуемые бенедиктинцами. Старший над ними — прелат (что соответствует сану архимандрита). Город принадлежит монастырю. Не успели мы к нему подъехать на расстояние двух миль, как показался посланный прелатом форстмайстер (то есть главный лесничий), который вскоре приблизился к нам. Он ведает всеми землями и лесами города и монастыря, а также охраняет зверей и птиц и надзирает за рыбной ловлей в прудах. Лесничий ехал впереди, а за ним ехали четыре разодетых охотника с ружьями. Подъехав к нам, он спросил, кто у нас главный. Ягода, ехавший впереди всех в своем парадном костюме, ответил, что он. Тогда главный лесничий, сняв свою зеленую бархатную шапочку с белым плюмажем, передал нам приветствие от прелата и его просьбу не убивать животных и птиц. Услышав эту просьбу, Ягода тут же запретил всем стрелять или травить зайцев собаками и сказал главному лесничему, что он лично гарантирует сохранность монастырских угодий и что никакого урона от нас не будет.

Он приказал нашим охотникам, которые вели охотничьих собак, немедленно их привязать. Я велела слуге взять на поводок и моего пса. И в самом деле, если бы мы их не привязали, был бы большой урон. Никто из нас раньше не видывал такого обилия зайцев и всяческой птицы, таких больших стад оленей и серн.

Заметив нашу предупредительность, главный лесничий велел своим охотникам подстрелить двух фазанов. Это оказалось совсем не трудно, потому что вокруг было множество фазанов, и в траве и на деревьях. Охотники тотчас же выполнили приказание, а главный лесничий преподнес их нам, передавши нашему кучеру. Проехав с нами еще с полмили, главный лесничий попрощался с Ягодой и поскакал со своими людьми в город. Мы поскакали за ним вслед и, въехав в город, разошлись кто куда на ночлег.

В тот же вечер прелат послал к нам двух монахов, которые от его имени пригласили меня и всех нас завтра на обед. Согласно этому приглашению мы и приехали на следующий день около одиннадцати часов в монастырь.

В прихожей нас весьма любезно встретил прелат. Он пригласил нас в свои покои и предложил сесть. Принесли кофе и ракию. Каждый угощался чем хотел. Прелат беседовал с нами о разных вещах, о войне и о стране, откуда мы приехали. Так прошло время до обеда.

Когда мы вошли в залу, обед уже стоял на столе. Вся посуда была серебряная, а стол мраморный, длиной в два с половиной аршина, а шириной около двух. Все на нем переливалось разными красками — красной, зеленой, голубой, белой и желтой. Гладкие края стола в ладонь шириной позолочены. Посреди стола стояло большое плоское блюдо шириной почти в аршин. Через центр блюда проходит трубочка, уходящая в ножку стола. На трубочке закреплен отлитый из серебра кит. Он изображает того кита, который исторг из своей утробы пророка Иону. Как нам сообщили, один только кит, не считая блюда, весит двадцать фунтов. Чешуйки на нем частью золотые, они вставлены среди серебряных чешуек. На большом обруче закреплены два колеса, одно серебряное, другое золотое, а на них позолоченные чаши голубого хрусталя с пивом. Потом в них же наливалось и вино.

Как только мы сели за стол, прелат прикоснулся рукой к блюду, и из ноздрей кита брызнули две струи воды. Они были толщиной с гусиное перо, а высотой около двух аршин. Такие же струи полились и из пасти кита, а из его ушей потекли маленькие струйки, тонкие как нити.

Весь потолок в зале расписан золотом и картинами, представляющими разные исторические сюжеты. Стены вытесаны из каменных плит. В том углу, где стоит стол, сделан мраморный бассейн, к которому ведет из стены медная позолоченная труба с краном. Из этого крана течет и сливается вниз холодная вода. Из него наливали воду и подавали ее в чашах на стол. В этом же бассейне под проточной водой споласкивали чаши. В дверях и на окнах дорогие занавеси, украшенные золотой бахромой, кистями и шнурами. Во время обеда на церковном органе исполнялись разные мелодии. Пол там выложен паркетом орехового дерева с инкрустациями из разных других пород.

После обеда мы снова перешли в покои прелата, где был накрыт десерт и подан кофе.

На другое утро после визита прелат приставил ко мне господина, который будет меня сопровождать до Вены, а если понадобится, и дальше.

— Это молодой человек в чине поручика, мое доверенное лицо, — добавил он, — вы с ним уже знакомы. Он вчера с нами обедал.

Таким образом, дорогой отец, все завершилось наилучшим образом, и завтра я возвращаюсь к тебе.

Твоя дочь Атиллия

Атиллия тронулась в обратный путь под впечатлением великолепного визита к прелату. Поручик на прекрасном вороном коне действительно сопровождал ее. В Санкт-Пёльтене он угощал ее в ресторане лимонадом. Под вечер Атиллия пригласила поручика, весь день скакавшего рядом с ее экипажем, пересесть в коляску. Не замедляя галопа своего коня, он передал поводья кучеру Ягоде, прильнул к лошади, вынул ноги из стремян, прямо на скаку встал на подножку и вошел в коляску.

Пес Атиллии сначала зарычал, но потом стал к нему ласкаться. Устроившись на сиденье, поручик достал из-за обшлага мундира книгу.

— Что это у вас, господин поручик? — с улыбкой спросила Атиллия.

— Нечто такое, что вам, безусловно, захочется почитать и что вас, как я надеюсь, приятно удивит.

— Не так-то легко меня удивить, господин поручик.

— Тогда читайте.

Поручик протянул свою руку в черной перчатке с золотым перстнем-табакеркой и передал книгу Атиллии.

На обложке было написано:

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
И КАВАЛЕРА СИМЕОНА,
СЫНА СТЕФАНА ПИШЧЕВИЧА,
за годы 1744 — 1784.
Вена, 1802

Атиллия открыла книгу, и поручик указал ей место, с которого надо начинать чтение. В книге было написано дословно следующее:

«...город Кремсмюнстер расположен на равнине, в долине речки Кремс. Городок невелик, но в нем есть очень красивые дома. Неподалеку от города, в стороне, возвышается гора, а на ней большой монастырь дивной красоты. В нем живут монахи ка-

толической веры, именуемые бенедектинцами. Старший над ними — прелат (что соответствует сану архимандрита). Город принадлежит монастырю. Не успели мы к нему подъехать на расстояние двух миль, как показался посланный прелатом форстмайстер (то есть главный лесничий), который вскоре приблизился к нам. Он ведает всеми землями и лесами города и монастыря, а также охраняет зверей и птиц и надзирает за рыбной ловлей в прудах. Лесничий ехал впереди, а за ним ехали четыре разодетых охотника с ружьями...»

Атиллия, пораженная, продолжала читать описание поездки в Кремсмюнстер в 1744 г. Все описанное совпадало с ее впечатлениями и было написано слово в слово точно так, как она написала отцу. И олени, и серны, и встреча с главным лесничим и его охотниками, и как привязали собак, и как люди главного лесничего отстрелили дичь и подарили ее гостям, и роскошный обед у прелата, и серебряная посуда, и мраморный стол с фонтаном в виде кита с золотой чешуей... И наконец, мелодии, исполняемые на органе. В конце этой части стояли следующие слова:

«После обеда мы снова перешли в покои прелата, где был накрыт десерт и подан кофе».

Некоторое время Атиллия, не говоря ни слова, сидела с книгой в руках на сиденье, обитом бархатом под цвет ее волос. В книге все совпадало с тем, что только что случилось в ее жизни.

— Боже мой, где вы раздобыли эту прелесть? И кем вам приходится этот Пишчевич? Он ваш родственник? — оторопело спрашивала Атиллия своего спутника, возвращая ему книгу с некоторым испугом: ведь совпало даже число преподнесенных фазанов. — Я уж и не знаю, была ли я в гостях у прелата позавчера или сто лет тому назад. Вернулась ли я только что из Кремсмюнстера или вышла из этой книги.

— Прямо из книги, прекрасная барышня Атиллия, — отвечал поручик и, меняя тему разговора, спросил: — У вас, наверное, в Кремсмюнстере было много поклонников?

— О да, разумеется. Но дайте мне немного прийти в себя. Вы меня просто огорошили... впрочем, в Кремсмюнстере меня особенно поразил один молодой господин. Некий Александр.

— Расскажите. Теперь ваша очередь меня удивлять. Но имейте в виду, барышня Атиллия, меня трудно удивить... Итак, я весь внимание.

— Вы настаиваете?

— Я весь обратился в слух.

— И есть ради чего. — Атиллия расхохоталась. — Чтоб мне провалиться на этом месте!.. Однажды утром Александр, красивый, чернявый и волосатый, уселся на мою постель, что вся в цветочках, и стал со мной говорить, пожирая меня глазами. Всю по частям. Особенно груди. И губы. Повалил меня и ушел. Я стала думать, а что, собственно, он от меня хотел?.. После обеда он опять пришел, стройный, чернявый, с мягкими волосами и крепким задом. Опять уселся на мою постель, всю в цветочках, говорит, говорит, словно вода журчит. И опять стал меня хватать за груди, овладел мной и снова ушел. Я так и не знаю, что ему было нужно и зачем он ко мне приходил?.. Утром опять приходит, красивый, плечи шириной с двустворчатую дверь. Опять присел на мою постель, что вся в цветочках. Всю меня обласкал, опять повалил и ушел. И так каждый день. Я и вправду не понимаю, что ему от меня было нужно. Что вы на это скажете, поручик?

Они оба расхохотались. Поручик обнял Атиллию и сказал:

— Я знаю, что ему было нужно. Он хотел к вам посвататься, дорогая барышня Атиллия.

С этими словами поручик посадил Атиллию к себе на колени и стал ласкать ее груди. Атиллия в экстазе шептала ему на ухо: «Поспеши! Догоняй меня, а то я скоро кончу».

После любовных объятий, блаженно предаваясь покачиванию коляски на руках своего возлюбленного, барышня Атиллия подумала: «Лучшего Александра, чем этот Александр, мне не найти».

Она не могла видеть, что на обнимавшей ее руке жениха под перчаткой был серебряный наперсток вместо указательного пальца.

Если вы не прочитали главу «Спальня», обратитесь к ней. Если прочитали, то для вас новелла на этом заканчивается.

СПАЛЬНЯ

Пес всегда улучал момент, когда Атиллия не поливала музыкой свои цветы, чтобы погрызть ножку рояля. Так случилось и этим утром. Атиллия не играла. Она плакала и писала на крышке рояля письмо. Собака время от времени прерывала свое неторопливое занятие, чтобы взглянуть на расстроенную хозяйку.

Дорогой и уважаемый мастер Йован, как вам известно, мой отец прогнал Дамаскина и его работников, не расплатившись с ними. Говорит, что не желает оплачивать недостроенный дом. Как будто они в этом виноваты. Вам он тоже не хочет платить, потому что, как он сказал, самшит перестал расти.

Меня мучают угрызения совести, потому что во всем виноват мой отец. Кто знает, как и в чем он согрешил. Поэтому я посылаю вам сумму, которая покроет ваши расходы, а также деньги для Дамаскина и его работников, чтобы возместить их труды по постройке дворца. Вы один сможете их разыскать и отдать им деньги, а тем самым возместить долг моего отца. Ни я, ни мой кучер не могли их найти. Если там есть что лишнее, употребите эти средства на построение церкви для тех, у кого растет самшитовый храм.

Мне очень жаль, что вся эта история с моим задуманным венчанием кончилась так бесславно. Зато можно по вечерам смотреть на звездное небо, над которым во Вселенной простирается огромная, Всеохватывающая Мысль...

Ваша названная дочь
Атиллия

После того как деньги и письмо были вручены, Атиллия начала выводить на прогулку отцовских борзых, чтобы они могли сточить свои когти. Была весна. Сад, уже давно засаженный по особому плану, испускал по утрам ароматы. Специально подобранные цветы и растения создавали ощущение свежести в полуденную жару, а ночные цветы откликались волнами своих запахов на лунный свет.

Атиллия проливала слезы в урны, некогда поставленные вдоль дорожек злополучным Шуваковичем, время тянулось, проходили месяцы. Атиллия решила отпустить длинные волосы. Она дождалась молодого месяца, отрезала кончики волос и спрятала их под камень, чтобы птицы не утащили их в свои гнезда.

Она сидела и ждала, пока вырастут волосы, чувствуя себя очень одинокой. Ее жених Александр был в далеком походе, зодчие Дамаскин и Йован куда-то исчезли, отца она не понимала и бранила его, когда он начинал походить на ее умершую мать, а он бывал похож на свою покойницу Марию в особенности по воскресеньям и по праздничным дням...

В одно прекрасное утро появился встревоженный Ягода с весьма важным известием:

— Самшит опять начал расти!

Это оказалось правдой. Зеленый храм мастера Йована стал подниматься к небу медленно, но верно. Значит, каменный храм над Тисой тоже растет, заключил Николич и помчался вместе с дочерью в свое поместье, на Аду.

Но там его ожидало разочарование. Начатая, но незаконченная постройка была более чем в плачевном состоянии. Камень был растащен до фундамента, который весь зарос кустарником, диким виноградом и бурьяном, так что его едва можно было разглядеть.

Николич пришел в ярость и хотел было пнуть ногой вертевшегося около них пса, но вовремя вспомнил, что пес успевает укусить прежде, чем его коснется нога. Поэтому господин Николич сдержал свои чувства. Он сел в коляску и уехал домой.

Атиллия с ним не поехала. Сидя на берегу реки, она напевала вполголоса:

Тиса полноводная,
ты, река свободная,
возьми мои горести,
принеси мне радости.

Золотятся воды
посреди реки,
сердце предвкушает
счастье от любви…

Под вечер она пошла в недостроенный дворец. В крытой галерее под колоннами на стене была выложена изразцами большая карта ближайших окрестностей в пойме Тисы. Живые краски обожженной глины изображали все вокруг — и Аду, и дворец над Тисой, и леса, и холмы, и отдаленные городки. Внизу был указан масштаб в милях. В верхнем углу был крупно нарисован земной шар, пронзенный стрелами, означавшими страны света.

В холле с камином она нашла на подоконнике ключи от комнат. Чуть поодаль лежал и большой деревянный плотничий циркуль, принадлежавший Дамаскину.

— Оказывается, он тут кое-что забыл!

Это все-таки была весточка от него. Атиллия развеселилась.

Спальня была не заперта, и она вошла. По чертежам Дамаскина Атиллия знала, что спальня должна быть в центре дворца. Но она не ожидала, что спальня такая огромная, круглая, с роскошной большой и тоже круглой кроватью посередине. Она упала на кровать и расплакалась.

Уже смеркалось. Она решила переночевать в замке. Впустила собаку и приказала подать ужин в постель. Она ела с удовольствием, как это всегда бывает после слез, продолжая разглядывать странное помещение. По волосам пробегали искры, в голове проносились лишенные смысла отрывки каких-то давних разговоров. Ее окружали две тишины, одна, маленькая, во дворце, и другая, безграничная, за его пределами — этой тишины боялась и собака, сидевшая в комнате… Атиллия заглянула во все три окна. Одно окно смотрело на Тису, невидимую в ночи — из него веяло свежестью и запахом реки. От Тисы донесся какой-то крик. Атиллия испугалась и решила запереть дверь. Но ключ проворачивался в замке, словно замочная скважина его не принимала. Если бы не безграничная вера в искусство Дамаскина, Атиллия подумала бы, что замок неисправен. Но она продолжала поворачивать ключ, считая обороты. На тридцатом повороте ключа замок щелкнул, и дверь заперлась. Тогда Атиллия испугалась еще больше. Она не была уверена, что сумеет открыть дверь, и с ужасом подумала, что может остаться во дворце навсегда. Но когда дверь открылась при тридцатом повороте ключа, Атиллия, утомленная своими слезами и страхами, заснула, повернувшись лицом к окну, выходившему на Тису.

Утром ее разбудило солнце. Дамаскин так развернул комнату, чтобы солнце будило Атиллию по утрам. Ее окружала незнакомая круглая, точно циркулем выведенная опочивальня. Атиллия вспомнила найденный накануне циркуль и подумала: «Если воткнуть циркуль в центр спальни, то есть в центр дворца и постели, где я лежу…» Тут она вскрикнула, почти ощутив циркуль Дамаскина прямо у себя между ногами. «Ну и наглец этот Дамаскин!» — невольно подумала она.

Немного придя в себя и даже приободрившись, Атиллия продолжила изучение комнаты. Она встала, подошла к залитому солнцем окну и остановилась не́ дыша. В саду,

прямо под окном, стояла каменная темнокожая женская фигура с зелеными глазами. Стеклянные глаза мраморной девушки были устремлены прямо на Атиллию, а указательный палец левой руки звал ее к себе. Правой руки у статуи не было.

«Так это статуя, которую раскопал Дамаскин», — поняла Атиллия и заключила, что фигура возвращена в поместье тайком от ее отца и что это — весточка от Дамаскина.

«Если принять спальню за круг, обведенный циркулем, надо идти по прямой на восток, куда зовет статуя. Если проехать необходимое расстояние, я, возможно, пойму, что мне хочет сказать Дамаскин. Но какое это расстояние?»

Атиллия хотела выйти в сад, но ее опять задержал замок. Ей снова пришлось тридцать раз повернуть ключ, чтобы открыть дверь. Тогда она поняла. Это число было следующей фразой безмолвного послания Дамаскина.

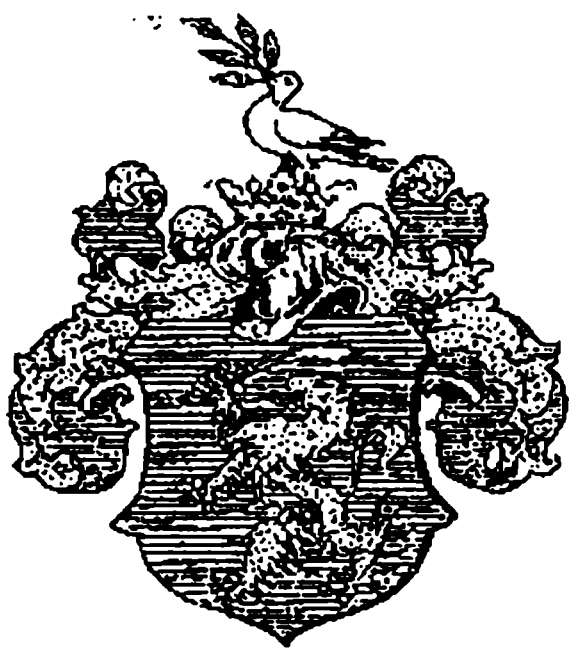
Она вышла в галерею и подошла к карте, установила циркуль Дамаскина на Тисе, рядом с Адой, там, где стоял дворец, и описала окружность радиусом в тридцать миль, используя масштаб, указанный на карте внизу. Затем провела прямую из центра точно на восток. Радиус пересек окружность на том месте, где был обозначен Темишвар. Атиллия подскочила от восторга и крикнула Ягоде:

— Запрягай, Ягода! Едем! В Темишвар!

Там ей показали дорогу до только что завершенного храма Введения. Она его сразу узнала, вспомнив чертеж, который в свое время принес ее отцу архитектор Йован по прозванию Лествичник. Церковь была точно таких же очертаний, как самшитовая у нее в саду, только здесь она была завершена, отделана камнем и мрамором, со всеми семью окнами. Без сомнения, это была та самая церковь зодчего Йована, посвященная Введению Пресвятой Богородицы во Храм.

Атиллия вошла в нее.

— Входите, входите, барышня Атиллия, мы вас уже давно ждем, — обратился к ней священник, указывая ей место на скамье вблизи алтаря. Над сиденьем Атиллия увидела красиво исполненный герб Николичей фон Рудна, свой герб:



Священник вручил ей документ с печатью и крошечную коробочку, обшитую мехом. В грамоту, удостоверявшую имя владельца церкви Введения, было вписано имя Атиллии. В коробочке же оказались обручальные кольца.

— Это подарок зодчего Йована вам и вашему жениху, — пояснил священник. С внутренней стороны на каждом из колец была вырезана буква «А».

— Какого Йована? — спросила Атиллия. — Ведь их двое!

— Но ведь и колец тоже два, — отвечал священник с улыбкой.

Если вы не читали главу «Столовая», обратитесь к ней. Если читали, то для вас новелла на этом заканчивается.

Стеклянная улитка

Предрождественская повесть

Читатель сам может выбрать, с которой из двух вводных глав ему начать чтение повести, а которой из двух заключительных глав завершить. От того, какую тропинку он выберет, зависит, какая у него получится повесть и к какому конечному пункту он придет. Вообще, если захотите, можете прочитать повесть разными способами сколь угодно много раз. Остальное — дело писателя.

МАДЕМУАЗЕЛЬ ХАТШЕПСУТ

Мадемуазель Хатшепсут, продавщица в магазине дамского белья, проснулась опять очень поздно и с ощущением крайнего одиночества. Ей приснился кувшин с двумя носиками. Во сне вино завязалось узлом и двумя отдельными струйками вылилось одновременно в два бокала.

Она сразу поняла, что нужно делать то, что она обычно делала, когда ей было одиноко. Прежде всего взглянула на дельту реки. В тот день облакам никак не удавалось навести мосты над водой. Они ползли, извиваясь, против течения вдоль правого берега Дуная и загораживали дорогу ветрам у самого устья Савы.

Под вечер мадемуазель Хатшепсут отправилась на работу. Она работала во вторую смену и возвращалась домой поздно ночью. В тот день она заметила на углу, у газетного киоска изысканно одетого господина в зимнем пальто цвета черного лака. Девушка подошла к нему очень близко, правой рукой протянула продавцу деньги за газету, а левой извлекла из правого кармана господина первую попавшуюся вещь. Продавец тут же подал ей газету, и она беспрепятственно покинула место преступления. Господин сел в машину цвета своего пальто и укатил.

То, что еще оставалось проделать мадемуазель Хатшепсут, было совсем несложно. На площади Теразие она достала из сумочки маленькое зеркальце и углубилась в созерцание. Своим отражением она осталась довольна:

Как жаль, что ее отражение не может остаться в зеркале. «А как знать, вдруг останется? На всякий случай поставлю хоть свою подпись», — подумала она. И она поцеловала зеркальце, оставив на нем чуть-чуть губной помады. Вступив на эскалатор в подземном переходе под площадью, она незаметно сунула зеркальце в сумку проходившей мимо женщины.

Итак, дело было сделано. Мадемуазель Хатшепсут облегченно вздохнула. В магазин женского белья, где она работала, она вошла обновленной, словно после нескольких часов сауны и массажа или после занятий на тренажерах в спортивном зале. Ощущение одиночества исчезло, как обычно, когда она поступала подобным образом. Так было

всегда. Стоило только одну вещь у кого-то стянуть, а другую кому-то подарить, причем обязательно разным людям. Не мучая себя выбором, что и у кого воровать, что и кому дарить. Иногда обстоятельства вынуждали ее действовать в обратном порядке: сначала дарить, а потом воровать. Но на этот раз все прошло удачно.

Некоторое время спустя, когда девушка на минутку осталась в магазине одна, ей удалось рассмотреть, что же она украла из кармана господина в лаковом пальто. Это была зажигалка. Дорогая и совершенно новая. Из блестящего кожаного чехольчика торчала бумажка с гарантией. На рыжей верблюжьей коже было выдавлено: «Моисей III». Наверное, имя владельца. А на крышечке зажигалки была выгравирована надпись: «Чиркни три раза подряд, и исполнится твое заветное желание».

Но подробнее мадемуазель Хатшепсут свою добычу рассмотреть не смогла, потому что в магазин вошел покупатель. Незаметно обхватив у себя за спиной правый локоть левой рукой, она принялась рассматривать вошедшего.

Это был молодой человек в джинсах, в голубой рубашке и коричневом пиджаке, в ботинках, обшитых пушистым мехом. Через руку у него был перекинут плащ, а на ладони он держал небольшой сверток в позолоченной бумаге, перевязанный ленточкой. Прежде всего мадемуазель Хатшепсут обратила внимание на его карманы. Они как раз подходили: немножко разевали рты. Волосы у него, несмотря на молодость, были с проседью, но зато расчесаны на пять проборов, причем каждый из них шел поперек головы, от уха до уха. Очень стройный молодой господин со странным выражением глаз.

«Он, наверное, и во сне близорукий», — подумала продавщица и спросила посетителя, чем может ему помочь.

Он опустил плащ и сверток на столик рядом с ее креслом и сказал теплым, застенчивым голосом:

— Я хотел бы купить ночную рубашку. Это будет рождественский подарок моей жене. Она носит четвертый размер.

«Такой теплый голос можно узнать и ночью где-то в вышине, даже в промежутке между двумя одинокими женскими шагами, отдающимися в пустоте улицы», — так подумала мадемуазель Хатшепсут. Она сказала:

— Эти размеры наверху, на полке, — и подкатила складную лесенку. Поднимаясь наверх, она чувствовала на себе его взгляд. Она зафиксировала этот взгляд на уровне своих бедер, а сойдя вниз, постаралась незаметно задеть лестницей золотистый сверток, который упал со столика в кресло. Теперь сверток лежал отдельно от плаща покупателя. Продавщица надеялась, что молодой человек не заметит отсутствия своего свертка и забудет его в магазине.

Но тут она услышала нечто настолько неожиданное, что отставила лестницу и посмотрела молодому человеку прямо в глаза. Он тоже смотрел на нее сквозь несколько тысяч лет. Его глаза были голубыми от толщи времени, через которую смотрели.

— Возможно, моя просьба покажется вам дерзкой, — сказал он, — но я еще никогда не покупал женских ночных рубашек. Вы не могли бы ее примерить? Тогда я пойму, то ли это, что мне нужно. У моей жены примерно такая же фигура, как у вас...

Если бы сверток уже не лежал на кресле, мадемуазель Хатшепсут немедленно отвергла бы это предложение. А так она ответила:

— Не вы один обращаетесь с подобной просьбой. Хорошо. Я ее надену в кабине, и вы сможете посмотреть. Только сначала уберу лестницу.

Уверенная в том, что женское зрение всегда быстрее мужского, мадемуазель Хатшепсут слегка задела юношу лесенкой и при этом не упустила возможности незаметно бросить ему в карман зажигалку.

Когда она предстала перед ним в ночной рубашке четвертого размера, у него перехватило дыхание. В его близоруком взгляде читались примерно такие слова: «Эта ночь разрешится новым днем, и он будет прекрасен!»

Однако вслух он грустно сказал следующее:

— Простите, но при всем желании я не смогу купить эту рубашку. Она вам очень идет! Как только моя жена наденет ее перед сном, я начну думать о вас... Так не годится. Спасибо вам. Спокойной ночи...

С этими словами он вышел из магазина, на ходу надевая плащ. Мадемуазель Хатшепсут, вне себя от волнения, проводила его взглядом. Потом, не снимая рубашки, она дрожащими пальцами лихорадочно развернула сверток в золотистой бумажке, на всякий случай стараясь сохранить и обертку, и ленточку.

Там оказалась коробочка, а в ней нечто волшебное, вещь, назначение которой она не сразу смогла угадать. Очаровательная стеклянная улитка, заполненная серебристой пыльцой и запечатанная розовым воском, из которого торчал фитилек. Что-то вроде декоративной свечи. Мадемуазель Хатшепсут хотела было ее зажечь, но вспомнила, что она в ночной рубашке, что она одна в магазине и что у нее больше нет зажигалки.

ГОСПОДИН АРХИТЕКТОР ДАВИД СЕНМУТ

Именно в тот самый день разведенная жена молодого архитектора Давида Сенмута почувствовала себя особенно одинокой. Она сразу поняла, что нужно делать. Прежде всего она взглянула на дельту реки. В тот день облакам никак не удавалось навести мосты над водой. Они ползли, извиваясь, вдоль правого берега Дуная против его течения и загораживали дорогу ветрам у самого устья Савы. Бывшая мадам Сенмут дрожащими пальцами лихорадочно раскрыла малюсенькую коробочку в позолоченной обертке. В коробочке лежало нечто волшебное, вещь, назначение которой она не сразу смогла угадать, заметив в магазине хрусталя, где она ее купила. Это была очаровательная стеклянная улитка, заполненная розоватой пыльцой и запечатанная розовым воском, из которого торчал фитилек. Что-то вроде декоративной свечи. Прекрасный подарок бывшему мужу. Сначала она хотела сразу нацарапать на стекле что-то вроде дарственной надписи, но потом передумала. Она не доверяла языку.

Она знала, что язык — всего лишь карта человеческих мыслей, чувств и памяти. И как все карты, подумала она, язык — это в сто тысяч раз уменьшенное изображение того, что он пытается передать. Суженная в сотни тысяч раз картинка человеческих чувств, мыслей и воспоминаний. На этой карте моря не соленые, реки не движутся. Горы — плоские, а снег на них вовсе не холодный. Вместо смерчей и ураганов — нарисованная, крошечная роза ветров...

Итак, вместо того чтобы сделать надпись, недавняя госпожа Сенмут осторожно вытащила восковую пробочку, вытрясла в унитаз розовую пыльцу из стеклянного тельца улитки, а на место розовой всыпала серебристую смертоносную пыльцу из склянки, на которой было написано: «Сильное взрывчатое вещество. Легко воспламеняется!» Затем она снова аккуратно запечатала стеклянную улитку восковой пробочкой с фитильком посредине. Водворив улитку обратно в коробочку, бывшая госпожа Сенмут завернула свой подарок в ту же золоченую бумагу и завязала ленточкой.

— Уж перед этим Давид точно не устоит, — пробормотала она, ставя коробочку с бантиком на чертежный стол, до недавнего времени принадлежавший ее мужу. И вышла из квартиры.

Досточтимый господин Давид Сенмут уже не жил в этой квартире. После развода ему пришлось поискать себе другое пристанище, но пара ключей от прежней квартиры, где теперь жила его бывшая жена, у него еще сохранилась. Ему разрешалось приходить в любое время, но в отсутствие бывшей мадам Сенмут. Он мог смотреть телевизор, ему позволялось выпить рюмочку, но он не имел права ничего брать. Таков был уговор. В противном случае — а бывшая жена архитектора хорошо знала, почему поступает именно так, — она обещала тут же сменить замок и известить полицию о пропаже.

В тот день господин Сенмут зашел в квартиру, зная, что в это время его бывшей

жены дома не бывает. Он почистил зубы своей старой щеткой, выпил виски с содовой и уселся поудобнее. Но сидел он недолго. Несмотря на сумерки, он разглядел на своем чертежном столе коробочку в золотой обертке с бантиком. Он не устоял. Схватил ее, как хватает воришка, да и вправду украл. И вышел на улицу.

Он немного погулял по городу, размышляя, куда бы еще можно зайти и еще что-нибудь стянуть, да и уловить момент рассмотреть то, что он слямзил у своей бывшей жены. Сквозь стекло витрины магазина дамского белья он увидел сложенные на прилавке ночные рубашки и вошел не раздумывая. В магазине была молодая продавщица, которая показалась ему вполне подходящей для того, что он задумал. Он знал по опыту — если украл, тут же надуй первого, кто попадется, не успев даже поздороваться. А то потом будет поздно. Войдя в магазин, он взглянул на рубашки, аккуратно лежавшие на прилавке в своих коробках. Среди них не было ни одной четвертого размера. Он поздоровался, положил свои вещи на столик и попросил показать ночную рубашку.

— Четвертого размера. Это размер моей жены, — сказал он.

— Здесь, на прилавке только третий размер. Четвертый — на полке, — ответила девушка. Она взяла лесенку и поднялась на нее, чтобы взять нужную коробку, а господин Сенмут попытался стибрить одну из рубашек третьего размера. Но девушка уже спустилась вниз с коробкой в руках. Она слегка задела его, складывая лесенку в тесноте магазинчика, и обдала опьяняющим запахом заграничных духов. Это помешало ему украсть рубашку. Тогда он обратился к ней, изображая смущение:

— Знаете, я в этом не очень разбираюсь. Не могли бы вы померить рубашку вместо моей жены? У моей жены почти такая же фигура, как у вас. Вы окажете мне большую услугу…

Она смерила его тяжелым взглядом, килограмма на полтора. Но, к его удивлению, согласилась и скрылась в кабине. Тут досточтимый архитектор Сенмут не удержался от второй попытки, и она ему удалась. Он схватил и спрятал в карман одну из ночных рубашек третьего размера, оставив на прилавке аккуратно закрытую коробку. Придраться было не к чему.

Когда девушка вышла из кабины в ночной рубашке, он остолбенел и подумал про себя: «Ведь я вижу ее впервые. Но в таких случаях кажется, будто ты эту женщину уже встречал в прежней жизни. Для такой красавицы стоило бы возводить города, быть ее поклонником. Другом, опекуном, да кем угодно, хоть воспитателем ее детей...»

Так он подумал. А сказал вот что:

— Простите, но я не смогу купить эту рубашку. Она для меня слишком дорога. — И вылетел из магазинчика, унося свою добычу. Чуть было не забыл плащ.

Обойдя несколько дешевых кафе, чтобы убить время, и уведя при этом две-три пачки сигарет, около полуночи он пришел домой, вернее, к дверям снятой им квартиры, где увидел свой телефонный аппарат, выставленный на площадку. Его выгнали из квартиры за неуплату по счетам. В полном отчаянии он забежал в соседнее кафе, где смог включить автоответчик и прослушать сообщения. Сообщение было только одно. Звонила его бывшая жена. Голос ее звучал ласково:

— Я знаю, ты заходил. И знаю, что ты сделал. Опять прихватил одну вещь. Маленькую коробочку в золотой обертке с бантиком. Не бойся, я не сообщила в полицию. Пока не сообщила. На этот раз ты всего-навсего унес подарок, который я тебе приготовила к Рождеству…

На этом месте он отключил автоответчик и начал рыться в карманах. Но золотистой коробочки с бантиком не было. Он долго ломал голову, припоминая, где мог ее забыть, но так и не смог вспомнить. Тогда он еще раз обшарил карманы и наткнулся на вещицу, форму которой никак не удавалось определить на ощупь. В кармане пиджака оказалась дорогая мужская зажигалка в кожаном футлярчике, но Давид Сенмут не мог припомнить, как она туда попала, у кого и когда он ее своровал… На зажигалке была надпись: «Чиркни три раза подряд, и исполнится твое заветное желание».

ДОЧКА, КОТОРУЮ МОГЛИ ЗВАТЬ НЕФЕРТИТИ

Он переночевал в ближайшем отеле, наутро снял в кредит новую квартиру, а под вечер отправился в обход всех кафе, куда мог заходить накануне. Нигде он не нашел и следа подарка в золотой обертке. Тут он вспомнил девушку из магазина женского белья. Зайдя в писчебумажный магазин, он купил темно-синий пакет в звездочках и положил в него украденную вчера ночную рубашку. Потом отправился в магазин женского белья и, протягивая продавщице пакет, сказал:

— Мадемуазель, я должен перед вами извиниться. Вчера я вел себя недостойно. Я вас обманул. У меня нет жены, и я не собирался покупать рубашку. Мне просто хотелось ее увидеть на вас. Вы были в ней так хороши, что я всю ночь не сомкнул глаз. Едва дождался, пока открылись магазины, и купил вам в подарок точную такую рубашку.

— Она не такая же, — возразила девушка с улыбкой, — это третий размер.

Не говоря ни слова, молодой человек плюхнулся в кресло. Его разоблачили. Наконец он решился обратиться к ней. В голосе его звучало отчаяние:

— Да, я еще хотел спросить… Я не мог вчера забыть у вас пакетик в золотистой обертке?

— Пакетик в золотистой обертке? С бантиком?

— Да-да!

— Нет, вы его забыли не здесь, — отвечала решительно девушка, — иначе бы я его нашла и, уж конечно, вернула бы вам, как мы всегда возвращаем все, что забыли наши покупатели… А я тоже хочу вас кое о чем спросить. Что вы делаете, если чувствуете себя одиноким в сочельник? И есть ли способы незаметно исчезнуть с этого света?

Он смотрел на нее и не мог отвести глаз. Ресницы у нее доставали до бровей и мешали им лежать ровно. Ее глаза говорили о том, что вечность асимметрична. Он спросил:

— У вас была когда-нибудь дочка? Давно. Много-много лет назад?

— Вы хотите сказать, четыре тысячи лет тому назад? Возможно. Но теперь у меня ее нет. Поэтому я по праздникам одна. Не хотите ли ко мне прийти в сочельник, посидеть с ней?

— С кем?

— С моей дочкой, которой у меня нет. Вот вам мой адрес.

— С удовольствием, — отвечал молодой человек. Он поцеловал продавщицу в ухо и пошел к дверям. По дороге он остановился и прибавил: — А я знаю, как ее звали.

— Кого?

— Да вашу дочку, которой у вас нет. Ее звали Нефертити.

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕЧА

Мадемуазель Хатшепсут обожала животных, особенно кошек, заграничные духи и привозные цветы. Но на все эти увлечения ее доходов было явно недостаточно. У нее не хватало денег даже на то, чтобы завести самую крошечную, «карманную» собачку. В канун Рождества она едва наскребла денег на рыбу и на лапшу, которую собиралась приготовить с черносливом. О подарках нечего было и думать. Закончив приготовления к ужину, она переоделась, черной обводкой опустила пониже внутренние уголки глаз, чтобы они казались широко расставленными, а внешние уголки продлила жирным карандашом чуть не до ушей. Лоб обвязала лентой. Верхнюю губу обвела поровнее, а нижнюю так, чтобы она казалась чуть поджатой. Она осталась довольна своим внешним видом и пришла в хорошее настроение. Как завоеватель перед походом. Она подошла к окну и взглянула на дельту реки.

— Облакам удалось навести мосты, — заключила она.

Затем она осторожно развернула золотистую бумагу и достала стеклянную улитку. Ей не понравилась серебристая пыль, заполнявшая стеклянное тельце улитки. Она акку-

ратно вытащила восковую пробочку и вытряхнула содержимое улитки в унитаз. Стеклышко она вымыла, высушила и заполнила своей душистой голубой солью для ванны. А затем вернула на место восковую пробочку с фитилем. Улитка снова превратилась в декоративную свечу. Ее голубая утроба волшебно переливалась. Цвет улитки напоминал цвет глаз молодого человека, которого ждала мадемуазель Хатшепсут.

— Голубой цвет Атлантиды, — произнесла она и сама удивилась своим словам. — Глупости, — сказала она себе. — Откуда ты знаешь, что это именно голубой цвет Атлантиды?

Через несколько минут стеклянная улитка снова оказалась в своей коробочке, завернутая в золотистую бумагу и перевязанная ленточкой с бантиком. Готовая быть врученной в качестве подарка.

В это время раздался звонок в дверь. Вошел ее гость с бутылкой вина. И со своим теплым голосом. Хатшепсут усадила его за стол и села рядом с ним. Она взяла четыре грецких ореха и бросила их на все четыре стороны, чтобы осенить комнату крестом. А потом достала из ящика коробочку со стеклянной улиткой и отдала ему.

— Вот тебе мой рождественский подарок, — сказала она и поцеловала его. У него засверкали глаза. Весь дрожа от нетерпения, как ребенок, он развернул золотистую обертку и достал стеклянную улитку. По его лицу было видно, что он обескуражен.

— Неужели ты не знал, что в коробочке? — спросила мадемуазель Хатшепсут.

— Не знал, — отвечал он.

— Ты разочарован?

— Да.

— Да?

— Нет. Она очаровательная. Спасибо тебе! — и он обнял ее. — У меня тоже есть для тебя подарок, — продолжал он, пытаясь загладить неловкость. Он положил на стол белый с красным пакетик, весь усыпанный крошечными зеркальцами. Мадемуазель Хатшепсут раскрыла пакетик и нашла в нем уже известную ей зажигалку с выгравированной на ней надписью об исполнении желания. Мадемуазель Хатшепсут была несколько смущена развитием событий. Теперь она почувствовала себя разочарованной. И, чтобы в свою очередь загладить неловкость, заявила:

— А я знаю твою фамилию.

— Откуда ты знаешь?

— Не помню откуда, но знаю. Причем давно. Возможно, по запаху. Твоя фамилия Сенмут.

— Впервые слышу. С чего бы это? — спросил он, ставя улитку на серебряную тарелочку. Он решил зажечь улитку и поужинать при свече.

— Прекрасно! — воскликнула мадемуазель Хатшепсут и протянула ему зажигалку. — Да-да, зажги эту стеклянную улитку, а я тем временем принесу ужин.

Архитектор Сенмут взял зажигалку и вслух прочитал надпись, выгравированную на ней: «Чиркни три раза подряд, и исполнится твое заветное желание».

— Исполнится, исполнится, так и знай! Причем сегодня же вечером, — добавила она улыбаясь.

Он чиркнул один раз, и зажигалка вспыхнула. Хатшепсут захлопала в ладоши. Сенмут поднес пламя к фитильку улитки и зажег его. Стеклянная улитка засверкала, преобразившись в прекрасную декоративную свечу. Комната, словно отделившись от пола, поплыла в мягком шаре света.

— Что же ты делаешь, — воскликнула она, — ведь надо чиркнуть три раза!

— Зачем чиркать три раза, если свеча зажглась с первого раза?

— Но ведь на зажигалке так написано! Разве ты не знаешь? Любое слово надо повторить трижды, если хочешь, чтобы тебя услышали хоть один раз.

Он чиркнул второй раз. Зажигалка выбросила зеленый язычок пламени.

— Браво! — громко воскликнула она.

Как только зажигалка вспыхнула третий раз, раздался сильный взрыв, который разнес всю квартиру и унес с собой Хатшепсут и Сенмута. Остались только имена. Их можно найти в любой истории Древнего Египта (XVIII династия фараонов).

ЗАЖИГАЛКА

В сочельник архитектор Давид Сенмут снова завернул в квартиру своей бывшей жены, которая была в отъезде. Там он принял ванну, почистил зубы, зачесал назад мокрые волосы и уселся, обхватив колени и приняв форму кубика. Несколько минут он отдыхал в таком положении. На мгновение ему захотелось, чтобы на руках у него оказалось какое-нибудь маленькое существо, ребенок, может быть девочка, которую он мог бы охранять, защищать... Затем он достал из кармана ту самую зажигалку и положил ее в красно-белый пакетик, весь усыпанный крошечными зеркальцами. Он глотнул виски и взял в баре у своей жены бутылку итальянского пенистого вина. Он решил, что больше подойдет дамское шампанское «Блю», сладкое мускатное, чем другое, мужское, брют. Заворачивая вино в белую бумагу, он думал о том, что винам, как женщинам, вечно нездоровится, а умирают они как мужчины, и что только немногие вина живут дольше человеческого века...

На записочке продавщицы дамского белья он прочел ее адрес и отправился по нему с шампанским в руках. Она встретила его, ступая по рассыпанной по полу соломе. Обняла, а затем вручила коробочку в золотистой обертке с бантиком.

— Не может быть! — воскликнул он.

— Это мой рождественский подарок.

Пораженный, он взглянул на нее и подумал, что сама ночная тьма спустилась с небес в ее глаза, чтобы отдохнуть до утра. Один только звон ее дешевых браслетов с колокольчиками стоил больше самой дорогой собаки.

Он развернул золотистую обертку и, к своему изумлению, обнаружил всего лишь одноразовую подарочную свечу в виде какой-то ракушки с голубым порошком внутри.

«Да, моя бывшая жена действительно умеет задеть самолюбие мужчины. Какой же это подарок!» — подумал он.

— Ты разочарован? — спросила продавщица дамского белья.

— Нет-нет, наоборот, — отвечал он, вынимая из кармана пакетик в красно-белую полоску, усыпанный крошечными зеркальцами, и протягивая его девушке. — Я тоже принес тебе подарок.

Она извлекла из мешочка уже знакомую ей зажигалку, которую несколько дней назад украла у господина в лаковом пальто.

— Прекрасно! Мне как раз не хватало зажигалки! — И она обняла и поцеловала архитектора Давида Сенмута, а потом прибавила: — Зажги эту стеклянную улитку, а я пока принесу ужин. Что там на ней написано? — спросила она, хлопоча у стола.

— На чем?

— На зажигалке.

— Ты хочешь сказать, в инструкции? Не знаю. Я ее выбросил. Зачем нужна инструкция к зажигалке?

— Да нет, я спрашиваю, что написано на самой зажигалке!

— Не помню. Подожди, сейчас посмотрю.

Она опередила его и процитировала по памяти:

— «Чиркни три раза подряд, и исполнится твое заветное желание!» Разве не так написано?

Архитектор Давид Сенмут изумился второй раз за этот вечер. Он совершенно не мог припомнить, когда же он своровал у продавщицы дамского белья еще и зажигалку. Ведь если бы зажигалка не принадлежала ей, то как она могла узнать, что там выгравиро-

вано. Про рубашку третьего размера он помнил, но то, что он стащил еще и зажигалку, просто не укладывалось у него в голове. Определенно вся эта затея с подарками принимала явно не тот оборот. Надо было что-то предпринять, чтобы не испортить вечер. И он выпалил первое, что пришло в голову:

— А я знаю, как тебя зовут!

— Правда? — удивилась продавщица дамского белья, — а откуда ты знаешь?

— Не знаю откуда, но знаю. Тебя зовут Хатшепсут.

— Так меня еще никто не называл, — сказала она, ставя стеклянную улитку на серебряную тарелочку в середину стола.

И тогда архитектор Давид Сенмут чиркнул зажигалкой. В первый раз она выбросила красивое голубоватое пламя, и господин Сенмут зажег стеклянную улитку. Свет разлился по столу и озарил комнату. На всем был золотистый отсвет, даже на их губах. Это было заметно, когда они начинали говорить.

— Чиркни еще раз, — сказала она, — ведь там сказано — трижды!

Зажигалка не подвела и во второй раз. Но на третий раз она отказала.

— Значит, не судьба, — сказал архитектор Сенмут мадемуазель Хатшепсут, — не исполнится мое заветное желание.

— Исполнится, еще как исполнится, — сказала мадемуазель Хатшепсут и поцеловала своего архитектора Давида Сенмута так, как его еще никто никогда не целовал.

Это был очень долгий поцелуй. Тем временем на полу, в тени стола, валялась инструкция по использованию зажигалки: *«ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Держать вдали от огня. Это не зажигалка, а оружие специального назначения. Наполнитель с динамитом активизируется после третьей вспышки!»*

■

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

Книга книг

Комментарий к одному изобретению

На американском рынке появились первые электронные книги. «Софтбук» — электронная пластина с экраном в кожаном переплете. Вместимость — 100 000 страниц, вес — 15 кг, цена — 300 долларов плюс 10 долларов в месяц за абонентную связь. «Покет-бук» стоит 500 долларов, но для нее нужен персональный компьютер. «Дедикейтед ридер» — электронный справочник. Он напоминает настоящую книгу. У него двойной экран, на котором помещаются чертежи, карты, схемы и таблицы. Цена — 1500 долларов. Как показывает опыт, никто не любит читать текст с экрана, поэтому в исследовательском институте «Медиа-лаб» работают над «электронными чернилами» — микроскопическими капсулами, которые в зависимости от силы и направления тока смогут перегруппировываться, составляя текст. Таким образом, почти обычного вида бумажная книга сможет сама собой переиздаваться — менять одно содержание на другое. «Уже сейчас ясно, — пишет «Нью-Йорк таймс», — что электронная книга неизбежна. Если не как замена печатной книги, то как альтернатива ей».

Из газет

Приведя выдержки из американской прессы, я хотел бы обсудить несколько аспектов описанного здесь изобретения. Можно, конечно, утешать себя тем, что ученые создали новую электронную игрушку, не имеющую серьезного значения. Однако вспомним, что именно так относились сперва к кинематографу, потом к радио, затем к телевидению. XX век показал, что простодушный технический прогресс вторгается в самые интимные сферы человеческой жизни, меняя и наш образ жизни, и наш образ мысли.

Электронная книга — следующее звено в цепи технических новшеств, преобразующих индустриальную цивилизацию в постиндустриальную. Появление электронной книги завершит процесс компьютеризации литературы. Что в свою очередь не может не повлиять на нашу культуру, сделав ее поистинне постгутенберговской.

В сущности, электронная книга — книга книг. Со временем она заменит собой магазины и библиотеки — ведь в одной книге содержатся все остальные. Этот фантастический по замыслу проект напоминает рассказ Борхеса. Однако технически он вполне осуществим. И это значит, что пора обсудить судьбоносные перемены, которые она вызовет. Говоря конкретно, меня интересуют три проблемы — юридическая, издательская и собственно литературная.

Самый неотложный вопрос связан с проблемой интеллектуальной собственности. Чтобы электронная книга оказалась по-настоящему эффективной, она должна не зависеть от рогаток «копирайта». А это значит, что авторские права будут постоянно под угрозой. Найти компромисс между интересами автора и читателя — задача не только сложная, но боюсь, что и неразрешимая. Речь идет не только о простом пиратстве, хотя перевод текста в цифровую версию сделает воровство легким и неизбежным бизнесом. Не имею я в виду и обычный плагиат — его доказать просто. Зато трудно, если вообще возможно, установить в юридическом порядке авторство идеи как таковой.

Между тем в современном мире постоянно расширяется сфера применения авторского права. Тут стоит обратить внимание, как тщательно оформлены титры голливудских фильмов. Указываются не только непосредственные сценаристы, но имена и тех, кто предложил идею фильма, и тех, кто придумал образы центральных персонажей, и тех, кто их разработал.

Процесс этот вполне закономерный. В наше время мысль, идея, концепция становятся самым выгодным товаром. Беда, однако, в том, что безмерно трудно определить права соб-

© А. Генис, 1999

ственности в эфемерной сфере идей. Каковы критерии, по которым можно судить об оригинальности замысла, о новаторстве мысли? Где проходит граница между умышленным и неумышленным заимствованием? Да и что считать заимствованием? Т. С. Элиот говорил, что заимствуют обычные писатели, великие — воруют. Подозреваю, что он говорил о Шекспире...

Короче, и без электронной книги проблема интеллектуальной собственности мучительна. С появлением устройства, бесконечно упрощающего доступ к любой информации и обмен ею, этот вопрос станет юридическим кошмаром. Причем настолько беспросветным, что, возможно, выведет вопрос об интеллектуальной собственности за пределы права, в область философии.

Дело в том, что, хотя идеи и могут являться товаром, товар этот все-таки особый. Лучшее из того, что создано человеческим духом, никому не принадлежит. Или — что то же самое — принадлежит всем. Никакое авторское право не защитит хорошие стихи — их все знают наизусть. Чем больше значение любой идеи, тем меньше у нее шансов остаться в частном владении. И самые важные мысли нашего времени вроде бы и не имеют авторства — они растворяются в атмосфере эпохи, становятся всеобщим достоянием. В юридическом смысле, может, это и незаконно, но все же никакой суд не сможет остановить беззастенчивую эксплуатацию чужих интеллектуальных усилий, которая называется круговоротом идей.

Хотя я и сам страдаю от пиратских перепечаток, все-таки не могу не сказать: высшая награда автору состоит в том, что его интеллектуальная собственность подлежит экспроприации, обобществлению. И мне представляется справедливым, что все высшие наслаждения: любовь, семья, творчество, природа, интеллектуальные радости — бесплатны.

Другой вопрос, связанный с выходом на арену электронной книги книг — проблема тиража. Вернее — отсутствие такой проблемы. Не издательства, не литературные агенты, не редакторы, не книжные ярмарки будут решать, сколько читателей должно быть у каждой рукописи. Электронная книга напрямую свяжет читателя с автором, убирая между ними всех посредников. (Эта ситуация в чем-то напоминает практику нашего самиздата. Что и неудивительно: в Советском Союзе постгутенберговская эпоха началась раньше, чем всюду).

Я не знаю, кто выиграет от радикальной демократизации издательского дела. Можно лишь предположить, что тут появится немало сюрпризов. Писатели с многомиллионными тиражами, такие, как американцы Стивен Кинг и Гришэм или отечественные Доценко и Тополь, во многом обязаны своим успехам инерции и рыночной стратегии. Массовый товар всегда продавать проще — вот он и лежит в каждом киоске. Такую ситуацию может изменить электронная книга. Она сделает равнодоступными для читателя все издания — от примитивного лубка до эзотерической публикации. Как и всюду сегодня, замена массового спроса точечным приводит к распаду монолитной культуры. 100 каналов лучше, чем три, потому что многоканальное телевидение не должно угождать всем, и даже многим. Процесс этот, конечно же, благотворный, ибо он дает художнику убежище от напора толпы.

Отменив проблему тиража, удешевив производство, сократив до минимума расстояние между автором и читателем, электронная книга откроет новую страницу в истории издательского дела. Возможно, она окажется последней.

Самый интересный вопрос, связанный с появлением электронной книги, — литературный. Компьютерный экран не заменяет лист бумаги, а притворяется им. Это — волк в овечьей шкуре. Электронное письмо кардинально отличается от обыкновенного, и это обстоятельство не может не сказаться на той литературе, которую будут писать, лучше сказать — создавать, писатели XXI века.

В конечном счете электронная книга будет отличаться от бумажной не способом воспроизведения букв, а содержанием, нарративной стратегией, художественной структурой. Уже сегодня есть замечательные сочинения, которые по-настоящему можно прочесть только в электронной, а не бумажной версии. Я, конечно, имею в виду автора, которого по праву считают первым писателем третьего тысячелетия — сербского романиста Милорада Павича. В пространном интервью, опубликованном американским журналом «Обозрение новейшей литературы», Павич говорит нечто крайне важное для нашей темы. Сегодня, считает он, наступил кризис не литературы, а чтения как такового. Обычный роман перестал работать, потому

что он не оставляет читателю свободы, вынуждая читать себя от начала до конца. Вместо этого Павич пишет книги, которые просто НЕЛЬЗЯ так читать. Его знаменитый «Хазарский словарь» принципиально нелинеен, как всякий словарь. Другой роман, «Пейзаж, нарисованный чаем», создан по подобию кроссворда: его надо читать то по вертикали, то по горизонтали. Книга «Последняя любовь в Константинополе» построена как гадание на картах таро: перед чтением ее надо тасовать и каждый раз сдавать заново. В сущности, все это уже не письменная литература, а разновидность компьютерной игры, поднятой Павичем до высокого искусства. Впрочем, сейчас для нас важны не бесспорные художественные достоинства сочинений Павича, а то, что сполна их оценить можно лишь на страницах электронной книги. То, что он делает, не укладывается на бумагу. Его романы — ноты той музыки, которую можно услышать лишь при помощи электронного инструмента.

Пример Павича показывает, что явление электронной книги не только совпадает с кризисом традиционной литературы, но и указывает возможные пути его разрешения. Главный из них — перемена в отношениях между читателем и писателем. Сегодня их решительно пересматривает компьютерная литература. Она отрывается от плоского печатного листа, чтобы погрузить читателя в текст, как в бассейн. Здесь, бродя по третьему измерению, открытому электронной книгой, мы сможем занять место соавтора. В направлении «интерактивности» уже движется вся нынешняя культура. Самые чуткие к голосу современности авторы видят необходимость втянуть в свои игры читателя. Такая литература придаст буквальный смысл знаменитому, а теперь, как выяснилось, и пророческому высказыванию Набокова: «Шедевр любого писателя — его читатель».

Возможно, именно в интерактивной, игровой, компьютерной литературе и следует искать способ вернуть к литературе следующее поколение нынешних подростков, выросших не на книгах, а на электронной информации. Мы не представляем себе литературу вне книжной культуры, но стоит напомнить, что словесность намного древнее не только книг, но и самой письменности. Причем в обществах, не знавших письма, литература в виде фольклора, мифов, магических ритуалов играла более важную роль, чем в нашей цивилизации. Книга — лишь одна из форм существования литературы. А это значит, что ей на смену может прийти нечто другое. Например — *электронная* книга.

■

МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ

Гипертексты по ту и эту стороны экрана

Двусмысленность — это богатство.

Х.Л. Борхес. Пьер Менар, автор Дон Кихота

В «сведениях об авторе» на суперобложке изданного в прошлом году в серии *«Ex Libris»* романа «Пейзаж, нарисованный чаем» сказано: «Павич — самый цитируемый в электронных (гипертексты) произведениях США ... из ныне живущих писателей»[1].

Фраза эта малопонятна, но очень характерна: между электронными текстами и гипертекстами ставится, таким образом, не просто знак равенства, а знак тождества. Это и так и не так. Или, говоря словами самого Павича, это один из тех случаев, когда разница между двумя «да» оказывается больше, чем между «да» и «нет».

Объясним сначала, почему это так.

Сейчас кажется само собой разумеющимся, что понятие «гипертекст» появилось именно благодаря возникновению и развитию глобальной информационной сети Интернет, под которой, в свою очередь, понимают одну только появившуюся в 1990-м технологию World Wide Web — «Повсеместно Протянутую Паутину».

Между тем идея гипертекста как метода хранения разнородной информации появилась куда раньше, чем WWW: впервые она была обрисована еще в 1945 году советником по науке президента Рузвельта Ванневаром Бушем. В опубликованной в журнале «Atlantic Monthly» статье «As we may think» («Как мы могли бы думать») Буш указывал на вопиющее несоответствие способов обработки и хранения информации «внутри» и «вовне»: человеческая память ассоциативна, а каталоги библиотек упорядочены по искусственным формальным критериям — алфавитному или хронологическому. В XX веке, в связи с «информационным взрывом», то есть резким увеличением числа научных публикаций и появлением новых мировых научных центров, это противоречие обострилось до предела и стало главным тормозом развития науки и техники: поиск уже наработанных материалов по той или иной проблеме отнимает больше времени и сил, чем само «думанье» над ней. Всякий, кому приходилось работать в тематических каталогах крупной «традиционной» библиотеки (Российской государственной, например), понимает, о чем идет речь.

Для устранения такого противоречия Буш мечтал создать электромеханическую систему, в которой информация хранилась бы так же, как она рассортирована в человеческой памяти, и была бы, таким образом, ее плавным продолжением. Человек докомпьютерной эры, Буш представлял себе это устройство, названное им Memex, в виде большого стенда с полупрозрачными экранами, рычагами и моторами для быстрой подачи микроформ-записей.

Конечно, такой аппарат кажется сейчас одним из описанных Свифтом «чудес науки» острова Лапуту, но разве не мечтает о чем-то подобном любой человек, которому приходится заниматься научными (и не только научными) изысканиями? Чем, как не идеальным «Мемексом» в первую очередь является, например, любимая жена для Казобона — главного героя «Маятника Фуко»?

— Есть у нас где-то фиговенький конспект на розенкрейцеров? — говорила она.

— Да, надо мне разобраться, когда будет время. Это конспект бразильских записей.

— Так вот, поставь отсылку на Йейтса.

— При чем тут Йейтс?

— При том, что я читаю вот здесь, что он входил в розенкрейцерское общество, которое называлось «Утренняя звезда».

— Что бы я без тебя делал, подумать страшно[2].

---

[1] О Павиче см. также http: //www.khazars.com

[2] *У. Эко*. Маятник Фуко. СПб., 1998, стр. 268. (Журнальный вариант перевода «Маятника Фуко» см. в «ИЛ»,. 1995, №№7, 8, 9).

© М. Визель, 1999

Само же слово «гипертекст» было введено в употребление в 1965 году программистом, математиком и философом Теодором Нельсоном и обозначало (как, собственно, и обозначает до сих пор) документ, составленный из относительно небольших фрагментов текста и таким образом, что эти фрагменты можно читать не в одном, раз и навсегда определенном (например, номерами страниц, как в обычной книге) порядке, а разными путями — в зависимости от интересов читателя, причем пути эти вполне равноценны. Читатель сам волен «прокладывать маршрут» по документу или системе документов с помощью гиперссылок (*линков*[1]), то есть указаний на другие фрагменты текста, «привязанных» ко всему текущему фрагменту или к какому-нибудь его конкретному месту.

Сам Нельсон формулировал это так:

Под гипертекстом я понимаю не-последовательное сочинение — текст, который разветвляется и позволяет читателю выбирать <...>. Проще говоря, это ряд кусков текста, соединенных линками, предлагающими читателю различные пути [чтения][2].

В принципе, ничего нового здесь нет. Так устроена любая энциклопедия[3] и любая инструкция по эксплуатации, от утюга до автомобиля («чтобы сделать то-то, смотри страницу такую-то; если отказало то-то, смотри страницу такую-то»).

Нельсон считал, что:

*главной характерной чертой гипертекста является отсутствие непрерывности — прыжок: неожиданное перемещение позиции пользователя (читателя. — **М.В.**) в тексте*[4].

Ссылка в гипертексте — это «материализовавшаяся» коннотация, аллюзия в тексте обычном. Такая, как выражаются структуралисты, *синтагматизация парадигматических связей* есть не что иное, как живое воплощение провозглашенного Эко[5] вслед за Маклюэном процесса смены «гутенберговой цивилизации» «цивилизацией образа»: аллюзии и намеки огрубляются, визуализируются, вытаскиваются на поверхность.

Понятно, что «виртуальная реальность», «заэкранье» — наиболее естественная «среда обитания» гипертекстов, точно так же как наиболее естественной средой обитания линейных текстов служит переплетенная книга.

Конечно, можно сказать, что единственный полностью линейный текст — это бесконечная строчка телеграфной ленты, а любую книгу формально можно рассматривать как частный случай гипертекста, где небольшие фрагменты текста (страницы) связаны ссылками типа «предыдущий-последующий», то есть номерами страниц. Понятно, однако, что это пустая казуистика: во-первых, страницы связаны не только формальными «метками»-номерами, но и содержанием и, таким образом, не являются автономными, а во-вторых — и это важнее, — они накрепко связаны *физически*, то есть просто-напросто переплетом, и, следовательно, обеспечить «равноправие» различных путей чтения невозможно.

Например, если бы в сказке про Ивана-царевича читатель мог сам выбирать, в какую сторону от вещего камня (там, где «налево пойдешь — коня потеряешь» и т. д.) свернет герой, сказка стала бы гипертекстуальной. Но понятно, что в бумажной книге это заведомо не сработает: книга уже сшита, страницы поменять местами невозможно, а нормальный человек, захваченный чтением, не станет, как в инструкции к пылесосу, послушно идти на указанную страницу, а будет читать тот вариант продолжения, который следует непосредственно за развилкой, то есть физически расположен ближе.

---

[1] Слово *линк*, важнейшее в теории и практике гипертекста, уже оторвалось от своего базового значения (link — [связующее] звено; связь; соединение) и стало в русском языке продуктивным (линкующий элемент, залинковать).

[2] *Theodor H. Nelson*, Literary Machines. Swarthmore, Pa.: Self-published, 1981. Цит. по: *George P. Landow*, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory & Technology, 1994. http://www.stg.brown.edu/projects/hypertext/landow/ht/contents.html

[3] В последние годы рынок энциклопедических изданий переживает революционные изменения. Книжные издания знаменитых энциклопедий вытесняются их электронными версиями на компакт-дисках и платными сайтами в Интернете. Если в 1988 году было продано 200 тыс. комплектов 32-томной «Энциклопедии Британника», то в 1995 году объем ее продаж уменьшился в 4 раза, а в 1997-м практически сошел на нет. Темп роста рынка электронных энциклопедий составляет в среднем 20% в год. Цена же, например, на энциклопедию «Британника CD 97» в течение одного года упала с 1000 до 125 долларов. (Данные из «Финансовых известий» № 40 за 1998 год.)

[4] Цит. по: *George P. Landow*, ed. Hypertext/Text/Theory. Baltimore, 1992, p. 59.

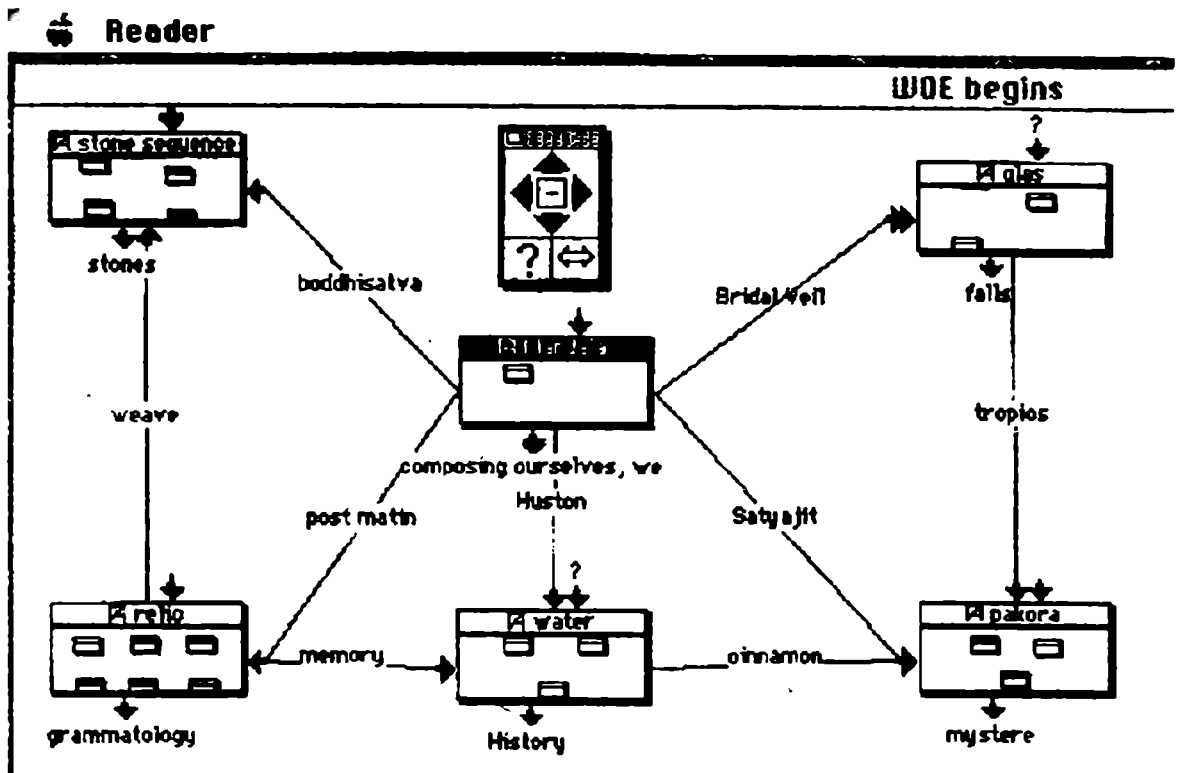
[5] *Umberto Eco*. From Internet to Gutenberg. A Lecture Presented by Umberto Eco at The Italian Academy for Advanced Studies in America. November 12, 1996. http://www.columbia.edu/cu/casaitaliana/internet.htm. Воспроизведена по-русски: *Умберто Эко*. От Интернета к Гутенбергу. «Журнал Internet», 1998, № 6-7.

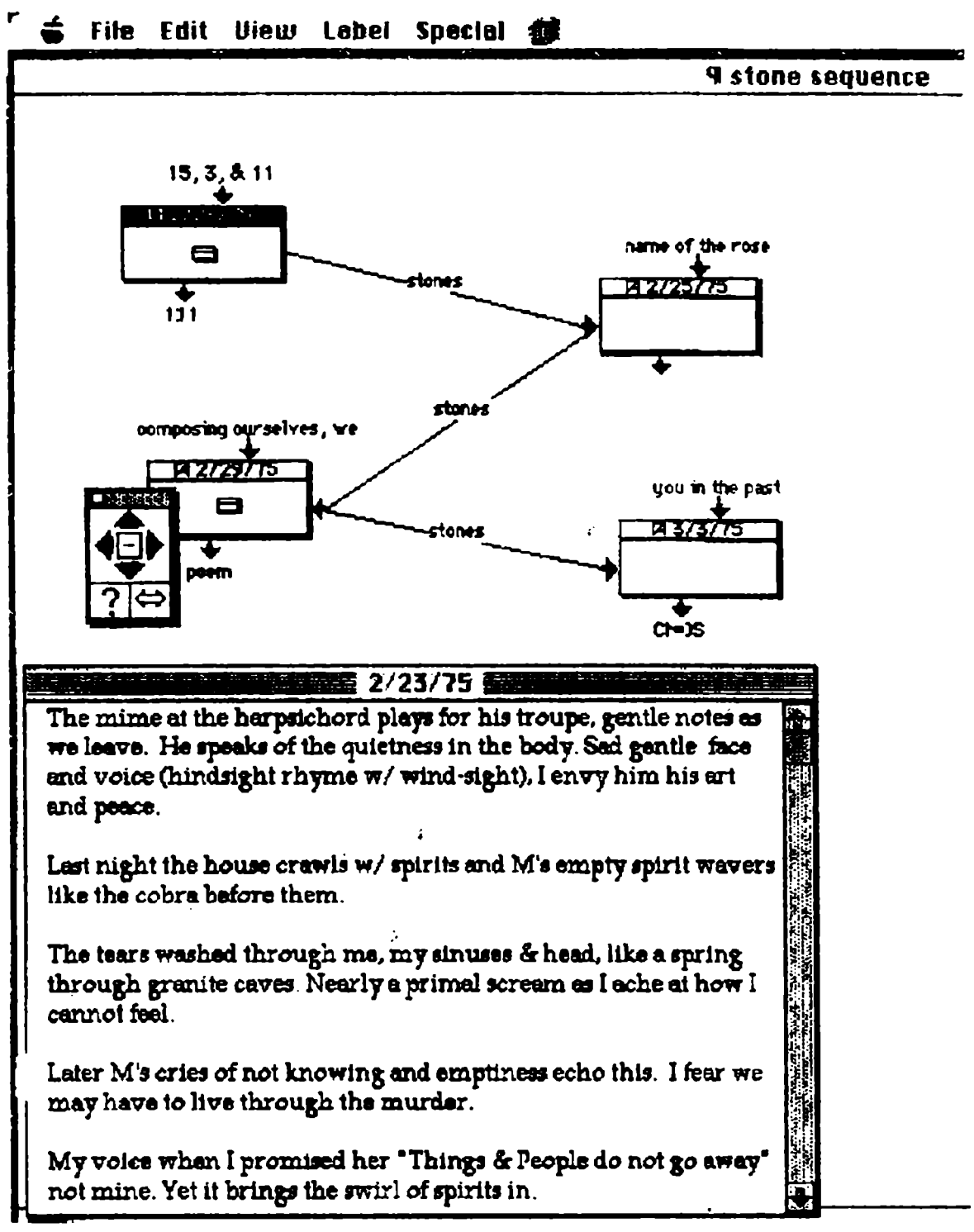
Знакомясь с представленными здесь рассказами Павича, любой читатель сам может вполне прочувствовать это несоответствие. Читая их, необходимо держать в голове, что это не более чем чертеж, «плоская проекция»: автор задумывал их непосредственно для чтения с экрана компьютера — так, чтобы на каждом из «перекрестков» читатель выбирал между двумя совершенно одинаковыми щелчками «мышью» по названию той или иной главы, а не между тем, спокойно ли ему читать дальше или, слюня палец, искать по номеру нужную страницу.

Поэтому до прихода эпохи персональных компьютеров «сферой деятельности» гипертекстов оставались, с одной стороны, заведомо нехудожественные массивы информации: справочники, инструкции и энциклопедии (огромный успех «Хазарского словаря», объявленного «книгой XXI века» и тому подобное, объясняется, я думаю, именно тем, что Павич сумел использовать отшлифованную веками форму энциклопедии с перекрестными ссылками, благодаря чему гипертекст полноценно заработал), а с другой — тексты заведомо экспериментальные, интересные более заявленной идеей, чем ее воплощением. У многих ли рьяных почитателей Кортасара хватило запала перечитать «Игру в классики», перелистывая, согласно авторским указаниям, книгу туда-сюда после каждого фрагмента?

Появление «персоналок» оказалось переходным моментом. Разумеется, девять десятых создаваемых гипертекстов по-прежнему не имеют никакого отношения к творчеству — как не имеют к нему никакого отношения девять десятых документов, печатаемых на принтерах. Но подобно тому, как тосканские нотарии в XIII веке стали вдруг для заполнения свободных мест на юридических документах вместо знака «Z» вписывать сонеты и канцоны, программы, созданные изначально для поддержки компьютерных «хэлпов» и информационных систем (такие, как программа ZOG — созданная в 1975 году огромная информационная система внутреннего распорядка атомного авианосца «Карл Винсон», HyperCard фирмы Apple, HyperNode фирмы Xerox и другие), стали применяться для создания художественных произведений, которые *в принципе* могли быть прочитаны только на компьютерных мониторах.

Выглядели эти опусы очень необычно. Здесь воспроизводятся два «скриншота» (распечатки с экрана) произведения «классика электронной литературы» Майкла Джойса «Горе, или Память о том, что будет», созданного с использованием программы Storyspace Reader. По содержанию это что-то вроде лирического дневника, ассоциативно соединенного с воспоминаниями детства, описаниями путешествий, а также с письмами от студентов и даже чем-то вроде «словарных статей», толкующих то или иное встречающееся в тексте понятие.





Все это организовано в очень сложную многоуровневую структуру небольших графически оформленных фрагментов, связанную контекстными (то есть относящимися к одному конкретному слову) или «целиковыми», тупиковыми или закольцовывающимися гиперссылками, но не связанную действием и хронологией, так что разобраться в ней практически невозможно ни с первого, ни со второго раза. Сделано это, конечно, сознательно. «Горе» подобно лабиринту, по хаотически разбросанным фрагментам следует просто бродить как по красивым комнатам, не пытаясь предугадать заранее, что окажется за поворотом.

Но Storyspace Reader и подобные ей системы оставались все-таки техническими диковинами. Во-первых, они были очень громоздки и неудобны как для письма, так и для чтения, во-вторых, требовали специальных программ (для каждой — своей), а в-третьих, были наглухо замкнуты: «пришить» к ним новый внешний элемент было даже еще сложнее, чем добавить новые страницы в готовую отпечатанную книгу.

Подлинный прорыв произошел с внедрением WWW.

Как я уже сказал, для подавляющего большинства пользователей WWW является синонимом Интернета. И это вполне закономерно. Именно после появления WWW-технологии Интернет решительно вышел за пределы университетов и научных лабораторий, где «обитал» до того, и стал нормальной частью современной городской жизни.

Между тем начиналось все вполне академично. В марте 1989 года сотрудник швейцарского Европейского центра ядерных исследований (CERN) Тим Бернерс-Ли взялся за разработку информационной системы, которая свела бы в единое целое невообразимые монбланы технической документации, инструкций, отчетов об экспериментах, материалов научных конференций, статей и так далее вплоть до почтовых адресов, накопленных за сорок с лишним лет существования ЦЕРНа, этого самого грандиозного памятника веры 50—70-х годов во всемогущество физики, настоящей «долины царей» XX века, с его экспериментальными установками величиной с четырехэтажный дом и с собственной «пирамидой Хеопса» — 27-километровым ускорителем элементарных частиц, проложенным в штольнях глубоко под Альпами. И не просто свела бы в единое целое, но и была бы доступна на любом компьютере.

Гениальность предложенного Бернерсом-Ли решения, как всегда в таких случаях, выразилась в его простоте: хранить гипертекстовую разметку не в замкнутой оболочке и не в

отдельном файле, а в самом размечаемом документе. Причем не в виде загадочных машинных кодов, а в виде понятных человеческому глазу команд, не более сложных, чем команды, скажем, языка БЕЙСИК, и поддающихся поэтому «ручному» написанию и правке.

Именно разработанный Бернерсом-Ли и его единомышленниками язык гипертекстовой разметки HTML (Hypertext Markup Language) сделал гипертекст таким же удобным и понятным в обращении инструментом, как, например, пишущая машинка (хоть это сравнение и условно), и привел к тому, что Сеть стала тем, чем она стала — новой Вселенной, перевернувшей привычные представления о мире и о человеке.

Приведу небольшой пример принципиально новых возможностей Сети. Однажды мой друг, переводчик фильмов, попросил меня попробовать найти, откуда именно взята цитата Шекспира, которой не нашлось в известном всем переводчикам «Словаре цитат». Я не долго думая ввел в окошко поисковой системы «Альтависта» *четыре слова* и мгновенно получил ответ: эти слова встречаются вместе и в такой последовательности только в одном документе: комедии Шекспира «Мера за меру», акт III, сцена 1. Причем пришел этот ответ откуда-то из Австралии, где неведомый альтруист «набил» в компьютер полное собрание сочинений Шекспира.

Случай этот интересен тем, что Сеть «сработала» не просто как очень большой справочник, который был бы здесь бесполезен, а так, как если бы я обратился к *живому человеку* — энтузиасту и знатоку Шекспира.

Следовательно, между словами «электронный текст» и «гипертекст» смело можно ставить знак тождества, а развитие гипертекстуальной литературы — одно из побочных следствий развития глобальной Сети?

Дело обстоит ровно наоборот.

Тосканские нотарии стали вписывать стихи на свободные места завещаний и купчих не потому, что стало больше свободных мест, а потому, что начался Ренессанс. Точно так же гипертексты теснейшим образом связаны с приходом того, что обычно именуют постмодернистской эпохой.

Американский критик Ихаб Хассан, давая одну из самых четких характеристик постмодернизма, называет ряд его признаков: 1) Неопределенность, культ неясностей, ошибок, пропусков; 2) Фрагментарность и принцип монтажа; 3) «Деканонизация», борьба с традиционными ценностными центрами; 4) «Все происходит на поверхности», отсутствие психологических и символических глубин; 5) «Мы остаемся с игрой языка, без Эго»: молчание, отказ от мимезиса и изобразительного начала; 6) Положительная ирония, утверждающая плюралистическую вселенную; 7) Смешение жанров, высокого и низкого, стилевой синкретизм; 8) Театральность современной культуры, работа на публику, обязательный учет аудитории; 9) Сращение сознания со средствами коммуникации, способность приспосабливаться к их обновлению и рефлектировать над ними[1].

Если сравнить эти признаки с еще одним, более универсальным определением гипертекста, помещенным на сайте «Электронный лабиринт» — одном из лучших сайтов, посвященных этой теме, то бросится в глаза их явное соответствие:

Гипертекст — это представление информации как связанной сети гнезд, в которых читатели свободны прокладывать путь нелинейным образом. Он допускает возможность множественности авторов, размывание функций автора и читателя, расширенные работы с нечеткими границами и множественность путей чтения[2].

Мы видим, что 1-й признак Хассана находит свое выражение в *нелинейности, нечеткости границ и размывании функций,* 2-й есть не что иное, как нельсоновское *отсутствие непрерывности* и *прыжок*, 4-й обозначает ту самую «визуализацию» аллюзий и намеков, а 7, 8 и особенно 9-й выражают то же самое, что *разнородность и мультимедийность,* которые имеются в виду под «расширенными работами».

Словами, поразительно похожими на определение гипертекста, описывает свой идеальный «текст-письмо» и Ролан Барт в «S/Z»:

---

[1] Цит. по: *О.Б. Вайнштейн*. Homo deconstructivis: философские игры постмодернизма. «Апокриф» №2.
[2] http://jefferson.village.virginia.edu/elab/hfl0037.html

Такой идеальный текст пронизан сетью бесчисленных, переплетающихся между собой внутренних ходов, не имеющих друг над другом власти; он являет собой галактику означающих, а не структуру означаемых; у него нет начала, он обратим; в него можно вступить через множество входов, ни один из которых нельзя признать главным; вереница мобилизуемых им кодов теряется где-то в бесконечной дали *(подчеркнуто автором. — **М.В.**), они «неразрешимы» (их смысл не подчинен принципу разрешимости, так что любое решение будет случайным, как при броске игральных костей); этим сугубо множественным текстом способны завладеть различные смысловые системы, однако их круг не замкнут, ибо мера таких систем — бесконечность самого языка*[1].

Нельсоновские «куски» или, даже точнее, «ломти» текста — это не что иное, как бартовские «лексии»:

Мы станем членить исходное означающее на ряд коротких, примыкающих друг к другу фрагментов, которые назовем лексиями. *<...> ... ее протяженность, устанавливаемая эмпирически, будет зависеть от плотности коннотаций, неодинаковой в различных местах текста*[2].

Но к точно таким же определениям и выводам приходит, анализируя первый русский гипертекстовый многоавторский роман, не знакомый ни с Бартом, ни с Ландоу программист и деятельный участник русских сетевых проектов Дм. Манин (подробнее о нем см. статью С. Кузнецова):

*Страница (то есть глава. — **М.В.**) должна быть короткой, на один укус: одно событие, одна мысль, одна метафора, один предмет. <...> Принцип дополнительности: чем больше ссылок со страницы, тем она должна быть короче.*

Я хочу сказать простую вещь: гипертексты вовсе не были порождены компьютером. Поэтому среда их существования не исчерпывается электронным зазеркальем, и многие литературные произведения, признаваемые ныне классикой постмодернизма, хотя и писались как сугубо «бумажные», несут в себе несомненные признаки гипертекстуальности.

Помимо произведений Павича, писавшихся уже с прямой «оглядкой» на компьютерные технологии, таково, бесспорно, «Бледное пламя» В.В. Набокова, состоящее, как мы помним, из «поэмы» и занимающего бóльшую часть всего текста «построчного комментария» к ней, а также «глоссария». Читать поэму без комментария так же бессмысленно для понимания, чтó хотел сказать «настоящий», то есть находящийся во внешней по отношению к тексту реальности автор, как и читать комментарий без поэмы. Смысл возникает только на их стыке, при появлении гиперсвязи, или, если угодно, в момент *линкования*. Кроме того, даже закончив чтение, читатель может составить по меньшей мере три *равновероятные* версии того, что же, собственно, произошло в уже прочитанном им произведении, так что, если он хочет все-таки попытаться разобраться в нем, «Бледное пламя» нужно перечитывать много раз — под разными углами зрения и в разной последовательности.

«Бледное пламя» явно гипертекстуально; его легко представить себе на экрáне компьютера в виде двух раскрытых рядом окон — поэма и комментарий[3]. Более тонкий случай «свернутого», или «латентного», гипертекста представляют собой поздние романы одного из крупнейших итальянских писателей XX века Итало Кальвино (1923—1985)[4].

Рассмотрим для примера роман «Незримые города» (1972).

Эта небольшая книга состоит из пятидесяти пяти коротких рассказов о разных городах, якобы посещенных («якобы» — во внутрироманной реальности) Марко Поло по поручению Кубла-Хана. Они собраны в девять глав, по пять рассказов в каждой, кроме первой и последней, где их по десять. Каждая глава обрамлена словами-интермедиями автора, колеблющимися по длине от одного абзаца до нескольких страниц, в которых воспроизводятся диалоги Марко и Кубла-Хана и обстановка, в которой проходят их беседы. Сами города собраны в одиннадцать «тематических групп», по пять в каждой: «Города и память», «Города и желания», «Города и знаки», «Изощренные города» и т. д. Каждый новый «тип» появляется

---

[1] *Ролан Барт*. S/Z. M., 1994, стр. 14.
[2] Op. cit. p. 24-25.
[3] Сам Набоков лукаво предлагает в предисловии купить два экземпляра книги — «для удобства чтения».
[4] Читатели «ИЛ» могли оценить своеобразие романа «Если однажды зимней ночью путник» (1994, № 4).

последним, пятым, в главе, в каждой последующей главе передвигается на позицию вперед и наконец, добравшись до первого места, исчезает.

Столь сложная структура, потребовавшая такого подробного описания, компенсируется краткостью самих рассказов: от половины до полутора страничек небольшого формата, на которых описывается одна-единственная яркая особенность города или его жителей. Таким образом, каждый рассказ представляет собой почти что бартовскую лексию, при этом соблюдается принцип «сохранения баланса»: чем большим количеством аллюзий нагружен рассказ, тем он короче.

Главное, на что обращаешь внимание при чтении «Незримых городов», — это полное отсутствие вектора времени. Причем речь идет не об отсутствии движения дискурса, а об отсутствии движения самой «истории». Никуда не движется действие книги: Марко и Хан сидят в саду, и Марко рассказывает формально не связанные друг с другом истории. Но, в отличие от «Тысячи и одной ночи» или «Декамерона», не происходит никакого движения и в самих историях! Каждый рассказ Марко — это статическое описание, «срез» жизни того или иного города. Стрела времени оказывается «воткнута» в песок дисперсных, не связанных между собой маленьких рассказов, в которых, однако, как в настоящем песке, чувствуется внутреннее сцепление.

Такая дискретность и статичность книги, вся ее структура «работают» на то, что запомнить ее последовательность практически невозможно ни с первого раза, ни перечитывая по многу раз. Читатель приглашается находить и активизировать скрытые в книге многочисленные внутренние связи самостоятельно.

Велико, например, искушение попробовать перечитать рассказы «подряд по тематическим группам»: пять «Городов и памяти»; потом пять «Городов и желаний»; и так вплоть до последней пятерки — «Скрытые города». Что в них общего, чем они отличаются? Или попытаться проанализировать как единое целое каждую из девяти глав. По какому принципу объединены образующие ее рассказы? Не описывают ли они с разных точек зрения один и тот же город? По какому принципу, наконец, подобраны причудливые, явно на что-то намекающие названия?

Отдельные главы-рассказы «Незримых городов», будучи никак не связаны на уровне сюжета, оказываются связаны на метауровне, причем не линейно, как в «Декамероне», а множеством разнообразных способов — как и положено в нормальном гипертексте.

Экстраполяции эти можно продлить и гораздо глубже в историю. Так, несомненные элементы гипертекстуальности можно обнаружить в столь разных текстах, как дилогия про Алису Льюиса Кэрролла и Библия.

Дилогия Кэрролла интересна нам сейчас в первую очередь своей латентной нелинейностью: объединенные формально темами «поиска выхода» и «нахождения сокровища»[1] (то есть королевского скипетра: Алиса, как мы помним, движется по Зазеркалью из пешек в королевы) главы практически никак одна из другой не вытекают, и в них постоянно возникают новые, не связанные друг с другом персонажи. В мире Кэрролла возможно любое развитие событий, никакими законами логики или здравого смысла не скованное: совершенно невозможно предвидеть заранее, с чем столкнется Алиса на следующей странице и чем это кончится. Этим «Алиса» отличается от обычного приключенческого или плутовского романа: если в мире Дюма герой, вступив в схватку, может только победить противника или (теоретически) сам потерпеть поражение, то в мире Кэрролла вариантов развития событий бесконечное множество: его противник может превратиться в птицу или же их сражение может оказаться «боем с тенью». Еще меньше ясности в вопросе, как интерпретирует это каждый конкретный читатель и какие смыслы надстроит.

Библия же стала классическим примером в рассуждениях о гипертекстах, во-первых, из-за своей уникальной по степени разработанности перекрестной системы «параллельных мест» — аналогов гиперссылок и, во-вторых, благодаря принятому в христианстве «контрапунктному» прочтению: все разнородные события Ветхого завета проецируются на события завета Нового, а пророки и вожди рассматриваются как предтечи и частичное воплощение Христа и как обязательное звено на пути человечества к Спасению. Кроме того, каждый

[1] Излюбленные темы компьютерных игр, так называемых «квестов» (quest).

стих Библии многозначен (в традиционной экзегетике — четырехзначен) и способен порождать бесконечное количество толкований и ассоциаций, то есть целую *сеть* новых смыслов

Вместе с тем, говоря о гипертекстах, не следует путать *движение повествования* и *движение истории*. В борхесовском «Саду расходящихся тропок» дается ставшее уже классическим описание нелинейного произведения:

Стоит герою любого романа очутиться перед несколькими возможностями, как он выбирает одну из них, отметая остальные; в неразрешимом романе Цюй Пэна он выбирает все разом. Тем самым он творит различные будущие времена, которые в свою очередь множатся и ветвятся. <...> Скажем, Фан владеет тайной; к нему стучится неизвестный; Фан решает его убить. Есть, видимо, несколько вероятных исходов: Фан может убить незваного гостя; гость может убить Фана; оба могут уцелеть; оба могут погибнуть и так далее. Так вот, в книге Цюй Пэна реализуются все эти исходы, и каждый из них дает начало новым развилкам. Иногда тропки этого лабиринта пересекаются: вы, например, явились ко мне, но в каком-то из возможных вариантов прошлого вы мой враг, а в ином — друг[1].

Но при этом сам рассказ — словно по контрасту — является одним из наиболее «традиционных» у Борхеса: с завязкой, развязкой, с весьма удаленным от автора героем-рассказчиком и даже с динамичным детективным сюжетом. Точно так же история, рассказанная Павичем с применением гипертекста в «Дамаскине», вполне линейна и «традиционна» — во всяком случае, традиционна для Павича.

Итак, и концепция и форма гипертекста предвосхищались порой в творчестве писателей, не имевших никакого представления о компьютерах и об Интернете. Но только в конце XX века о гипертексте заговорили как о самостоятельном явлении. Почему это произошло?

Зачастую мы не задумываемся, насколько изменилось место человека в мире за последние десятилетия. Выбросы в атмосферу продуктов переработки, в первую очередь энергетической, угля и нефти, реально влияющие на климат. Супертанкеры, несущие смертельную опасность целым морям. Вырубка лесов в Южной Америке, проводимая в таких масштабах, что способна изменить химический состав атмосферы... Из элемента биосистемы человек окончательно превратился в величину, определяющую само физическое существование планеты Земля, на равных с мировым Океаном или вулканической системой.

Но главное, мы не только *осознаем,* но и *ощущаем* мир совершенно по-другому, чем сто или даже пятьдесят лет назад. Речь идет не о том, что теперь, сидя дома, можно разговаривать с другими материками и есть зимой клубнику, а о базовых понятиях: благодаря автомобилям и поездам у нас изменилось чувство времени и ритма; благодаря искусственно получаемым очищенным цветам — чувство колорита и т. д. Нас изумляют египетские пирамиды, но изумление это все-таки уже скорее ретроспективно. Чтобы пирамиды поражали та́к, как поражали двадцать веков назад, они, условно говоря, должны быть высотою с Останкинскую телебашню и переливаться всеми цветами радуги.

Реальность и вымысел меняются местами, диффундируют друг в друга. Автомобильная авария, свидетелями которой мы случайно оказываемся на улице, «в жизни» выглядит совершенно неправдоподобно: ни замедленной съемки, ни повторов в разных ракурсах — ничего из того, что мы все видели множество раз на теле- и киноэкране.

По справедливому замечанию М. Эпштейна, знаменитая маклюэновская формула 60-х годов «The Medium is the Message» — «Передатчик есть сообщение» — сейчас, после «пятнадцати минут славы», обещанных каждому Энди Уорхолом, и особенно после появления CNN с его принципом «Новость — это не то, что произошло, а то, что происходит», уже требует усиления: «The Medium exceeds (превосходит) the Message».

Жан Бодрийар, размышляя о странностях войны в Персидском заливе, «первой войны электронной эпохи», когда Буш и Хусейн узнавали о происходящем из одних и тех же передач CNN, писал:

В наши дни виртуальное решительно берет верх над актуальным; наш удел — довольствоваться такой предельной виртуальностью, которая, в противовес аристотелевской, лишь устрашает перспективой перехода к действию. Мы пребываем уже не в логике перехода возможного

---

[1] *Х. Л. Борхес.* Сочинения, т. 1. Рига, 1994, стр. 327.

в действительное, но в гиперреалистической логике запугивания себя самой возможностью реального.

В то время как критически мыслящий интеллектуал — как тип — находится на пути к вырождению, свойственная ему фобия реальности растекается, как кажется, по всей сети кровеносных сосудов наших институтов[1].

Неудивительно, что с середины 80-х годов социологи, культурологи, философы, даже литературоведы активно говорят, каждый со своей точки зрения, о «смене культурной парадигмы», «кризисе индустриальной цивилизации», «постиндустриальном обществе» и тому подобном.

Речь идет не просто об очередном «кризисе производства» или «смене формаций». Изменилась реальность — вокруг нас и внутри нас (независимо от того, какую из них считать первичной и проводить ли вообще такое разделение).

Замена жестких бинарных оппозиций реальность/вымысел и реальность/текст целым набором реальностей и иерархией текстов, конфликт, при этой замене возникающий, и его преодоление составляют стержень развития человеческой цивилизации в XX веке и, как следствие, — его искусства[2].

Ю. М. Лотман, исследуя развитие культуры, различал цивилизации, ориентированные на получение информации извне, на «экстенсивное приращение знания», и цивилизации, ориентированные на ритуал, на вкладывание все новых и новых смыслов в одну и ту же известную форму. В культурах первого типа велика опасность резкого разделения общества на передающих и принимающих, возникновения психологической установки на получение истины в качестве готового сообщения о чужом умственном усилии. Культуры второго типа часто оказываются значительно менее динамичными и гибкими, чем этого требуют нужды человеческого общества[3].

Лотман не делает вывода, но он напрашивается сам собой: необходим синтез, эти два взаимоисключающих подхода должны сосуществовать по принципу дополнительности, сформулированному применительно к квантовой физике Нильсом Бором[4] и впоследствии продуктивно расширенному в область гуманитарных знаний.

Гипертекст, разрушающий детерминированность и однозначность сообщения, уравнивающий в правах передающего и принимающего, оказался инструментом, чрезвычайно «созвучным» наступающей эпохе и наиболее адекватно описывающим новые взаимоотношения с реальностью. Именно этот инструмент способен объединить «духовную активность» цивилизации автокоммуникативного типа, в которую мы входим, с классической цивилизацией «сообщения».

■

---

[1] *Ж. Бодрийар*. Войны в заливе не было. «Художественный журнал», 1994, №3.
[2] Подробнее об этом см: *В.П. Руднев*. Словарь культуры XX века. М., 1997.
[3] *Ю.М. Лотман*. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 45.
[4] «Для того чтобы наиболее адекватно описать физический объект, относящийся к микромиру, его нужно описать во взаимоисключающих, дополнительных системах описания, например, одновременно и как волну, и как частицу». (Цит. по Словарю культуры XX века.)

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

Рождение Игры, смерть Автора и виртуальное письмо

В начале было, как всем известно, Слово. Но слово это было странное — оно было написано латинскими буквами, потому что по-русски тогда умели писать еще не все. Постепенно все наладилось: разработали кодировку КОИ8, которую понимали и те, кто сидели под UNIXом, и под Windows, и даже те, у кого отреза́лся восьмой бит при пересылке. Было, как вы видите, далеко не одно странное слово, а много странных слов. И нам, гуманитариям, их никогда не понять до конца. Но среди множества странных слов (сервер, сайт, мэйлер, постинг, юзнет и т. д.) было одно, знакомое и любимое давно.

Это было слово Игра.

Неудивительно, что в такой литературоцентричной стране, как Россия, и Интернет получился соответствующий, тем более что зачинателями его во многом были подросшие мальчики из матшкол, с детства предпочитавшие книжки рок-музыке и кино. Это было золотое время: Сеть была столь пустынна, что любое начинание оказывалось тут же замеченным. Имя можно было сделать буквально за месяц — хотя конвертировать его в деньги удалось не всем и не сразу.

Поначалу литературоцентризм Сети проявлялся во вкладывании набитых еще на БЭСМ-6 Стругацких и Булгакова, но в 1994 году стали появляться первые чисто сетевые проекты. Самым удачным из них было придуманное Дмитрием Маниным «Буриме», сетевой вариант известной со времен Людовика XIV игры в «рифмующиеся окончания» — по-французски les bouts-rimés. Распространившись за прошедшие столетия по всему миру, игра в свой черед достигла и России, где оставалась популярной вплоть до шестидесятых годов нашего века, став, в частности, одним из традиционных заданий на конкурсах старого КВН. Слово «буриме» стало означать как саму игру в сочинение стихов на заданные рифмы, так и получающиеся в результате тексты.

Манин (и позже присоединившийся к нему Алексей Храбров) реализовали компьютерную модификацию игры. Главная идея осталась той же: игрок получает две пары рифм, сочиняет четверостишие и присоединяет его к существующему банку буриме. Остальные правила тоже достаточно просты. Рифмы, необходимые для игры, наугад берутся программой из словаря, который постоянно пополняется — перед тем как получить задание, игрок должен предложить новую рифму. Специальный механизм голосования позволяет участникам давать оценки различным буриме и рифмам: неудачные стихотворения исключаются из основного списка, а плохие рифмы (любовь/кровь, бить/любить) выбрасываются из словаря. «Хорошими» считаются неожиданные («Скарлет/карлик»; «курага/ураган») и составные рифмы типа «у Манина/ума нема» (вот уж неправда!) или «донага/Купидон ага». Конечно, чтобы придумать стихотворение на такую рифму, требуется проявить изобретательность:

Я вот что: я разденусь донага,
Постреливать начну в ускоренном режиме,
Не разбирая меж своими и чужими,
А люди скажут: «Видно — Купидон, ага!»

Это буриме называется «Что бы такого сделать плохого в час, когда утро встает над Невой», но встречаются названия и похлеще: «Скрипач на поехавшей крыше Родины», «Доброе утро, похмельный синдром», «Памяти продовольственной программы» или «Павлик Морозов и эдипов комплекс»:

Кулаки таятся в чаще,
Словно в ж... геморрой,
И крадется к маме спящей
Мимо папы сын-герой.

© С. Кузнецов, 1999

На настоящий момент написано уже 18 241 буриме (правда, 5076 из них забраковано читателями-авторами; есть и такая возможность). Многие игроки составляют собственные рейтинги и собрания своих собственных или лучших буриме, иногда сопровождая их не лишенными остроумия комментариями. Но, может быть, даже важнее, что буриме стало прародителем целой семьи сетевых литературных игр или, как их иногда называют в Интернете, «творческих сред». В 1995 году Манин сделал «Сонетник», где коллективно и по строчкам пишут сонеты, — каждый может добавить строчку или исправить предыдущую, соблюдая схему рифмовки и не выбиваясь из размера. Работа получается довольно кропотливая, а результаты, в отличие от буриме, видны не сразу. Тем не менее на настоящий момент полностью написано 1260 сонетов и еще десяток находится в работе. В 1996-м Эля Ратнер создал «Блимную» и «Пекарню лимериков», где, как нетрудно догадаться, пекут лимерики: в «Пекарне» используют механизм, аналогичный «Сонетнику», а в «Блимной» (теперь вы поняли, что это не опечатка?) задают не рифмы, а строчки: скажем, первую и третью.

Потом появился придуманный Романом Лейбовым и запущенный тем же Маниным «Сад расходящихся хокку», живший сначала на «Журнале.Ру», а потом переехавший в «Русский журнал». Там, разумеется, сочиняют хокку и сочинили к настоящему моменту двенадцать с лишним тысяч. Еще одна родственная игра курируется Алексеем (Лехой) Андреевым — в его журнале «Лягушатник». Посетители играют в «Ренгуру», составляя бесконечную «ренгу», состоящую, как ей и положено, из чередующихся трех- и двустиший (каждое трехстишие — хокку, а каждые 2+3 или 3+2 — танка).

Есть еще и просто игры со словами типа «виселицы», но их уже сложно назвать литературными.

Особняком стоит самая известная попытка русского коллективного гипертекста — запущенный уже упомянутым Романом Лейбовым РОМАН (пишется заглавными латинскими буквами, читается по-русски... напомню, что в 1995 году, когда он возник, с русским в Сети были большие проблемы). Интересующихся теорией гиперлитературы отправим к статье М. Визеля, напечатанной в этом же номере, а сами вкратце скажем о том, что позволяет считать РОМАН литературной игрой.

Лейбову принадлежит первоначальный фрагмент, от которого в разные стороны расходятся повествовательные ветви, не столько посвященные вариантам развития событий, сколько создающие вокруг «зародыша» некую структуру со множеством сюжетов, ассоциативных связей, флэшбэков и взаимопроникновений. Любой из «авторов» РОМАНа может продолжить его с любого слова, любого фрагмента, ориентируясь на собственные или чужие фрагменты или вообще не обращая внимание на то, что делается по соседству. Говоря о художественных достоинствах РОМАНа, надо заметить, что, судя по всему, целью Лейбова было не столько создание шедевра, сколько изучение возможностей новой формы. В некотором роде можно сказать, что главным итогом всего проекта явился не столько сам РОМАН, сколько два вполне традиционно построенных текста: «Как читать РОМАН» Р. Лейбова и «Как писать РОМАН» Д. Манина, описывающих структуру РОМАНа.

Активно РОМАН просуществовал год; поначалу казалось, что ему не будет конца, но постепенно структура стала столь разветвленной, что написание новых глав затормозилось. В какой-то момент в поисках разнообразия создатели РОМАНа открыли по соседству английскую версию под названием LENOV (анаграмма слова «novel» и, разумеется, фамилия главного героя). Когда в компьютере что-то разладилось и механизм внесения дополнительных глав отказал, в нем насчитывалось свыше полутора сотен фрагментов. Восстанавливать «снесенные скрипты» (еще два непонятных слова!) никто не стал, и нынче РОМАН так и существует как законсервированный памятник героической эпохе: все последующие попытки создания коллективных гипертекстов не были ни столь изобретательны, ни столь масштабны.

У всех описанных проектов есть нечто общее помимо литературно-игровой направленности, компьютерного носителя и сетевого способа существования. Это — принципиальное отсутствие авторства в классическом смысле слова. К примеру, «автором» РОМАНа является а) Лейбов, все придумавший и все редактировавший; б) Леонид Делицин, многое сделавший для реализации РОМАНа в наиболее удобочитаемом виде; в) авторы трех с лишним сотен главок. Еще интереснее дело обстоит с «Буриме» и его продолжениями, где авторство делится между создателями среды, авторами задаваемых рифм/строчек и собственно автором (авторами) стихотворения. Все это напоминает о столетней давности играх французских

сюрреалистов — так же как и присутствие элемента случайности (выбор пары рифм или строк компьютером).

Мне вообще представляется, что «Буриме» и его продолжения являются наиболее удачным из всех литературных интернетовских проектов (не случайно, что, хотя оно является самым старым, интерес к нему не затихает). Дело даже не в том, что жесткие условия (заданные рифмы и количество строк) делают буриме/лимерик более формально изощренным и, следовательно, более «интересным» жанром, чем традиционные стихи: просто на сегодняшний день это, наверное, самая успешная попытка создать из человека и компьютера своеобразного поэтического кентавра.

Подобные попытки предпринимались и ранее: широко известны программы, которые сами создают литературные тексты, используя заданный пользователем словарь. Впрочем, они не слишком популярны, хотя это направление и развивается более тридцати лет: стихи, написанные с использованием последних достижений структурной лингвистики, не вдохновляют владельцев «Макинтошей» и IBM PC на участие в подобных экспериментах.

Манин инвертировал схему, переложив «творческую» часть задачи на людей и тем самым, как это ни парадоксально, превратив их в часть безупречно работающего механизма, производящего (посчитайте!) в среднем стихотворение за четверть часа. На место пресытившегося игрока тут же встает новый, и недостатка в желающих — в отличие от РОМАНа — нет. В некотором роде манинское «Буриме» — это модель Интернета, в котором усилиями множества добровольцев в самых разных областях создается нечто, уже в процессе появления на свет полностью отчуждаемое от своих создателей.

Иногда мне кажется, что литературные интернетовские игры — это реализация древних гуманитарных утопий. Раймонд Луллий в средние века и Тристан Тцара в начале века мечтали о машине, бесконечно производящей тексты. Ролан Барт в своем знаменитом эссе воспел «гул языка» — шум подобной языковой машины, работающей без перебоев и осечек. Немного воображения — и мы услышим этот гул в кабельных и оптико-волоконных линиях связи Интернета. Он не умолкнет до тех пор, пока существуют Сеть и русскоязычные пользователи, предпочитающие сочинение стихов и прозы игре в Quake.

Упоминание имени Барта в предыдущем абзаце нельзя назвать случайным. Проблематика, теоретически заданная его известной статьей «Смерть Автора»[1], актуализована в Интернете самым решительным образом. Метафизика понятия авторства оказалась подорвана, а юридический статус Интернет-публикации до сих пор остается неясным. Тем самым Сеть превратилась в вызов, брошенный сторонникам традиционной теории авторства. Вызов, на который они, честно говоря, не знают, как отвечать.

На сегодняшний день Интернет успел реализовать, пожалуй, все возможные варианты нарушения авторских прав: самовольную публикацию без согласия автора, публикацию текста с многочисленными ошибками и даже приписывание текста не тому автору.

Характерен последний случай. Года два назад по всему англоязычному Интернету ходил текст речи Курта Воннегута, якобы произнесенной им на выпуске студентов Массачусетского технологического института. После того как выдержки из него напечатали в «Weird'e» и других бумажных изданиях, разразился скандал, потому что литературный агент создателя «Завтрака для чемпионов» обнаружила этот текст и заявила городу и миру, что Воннегут к нему не имеет никакого отношения. После недолгого разбирательства выяснилось, что все написала Мэри Шмич из «Chicago Tribune» — но в Интернет пустила не она, а так и оставшийся неизвестным шутник.

Это, конечно, довольно экзотический случай. Для Рунета («русского интернета») куда большей проблемой явилось существование электронных библиотек, в которых стараниями добровольцев собрано неподдающееся учету количество художественной, научно-популярной и специальной литературы[2]. Разумеется, когда текст кладется на Сеть, никто не спрашивает

---

[1] А также работами Мишеля Фуко и ряда других французских философов, которых — скопом и не различая — называют «постструктуралистами».

[2] Отметим, что первая попытка создания электронной библиотеки была предпринята в США, где в течение многих лет работал «Проект Гутенберг», ставящий своей целью перевод в электронную форму всей мировой классики. Несмотря на финансирование и большую рекламную шумиху, объемы, которые удалось поднять американцам, на порядок меньше тех, которые за то же время бесплатно перенесли в Интернет наши соотечественники.

согласия автора (да и где его найдешь?). Тем не менее в большинстве библиотек (прежде всего — в самой известной из них, библиотеке Максима Мошкова) действует правило: если автор возражает против электронной публикации, его текст тут же снимается. Надо отметить, что большинство авторов не имеют ничего против — даже когда речь идет о таких коммерчески успешных прозаиках, как Виктор Пелевин или Борис Стругацкий.

Были случаи, когда авторы сначала возражали против электронной публикации, но потом признавали ее правомочность (так случилось с Владимиром Войновичем). Вероятно, причина в том, что писатели начинают понимать, что число готовых читать многостраничный роман в Интернете меньше числа тех, кто, прочитав первые двадцать страниц, решают, что это стоящая книга, и идут покупать ее в магазин (в том числе в электронный). Иными словами, рекламный эффект превышает потери от возможных «бесплатных» читателей.

Впрочем, уже зафиксированы случаи, когда электронные издатели отказываются снимать текст с Сети даже после протестов автора[1]. Предпосылкой для неразрешимости споров служит непроясненность статуса Интернет-публикации. Сторонники строгого соблюдения авторских прав приравнивают ее к публикации на бумаге; противники выдвигают альтернативные модели. Можно считать Интернет большой библиотекой — и тогда согласия автора не требуется, так же как оно не требуется для помещения книги в библиотеку. Более того, можно считать Интернет новой средой бытования текстов и вырабатывать на этом основании новые модели. Одной из них может служить гипотетический пример «публикации по телефону»: пускай некто надиктовывает понравившуюся ему книгу на автоответчик и публикует в газете бесплатных объявлений свой телефон. В этом случае не требуется согласия ни автора, ни издателя[2].

Проблема эта достаточно сложна, и в Америке сейчас вовсю идут судебные процессы вокруг формата MP3, позволяющего выкладывать на Сеть аудиозаписи в CD-качестве так, что за десять—пятнадцать минут любой может бесплатно скачать себе понравившуюся песню.

Отметим, что все рассмотренные выше случаи объединяет отсутствие коммерческой выгоды — денег за телефонный звонок или чтение с Сети никто не берет. Также во всех этих историях трудно найти пострадавших: Воннегут известен и без текста Мэри Шмич; Мэри Шмич получила хорошую рекламу; тиражи «Голубого сала» только выросли после скандала вокруг его несанкционированной публикации. Можно сказать, что принцип отсутствия «злого умысла» де-факто стал главным критерием, определяющим этику Интернета.

Уместно будет процитировать Джона Перри Барлоу, основателя Фонда электронных рубежей и одного из наиболее заметных идеологов Киберпространства: «Правительства Индустриального мира, вы — утомленные гиганты из плоти и стали; моя же Родина — Киберпространство, новый дом Сознания. От имени будущего я прошу вас, у которых все в прошлом, — оставьте нас в покое. Вы лишние среди нас. Вы не обладаете верховной властью там, где мы собрались. <...> Ваша все более и более устаревающая информационная промышленность желала бы увековечить свое господство, выдвигая законы — как в Америке, так и в других странах, — требующие права собственности на саму речь по всему миру. Эти законы провозглашают, что идеи — всего лишь еще один промышленный продукт, не более благородный, чем чугунные чушки. В нашем же мире все, что способен создать человеческий ум, может репродуцироваться и распространяться до бесконечности безо всякой платы. Для глобальной передачи мысли ваши заводы больше не требуются»[3].

В своей Декларации Барлоу, в частности, пишет: «Там же, где есть реальные конфликты и недостатки, мы выявим и устраним их собственными средствами. Мы устанавливаем свой собственный Общественный договор. Этот способ правления возникнет согласно условиям

---

[1] Наибольший резонанс получила история с «публикацией» романа Владимира Сорокина «Голубое сало». Подробнее об этом см. дискуссию в «Ex Libris НГ», 8 июля 1999 г.

[2] Существует, разумеется, моральный аспект. Но хочется подчеркнуть, что в отсутствие аспекта метафизического моральный аспект теряет свою былую силу. В качестве примера можно вспомнить то, что случилось после того, как церковный брак превратился в гражданский. Адюльтер перестал быть законодательно караемым проступком, камнями уже никого не побивают. Но вопрос супружеской верности не был «снят»: просто он перешел в область частных отношений супругов и любовников. Аналогично несанкционированная публикация в отсутствие юридических и метафизических обоснований ее «незаконности» и аморальности остается личным делом публикатора, автора и, возможно, читателя.

[3] *Джон Перри Барлоу*. Декларация независимости Киберпространства. _Zhurnal.Ru, №1 (http://www.zhurnal.ru/1/deklare.htm)

нашего, а не вашего мира. Наш мир — другой», и во многом это действительно так: во всяком случае, в Рунете существуют внутрисетевые способы борьбы с плагиатом и попытками извлечь прибыль из чужого интеллектуального продукта помимо воли автора[1].

У проблемы авторства в Интернете есть еще один аспект: с каждым годом ширится число текстов, написанных специально для Сети, причем текстов самых обыкновенных, вовсе не предполагающих гипертекстовости как главного конструктивного принципа. И потому остается еще одна тема, которую мне хотелось бы затронуть в этой статье: виртуальная журналистика. Тем более что я сам уже несколько лет активно тружусь именно на этой ниве.

1997 год стал первым годом интенсивного функционирования русской сетевой журналистики. За прошедшие годы количество читателей выросло в десятки раз (например, «Газету.Ру» читают около семи тысяч человек ежедневно). Подавляющее количество из них — москвичи, имеющие возможность купить почти неограниченный набор журналов и газет, но тем не менее предпочитающие тратить время и деньги на чтение сетевой прессы. При этом многие бумажные издания имеют свои «представительства» в виртуальном мире, но, за редкими исключениями, до сих пор наибольшей популярностью пользуются ресурсы, создаваемые специально для сети.

В чем же причина? Неужели сетевые издания, зачастую создаваемые непрофессионалами или людьми, только несколько лет назад решившими попробовать себя в журналистике, оказались лучше изданий бумажных, имеющих возможность привлечь к работе лучших журналистов страны? Конечно нет. Они оказались не лучше — но адекватней новой среде.

Иногда считают, что главной особенностью Интернет-журналистики является возможность ссылки на ранее опубликованные материалы[2]. По идее, это должно сделать статьи компактнее, но на деле мало кто из журналистов отказывает себе в том, чтобы «еще раз кратко обрисовать» и «по-иному расставить акценты», — и в этом смысле русская и иностранная сетевая пресса мало отличаются друг от друга.

Главной особенностью, определившей стиль русской виртуальной журналистики, стала вовсе не гипертекстовость сети, а ее интерактивность. В бумажном издании, несмотря на ручеек «писем в редакцию», автор оставался Голосом, который вещал с высоты тысячам своих читателей. Между тем в Интернете любой из читателей может мгновенно ответить автору либо в специально отведенном для этого месте («гостевой книге»), либо частным письмом. Результатом является не только то, что автор начинает куда лучше представлять себе свою аудиторию[3], но и то, что необратимые изменения претерпевает его стиль. Трудно выдержать тон всезнающего пришельца из Информированных кругов, когда в любой момент тебе не только могут указать на ошибку, но и просто обозвать «козлом». Возможность резкого отклика со стороны читателя уравнивает автора с теми, к кому он обращается — и волей-неволей тон его становится несколько менее официальным.

Добавим к этому, что в Интернете куда меньше и дистанция между пишущими (да и вообще любой может обратиться к любому), — и в результате мы получим важную особенность Интернет-журналистики: она то и дело скатывается в «междусобойчик». Слово это, разумеется, ругательное, но то, что за ним стоит, имеет свою прелесть: не случайно обвинения в «междусобойчике» в разные годы получали такие культовые бумажные издания, как страница искусств газеты «Сегодня» и мостовщиковская «Столица». Между «виртуальными журналами» и этими изданиями действительно есть нечто общее: на знакомый сайт заходишь точно так же, как открывал «Сегодня» или «Столицу» — словно пришел в гости к друзьям. Ты давно их знаешь, примерно понимаешь, что они скажут по тому или иному поводу, но тебе все равно интересно их мнение и последние новости их жизни. (В Интернете ты даже можешь вставить свою реплику.) Схожий механизм работает в мыльной опере — но его же эксплуатирует культовая журналистика. Подобно тому как в «Сегодня» появилась Аделаида Метелкина, в Руне-

---

[1] Речь идет о так называемом Hall of Shame (http://www.ezhe.ru/hash/), куда может обратиться любой, считающий, что его Интернет-страница, дизайн или статья были скопированы кем-либо без ссылки на него. В большинстве случаев в результате переговоров виновный, понимая опасность общественного осуждения, снимает материал или дает ссылку на первоисточник. Согласно этике Интернета, второго вполне достаточно.

[2] Такой точки зрения придерживается, в частности, Билл Гейтс.

[3] Добавим к этому еще и возможность использования различных анкет, на которые в Сети отвечает куда больший процент, чем в бумажных изданиях.

те появляются Катя Деткина или Мэри Шелли — виртуальные персонажи, создатели которых зачастую никому не известны.

Еще одна причина популярности сетевых авторов — Рунет остается едва ли не единственным местом, где де-факто отсутствует цензура. Объяснение этого — в удивительной дешевизне интернет-изданий. В ряде случаев авторы работают «за интерес» и, значит, не подконтрольны никому, в других случаях инвесторы заинтересованы только в увеличении числа посетителей сайта — то есть опять-таки не заинтересованы ни в политической, ни в эстетической цензуре. Рунет — единственное место, где можно свободно обсуждать мэра Лужкова, наркотики и бандитизм; где никто не может заставить автора выкинуть из статьи слова «блядь» или «дискурс». В некотором роде — это классический самиздат со всеми его плюсами и минусами. Из последних, впрочем, надо исключить ограниченность тиража и географии распространения.

Разумеется, с появлением в Сети больших денег ситуация может измениться (она уже сейчас потихоньку меняется). Читателя нетрудно заманить на более богатые сайты, содержащиеся на деньги финансовых групп и политических партий. Независимый Интернет если и не уйдет в подполье, то станет кузницей кадров для богатых покупателей. Вполне возможно законодательно отрегулировать и вопрос с авторским правом (в Штатах это уже делается). И тогда Интернет девяностых будет вспоминаться как золотая пора свободы и самоуправления Сети — точно так же, как воспринимаются теперь времена пятилетней давности, когда любой пришедший в Сеть мог, не затратив ни копейки, за месяц сделать себе имя новой игрой или литературным проектом.

URL:
Буриме: http://www-koi.kulichki.com/centrolit/br.cgi
Сонетник: http://www-koi.kulichki.com/centrolit/sonnet.cgi
Лимерики: http://206.42.196.13/limeriki/
Сад Расходящихся Хокку http://www.litera.ru/slova/hokku/
Ренгуру http://www.net.cl.spb.ru/frog/renga/r-rules.htm
РОМАН: http://www.cs.ut.ee/~roman_l/hyperfiction/
Библиотека Мошкова: http://www.lib.ru/
Дискуссия о публикации «Голубого сала»:
http://nagual.pp.ru/~ache/texts/razborka.html
Gazeta.ru: http://www.gazeta.ru/

■

ДМИТРИЙ КУЗЬМИН

Краткий катехизис русского литературного Интернета

1. Какая литература шире всего представлена в Интернете?

Самодеятельная: сочинения авторов-дилетантов, загружаемые ими самими или их друзьями на персональные («домашние») страницы. Средний уровень такой литературы тот же, что и у книжек, изданных за счет авторов, а количество — больше, поскольку на книжку нужно еще денег набрать, а тут — практически даром. Что, впрочем, не исключает целого ряда новых интересных имен, блеснувших в Сети и теперь постепенно выходящих в мир «бумажной» литературы. Второе место уверенно держат *фантастика* и сопредельные жанры (причем представлены не только новомодные имена, но и классика 50—70-х: Азимов, Брэдбери, Саймак, — что косвенно свидетельствует о том, что на загрузку текстов в Интернет, обыкновенно посредством сканирования, бескорыстно тратят время и силы не только зеленая молодежь, но и люди среднего поколения); наиболее полная коллекция собрана в электронной библиотеке Максима Мошкова (http://lib.ru/~moshkow/). *Русская классика* представлена весьма выборочно, главным образом благодаря Евгению Пескину (http://www.online.ru/sp/eel/russian/), с 1992 года выкладывающему в Сеть произведения Достоевского, Булгакова, Грина, Есенина и многих других, причем не как-нибудь, а выверив по академическим источникам (то есть ими действительно можно пользоваться для научной работы — не читать же люди будут с монитора «Преступление и наказание»!). С зарубежной классикой несколько хуже: систематически с ней не работает никто, и объемное представительство в Сети имеют авторы, у которых нашлись более или менее фанатичные поклонники (в той же библиотеке Мошкова много Стейнбека, Джека Лондона, рассказов Чапека — набор достаточно случайный). *Текущая русская литература* сосредоточена на двух-трех крупных сайтах и тяготеет к двум полюсам: сетевые версии «толстых журналов» (http://www.infoart.ru/magazine/) и собрания более радикальной в эстетическом отношении, хотя и весьма разнообразной, прозы и преимущественно поэзии (из коих самое представительное — свыше 70 авторов — на сервере «Вавилон»: http://www.vavilon.ru/).

2. Правда ли, что Интернет — это современный самиздат?

Обычно такая параллель подразумевает, что в Интернете, как и в самиздате, всякий желающий может сам себя опубликовать без какого-либо цензурного, редакторского и тому подобного вмешательства. Все это довольно далеко от истины. Во-первых, и в Интернете случается цензура: так, роман Баяна Ширянова «Низший пилотаж», весьма откровенно описывающий жизнь наркоманов, несколько раз снимался из Сети по требованию провайдеров (то есть фирм, предоставляющих услуги по подключению к Интернету); правда, этот текст тут же возникал в каком-то другом месте. Гораздо существеннее другое: литературное пространство, лишенное какой-либо структуры (в том числе и иерархической — то есть, элементарно говоря, отбора по качеству), — это утопия, и утопия вредная. Классический самиздат никогда таким не был: особенно в период своего расцвета, в Ленинграде 80-х, самиздат — в отличие от придуманного Николаем Глазковым «самсебяиздата» — сложная и разветвленная система, со своими журналами (в том числе специализированными — поэтическим, переводческим, женским), премиями, студиями и т. п., со своими жесткими (при всем их различии в разных журналах) критериями профессионализма. Постепенно такая же система формируется и в Интернете: ведь всякий автор со временем понимает, что мало выложить десяток стихотворений на своей домашней страничке — надо еще, чтобы на эту страничку хоть кто-то заглянул. А значит — необходимы какие-то институты экспертной оценки и рекомендации, осуществляющие профессиональную инициацию и социализацию автора.

© Д. Кузьмин, 1999

3. Как соприкасаются в Интернете профессионалы и любители?

Наихудший способ, понемногу уходящий в прошлое: на домашних страничках любителей, помещающих рядом со своим творчеством, для солидности, несколько любимых стихотворений Пушкина, Бродского и Пригова. Это было естественно и неизбежно, пока литераторы-профессионалы присутствовали в Сети исключительно заочно. Перелом произошел в 1997 году, когда сетевой литературный конкурс «ТЕНЕТА» (http://www.teneta.ru/), проводившийся уже в четвертый раз, сформировал наряду с прежним своим жюри, состоявшим из держателей наиболее известных в Сети литературных страниц, жюри профессионалов, куда вошли, в частности, Борис Стругацкий, Александр Кушнер, Виктор Кривулин... Таким образом, Интернет дал многим начинающим авторам возможность показать свои работы авторитетным экспертам. В завершившихся недавно «ТЕНЕТАХ» 1998—1999 гг. жюри профессионалов было более специализированным: детские стихи читали одни эксперты, а критические статьи — другие. В то же время Александр Житинский, приведший в «ТЕНЕТА-97» профессионалов, сформировал из приглянувшихся ему конкурсантов уникальное виртуальное Литературное объединение имени Стерна (http://www.art-lito.spb.ru/), в котором под его руководством обмениваются мнениями, обсуждая произведения друг друга, авторы со всех концов света. Ну и самое, быть может, главное: редакторы и издатели постепенно отправляются в Интернет в поисках новых интересных авторов. Из Интернета взят ряд текстов в недавних выпусках «Митиного журнала», вестника молодой литературы «Вавилон», журнала поэзии «Арион». Строго говоря, это уже не встреча профессионалов с любителями — это инициация (обычно молодого) автора в качестве профессионала (поскольку профессионал — не тот, кто деньги зарабатывает, и не тот, у кого членский билет писательского союза, а тот, чье письмо оказывается органичной и в то же время неповторимой частью актуального литературного контекста). И есть основания полагать, что в самом близком будущем именно Интернет станет основным медиатором для рекрутирования новых молодых талантов, поскольку творчески и интеллектуально активная молодежь сегодня в значительной мере концентрируется так или иначе вокруг компьютера.

4. Что изменилось в Сети с приходом профессионалов?

Стало больше концептуально и дискурсивно внятных проектов. Сайт литератора-профессионала может быть даже подчеркнуто камерным, приватным — как, скажем, страница поэта Александра Левина (http://levin.rinet.ru/), — но в его содержании непременно присутствует некая внутрилитературная логика: скажем, представленные у Левина Всеволод Некрасов, Андрей Сергеев и Михаил Сухотин — не просто друзья держателя страницы, а опорные фигуры некоторого фрагмента литературного пространства. Очень характерно различие между сайтом «Остракон» Александра Бараша (http://members.tripod.com/~barashw/), представляющим русскую литературу Израиля под определенным углом зрения (коротко говоря — как израильскую литературу на русском языке), и несколькими безыдейными русско-американскими сайтами, публикующими собранные с бору по сосенке тексты оказавшихся через океан от родины авторов. Особенно любопытно, как всегда, то, что делает на своей странице Вячеслав Курицын (http://www.guelman.ru/slava/): нарочито неряшливый стиль его обзоров, поразительный эклектизм потихоньку собираемой им антологии, где соседствуют Солженицын, Маринина и восходящая звезда поставангарда 22-летний Данила Давыдов, — все это внешне очень похоже на наивные контексты, порождаемые некоторыми сетевыми аборигенами, не обинуясь помещающими рядом Пушкина и Пупкина и комментирующими сочинения обоих тоном героев известного мультсериала MTV Бивиса и Батхеда. Но то, что у других — проявление интеллектуальной девственности или культурной невменяемости, у Курицына — плод многоуровневой рефлексии: его антология — для тех, кто априори понимает разницу между Солженицыным и Марининой и потому готов воспринять эстетическую и интеллектуальную нагрузку их размещения в одном ряду.

5. Можно ли найти в Интернете новые переводы, публикации по зарубежной литературе?

Можно, хотя не все из этого равноценно. Дилетантизм переводческий так же распространен в Сети, как дилетантизм писательский. Во множестве присутствуют домашние странички, на которых неведомые персонажи упражняются в переводе — чего? Разумеется, сонетов Шекспира (начиная, естественно, прямиком с 66-го). Один сетует, «что пред немощью тут мощь покорена», другой уверяет в коде: «Мне плохо жить, конец предвижу дней, / / Но не покину я любви моей»... К большому сожалению, недостаточно взыскателен и основной сетевой источник новых переводов — «Лавка языков» Максима Немцова (http://www vladivostok.com/Speaking In Tongues/), где, например, в изобилии представлены чудовищные труды самого амбициозного из сетевых переводчиков — К. Фарая (который, например, переводя после Андрея Сергеева «Полых людей», мало того что путается в падежах и калькирует английский синтаксис, так еще и не дает себе труда сохранить рифму). В то же время в «Лавке...» можно найти немало действительно интересного — в первую очередь это касается современной поэзии на основных европейских языках, от Кэрол Руменс до Эрнста Яндля, а также титанов середины века: Каммингса, Целана, Одена (работу Сергея Бойченко с Каммингсом стоило бы отметить особо). Переводной отдел есть в открывшемся недавно журнале «TextOnly» (http://www.vavilon.ru/textonly/): в первом выпуске обращают на себя внимание латышские поэты в переводе Сергея Морейно и эффектный дебют совсем юного Ивана Бабицкого с подборкой поздних стихов Йейтса. Но, пожалуй, наибольшим успехом переводчиков из Сети нужно признать знакомство русского читателя с блестящим японским романистом Харуки Мураками: усилиями Дмитрия Коваленина и Вадима Смоленского появились по-русски два его романа, из которых первый, «Охота на овец», вышел уже и на бумаге, став бестселлером в магазинах интеллектуальной литературы; сайт Коваленина и Смоленского «Виртуальные суси» (http://www.u-aizu.ac.jp/~vadim/sushi/), посвященный японской литературе, явно лучший в своем роде. Наконец, нельзя не упомянуть об еще одном проекте, связанном с японской литературной традицией, — о «Лягушатнике» Алексея Андреева (http://www.net.cl.spb.ru/frog/), журнале поэзии хайку: здесь наряду с оригинальными текстами русских авторов регулярно публикуются и переводы, как с японского, так и с английского или французского.

6. Как обстоят в Сети дела с авторским правом?

По большей части никак. Большинство ветеранов русского Интернета держатся той точки зрения, что информация вообще и литература с искусством в частности должны быть абсолютно общедоступны, а потому любые ограничения на распространение каких-либо текстов аморальны. Считается, что основные сетевые публикаторы признают своеобразную презумпцию невиновности: текст лежит в Интернете до тех пор, пока автор (или иной владелец авторских прав) не предъявит возражений. Однако недавняя история с романом Владимира Сорокина «Голубое сало», когда публикатор, некто Чернов, наотрез отказался снять текст из Сети, несмотря на недвусмысленные требования писателя и издателя, показывает, что точка зрения автора на самом деле мало кого интересует. В ходе дискуссии на эту тему, проведенной «Русским журналом» (http://www.russ.ru/), выяснилось, между прочим, что защитники «свободы информации» не понимают и не хотят понимать, что авторское право — это не только право на гонорар, но еще и право на то, чтобы текст воспроизводился без искажений (практически неизбежных, когда он переводится в электронную форму путем сканирования), а также право на адекватный контекст (поскольку не всякому серьезному профессионалу понравится, если его стихи окажутся на домашней страничке неведомого ему юноши в окружении беспомощных сочинений приятелей оного). Впрочем, профессионалы, приходящие в Сеть из «бумажной» литературы, стараются не терять реноме и в этом отношении.

7. Составляет ли Интернет конкуренцию «бумажным» изданиям?

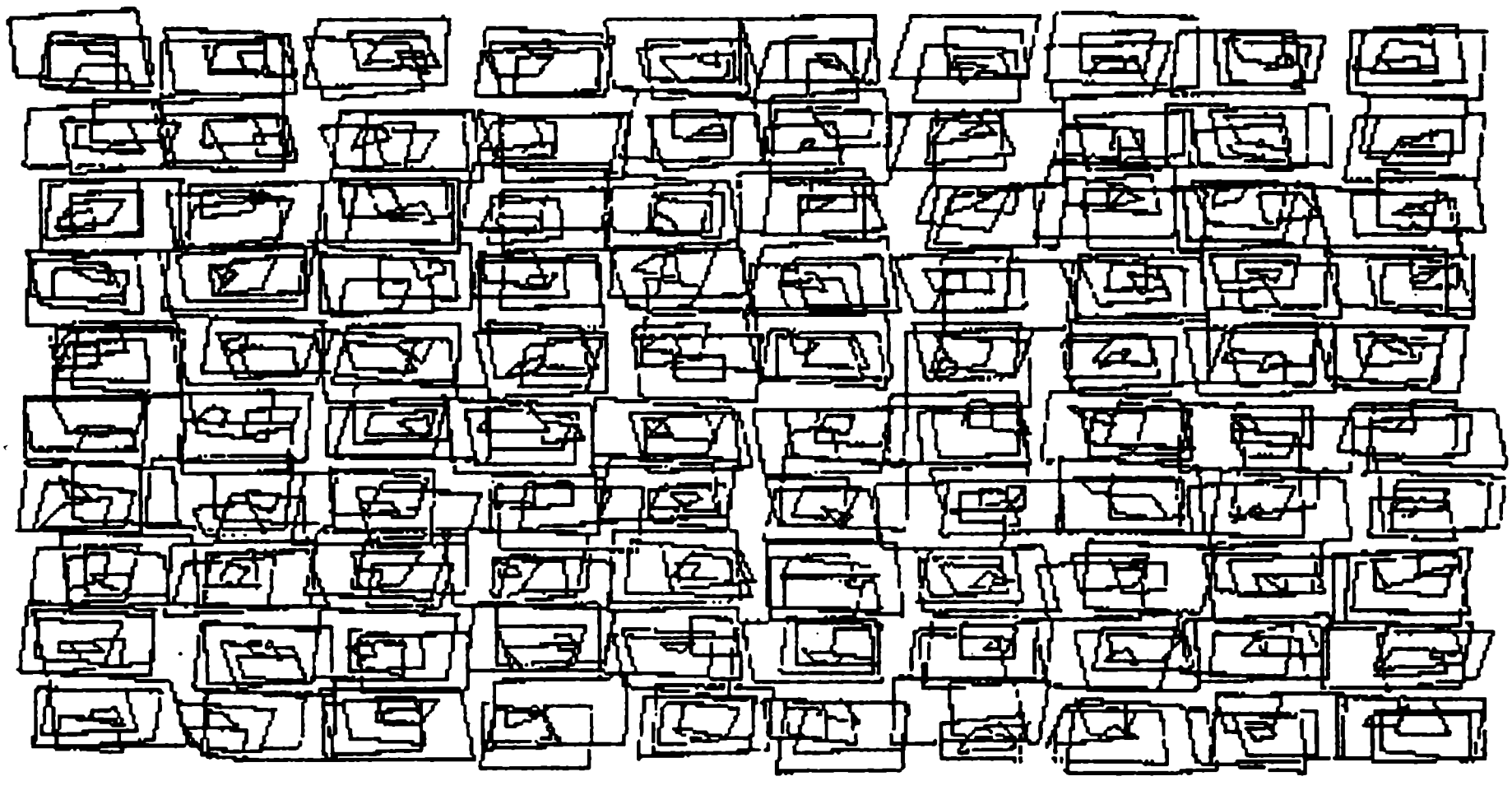
Нет, не составляет — по крайней мере, пока. Что ни говори, а книга, которую можно взять в руки, — совсем не то же самое, что буквы на экране или даже распечатка с принтера. К тому же система книгораспространения — прежде всего некоммерческой литературы — сегодня в России такова, что для многих читателей (особенно удаленных от обеих столиц — причем не важно в какую сторону: Нью-Йорк и Владивосток здесь в равном положении) нет никакой иной возможности прочесть нужный им текст, кроме как в Интернете. Более того, совершенно прав Александр Житинский, утверждая, что Интернет может удачно выступать посредником между издателем и читателем, если последний, познакомившись с текстом в Интернете, имеет возможность тут же заказать его в виде книги (а издателю это позволило бы планировать или варьировать тиражи — так называемая система Print-On-Demand). Иной раз даже автор с издателем встречаются в Интернете: так, живущий в Америке русский поэт Александр Алейник выпустил книгу своих стихов в Нижнем Новгороде, тамошние издатели нашли его стихи в Сети — и загорелись... А вообще можно сказать, что в некоторых отношениях удобно иметь один и тот же текст и в виде книги, и в виде файла (например, взятого из Сети): в файле удобнее искать нужное место, зато книгу можно взять с собой в любое место; вообще файл удобнее для работы, а бумажная книга — чтобы читать ради удовольствия.

Живопись и графика в рамке монитора: немного истории

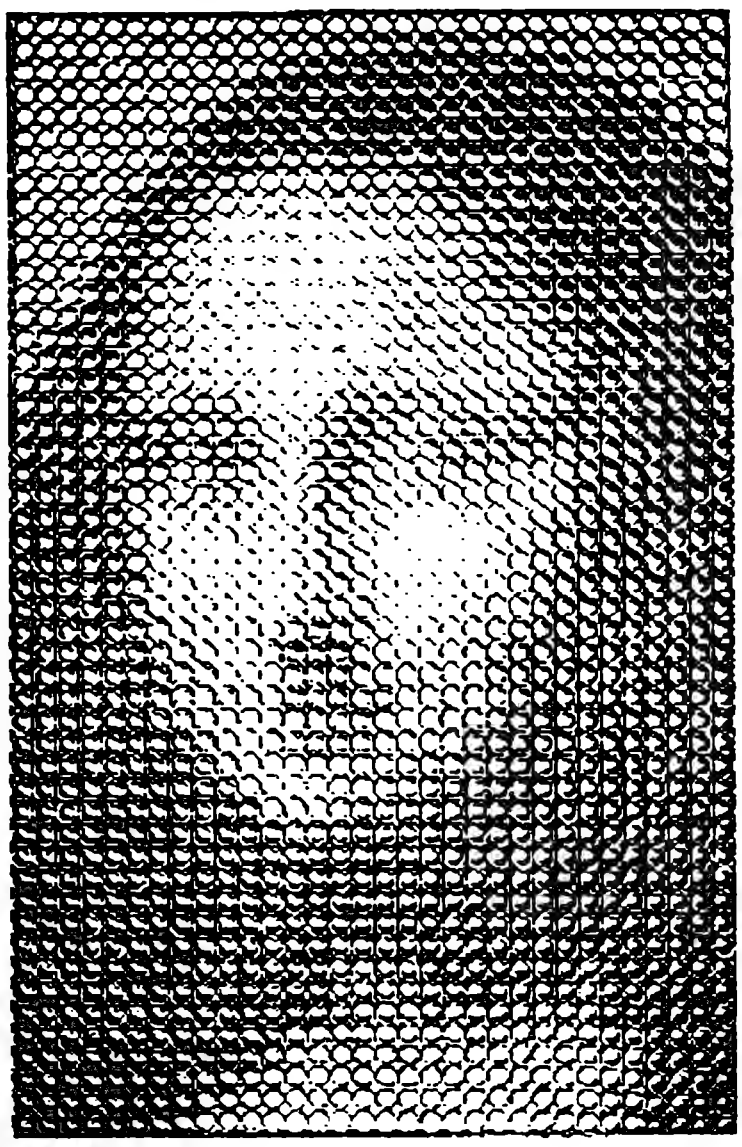
Истоки компьютерного искусства восходят к 1952 году, когда американец Бен Лапоски впервые использовал катодную трубку осциллографа для создания композиции под названием «Электронные абстракции». Однако то, что называют компьютерным искусством сейчас, появилось, конечно же, много позже — после появления собственно компьютеров. Для одних художников компьютер — это не более чем подсобный инструмент; другие же рассматривают его как полноценного соавтора, вступая с ним в интерактивный диалог.

Вера Мольнар, одна из первых компьютерных художниц, считает, что компьютер может служить четырем целям. Во-первых, он предоставляет огромные возможности для работы с самыми разнообразными цветовыми сочетаниями и формами. Во-вторых, он позволяет порождать и комбинировать эти формы в случайном порядке и в любом количестве, что может быть использовано для достижения особого художественного эффекта. В-третьих, компьютер предоставляет возможность создать библиотеку изображений, своеобразную базу визуальных данных. И в-четвертых, компьютер позволяет зафиксировать реакцию зрителя, чтобы использовать затем данные обратной связи в дальнейшем творческом процессе. Так, порожденные компьютером вариации простейших геометрических элементов Мольнар использовала для моделирования процесса зрительского восприятия: например, в ее работе «Путь следования» (1976) зафиксированы и многократно повторены движения глаз смотрящего на экран.

Жан-Пьер Иварал от исследования элементарных оптических эффектов перешел к кодировке и отображению на экране сложных художественных образов. Его серия компьютерной графики под названием «Синтезированная Мона Лиза» (1989) состоит из 12 этюдов, в которых шедевр Леонардо воссоздан после дробления на составные элементы разной природы. Визуальные эффекты, возникающие при таком подходе, позволяют наглядно удостовериться, что между фигуративным и абстрактным искусством уже не существует непреодолимой границы.

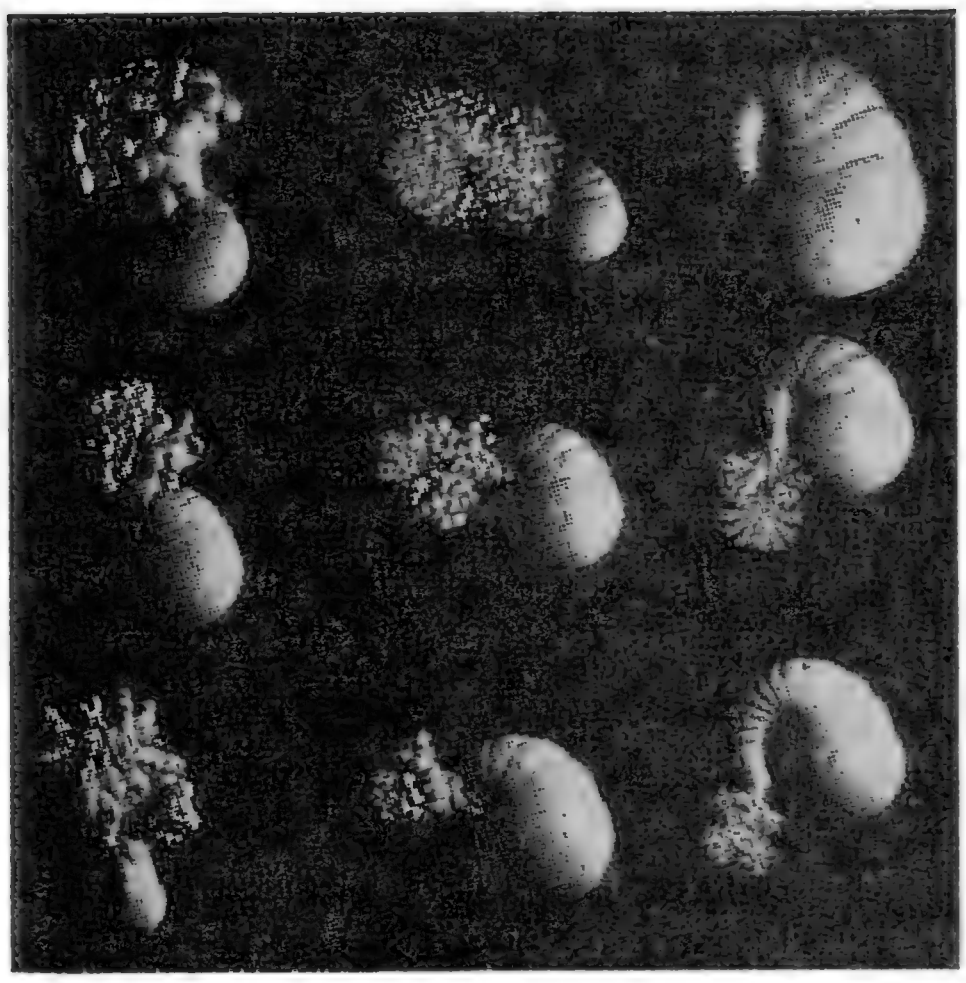


Вера Мольнар. «Путь следования» (1976)



Жан-Пьер Иварал. «Синтезированная Мона Лиза» (1989, рельеф из серых трубок)

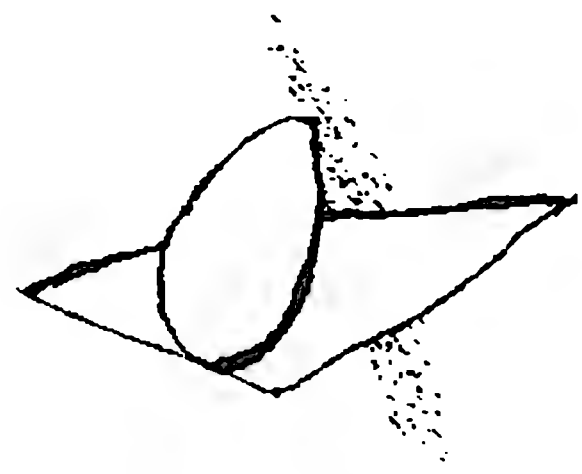
Микаэль Гаумниц во второй половине 80-х создал серию видеоработ в жанре «электронной анимации»: «Наброски, портреты и дружеские шаржи». Это были результаты свободных импровизаций с использованием «электронной палитры» (из трех основных цветов) и нескольких элементарных операций, позволяющих работать в жанре «мультипликационного коллажа». По словам Гаумница, он попытался соединить мир традиционной живописи с новыми изобразительными технологиями: художественный образ в итоге приобрел динамику, став подвижным и изменчивым. Подобный подход корректирует традиционное представление о визуальном искусстве как о чем-то статичном: в серии картинок появляется еще одно измерение — время (причем речь идет не о кино, а именно о наборе отдельных изображений).



Уильям Латэм. «Эволюция формы» (1990)

Дальше в своих экспериментах пошел Уильям Латэм, работавший в начале 90-х в жанре так называемой «компьютерной скульптуры». «Эволюция формы» (1990) — это видеофильм с синтезированными объемными компьютерными формами. Начальный образ представляет собой яйцо, которое затем подвергается эволюционным трансформациям под воздействием двух факторов: задаваемые компьютером случайные изменения и сознательный выбор художника. Работа в целом моделирует биологический процесс естественного отбора, контролируемый автором.

Еще один пример трехмерных компьютерных изображений — работы Эрве Хутрика и Моники Нахас, которые в качестве исходных моделей использовали человеческие профили. В работе «Маски» (1990) изображение головы выстраивается на экране при помощи базы данных, подготовленной с помощью специальной лазерной системы. Техника эта активно применяется в современной анимации, но компьютерщик Хутрик и физик-теоретик Нахас были одними из ее пионеров: когда в 1970-м они начинали работу над совместным проектом, в их распоряжении был только маленький компьютер и простейший принтер. Лишь в 1975 году они стали работать с цветными изображениями, в 1979-м впервые дополнили комбинирование прямых линий и окружностей включением фигуративных элементов, а в 1981-м перешли к трехмерным объектам, используя технику, позволяющую «лепить» компьютерную картинку как скульптуру.



Жан-Франсуа Лакалмонти. «Случайное порождение» (1989)

Следующий шаг в развитии объемных компьютерных изображений представлен здесь работами Николь Стенджер. В проекте «Ангельские встречи» (1991), начатом в

Эдмон Кушо. «Рассеиваясь во все стороны» (1990, в соавторстве с Мишелем Бретом и Мари-Элен Трамюс).

←

Массачусетском технологическом институте и продолженном в Университете Вашингтона (Сиэтл), старая идея Веры Мольнар о влиянии зрителя на картинку воплощена на качественно новом визуальном уровне. Специальные глазные датчики позволяют зрителю управлять своим путешествием по виртуальному пространству живописных садов, заполненных искусственными органическими формами. Индивидуальный маршрут, впрочем, фиксируется в памяти компьютера и может быть затем продемонстрирован другим зрителям.

Визуально менее эффектную, но концептуально более интересную идею реализовал в своей работе «Случайное порождение» (1989) Жан-Франсуа Лакалмонти. Исходным материалом здесь послужили выполненные тушью на бумаге произвольные графические знаки, которые соединялись компьютером в некие псевдослучайные структуры, моделирующие эффект неосознанного художественного жеста. Каждая из фигур рождалась и присутствовала на экране в течение десяти секунд, после чего исчезала: зрителю, таким образом, в максимально абстрактном виде была представлена жизнь и смерть чистой формы.

Новые горизонты применения компьютерных технологий в визуальных искусствах сумел открыть Эдмон Кушо. В работе «Рассеиваясь во все стороны» (1990, в соавторстве с Мишелем Бретом и Мари-Элен Трамюс) на экране представлен колышущийся на легком ветру одуванчик. Если на экран дунуть, то белые семена одуванчика начинают отрываться от стебля и плавать в воздухе — как это происходит и с настоящим цветком. Когда зритель «сдувает» все до конца, на экране появляется новый одуванчик. Выступая в защиту подобного «процедурного» искусства, Мишель Брет заявил, что, в отличие от традиционной работы художника с материальными объектами, использование компьютера дает возможность глубже приблизиться к осознанию самой сущности творческого процесса.

По материалам книги Фрэнка Поппера «Искусство электронной эры» (Frank Popper. Art of the Electronic Age. Lnd Hudson, 1993)

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

Фрагменты автобиографии

Главы из книги «ГЕРБЕРТ УЭЛЛС В ЛЮБВИ»

Перевод с английского Р. ОБЛОНСКОЙ

Книга моего отца «Опыт автобиографии» появилась в 1934 году, когда ему было шестьдесят восемь лет. Спустя полвека выходит настоящий том, «Герберт Уэллс в любви», расширяющий и завершающий ту, более раннюю работу.

По причинам, о которых читателю нетрудно догадаться, в «Опыте автобиографии» он едва касался своих многочисленных любовных связей, хотя иные из них были для него очень важны. Вскоре после появления этой книги он принялся за другую, названную им «Постскриптум к «Опыту автобиографии», с подзаголовком «О любовных историях и Призраке Возлюбленной», в которой рассказывал о важнейших из этих историй и анализировал их. <...>

Но прежде, как завещал отец, идет «Вступительное слово к книге Кэтрин Уэллс», написанное им в 1928 году. Этот сборник произведений моей матери, большая часть которых прежде не печаталась, отец составил в память о ней вскоре после ее смерти. Множество подробностей их совместной жизни можно найти в «Опыте автобиографии». Это же яркое «Вступительное слово» посвящено сущности их отношений. Его непременно следует прочесть каждому (таково посмертное пожелание отца), кто хочет понять «Постскриптум к «Опыту автобиографии»...

«Она так безоговорочно верила в меня, что в конце концов я и сам поверил в себя, — пишет он о Кэтрин Уэллс в своем «Вступительном слове». — Ума не приложу, чем бы я был без нее. Она придала моей жизни устойчивость, достоинство и целостность». Все это несмотря на многочисленные любовные связи отца при ее жизни. После того как в октябре 1927 года она умерла от рака, он был выбит из колеи, чувствовал себя незащищенным, брошенным на произвол судьбы. «Для работы мне необходим покой. Неотложные дела выводят меня из равновесия. Всякие притязания и раздражающие мелочи мешают думать и писать, и у меня нет ни малейшей надежды избавиться от них; ни малейшей надежды, что, до того как я совершенно одряхлею и умру, еще выдастся время спокойной и полезной деятельности... Пытаясь справиться с положением, в котором оказался, я даже не делаю вид, будто работаю. Просто веду записи о происходящем — для себя». Это написано в 1932 году — «однажды во время бессонницы между двумя и пятью часами утра», — и два года спустя эти записи легли в основу «Опыта автобиографии».

Отец возродился, отчасти потому, что провозгласил главной целью своей жизни служение будущему Мировому государству, а еще — по уши влюбился (или влюбил себя) в Муру Будберг и убедил себя, что она будет ему отличной женой и опорой, в чем он отчаянно нуждался.

Но у Муры странным образом не было охоты выходить за него замуж. Внезапно он разочаровался в ней, как он пишет в «Постскриптуме», из-за неосторожных слов, которые услышал на каком-то приеме в Москве в июле 1934 года, и «в одночасье от образа моей великолепной Муры не осталось и следа».

За шоком от разочарования последовала глубокая, грозившая чуть ли не самоубийством депрессия. Преодолеть ее отцу удалось очень не скоро. Важнейшую роль в его исцелении сыграл самоанализ, пронизывающий «Постскриптум», за который он тогда принялся. <...>

ДЖ. П. УЭЛЛС

© Executors of the Estate of H.G. Wells, 1984
© Р. Облонская. Перевод, 1999
Полностью книга будет опубликована в издательстве «Ладомир».

Вступительное слово к книге Кэтрин Уэллс

1

За свою жизнь моя жена написала и опубликовала немало рассказов и еще один или два в соавторстве с нашим младшим сыном. Но напечатана была лишь небольшая часть этого. Кое-что из написанного ею я знал, но не так уж много — она хотела состояться как писательница независимо от моего влияния. Хотела писать и преуспеть в писательстве самостоятельно. Литературные занятия были отнюдь не настоятельной потребностью ее натуры. Она вовсе не испытывала неудержимой тяги выразить себя. По природе она была даже скорее сдержанна, нежели склонна к самовыражению. Но поскольку жила она в атмосфере напряженной литературной работы, в которой особую роль играла наивозможная точность высказывания, свойственное ей стремление избегать разъяснений даже самой себе постепенно ослабевало, и она начала писать, сперва, вероятно, чтобы понять, какие, в сущности, мысли и чувства вызывает в ней жизнь, а потом чтобы передать это пусть не всему миру, но какому-то воображаемому, близкому ей по духу читателю. Она писала не для меня, хотя изо всех сил старалась дать почувствовать мне и чувствовать сама, что не отгораживается от меня. Она не любила привлекать к себе внимание, однако чем дальше, тем чаще начинала подумывать об издании своих работ. Она послала их в разные периодические издания и через разных агентов, указав не свой обратный адрес, чтобы ее имя не связали с моим. Ее воображаемый читатель так никогда и не дал о себе знать, да и случись ему объявиться, она, я думаю, не очень бы ему обрадовалась. Она искала выражения чему-то, чего, как ей представлялось, сама толком не осознала, и, должно быть, решительно не согласилась бы ни с кем, кто стал бы утверждать, будто ему это внятно.

Пробовать себя в сочинительстве, робко и тайно от всех, она начала вскоре после замужества, но со временем стала писать куда больше и куда более зрело. Найти собственную манеру письма ей стоило особых усилий, оттого что в первые двадцать лет нашей совместной жизни она привыкла исполнять обязанности моего секретаря и машинистки и потому переняла многие мои писательские склонности и предубеждения, от которых избавилась с трудом. Но, я полагаю, прочитав страницы, следующие за вступлением, нельзя не согласиться, что в конце концов ей все-таки удалось достичь тонкого своеобразия стиля. В этом собрании рассказов и горсточке стихов она выразила настроение, состояние души, ступень развития личности, можно сказать, таинственной, ненапористой, однако стойкой, ничем не впечатляющей, но светлой, чистой и по своему складу весьма и весьма утонченной. Ее натура пронизана некой задумчивой печалью, она сродни ярким, но тронутым вечерней мягкостью мирным ландшафтам и исполнена сострадания. Некая жажда ощущается здесь, но не всепоглощающая, не деятельная. Это жажда красоты и нежного дружества. В истоках этой жажды смутно маячит возлюбленный, так и неувиденный, так и неузнанный. Разочарование следует по пятам за этой жаждой. И всегда поблизости страх, загадочный страх, будто из детского сна. Таково настроение книги, почти всего, что в нее входит. Стоило моей жене взять в руки перо, и, совершенно очевидно, это состояние духа тотчас возвращалось. Я даже не уверен, преобладало ли оно в ее прихотливой и тонкой натуре. Но оно глубоко укоренилось в ней, было, я думаю, естественным фоном ее девических грез и, как бы ни заглушалось и ни отодвигалось в часы активного бытия, обнаруживало себя, едва она оказывалась наедине с собой.

Я издал эту книгу под именем Кэтрин Уэллс совершенно сознательно: этим именем она неизменно подписывала свои сочинения, но это не полное ее имя (полное — Эйми Кэтрин) и не то, под каким она всего лучше была известна своим друзьям. Для каждодневной жизни и нашего общего удобства я придумал ей имя, которое она охотно приняла, и мы назвали эту ее ипостась Джейн. Большинству наших друзей и знакомых она была известна только как Джейн. Они едва ли примечали в

ней Кэтрин. Джейн была человеком куда более практическим, нежели Кэтрин. Она представляла собой Кэтрин, обращенную к реальной жизни, и легко принимала решения, тогда как подлинная Кэтрин оставалась на заднем плане, дружески остраненная. Джейн отлично вела дом и умело делала покупки, она помогала людям, оказавшимся в беде, и не давала спуску водопроводчику. В ее домашней аптечке хранились лекарства на любой случай. Она окончила курсы Красного Креста, чтобы знать, как оказать дома первую помощь. У нее была картотечка с адресами магазинов, где можно купить все необходимое. Ее сад непрестанно цвел и хорошел, она была членом Королевского садоводческого общества, имела садовую книгу и вела дневник, чтобы проверять себя и совершенствовать свои навыки. Каждый год она отправляла садовников на выставку в Челси. Она вела дела и распоряжалась капиталом своего беспомощного и нерешительного мужа и оказалась при этом мудра, осмотрительна и прозорлива, освещая его мир ярким, но мягким светом порядочности. Люди безмозглые бежали ее спокойного взгляда. Она сталкивалась по преимуществу с одним особым видом безмозглых людей и заставляла их поступать, как считала нужным, — с непостижимым племенем переводчиков и так называемых переводчиков, которые в иноземных изданиях перевирают и оглупляют авторов. Для них она придумала некий порядок и тип соглашения, создав систему взаимоотношений, превзойти которую не мог ни один литературный агент. Вот какая она была Джейн.

И она, несомненно, занимала вполне определенное место в моей жизни. Не могу выразить, сколь многим я ей обязан. Но в сущности, моя жена была и не Джейн, которая воплощала деятельную, практическую сторону ее личности, и не Кэтрин, именем которой звалась ее сокровенная мечта и ее литературная жизнь. Моя жена была ими обеими и еще многими, в зависимости от того, как менялось освещение.

2

Вспомнить лики существа, чью ипостась, именуемую Кэтрин, представляют эти пронизанные тончайшим настроением и, на мой взгляд, поистине прелестные сочинения, — значит перелистать страницы нашего совместного почти тридцатипятилетнего пути. Последние полгода я был обращен в прошлое как никогда прежде. Я рисую здесь ее портрет примерно того времени, когда мы впервые встретились. Ее первый лик — мисс Роббинс. Вот она вошла в аудиторию, где я вел практические занятия по биологии, натаскивая соискателей на получение степени бакалавра естественных наук Лондонского университета. В ту пору она носила траур по отцу, который незадолго до того погиб в железнодорожной катастрофе; он не оставил, можно сказать, никаких средств, и она изо всех сил старалась добиться степени, чтобы стать учительницей и зарабатывать на жизнь матери и себе.

С сумкой, в каких школьницы носят книги, и немыслимо старомодным, неуклюжим микроскопом, который кто-то дал ей взаймы, она тогда казалась мне очень привлекательным и, право же, героическим созданием, и вскоре я пришел к мысли, что она — самое замечательное из всего, что есть у меня в жизни. В те дни я был упорным, неотесанным молодым человеком, который одно время посещал Королевский колледж естественных наук при Лондонском университете и потому получил свидетельство, что прослушал там курс. Я был широко, но беспорядочно начитан — суждения, заимствованные у Шелли и Хаксли, переплетались с мыслями, почерпнутыми у Карлейля, Морриса[1] и Генри Джорджа[2], — и мой житейский и общественный опыт был примерно на уровне мистера Льюишема[3]. Я враждовал

[1] Уильям Моррис (1834—1896) — английский писатель, художник, теоретик искусства. *(Здесь и далее — прим. перев.).*
[2] Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист.
[3] Мистер Льюишем — герой романа Герберта Уэллса «Любовь и мистер Льюишем».

со всем светом и вовсе не был уверен, что окажусь победителем. В религии, общественной жизни, политике я придерживался крайних взглядов, что мешало мне преподавать в нормальном учебном заведении, и я радовался, когда с помощью своих учеников мог посрамить принимавших у них экзамены штатных преподавателей университета. Очень скоро эта новая ученица стала для меня олицетворением того понимания и тех человеческих достоинств, которые я жаждал отыскать в жизни. Мы беседовали, склонясь над лягушками и кроликами. Заведение, в котором я работал, опубликовало расширенный конспект моих лекций под названием «Учебник биологии», обильно, однако непрофессионально проиллюстрированный мной самим. Мисс Роббинс чертила настолько уверенней и четче, что для второго издания по моей просьбе перечертила все мои диаграммы. Нам очень быстро стали тесны границы дружбы, и я был поражен, поняв, что она питает ко мне те же чувства, что и я к ней. Когда я ей рассказал, что, играя в футбол, отбил почку и лишился большей части одного легкого, это, по-моему, послужило для нее лишь поводом для немедленных действий. Думаю, ни она, ни я не надеялись прожить даже десяток лет. Но каждую отпущенную нам минуту мы желали жить полной жизнью. Мы были такими безрассудными любовниками, каких не сыскать в целом свете; мы бросились в совместную жизнь, когда у нас едва ли было и пятьдесят фунтов на двоих, да еще моя болезнь, а мы выжили. Мы никогда не попрошайничали. никогда не влезали в долги, никогда не жульничали, мы работали и сперва достигли кое-какой обеспеченности, а потом и настоящего достатка.

И теперь мне вспоминается, что на всем этом пути нам было не занимать веселости.

Я оглядываюсь назад, на наши ранние совместные годы, и вижу печальное создание в трауре, которое в один прекрасный день появилось в моей лаборатории и постепенно, совсем незаметно превращалось в спутницу жизни более легкой, жизни в расширяющемся мире. Джейн развивалась, и в ней начала проступать Кэтрин. Тридцать лет назад мы впервые «поехали за границу». Это были наши первые каникулы и явный знак того, что в борьбе за существование мы начали одерживать верх. Мы отправились прямиком в Рим — Джордж Гиссинг как-то пообещал показать нам тамошние достопримечательности. В те дни Рим был еще в расцвете своей красоты. Из Рима мы уже одни поехали в Неаполь и на Капри, а потом, на обратном пути в Англию, побывали во Флоренции. Моя жена была не только самая надежная и деятельная помощница, но в дороге, когда все заботы я брал на себя, и самая благодарная спутница. Во время этого путешествия и многих других я откладывал в сторону работу и занимался чемоданами и прочим багажом, а она, глядя на это зрелище, радостно сияла. Мы вооружились зигфридовскими картами и отправились бродить по Швейцарии, на горы мы не карабкались, но искали снежные, безлюдные тропы. Она влюбилась в Альпы, и мы задумали и осуществили несколько длинных переходов через перевалы, ведущие в Италию. Мы ухитрялись ускользнуть из нашего дома в Фолкстоне недели на две, чаще всего в июне, до наплыва публики, когда сезон только начинался и вновь открывались гостиницы. И к нашим услугам были весенние цветы и ненатянутые улыбки.

Джейн воспылала страстью к высокогорью. Сам я из-за уменьшенного объема легкого и поврежденной почки был не большой мастак взбираться в горы, а после войны и вовсе утратил эту возможность, но тогда уже подрастали сыновья, и она отправлялась в горы с ними и каждый год ставила перед собой все новые задачи. После войны я видел ее такую, ликующую, только на моментальных снимках, которые она мне посылала. Она мужественно одолевала длинные переходы, пешком или на лыжах, никогда не двигалась особенно быстро или ловко, но никогда не сдавалась — неутомимая фигурка, вся в снегу от нередких падений. Я писал ей, окруженный агавами и оливковыми деревьями, и она отвечала из своего снежного

окруженья, а потом мы сидели, склонясь над подробными швейцарскими картами, и вместе прочерчивали путь, который она проделала или собирается проделать во время очередного похода.

3

Первые несколько лет у нас не было детей, уж слишком неопределенным нам казалось наше будущее и мы не считали возможным подвергать риску никого, кроме самих себя. Но когда мы построили себе дом, отложили тысячу фунтов и я нашел страховую компанию, которую не испугали мои небольшие неприятности с легким и почкой, мы решили, что пора нам обзавестись детьми. У нас появились два сына. За жизнь первого из них и за свою собственную Джейн боролась больше двадцати четырех ужасных часов. В этом сражении она казалась такой маленькой и хрупкой, и, боюсь, тогда-то и было заронено зерно ее гибели.

Но теперь кроме Джейн и Кэтрин проявилась третья из важнейших сторон ее личности. Наше жилье стало домом, когда в нем зазвучал голос того, кто теперь сделался многообещающим молодым биологом, мистером Дж. П. Уэллсом, и, вероятно, с его легкой руки новая ипостась моей жены была названа Мамулей. Однако истинное значение Мамули открывалось постепенно. В наши ранние родительские годы бóльшую часть забот о детях можно было доверить умелой няне и опытной гувернантке. Жена следила за температурой и поведением мальчиков, мы проводили с ними, должно быть, час в день и заботились, чтобы они учились четко произносить слова, правильно считать, свободно рисовать и чтобы любили с нами играть. Но в школьные годы между ними и Мамулей установились куда более тесные и близкие отношения. Они приглашали домой своих друзей по школе и Кембриджу, и Мамуля стала центром жизнерадостного, полного надежд мира молодых людей.

Особо отличали Мамулю ее несомненные актерские способности, которые не проявлялись ни в Джейн, ни в Кэтрин. В последние годы она была на редкость веселой, изобретательной и забавной актрисой. Многие наши друзья, вероятно, помнят потешные и, однако, достоверные фигурки, вызванные ею к жизни, — наводящего ужас сыщика, злобный глаз которого сверкал между опущенными полями шляпы и поднятым воротником пальто; множество ехидных старух, от церковных служительниц и поденщиц до герцогинь, с их изумительными репликами «в сторону», которые смешили до колик; величественных особ с невероятным чувством собственного достоинства в престранных старомодных шляпах; ее миссис Нойя, которая бормотала про свои тайные страхи — «уж больно все дорого», а ведь надобно «всех их содержать в чистоте», — была исполнена материнской заботы и тревоги о появляющихся на свет один за другим крупных и, как правило, совсем никудышных детях.

Многие годы нас развлекали и веселили шарады. Поначалу нам приходилось сражаться с жизнью, можно сказать, в одиночестве — знакомых у нас было раздва и обчелся, друзей и того меньше, и мы мало с кем водили компанию. Мы болтали много всякой чепухи и много шутили, что помогало нам пережить суровую пору. Но об этом рассказывать ни к чему. Однако едва наши дела пошли на лад, мы завязали знакомства с самыми разнообразными людьми и с большим удовольствием стали проводить свободное время в их обществе. В 1897 или 1898 году, когда мы занимали домик в Сэндгете, нам пришлись по вкусу наши ближайшие соседи, некий мистер Артур Пофэм с женой и двумя общительными детьми, да еще с наезжающими к ним кузинами, кузенами и друзьями, и мы впервые смогли «валять дурака» в комнате, полной народу, давать волю своей склонности подражать и пародировать. Мы начали наши представления с «шарад-пантомим». Потом почему-то пристрастились к театру теней. Мы уже давным-давно потеряли к нему интерес, но

в те дни он был так нам важен, что, когда мы строили в Сэндгете Спейд-хаус, мы просили, чтобы посреди одной из комнат была арка, что позволяло бы использовать глубину помещения: показывать на белой простыне увеличивающиеся и уменьшающиеся тени. Затем мы обратились к шарадам, немым и звучащим, ко всякого рода перевоплощениям, к сценическим карикатурам на пьесы текущего репертуара и неожиданно стали сочинять собственные пьесы. Иногда мы разыгрывали сценки путешествий или преподавали «нравственные уроки», изображая непривлекательность порока и прелесть добродетели. Нередко мы обращались к истории, священной или светской. Мальчики приохотились к быстрым драматическим импровизациям, и в этом развлечении им принадлежала чем дальше, тем большая роль. <...>

Все, что касалось шарад, в конце концов полностью перешло в ведение Джейн. Поначалу, мне кажется, я подбрасывал кое-какие идеи, но она настолько больше была ими захвачена, настолько лучше во все вникала, и мои мальчики отдавались этому с таким упоением, что постепенно я совсем отстранился и перешел в ряды восторженных зрителей. При появлении Джейн я никогда не мог угадать, что́ за неожиданность она измыслила на сей раз. Ей никогда не изменял дар поражать меня — заставить смеяться и восхищаться. Не могу передать, с какой бесповоротностью я теперь ощущаю, что этот причудливый и разнообразный мир счастливых забав закрылся для меня навсегда.

Закрылся навсегда потому, что это была не столько моя жизнь, сколько жизнь Джейн. Наше старое жилище, возможно, останется домом для молодого поколения, но для меня оно теперь не более чем прибежище воспоминаний. В этом же тоне счастливых реминисценций я мог бы писать и о множестве других сторон той созданной Джейн домашней жизни, которая была так определенно именно ее жизнью. В конце концов шарады были всего лишь одним из развлечений среди огромного разнообразия схожих забав. У Джейн была страсть неожиданно затевать танцы, и для танцев у нас имелся большой сарай, к тому же вместе с нашими мальчиками она поставила несколько пьес в деревенском театре. На выходные к нам собиралась самая разнообразная публика. Приезжали обычно днем в субботу, несколько отчужденные, не испытывая особого доверия друг к другу, а в понедельник уезжали, чудесным образом объединенные, успев понаряжаться в маскарадные костюмы, потанцевать, выступить в какой-нибудь роли, погулять, поиграть и помочь приготовить воскресный ужин. Она никогда никому не навязывала свою волю, но от нее исходило такое доброжелательство, такой безусловно радостный жар, что самые холодные воодушевлялись и самые чопорные оттаивали.

Все это было в порядке вещей меньше года назад. Я вспоминаю праздничную атмосферу приездов и отъездов, множество гостей за чайными столиками в беседке, освещенные окна, из которых по вечерам на газоны и кусты падали пронзительно-зеленые лучи света, радостное оживленье, смех. Занавес опустился, скрыв эту милую сердцу картину, и никогда уже мне ее не воскресить. Она исчезла так же безвозвратно, как наши первые робкие разговоры в моей крохотной классной комнате на Ред Лайон-сквер или наши отважные усилия, когда мы поднимались по крутым дорожкам, на которые нас неудержимо влекли волнующие зигзаги зигфридовской карты.

«Как весело нам было!» — написал один мой старый друг, и это могло бы стать эпитафией тому ее лику, что был обращен к жизни в кругу семьи и друзей-приятелей.

4

Рассказывая все это, я сознаю, что лишь едва приоткрываю самое существо моей жены. Я пишу о ее ликах, о разных сторонах, которыми она поворачивалась к миру. Я хожу вокруг да около, потому что на самом деле эту личность было не

так-то легко понять; Мамулю и хозяйку Истон-Глиб знали десятки людей, но я проникал в самую ее суть. За ее улыбающимися масками таилось что-то, что старалась выразить Кэтрин Уэллс и в конце концов в некоторых из своих рассказов выразила превосходно. В мягком свете настольной лампы, когда она писала то, что вполне могло остаться ненапечатанным, она позволяла себе отправляться на поиски своего сокровенного «я».

Я рассказал, как мы вдвоем бросили вызов расхожим представлениям о жизни и выиграли, и вдохновляли нас Шелли и Хаксли и глубокое презренье к нерешительности и лицемерию нашего времени. Куда труднее рассказать о постепенно открывавшихся нам глубочайших различиях в наших характерах и темпераментах и о сложностях, которые у нас возникали из-за этих различий. В основе натуры моей жены лежало страстное стремление к счастью и всему прекрасному. Она прежде всего была мягкой и доброй. Она преклонялась перед красотой. Ей казалось, красота — нечто вполне определенное, подлинная драгоценность, которую необходимо найти и хранить. На мой взгляд, красота свойственна всему сущему, неотъемлема от него, и потому нечего о ней особо задумываться. Я куда менее устойчив, чем была она, но есть во мне напористость, что противостоит моей неустойчивости. Во мне больше энергии, нежели силы, и мало терпения; в житейских делах я тороплив и неумел, оттого что чуть не всю свою энергию и волю устремляю на решение тех задач, что всецело мной завладевают. Только в таком случае, мне кажется, я и способен их решать. Я загоняю себя, чтобы справиться со своей работой, за что и плачу дорого — спешка идет в ущерб изяществу и законченности. Во всем этом мы были полной противоположностью и, конечно же, противостояли друг другу.

Мне кажется, сегодня молодым людям ощутимо помогает приспособиться друг к другу современная психологическая наука. Ее анализ мотивов поведения чрезвычайно способствует пониманию и снисходительности. А в наше время психология была еще в основном поверхностным и ни к чему не пригодным умствованием. Нам пришлось справляться главным образом с помощью данного нам от природы разумения. И страшно подумать, сколько терпения, мужества и жертвенности жена вкладывала в наши отношения, без чего невозможны были бы никакие компромиссы. Не помню случая, чтобы она преувеличила те или иные возникшие между нами разногласия, подтолкнув нас к неверным решениям. Два важных обстоятельства были в нашу пользу: во-первых, нас обоих отвращала не только лживость, но и неискренность; и во-вторых, мы питали друг к другу истинную любовь и уважение. И опять же подвиг совершала она. Мне легко было сохранять веру в ее чувство справедливости и великодушие. Она никогда не говорила неправды. Ее слово перевесило бы для меня клятвы всех на свете свидетелей. А она ухитрялась сохранять уверенность, что ради меня стоит жить, хотя это было непросто, ведь я без конца пробивался сквозь путаницу настроений и побуждений, которые ни в коем случае не могли быть ей симпатичны. Она так безоговорочно верила в меня, что в конце концов я и сам поверил в себя. Ума не приложу, чем бы я был без нее. Она придала моей жизни устойчивость, достоинство и целостность. Это невозможно было бы без неизменного внимания и труда. У меня сохранились сотни воспоминаний о неутомимой машинистке, которая продолжает работать несмотря на боли в спине; о серьезной, зоркой читательнице гранок, которая сидит под навесом в саду, вознамерившись не пропустить ни одной ошибки; о решительной маленькой особе, трезвомыслящей, но не подготовленной к ведению дел, которая стойко сражается с нашими счетами, что приводят ее в замешательство, и все держит в своих руках.

Несходство наших характеров влекло за собой и несходство наших убеждений. Хотя Джейн изо всех сил и со всей преданностью помогала мне и поддерживала меня, я не думаю, что она так уж разделяла мои верования. Она их принимала, но могла бы обойтись и без них. Я буквально одержим тем, что могло бы быть, и

недоволен настоящим; я бы с радостью обзавелся собственной косой и обогнал седое Время; я исполнен веры в возможности человека, и она стала основой моей жизни; а вот жена пристальней вглядывалась в происходящее сегодня и была к нему куда терпимей. Она была человеком более реалистическим, чем я, и менее творческим. Она острее видела и прелесть, и горести, и жестокость мира. Она многим восхищалась, многим дорожила, многое оберегала и многому сострадала — куда больше меня. В ее подходе к жизни было больше стоицизма, чем в моем, — не могла она ни так надеяться, ни так возмущаться, как я. <...>

После войны мы издали книгу «Очерк истории». Мы не рассчитывали, что книга будет прибыльной, но чувствовали, что написать ее необходимо, и не видели никого, кто мог бы за это взяться. Не сказать, чтобы мы были особенно подготовлены для такой задачи, а потому нам обоим пришлось изрядно потрудиться. Мы работали в Истоне далеко за полночь, делали выписки из груды книг, что-то набрасывали, что-то прямо печатали на машинке. Но никто и думать не мог, что работа эта окажется для нас столь выгодной. Мы разбогатели, но, по-моему, жене и в голову не приходило воспользоваться этим только для себя лично. Ей нравилось, когда людям весело, нравился приятный, открытый дом, хотя в ее натуре не было и намека на светские амбиции. Ей нравилась красивая одежда — а красивая одежда иногда стоит больших денег, — но ей вовсе не свойственно было выставлять себя напоказ. У нее почти не было драгоценностей, да они ее и не привлекали. Но теперь, когда денег у нас действительно было сверхдостаточно, ее неброские и деликатные благодеяния стали более систематическими. Об очень многих я, вероятно, и понятия не имел — у нас был общий счет в банке и она распоряжалась им по своему усмотрению. Она советовалась со мной о расходах «серьезных», а не о малых, которые я, по ее мнению, одобрил бы. И более того, для трат, которые мне, более жестокосердому, могли показаться излишними, у нее существовал свой собственный фонд.

Сострадание, великодушие, любовь к красивым вещам, к благородным мыслям и щедрость! Как прекрасна она была в своей тихой скромности! И самое главное — она обладала мужеством. Ему суждено было проявиться до предела. Пять месяцев, когда ей становилось хуже и хуже, она смотрела в лицо неизбежной смерти и не падала духом.

5

Пять месяцев нам пришлось быть свидетелями того, как к ней приближалась смерть, но первый знак этого безжалостного наступления оказался для нас полной неожиданностью. Мы всегда думали, что будет как раз наоборот, что первым, скорее всего, умру я и, должно быть, внезапно. Потому мы так распорядились своими делами, чтобы по возможности смягчить удар, который нанес бы мой уход. Наш дом в Истоне велся таким образом, чтобы, если вместо моих частых исчезновений на время — а каждую зиму я ненадолго уезжал, желая побыть на солнце, — мне случилось бы исчезнуть навсегда, в доме все оставалось бы по-прежнему, шло бы своим чередом. В январе этого последнего года она вместе с нашим младшим сыном и его суженой была в Аросе, а я — в более мягком климате, на Ривьере. В марте мы приятно провели неделю в Париже, где я прочел лекцию в Сорбонне, а очаровательные мадам Кюри и профессор Перен были к жене на редкость внимательны. Она загодя предвкушала эту поездку и, что характерно для нее, тайком занималась с преподавателем, чтобы освежить свои знания французского, и в Париже поразила всех беглостью речи. Мы вернулись в Лондон, и казалось, ей слегка нездоровится. Нам и в голову не пришло, что у нее какое-то серьезное заболевание. Я опять уехал за границу, в автомобильный вояж, но перед отъездом взял с нее слово, что она покажется доктору.

Мой старший сын тоже отправился во Францию, намереваясь провести там медовый месяц. Мы поспешно возвратились, получив телеграмму младшего сына. Ей сделали диагностическую операцию, о характере которой она ничего мне не сообщила, и хирурги обнаружили у нее неоперабельный рак, процесс зашел очень далеко, так что ей оставалось жить едва ли полгода.

Когда я приехал, оказалось, она все это ясно понимает. Она сразу расспросила докторов и вынудила сказать ей правду. Видя, что они расстроены, она старалась их утешить — я знаю это с их слов. «Я понимаю, вы ничего не можете сделать,— говорила она.— И нечего вам переживать».

Мы попробовали бессмысленную рентгенотерапию, но чем меньше о ней говорить, тем лучше. Тогда мы решили наилучшим образом воспользоваться временем, пока она еще с нами. И такой у нее был ясный и здравый ум, что бóльшую часть этих ста пятидесяти дней нам и впрямь удалось провести интересно и радостно. Поначалу мы надеялись, что силы в значительной мере вернутся к ней, но она так и не сумела преодолеть слабость, наступившую после рентгенотерапии, которую проводили, когда она еще не оправилась от операции. Первые недели ей удавалось подниматься и спускаться по ступеням истонского дома, но потом мы стали носить ее в кресле. Мы нашли замечательное кресло-каталку с большими колесами, надувными шинами и хорошими пружинами, и она могла отправляться на довольно далекие прогулки — в соседний парк Истон-лодж и в Гайд-парк. Какое-то время она способна была переносить поездки в автомобиле с мягким ходом, и мы побывали у многих наших друзей, а когда ей страстно захотелось к морю, даже провели несколько дней в гостинице в Филикстоу. Сад, который она взрастила в Истоне, великолепно цвел. Друзья, которых она любила, ее навещали, и она даже устраивала своего рода приемы на теннисных кортах, и смеялась, и аплодировала игрокам.

Она запоем читала, и к ее услугам была вся та музыка, которую можно слушать на патефоне. Некоторые новые пластинки обладали замечательно чистым и выразительным звучанием. Мы усаживались вместе на солнышке и слушали Бетховена, Баха, Пёрселла и Моцарта, а когда она стала слабее и ей трудно было сосредоточиться, мы сидели рядом в тишине, в сумерках и с удовольствием и интересом смотрели, как среди только что занявшихся поленьев мерцают первые голубые огоньки и вот уже разгорается пламя.

Она четко и методично привела в порядок все свои дела. День за днем она слабела, но голова оставалась ясной. Нередко при развитии такой болезни яд, что накапливается в крови, отравляет мозг и больного одолевают неведомые страхи и странная враждебность — и к этому последнему ужасу я пытался себя подготовить. Однако ничто подобное не омрачило те последние дни. Но часы ясного сознания сжимались. Все большую часть суток поглощали сон и наркотическое забытье.

Вначале я приходил к ней во время завтрака, и она бывала весела, и часам к одиннадцати сиделки вывозили ее в сад. Потом она стала начинать день с ленча, после которого спала до чая, и только между чаем и отходом к ночному сну приходила в себя и как-то оживлялась. Она худела и стала совсем тоненькой, но в изнуренном лице было странное очарование, что-то напоминавшее ее юность. Она усохла и стала поистине крохотной. При этом вид у нее был не изможденный и не пугающий, и она неизменно ухитрялась не приводить окружающих в отчаяние. Еще за месяц до смерти она провела час или даже больше со своим парикмахером из Лондона, и он завил и уложил ее все еще прелестные волосы. Она тщательно одевалась до тех пор, пока у нее хватало сил одеваться.

До самых последних дней она распоряжалась в доме. За две недели до конца заказала новые кусты роз, чтобы их посадили в саду вместо тех, что выродились. Двадцать четвертого сентября она велела повалить дерево, которое не пропускало

свет в комнаты слуг, и сама наблюдала за этим. То был ее последний день в саду. Меня там не было, я уезжал в Лондон, чтобы привезти специалиста из Франции, который, я надеялся, облегчит ее страдания. Когда дерево с треском обрушилось, она, по словам сиделок, отвернулась, не захотела смотреть.

Непомерная усталость подкрадывалась к ней. Она все с большей готовностью ждала ночи, когда наркотик погрузит ее в блаженный сон. Она еще любила жизнь, но хватка ее была уже не та. Она мне говорила, что готова заснуть навеки. Она очень хотела, чтобы я не горевал о ней и твердо знал, что она была со мной счастлива. Лишь одно еще привязывало ее к жизни. Она очень любила нашего младшего сына Фрэнка и его невесту, которую он выбрал, еще когда был студентом, и хотела дождаться их свадьбы. Они втроем несколько раз весело проводили время в Швейцарии и в Италии.

Она сама заказала свадебный завтрак. Никому на свете не позволила бы она сделать это вместо себя. Присутствовать в церкви она не могла бы, но надеялась, что ее снесут вниз и она будет сидеть за столом. Свадьба была назначена на седьмое октября. Она вспомнила, что седьмое — день рождения маленькой племянницы и что где-то припрятан загодя купленный для нее в Берлингтонском пассаже подарок. Велела его разыскать и отослать. Шестого она стала заметно терять силы. Она лежала не шевелясь, и мы думали, она в забытьи. Но она услышала, когда по пути в гараж под ее окном проехал автомобиль сына. Он вернулся с работы из Лондона, завтра он вступает в брак. Она поджидала этот знакомый звук. Она ожила. Узнала сына и ласково и бессильно потянулась к нему и что-то пробормотала ему о свадьбе. Потом уже ничего не замечала. Больше она не сказала ни слова, теперь это было лишь тело, которое дышало, и примерно через час, когда ее бесчувственная рука покоилась в моей, она перестала дышать.

Казалось, эта свадьба — такое органичное завершение ее жизни, что мы решили ничего не откладывать. Мы перенесли церемонию с одиннадцати на девять, чтобы избежать стечения народа. Под утренним солнцем мы поехали в старую приходскую церковь в Данмоу, дождались там невесту и ее родителей, и после венчания молодые отправились вдвоем в жизненное плавание, а я со старшим сыном и его женой вернулся в наш дом.

Так хороши были лиловые и белые маргаритки в то октябрьское утро. Казалось, просто невероятно, что уже не могу я принести их ей полюбоваться.

6

Среди последних желаний, которые она слабеющей рукой кое-как записала в памятной книжечке за несколько дней до смерти, очень отчетливо выведено: «Я хочу, чтобы мое тело кремировали», и подпись с решительным росчерком. Вероятно, она опасалась, что, если не будет ее письменного распоряжения, могут возникнуть юридические трудности. <...>

Большие сводчатые двери часовни при крематории выходили в обширный сад, где в безмятежном солнечном сиянии прекрасного октябрьского дня пламенели цветы. Тишина, царившая там, была пронизана ожиданием. Как сказал мне один ее близкий друг, казалось, она вот-вот выйдет к нам, привычно улыбающаяся, со своей садовой корзинкой и большими ножницами с красными ручками. Когда отзвучало надгробное слово, мистер Пол исполнил ее любимую «Пассакалию» Баха.

Мне бы не пришло в голову последовать за гробом, если бы не стоявший рядом Бернард Шоу. «Возьмите мальчиков и пройдите следом,— сказал он.— Это прекрасно». Я было заколебался, и он прошептал: «Я видел, как там сжигали мою матушку. Вы не пожалеете, если пойдете».

Это был мудрый совет, и я очень благодарен Шоу. Я поманил сыновей, и втро-

ем мы прошли к печи. Маленький гроб стоял на тележке перед ее дверцами. Они отворились. За ними видна была прямоугольная камера, ее стены из огнеупорного кирпича рдели тусклым красным жаром. Гроб медленно вдвинули в камеру, через минуту-другую пляшущие языки огня охватили его дальние углы, еще через секунду весь гроб был объят белым пламенем. Дверцы печи медленно закрылись за этим белым сиянием.

Это и вправду было очень красиво. Как хотелось бы, чтобы она знала о тех первых трепещущих ярких огнях — такие они были чистые и так походили на нетерпеливые, но доброжелательные живые существа.

Возвращение с похорон всегда связано с тяжелыми переживаниями, ведь неизменно преследует мысль о том злосчастном теле, которое заточено в ящик и в холодной мокрой земле ждет наступления сумерек. Но я чувствовал, Джейн ушла из жизни вся целиком, не оставив ничего, что стало бы разлагаться и загрязнять землю. Так она пожелала. Хорошо было думать, что она ушла из жизни, как до́лжно уходить духу.

Постскриптум к «Опыту автобиографии»

Призрак Возлюбленной

В книге, которую я назвал «Опыт автобиографии», я пытался проследить, как развивается человеческий ум, мой ум — с самого моего рождения в 1866 году и по 1934 год. Сколько я понимаю, это довольно живой и смелый тип ума, но по своему складу явно заурядный, и интересен он скорее как пример повседневного движения мысли и устремлений той поры жизни человечества, нежели как нечто исключительное само по себе. Некоторые критики говорили, что, утверждая, будто ум у меня совершенно заурядный, я неискренен, и были склонны переоценивать мой калибр и обвинять меня в своего рода вывернутом наизнанку высокомерии. Но я имел в виду именно то, что сказал: ум у меня весьма ординарный. Он обладает единственным выдающимся свойством — завидной склонностью к прямоте. Я рассказал со всей возможной полнотой о сексуальном пробуждении этого ума, о первоначальных эмоциях и чувствах и об игре безотчетных порывов на фоне укоренившихся норм поведения вплоть до 1900 года, когда у нас с женой установился некий, как я его назвал, modus vivendi. С этого времени события сексуальные и моя интимная жизнь должны были отступить на задний план повествования. Они перестали быть событиями главнейшими, формирующими личность, и стало возможно сделать основной темой последующих глав развитие моего мировоззрения. Но я сожалел, что непринужденная откровенность начала книги была в них приглушена. Любовные истории и в дальнейшем имели для меня немалое значение; после 1900 года их у меня завязывалось немало, о чем я говорил совершенно недвусмысленно, по крайней мере в общих чертах, но отсутствие подробного разговора о них привело к тому, что в повествовании образовались отдельные пустоты.

Эти умолчания объяснялись главным образом тем, что многие из тех, кто в 1934 году был еще жив, были бы неминуемо очень задеты откровенным обсуждением их роли в моей жизни. И, мне кажется, единственная возможность завершить мою попытку дать представление о существенных фактах истории личности — это незамедлительно рассказать все как есть о тех порожденных воображением и эмоциями сложностях, о которых я умолчал по ходу дела, и пусть мои теперешние записки будут опубликованы позднее, когда соображения деликатного свойства отпадут.

Что до моей первой жены, и второй, и моего развода, я совершенно ясно рассказал обо всех важных обстоятельствах и повторяться здесь не стану. В обоих случаях между нами существовала глубокая взаимная привязанность. И неудовлетворенность. Я так и не смог разобраться, не слишком ли у меня велика потребность в сексе, или она в пределах нормы. Для подобных дел еще нет измерителей. Я склонен думать, что сексуальные желания и игра воображения донимали меня меньше, чем рядового мужчину. Изредка завладевающие нами любовные фантазии, острые приступы желания — в природе человека. Но у меня они никогда не главенствовали над научными интересами, политико-социальной направленностью или чувством долга. При этом я никогда их не подавлял; подавлять что бы то ни было ненавистно моему душевному складу. Я мирюсь с заповедями чрезвычайно неохотно и внутренне постоянно протестую. И обстоятельства мои были таковы, что я жил необычайно свободно. Никакие внешние ограничения не мешали мне дать выход моему творческому воображению. Меня не касались запреты, которые мы налагаем на адвокатов, врачей или школьных учителей. Я знал лишь сдерживающие начала, порожденные привязанностью, а в остальном делал все, что мне заблагорассудится, так что каждый мой сексуальный порыв находил свое выражение. Я подозреваю, что у большинства прочих мужчин сексуальной энергии, возможно, столько же, а то и больше, но выход ее меньше. Обстоятельства вынуждают их жить более скрытой сексуальной жизнью, и потому они больше подвержены комплексам. Пока мы с Джейн вели отчаянную каждодневную борьбу с миром, я не имел возможности давать волю своим желаниям, и мы ухитрялись обходиться ограниченными ласками и сдержанной близостью, что было вызвано относительной хрупкостью Джейн и относительным недостатком у нее нервной энергии и энергии воображения. Но когда пришли успех и достаток и окрепло здоровье, наше тесное, не допускающее отклонений партнерство ослабило свои путы. Я стал подумывать о более заманчивых чувственных впечатлениях и спрашивал себя: «А почему бы и нет?» В той мере, в какой позволяет литературная речь и насколько позволяет мое отношение к Джейн, я совершенно открыто написал об этом в моей «Автобиографии», в главах «Modus Vivendi» и «Записки о сексе». Но, конечно же, не о том, что касалось других людей. Здесь я хочу рассмотреть, насколько сумею, этапы эмоционального развития и личные встречи, сопутствовавшие — что видно каждому проницательному читателю — этому моему бунту против общепринятых сексуальных установлений нашего времени.

Чтобы сделать это достойным образом, мне, я думаю, следует прежде всего поразмышлять о некоей движущей силе, которая, несомненно, существует в каждом правильно устроенном мозгу. Я пытался анализировать свою умственную деятельность и, надеюсь, позднее сумею опубликовать свои выводы в научной или художественной форме — на мой взгляд, они весьма интересны. Но здесь я буду записывать их просто так, как они приходят мне в голову. Я думаю, в душе каждого человека, возможно, с очень ранних лет, зарождается и постоянно зреет, становится все утонченнее совокупность ожидания и надежды; некий конгломерат сладостных и волнующих мыслей; представления о встрече и отклике, почерпнутые из наблюдений, описаний, драматических событий; грезы о чувственных усладах и восторгах; грезы о взаимопонимании и взаимности; все то, что я назову Призраком Возлюбленной. Я думаю, это понятие в первую очередь сексуальное, а уж потом социальное — я хочу сказать, сексуальное по своему источнику, ведь, как я понимаю, живое существо не оказывается эгоцентриком только благодаря развитию представлений о сексуальной, семейной и социальной жизни. Я думаю, Призрак Возлюбленной(ого) почти так же важен в жизни человека, как его самосознание. Это дополнительное сознание. Ни единый человек осознанно не противостоит миру в одиночестве; ни единый человек, конечно же, не живет и не может жить без

того неопределенного, изменчивого, многообразного, но вполне ощутимого присутствия рядом с его лирическим героем, его сокровенным «я», чего-то, что говорит или как будто говорит: «Согласна!», или «Да», или «Я спешу на помощь», или «Дорогой». Именно это я и подразумеваю под Призраком Возлюбленной. В жизни каждого из нас он неразделен с лирическим героем. Он может быть лишен каких бы то ни было признаков, его можно не узнать, можно отрицать, но он существует. Даже когда человек поет:

Никого не люблю, нет уж,
И никто не любит меня, —

он поет своему Призраку Возлюбленной. А иначе он не стал бы петь.

И опять же, когда пьяный матрос на берегу объявляет во всеуслышание: «Бабу хочу», это он в самой что ни на есть грубой форме взывает к своему Призраку Возлюбленной. Его потребность, наверно, прежде всего телесная, но он получит должное удовольствие, только если будет удовлетворен и его лирический герой. Со шлюхой матрос будет разговаривать, будет похваляться, будет слушать про ее жизнь и сочувствовать.

Книги, стихи, картины — все они написаны для Призрака Возлюбленной. Очень и очень многое в поведении человека можно объяснить лишь постоянной тягой души увидеть во плоти Призрак Возлюбленной если не вовсе таким, как представлялось, то хотя бы какую-то его ипостась, хотя бы отсвет этой совокупности тоски и надежды. Естественно стремление, особенно у подростка и молодого человека, увидеть Призрак Возлюбленной полностью или хоть отчасти воплощенным в ком-то — в друге или чаще в возлюбленной. Наиболее сложным млекопитающим Призрак Возлюбленной рисуется довольно ясно, но, должно быть, не во всех подробностях. Когда мы ухаживаем за женщиной, мы стараемся разглядеть в ней олицетворение или хотя бы символ Призрака Возлюбленной, что́ таится у нас в душе; и когда мы влюблены, это значит, что мы нашли в избраннице по крайней мере некоторые из главных качеств нашего Призрака Возлюбленной или обещание их. Любимая на время отождествляется с нашей мечтой — исполняет ее роль и в своей ослепительности все прочее отодвигает в тень.

Если мы по уши влюблены, еще прекрасней, сложнее становится наш Призрак Возлюбленной — и еще незаметней на фоне полного надежд волненья, и лишь когда волшебству приходит конец, мы осознаем, что более достойная нашего лирического героя избранница только дожидается своего часа, мы представляем ее и уже другими глазами оцениваем, строго судим, сравнивая с ней, ту, которой только что были заняты наши мысли и чувства.

(Как я понимаю, лирический герой и Призрак Возлюбленной — это герой и героиня той личной драмы, в которую большинство из нас превращает свою жизнь, но я не хочу сказать, будто это и есть весь состав ее исполнителей. Много других участников появляются на сцене и исполняют свои роли: например, страхи и антипатии, способности и влечения. Однако это второстепенные, управляемые, а не управляющие персонажи.)

В «Опыте автобиографии» большое место занимает тема развития и становления моего лирического героя как приверженца, хотя и заведомо слабого, идеи создания Социалистического мирового государства. Если я не проследил с той же тщательностью и последовательностью развития моего Призрака Возлюбленной и смены его воплощений, я, по крайней мере, обрисовал в общих чертах, как все это начиналось. Рассказал, как складывалось мое представление о нем. Почти с самого его зарождения, еще совсем смутного, Призрак Возлюбленной был для меня безусловным олицетворением женственности, как мой лирический герой — безусловным олицетворением мужского начала; я был, несомненно, гетеросексуален, что

определилось чрезвычайно рано. У меня было, вероятно, не просто нормальное мужское воображение, а сверхмужское. В моих грезах Призрак Возлюбленной всегда отличался отвагой и благородством, вероятно, из-за моей потаенной незрелости, которой я обязан широтой и простодушием взгляда на жизнь. Но мой лирический герой отнюдь не боготворил Призрак Возлюбленной. Для меня, в отличие от многих других, Призрак Возлюбленной никогда не становился неким ангелом или небесным созданием. Мое глубинное самомнение и социалистические идеи мироустройства, которые чем дальше, тем больше пронизывали мое отношение ко всему сущему, были слишком сильны и не допускали и мысли о подчинении моего лирического героя Призраку Возлюбленной. Это красивое и чудное создание, коему предстояло стать мне верным другом, должно было быть исполнено сочувствия, понимать меня и борьбу замыслов во мне. Сколько я помню, в начальную и формирующую пору моей жизни у меня и в мыслях не было искать в Возлюбленной что-то загадочное и учиться ее понимать. Головоломки мне были ни к чему. Она должна была быть милой, мудрой, великодушной и безоговорочно преданной мне. Ее объятия должны были стать моей твердыней, опорой, должны были способствовать самому главному — чтобы я состоялся. Призрак Возлюбленной обрел земные черты в моем воображении так рано (свой пол я остро ощущал годам к девяти-десяти), что я уже никогда не представлял Ее ни в какой божественной ипостаси. Еще прежде чем у меня мог возникнуть образ небесного создания и сложилось бы к нему какое-то отношение, его место заняла Возлюбленная в облике земной женщины из плоти и крови. Мне кажется, это тоже было нормально. Умы, для которых фразы типа «Иисус, возлюбленный души моей» или «Спаситель, Ты солнце души моей» имеют какое-то отношение к реальности, составляют меньшинство человечества. Они, несомненно, существуют, но находятся вне сферы моего опыта и художественного восприятия.

Этот огромный Призрак, такой женственный, возвышался надо мной вместе с моим лирическим героем — который в грезах виделся мне человеком науки, лидером в делах общественных, — даже когда, как я уже рассказывал, пятьдесят лет назад воскресным днем я прогуливался в своем потертом цилиндре с Изабел[1] по Риджент-парку. Это был эталон, и в дальнейшем мне предстояло равнять по нему ее, и себя, и нашу совместную жизнь. Сей фантом подавлял нас и властвовал над нами. И все та же мечта о недосягаемом взаимопонимании и устремленной мне навстречу женственности ждала своего осуществления и при разводе, и в годы, когда я притирался к Джейн, а тем временем выкидывал бесконечные престранные фортели, что обратили физическую ущербность и компромиссы моего второго брака в некую любовную фантасмагорию. Таким образом, более крупномасштабный мир мечты оставался свободным.

Призрак Возлюбленной сулит и плотские восторги любви. Вся мировая поэзия утверждает это. В царстве фантазий нет чувства меры. Космогония тинторетговского «Рождения Млечного Пути» никогда не казалась человечеству чем-то неестественным. В жарком поиске возможности удовлетворить снедавшее меня желание я невольно перебирал девиц и женщин из моего расширяющегося круга знакомых. Иные из них, как подсказывала мне, баламутя кровь, моя мужская интуиция, могли бы, должны были бы дать моему лирическому герою шанс реализоваться, испытать, пусть мимолетно, те плотские восторги, которых я еще не знал. Романтический ореол Призрака Возлюбленной, стоявшего особняком на авансцене моей жизни, не связанного с повседневностью, распространялся вширь и вдаль. Я рассказываю здесь о себе, и, вероятно, чуть ли не то же самое можно было бы расска-

[1] Изабел Мэри Уэллс — кузина и первая жена Г. Уэллса. Они поженились в 1891 г., в 1893-м Уэллс ушел от нее к Эйми Кэтрин Роббинс, и она в 1895 г. стала второй его женой.

зать о любом человеке, равно мужчине или женщине. «Каждая женщина в душе распутница», — сказал Поп, а я, дабы придать этому утверждению законченность, прибавлю: и каждый мужчина. При огромном разнообразии степени и меры.

Мура — широкая душа

Мне думается, со времени моей крайне примитивной, детской, чувственной и безотчетной страсти к Эмбер[1] и до смерти моей жены в 1927 году я ни разу, за исключением каких-то мимолетностей, не был по-настоящему влюблен. Я неизменно и безусловно любил Джейн и доверял ей. А другие романы занимали в моей жизни примерно то же место, что в жизни многих деловых мужчин занимают рыбная ловля или гольф. Все они служили дополнением к моим общественно-политическим интересам и литературной деятельности. Они были сплетены с моим пристрастием к перемене обстановки и с необходимостью вести мой дом за границей — и благодаря им я был бодр, энергичен и избавлен от однообразия. Во время нашей связи с Ребеккой[2] я всегда был на пороге влюбленности в нее, как и она часто бывала на самом пороге влюбленности в меня; и я изо всех сил старался эмоционально соответствовать неистовым ласкам Одетт[3]. После разрыва с Ребеккой я, как уже рассказано выше, сделал попытку всерьез приспособиться к Одетт и продолжать свою работу. Но начиная с 1920 года в моем воображении присутствовала иная личность — то далекая, то близкая и наконец оказавшаяся совсем рядом. Ее я любил естественно и неотвратимо, и — несмотря на все ее недостатки и связанные с ней волнения, о которых речь впереди, — она полнее кого бы то ни было удовлетворила мою тягу к подлинной плотской близости. Я еще и сейчас до такой степени «принадлежу» ей, что не могу оторваться от нее. Я до сих пор ее люблю.

В моем убеждении, что Мура неимоверно обаятельна, думается, нет и намека на самообман. Очень и очень многие любят и обожают ее, восхищаются ею и жаждут доставить ей удовольствие и служить ей. И, однако, довольно трудно определить, какие такие свойства составляют ее особость. Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан; ей исполнилось сорок три (1934 год), в темных волосах седые пряди; она слегка склонна к полноте; она очень быстро ест, заглатывая огромные куски; пьет много водки и бренди, что по ней совсем не заметно; и у нее грубоватый, негромкий, глухой голос, вероятно, оттого, что она заядлая курильщица. Обычно в руках у нее черная видавшая виды сумка, которая редко застегнута как положено. Руки прелестной формы, всегда без перчаток и часто весьма сомнительной чистоты. Однако почти всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно, причем не только на мой взгляд, оказывалась и привлекательнее и интереснее остальных. Женщины влюблялись в нее с первого взгляда, а мужчины спрашивали о ней и разговаривали о ней, делая вид, будто не так уж она их и заинтересовала.

Мне думается, людей прежде всего очаровывает известная вальяжность, изящная посадка головы и спокойная уверенность осанки. Ее волосы особенно красивы над высоким лбом и широкой нерукотворной волной спускаются на затылок. Карие глаза всегда смотрят твердо и спокойно, татарские скулы придают лицу выражение дружелюбной безмятежности, даже когда она дурно настроена, и сама небрежность ее платья подчеркивает силу, дородность и статность фигуры. Любое

---

[1] Эмбер Ривс была возлюбленной Г. Уэллса в период его второго брака. Родила ему дочь.

[2] Ребекка Уэст (1892—1983) — английская романистка и литературный критик. Возлюбленная Уэллса в годы его второго брака. В 1914 г. родила ему сына.

[3] Одетт Кин — писательница. Долгое время была возлюбленной Уэллса — в годы его второго брака и после смерти жены; хозяйка его дома в Лу-Пиду на юге Франции, где он имел обыкновение проводить зимы.

декольте обнаруживает свежую и чистую кожу. У нас обоих кожа на редкость гладкая и чистая. В каких бы обстоятельствах Мура ни оказалась — а я видел ее в весьма непростых обстоятельствах, — она никогда не теряла самообладания.

Я пытался запечатлеть на пленке хоть что-то от ее внешней прелести, но фотоаппарату это не давалось. Ни к кому из тех, кого я знал, не считая моей невестки Марджори, он не был так враждебен. На фотографии от Муры мало что остается; лишь моментальный снимок в полный рост дает хоть какое-то представление о ее замечательной осанке и еще один, в полупрофиль, — о загадочной детской прелести пребывающего в покое лица. Обычно же на фотографии чистое уродство: лицо дикарки с маленьким, приплюснутым, сломанным в детстве носом и раздутыми ноздрями. Она невероятно походит на портреты своего предка Петра Великого. Однажды я заказал ее портрет художнику Роджеру Фраю в надежде, что он сумеет уловить ту Мурость, что делает Муру Мурой. Он взялся за дело с жаром; по его словам, у него никогда еще не было такой очаровательной модели; и он написал портрет непривлекательной женщины, которая с неудовольствием вглядывается в свое будущее. Ей скучно было позировать, и только это настроение он и передал. Я поспешно отдал портрет одной из ее приятельниц, та повесила его в столовой, но, промучившись несколько дней, выставила на чердак, лицом к стене.

Мы оказались на одном званом обеде в Петербурге в 1914 году — она об этом помнит, а я нет, — но познакомился я с ней и обратил на нее внимание в квартире Горького в Петербурге в 1920 году. Она была в старом плаще цвета хаки, какие носили в британской армии, и в черном поношенном платье, ее единственный, как потом оказалось, головной убор представлял собою, я думаю, не что иное, как черный скрученный чулок, и однако она была великолепна. Она засунула руки в карманы плаща и, похоже, не просто бросала вызов миру, но была готова командовать им. Ей было тогда двадцать семь; представление о жизни она получила в дипломатическом мире Петербурга и Берлина; с одним мужем, Энгельгардтом, она разошлась; второго, Бенкендорфа, зверски убил эстонский крестьянин; у нее был потрясающий роман с Брюсом Локкартом[1], о чем он подробно рассказал в книгах «Мемуары британского агента» и «Уход от славы»; она попыталась сбежать в Таллин, чтобы соединиться там со своими детьми, просидела полгода в тюрьме и была приговорена к расстрелу. Но ее освободили. Теперь она была моей официальной переводчицей. И предстала передо мной любезной, несломленной и достойной обожания. Я влюбился в нее, стал за ней ухаживать и однажды умолил ее: она бесшумно проскользнула через набитые людьми горьковские апартаменты и оказалась в моих объятиях. Я верил, что она меня любит, верил всему, что она мне говорила. Ни одна женщина никогда так на меня не действовала.

Одинаково трудно сказать что-либо определенное и об ее уме, и о нравственных устоях, хотя я стараюсь изо всех сил. Я поймал ее на мелком вранье и обнаружил в ней уменье довольно долго утаивать правду. И то и другое, мне кажется, часто никак не мотивировано. Она обманывает непреднамеренно. Просто такая у нее манера — небрежно обращаться с фактами. Она хочет, чтобы к ней хорошо относились. В каждом случае и для каждого человека у нее своя роль, но ей недостает последовательности; во многих отношениях она еще точно подросток, одаренный богатым воображением. Она также верит тому, что говорит; и недоверие ее возмущает, очень возмущает. Я же теперь не верю ни единому ее слову, пока не найду солидных подтверждений. Она лжет, а еще невольно себе потакает. Я понял это лишь в последние год-два. Она может выпить невесть сколько водки, бренди и шампан-

---

[1] Роберт Гамильтон Брюс Локкарт (1887—1970) — английский дипломат, с 1912 года работал в России. В 1918 году возглавлял английскую миссию при советском правительстве и в том же году был выслан из страны как организатор антибольшевистского заговора «трех послов» (Англии, Франции и США).

ского, и на ней это никак не скажется. На днях мы обедали у Мелкетов, и лорд Моттистоун, заметив, что ее бокал снова и снова наполняется, заявил, что не может уступить первенство женщине, и стал, как и она, осушать бокал за бокалом — в конце концов он превратился в болтливого зануду с хриплым голосом, тогда как Мура своим обычным голосом как ни в чем не бывало беседовала с дамами. Сколько бы она ни выпила, ее манеры, осанка, цвет лица остаются неизменными, и, только присмотревшись к ней и поразмыслив, я понял, что алкоголь делает ее чуть менее самокритичной и дает ей видимость уверенности в себе. Алкоголь просто слегка расковывает ее. Освобождает от застенчивости и больше ни в чем себя не обнаруживает. У нее появляется ощущение, что все обстоит нормально и не о чем беспокоиться. И она не беспокоится.

Ум у нее не выдающийся и не оригинальный, но очень живой, широкий и проницательно острый. Гибкий ум, не стальной. Она мыслит чисто по-русски — пространно, извилисто и с той философической претенциозностью, что присуща речи русских, которые всегда идут к заранее известному им заключению окольными путями. Я говорю, что она мыслит чисто по-русски, потому что, как я подозреваю, в самой структуре русского языка и в традиции русской литературы есть известная вялость, которая и сообщается тем, кто изъясняется на этом языке. Мура — личность развитая, у которой мышление не научное, а литературно-критическое. В русском характере, кажется, весьма существенную роль играет детский романтизм и намеренное, высокоценимое своеволие. Естественно, что Мура не приемлет рассказы Чехова о России и «Тщету» Джерарди, ведь первые — критика ее склада ума, а последняя — карикатура на него. У Одетт было куда больше ясности в мыслях и проницательности, правда в пределах латинского воспитания. У Джейн, Эмбер и моей невестки Марджори ум куда упорядоченней, и любое их утверждение и толкование куда осознанней, чем у Муры. В образовании Джейн, Эмбер, Марджори и моей дочери определенное место занимала наука, и они мыслят на английский манер. Необходимость управлять собой у них в крови. У Муры этого и в помине нет. Такого порывистого существа я в жизни не видел. Однако ей присуща и удивительная мудрость. Она может вдруг пролить свет на какой-нибудь вопрос — точно солнечный луч прорвется сквозь облака в сырой февральский день. И если она подвластна порывам, порывы ее прекрасны и благородны.

В Петербурге в 1920 году она изо всех сил старалась мне объяснить, что происходит в России, и высказать свою точку зрения на происходящее; с величайшей готовностью она однажды пришла мне на помощь — посоветовала, как себя вести, чтобы не попасть в ложное положение. В ту пору у большевиков было принято приглашать любого знаменитого гостя на заседание Ленинградского совета. Во время заседания кто-нибудь вдруг объявлял о его присутствии, превозносил его и просил выступить. В таких обстоятельствах трудно было воздержаться от ответных похвал и не выразить надежду на успехи во всех делах. Выступление тотчас переводили, превращая в безответственный панегирик марксистскому коммунизму, публиковали его в «Правде» и где-нибудь еще и по телеграфу передавали в Европу, куда выступавший затем приезжал в тщетной погоне за отправленным материалом. Мура посоветовала мне заранее написать мою речь, а потом перевела ее на русский язык. Я последовал совету, а когда встал Зорин, чтобы пересказать ее, превратив в обычное прославление нового режима, я протянул ему Мурин перевод. «Вот то, что я говорил, прочтите». Он был застигнут врасплох, и ему ничего не оставалось, как прочесть. Таким образом, благодаря Муре мне не приклеили ярлык красного перебежчика, и для женщины, уже находящейся под подозрением, это, по-моему, был мужественный поступок.

Когда я уезжал из Петербурга, она пришла на вокзал к поезду, и мы сказали друг другу: «Дай тебе Бог здоровья» и «Я никогда тебя не забуду». В душе и у нее

и у меня осталось, так сказать, по половинке той самой разломленной надвое монетки. Как множество подобных половинок, они не всегда давали о себе знать и, однако, всегда существовали.

Я уже говорил, что мы писали друг другу лишь изредка. В те дни письма в России пропадали, и было неразумно поверять бумаге даже свои личные секреты. Мы не виделись восемь лет или больше, и вдруг при встрече в фойе рейхстага на нас нахлынули и загорелись ярким светом воспоминания о шепоте во тьме и жадных касаниях.

— Ты?!

Я всегда, мне кажется, был склонен слишком истово относиться ко всему, что полагал своим долгом. В 1929 году меня связывали мои отношения с Одетт, так же как в 1920-м — отношения с Ребеккой. В 1929 году в определенный день и час я должен был быть в Грасе, так же как в 1920-м — в Лондоне. Видимо, прежде всего из-за этого я и уехал, оставив Муру в Берлине. Но зачем же я не вернулся в Лу-Пиду и без промедления не «ликвидировал», пользуясь русским выражением, свою связь с Одетт? Думаю, вернись я той весной в Берлин и настоятельно предложи Муре соединиться со мной бесповоротно и навсегда, это подействовало бы на ее воображение. А я мешкал четыре года и вместо этого посылал ей жалкую грошовую ренту.

Не могу в должной последовательности изложить все, что происходило между нами в 1929 — 1930 годах. Я очень рискую изменить порядок событий и фальсифицировать их и не знаю, как этого избежать. До 1929 года Мура не могла приехать в Англию из-за каких-то осложнений с паспортом. Потом преграда, какова бы она ни была, — по-моему, против приезда Муры возражал Джонсон Хикс, министр внутренних дел, ссылаясь на некую версию ее отношений с Локкартом, — была разрушена, и с тех пор она приезжала в Англию и жила там как угодно долго, подчиняясь обычным правилам для иностранцев. И так как мы не женаты, мы бываем вместе ровно столько, сколько хотим.

Но, думаю, я не пытался немедленно соединиться с Мурой не только из-за моих уз и привычек. Видимо, с самого начала у меня было очень ясное ощущение, что есть много такого, чего мне лучше не знать о ней.

Я не хотел слышать историю ее жизни, не хотел знать, какие неведомые мне воспоминания о прошлом или нити чувств переплелись у нее в мозгу. Позади был бурный роман с Локкартом, а я считал и считаю, что Локкарт — презренный прохвостишка. Она вышла замуж за Будберга в Эстонии, когда уехала из России уже после того, как мы стали любовниками, и я не желал знать подробности этого замужества. Она развелась с мужем — это был так называемый немецкий развод: Будберг, отчаянный игрок, оказался замешан в каком-то темном деле и сбежал в Бразилию. Но иногда он все еще писал ей. Я думал, и так думает большинство знающих ее людей, что, когда она жила у Горького в Сорренто в роли его домоправительницы и секретаря, она была его любовницей. Мне известна безрадостная, замысловатая суетность и сложность горьковского ума, и я не представляю, чтобы он мог оставить ее в покое. Но Мура всегда утверждала, что сексуальных отношений между ними не было. Однако у него на письменном столе лежал слепок ее руки. Он невероятно расхваливал ее. Она с ним переписывалась — об этом я еще расскажу. Горький доверял ей и полагался на нее до такой степени, что, когда умирал, захотел, чтобы она была рядом.

По ее словам, у нее было всего шесть любовников и она никогда не принадлежала никому, кроме них, — Энгельгарт, Бенкендорф, Локкарт, Будберг, один итальянец в Сорренто и я. Она не такая шалая, похотливая особа, как Одетт; она не проявляет сексуальной активности, напротив, ей нравится, когда активен мужчина, и она охотно ему отвечает. Она говорила мне, что находит неестественной и нестер-

пимой саму мысль о возможности отдаться кому-то без любви. Ей вовсе не обязательно было мне это сообщать — речь идет о 1933 годе, — но тогда я просто жаждал ей поверить. Верю этому и сейчас. Однако вначале я абсолютно не был, в этом убежден. Я судил по себе. Я думал, у нее имелось такое же множество партнеров, как у меня женщин, и все эти отношения могли с успехом продолжаться. В ту пору я не донимал ее вопросами. Она держалась непринужденно и дружелюбно со всеми, и у меня не было оснований предполагать, что она физически так уж разборчива. Но ей была свойственна эмоциональная разборчивость и целостность чувств. Она, несомненно, никогда не отдавалась из корысти, но все в ней говорило, что она свободна в проявлении чувств и податлива. Многие женщины этого прелестного типа, к примеру Эллен Терри[1], были и свободны в проявлении чувств, и податливы.

Оттого, что я так о ней думал, мне легче было принимать нашу неупорядоченную связь во всей ее неупорядоченности; полагая, что мы оба находимся на перепутье, я продолжал привычные дружески-сексуальные отношения с тремя-четырьмя женщинами в Лондоне, когда она уезжала за границу, и откладывал разрыв с Одетт. Ведь если бы Мура ушла от меня, как однажды от кого-то ушла ко мне, горе было бы поправимо. Рассуждая таким образом, я, должно быть, неправильно ее понимал.

Все эти годы, пока я мешкал, мое нарочито легкомысленное отношение к Муре постепенно менялось, и в конце концов моя любовь целиком сосредоточилась на ней. Мы становились все ближе друг другу, и она делалась мне все необходимей. А может быть, со временем я просто стал яснее осознавать свое истинное к ней отношение. Когда ее не было рядом, мысли о ней буквально преследовали меня и я мечтал: вот сейчас заверну за угол и она предстанет передо мной — в таких местах, где этого никак не могло быть. Однажды, когда я был в ссоре с Одетт, а Мура уехала в Германию, я отправился по одному адресу в Париже, который она как-то дала мне, в смутной надежде, а вдруг каким-то образом она окажется там (это был адрес гостиницы, где, как выяснилось, ничего о ней не знали), и я чрезвычайно дружески и внимательно отнесся к одной своей соседке в Лу-Пиду, русской даме лет шестидесяти, просто потому, что она была высокая и слова произносила, как Мура, — говорила «энергия» (с мягким «е») и точно так же, как Мура, вместо «этот» говорила «тот».

Совершенно невозможно сказать, в какой мере в то переходное время меня отвращала Одетт и пленяла Мура, но думаю, что магнетизм Муры перевешивал. К концу 1932 года я готов был сделать все и на все посмотреть сквозь пальцы, лишь бы Мура целиком принадлежала мне.

В апреле 1932 года мы провели несколько дней в отеле Фодергилла в Аскоте[2], и тогда я заговорил с ней о браке.

— Давай не будем ничего менять, — ответила она.

— Но почему?

Вот тогда-то мы и условились встретиться в Австрии, в Рагузе, после конгресса ПЕН-клуба.

— И тогда мы встретимся, чтобы уже никогда не расставаться, — сказал я.

Вечерами приходил Фодергилл в бутылочно-зеленом фраке с медными пуговицами и в туфлях с пряжками и заводил разговор о еде и питье, о содержании гостиницы, о России и о способностях баронессы к языкам. Этот поразительный хозяин гостиницы даже написал о себе книгу, и наше пребывание там было особенно приятным из-за того, что среди постояльцев оказались и три слона. То были слоны

---

[1] Эллен Терри (1847—1928) — английская актриса. Играла в пьесах Шекспира и Шоу.

[2] Аскот — городок близ Виндзора со знаменитым ипподромом, где ежегодно в июле проходят скачки, на которые съезжается английская аристократия.

из цирка, привезенные на гастроли; они занимали часть необъятной конюшни Фодергилла, каждый день работали с дрессировщиком на лугу и, когда мы выходили посмотреть на них, устремлялись к нам, вытянув хобот, — знали, что мы угостим их яблоками.

— Слониха вытащила яблоко у меня из кармана! — восклицала Мура, сияя от удовольствия.

Мы были поистине счастливы в Зальцбурге и Вене; мы путешествовали по зеленым окрестностям Эдлаха и поднимались в Альпы.

— Это только начало нашей совместной жизни, — сказал я. — Немного погодя мы поженимся.

— Но жениться-то зачем? — спросила Мура.

Мы заспорили о браке.

— Я приеду к тебе куда угодно, — сказала она.

— Но зачем уезжать?

— Если я постоянно буду с тобой, я тебе наскучу.

Но в Зальцбурге происходило что-то, в чем я не стал разбираться. Тогда поведение Муры еще не беспокоило меня. Она слала телеграммы в Россию и чем-то была встревожена. Она мне рассказала, что ее зовет Горький. В ту пору она тоже еще не относилась ко мне чересчур настороженно. Горький серьезно болен, быть может, умирает и очень хочет ее видеть. Он потерял сына, и ему одиноко. Ему хочется поговорить о былых временах в России и в Италии.

— Не поеду я сейчас, — сказала Мура по дороге на телеграф, похоже, возмущенная столь настойчивой просьбой.

Об этом я вспомнил позднее, а тогда жаждал только одного — чтобы это неуместное вторжение не докучало нам. В свое время Мура дала мне слово, что с Горьким ее связывает только Большая Дружба. На той стадии наших отношений ничто не могло встать между нами.

Мы вместе доехали из Австрии до самого Парижа и там распрощались — она хотела навестить сестру. Немного погодя она присоединилась ко мне в Лондоне, и я открыто появлялся с ней повсюду и всем представлял ее как свою будущую жену. Вот тогда-то я лишился способности трезво оценивать все, что касалось Муры; я дал волю воображению; я размечтался сверх меры, стал питать невероятные надежды и, в сущности, «по уши влюбился» в нее и всячески это выказывал. Вопреки всему, что я знал, я измыслил новую поразительную Муру; я до неузнаваемости раздул свою любовь; и когда огромный мыльный пузырь моих упований наконец не выдержал и лопнул, оказалось, что Мура былых дней, дней нашей свободной, доверчивой близости, исчезла. Мы ранили друг друга, и наши раны постоянно кровоточили, и, не желая того, она наносила мне удары куда более ощутимые, чем я ей.

Мы все еще близки (весна 1935 года) и можем флиртовать друг с другом и заниматься любовью. Мы большие друзья и с удовольствием делим кров и ложе. Но апрельский свет уже не пронизывает все вокруг, и мимолетное сияние счастья исчезло навсегда.

Тогда я хотел, чтобы она вышла за меня замуж в полном смысле этого слова. Хотел, чтобы она окончательно связала со мной свою жизнь, чтобы мы слились не только телом, но и душой, чтобы в большое рискованное путешествие мы отправились вместе. Я не сомневался, что мир уже достиг той стадии, когда мои политические представления могли быть претворены в жизнь. Я не считал, что мог бы сам, как говорится, играть заметную роль в политике, но был уверен, что мог бы дать могучий толчок развитию идей. Я полагал, что пришло время использовать для этих целей кино и что делать это следует до того, как начнут действовать противоборствующие силы.

Я хотел поехать в Америку и втолковать тамошней публике свои идеи, хотел

поехать в Россию и донести те же идеи до нее, хотел выступать в Европе, и при том, как легко Мура объясняется почти на всех ведущих европейских языках и как живо, осмысленно интересуется политикой, я полагал, мы могли бы многого достичь. Мне казалось, в этом совместном путешествии ее невозмутимость и присутствие духа были бы бесценны. Она поддерживала бы меня и придавала мне бодрости, а это удесятеряло бы мои силы и уверенность в себе. В моих мечтах ее возможности помогать мне и вдохновлять меня были безграничны. Наконец-то, думалось мне, я нашел себе пару.

Но начиная с австрийского медового месяца стало ясно, что мысль о браке и супружестве ей решительно не по вкусу. Наша связь ее вполне удовлетворяла и радовала, а моя мечта оставляла совершенно равнодушной. Казалось, она и думать об этом не хочет. Но, возможно, она была не столько равнодушна к ней, сколько опасалась, по силам ли нам воплотить ее в жизнь.

Несколько месяцев наши отношения складывались трудно. Я бывал с ней у своих друзей; мы вместе ездили по западу и югу Англии, вместе прожили три недели в Борнмуте, и я всюду представлял ее как свою будущую жену. Но она со сдержанным упрямством противилась осуществлению моей мечты. Мы провели в Борнмуте больше месяца в январе—феврале 1934 года, и я пожил бы там подольше — я тогда работал над своим пропагандистским фильмом «Облик грядущего», кроме того, выступал по радио, делясь со слушателями мыслями о перспективах нашего мира, — но Мура была так явно встревожена, без конца вела такие долгие телефонные разговоры с Лондоном, что я вернулся с ней туда, уже глубоко разочарованный и рассерженный. Я начал понимать, что, хотя для нее я восхитительное приключение и ее официальный любовник, у нее множество разнообразных интересов и привязанностей, которые кажутся ей куда необходимей и реальней, чем эта моя высокая и трудноосуществимая мечта. Ее душа обреталась главным образом в мире русских беженцев, в делах ее семьи, за кулисами международного журнализма, в хитросплетении воспоминаний о прошлой деятельности. У нее были близкие друзья, с которыми она делила тюрьму и нищету. Она вращалась в среде сомнительных личностей, эмигрантов и авантюристов, любителей одолжаться и тех, кто нуждается в помощи, и сознавала при этом свое превосходство. Она любит помогать, любит дарить. Для такой публики она была «чудесной Мурой», и эта легкая роль ей нравилась. Она все еще поддерживала дружеские отношения с великим множеством мелких дипломатических служащих и газетчиков, промышляющих на обочине дипломатии, и с людьми из породы Брюса Локкарта; политика ей все еще представлялась смесью дипломатических интриг, конференций, газетных материалов и анекдотов. Она любила занятие, которое давало ей средства к существованию и состояло в продаже переводческих прав и тому подобное. Она гордилась своей независимостью. Это и была для нее подлинная реальность, тогда как мои замыслы отнюдь не казались ей реальными.

Она находилась в плену своих привычек, и они влияли на нее куда больше, чем я. Если жизнь озадачивала ее или приводила в уныние, если ее одолевали сомнения или лень, она пила бренди. Если жизнь снова приводила ее в уныние или озадачивала, она опять пила. Я понятия не имел, до какой степени ее неспособность примениться ко мне и соответствовать моим нуждам зависела от этого легкодоступного способа отвлечься.

Я стал выходить из себя и ревновать. Она уехала на Рождество в Эстонию; сказала, что это необходимо, а мне было невдомек, почему это всего важней.

— Но я же всегда проводила Рождество в Эстонии! — сказала она и вернулась через три недели.

— Я хочу, чтобы ты поехала со мной в Америку, — сказал я. — А чтобы там нам было комфортно, мы должны быть женаты. Нельзя, чтобы неизбежные иначе

осложнения сказались на результатах нашей поездки. И я хочу побывать с тобой в России, без тебя я там слеп. А с тобой... Это благодаря тебе я в двадцатом году увидел Россию. Надеюсь, и теперь так будет.

Она по-прежнему противилась браку и уверяла, что никак не может сопровождать меня в Россию. Она убедила меня, что в Россию ей путь заказан. И говорила это, глядя мне прямо в глаза.

— Я хочу поехать в Америку и побеседовать с Рузвельтом, — сказал я. — Если ты со мной не поедешь, я вынужден буду отправиться один.

Она позволила мне уехать одному в апреле, а сама опять устремилась на восток, якобы по своим эстонским делам.

Я вернулся из Америки, тверже чем когда-либо настроенный ехать в Россию и побеседовать со Сталиным. Мура повторила, что сопровождать меня в Россию она не может, и в июле 1934 года я собрался туда со своим сыном Джипом. Я договорился о полете в Москву, и примерно за неделю до того, как мне предстояло улететь, мы условились с Мурой, что она поедет в Эстонию. Тогда на обратном пути я поживу у нее в Таллине и расскажу ей обо всех происшедших в России переменах. Я проводил ее из Кройдона. Мы расстались очень нежно. Помню, она улыбалась, прижавшись к стеклу, когда аэроплан двинулся прочь от меня.

Тогда я последний раз представлял себе Муру в роли возможной помощницы в большом политическом предприятии.

В Москве мне мешало полнейшее незнание русского языка и претил «Интурист», опека которого меня ограничивала. Мне нездоровилось, и я был изрядно раздражен. Беседа со Сталиным, которую я описал в своей «Автобиографии» и опубликовал отдельной брошюрой, получилась нескладная.

Через день-другой после нее я поехал в автомобиле к Горькому в его большой загородный дом — повидаться и вместе пообедать. В «Автобиографии» я описал наш скучнейший спор о писательской свободе. Со мной был Андрейчин, мой официальный гид, и Уманский, переводчик во время беседы со Сталиным.

— Каким путем вы возвращаетесь в Лондон? — спросил Уманский без всякой задней мысли.

Я ответил, что возвращаюсь через Эстонию, где собираюсь пожить несколько недель в Таллине у своего друга баронессы Будберг.

— А она была здесь неделю назад, — сказал Уманский, не ведая, какой наносит удар.

Я был так ошеломлен, что не смог скрыть удивления.

— Но три дня назад я получил от нее письмо из Эстонии! — сказал я.

Вмешался Андрейчин, явно желая остеречь Уманского, и в дальнейшем тот предпочел держать язык за зубами.

— Вероятно, я ошибся, — солгал он в ответ на мои расспросы.

Я изо всех сил постарался собраться с мыслями, но никак не мог прийти в себя. Я продолжал разговаривать с Горьким и, пожалуй, не слишком бы удивился, если бы вдруг с улыбкой вошла Мура, желая со мной поздороваться. Но она вновь улепетнула в Эстонию. Встречаться со мной в России никак не входило в ее планы. Я бы стоял ей здесь поперек дороги. Мог бы что-то понять или чему-то помешать. Когда мы с Андрейчиным спускались к ужину, я попросил его сказать Горькому:

— Мне недостает нашей прежней переводчицы, Горький.

Он был застигнут врасплох.

— Кого вы имеете в виду?

— Муру.

Последовал торопливый разговор по-русски между Андрейчиным и Горьким.

— Горький говорит, что за последний год она была тут трижды, — сказал Андрейчин.

Значит, на Рождество и когда я был в Америке, тотчас сообразил я. Мне было сказано больше, чем я рассчитывал услышать.

— Вот как, — сказал я. — А я и не знал. Понятия не имел.

После моих слов они о чем-то заговорили вполголоса. Вскоре Андрейчин объяснил мне, что Мурины приезды в Россию в некотором роде тайна — они могли бы поставить ее в неловкое положение в Эстонии и перед русскими друзьями в Лондоне. Так что лучше бы мне никому о них не поминать. То была торопливая попытка восстановить мое пошатнувшееся доверие, но, с моей точки зрения, она никак не объясняла, почему Мура утаивала эти свои поездки от меня.

— Разумеется, — сказал я, словно просьба была самая заурядная.

Итак, тем вечером от созданного мной образа великолепной Муры не осталось и следа. Почему она так странно, тайком поехала в Москву? Почему, опять тайком, уехала? Почему ничего не сказала мне об этой эскападе?

Если в ее поездке не было ничего предосудительного, почему не дождалась моего приезда и не вернулась вместе со мной? Почему хотя бы не дождалась меня, чтобы увидаться и спросить, чем может быть мне полезна? Почему предоставила мне справляться со всеми трудностями одному? Какая ее маска была бы сорвана, если бы мы с ней встретились в доме Горького? Разоблачения каких вопиющих несоответствий можно было бы опасаться? Возвращаясь ночью в Москву с Уманским и Андрейчиным, я всю дорогу угрюмо молчал.

До самого отъезда из России я не сомкнул глаз. Гордость моя была безмерно уязвлена, я был обманут в своих надеждах. Ни разу в жизни никто не причинял мне такой боли. Это было просто невероятно. Я лежал в постели и плакал, словно обиженный ребенок. Либо метался по гостиной и размышлял, как же проведу остаток жизни, который с такой уверенностью надеялся разделить с Мурой. Я отчетливо осознал, что теперь я один как перст.

— Почему ты так со мной обошлась, Мура? — снова и снова вопрошал я. — Почему ты так со мной обошлась, дуреха ты?

Я сидел за письменным столом — большим, неуклюжим, резным столом, который утащили из какого-нибудь дореволюционного дворца, с громоздкими тумбами и чернильным прибором из меди и камня — и раздумывал, как теперь быть. В какую-то минуту мной овладела жажда мести.

Я отказался от билетов и номеров в гостиницах, которые заказал заблаговременно, чтобы мы могли не спеша вернуться вместе из Эстонии через Швецию и Готский канал. Это путешествие я мысленно совершил один. Я сделал дополнительное распоряжение к завещанию, аннулируя пункт о весьма значительном содержании, которое ей назначил, и заверил его в Британском посольстве, когда обедал там на следующий день. Я распорядился аннулировать банковское поручительство, которое обеспечивало ей в Лондоне открытый кредит. В Швеции и Норвегии у меня было назначено несколько встреч, так что я счел за лучшее лететь из Ленинграда прямо в Стокгольм и провести там те три недели, что собирался пробыть в Эстонии. Вся адресованная мне почта приходила в Эстонию, а ведь там были и срочные письма. Я написал и порвал два-три письма к Муре. Этим были заняты мои московские ночи. Рассвет заставал меня за письменным столом. Все осложнялось еще и тем, что из-за махинаций некоторых недобросовестных литературных агентов, которые не имели никакого отношения к тому, что произошло в Москве, я должен был не позднее чем через три недели отправить из Эстонии заключительную главу своей «Автобиографии»; а ее еще надо было написать; тем самым на все непродуманные чудеса, которыми Советская Россия потчевала меня днем, смотрел совершенно изнуренный зритель. Под конец я все-таки решил встретиться с Мурой лицом к лицу в Эстонии. Я послал ей открытку, написав, что до меня дошел нелепый слух, будто она побывала в Москве, и сообщил

день, когда приеду в Таллин. Таким образом я намекнул, на какие вопросы ей придется ответить.

Она встретила меня на Таллинском аэродроме, нисколько не встревоженная, ласковая и, похоже, без всяких задних мыслей. Она меня поцеловала.

— У тебя усталый вид, милый. Усталые глаза.

— Я и вправду устал как собака, Мура. И мне не нравится эта твоя новая Россия.

— Едем ко мне, тебе необходимо отдохнуть.

Мы забросили мои чемоданы в Балтийский клуб и поехали в ресторан на окраину города завтракать, так как поезд на Калли Ярве, где она жила, отправлялся лишь в полдень.

Я был в Таллине, когда он еще назывался Ревелем, в 1920 году, до того, как мы познакомились, и я сравнивал свои впечатления от города, который видел сейчас при дневном свете на пути с аэродрома, с воспоминаниями о том, как высадился тогда на берег в гавани поздним вечером.

Наступило молчание.

— Забавная это была история о твоем пребывании в Москве, — сказал я.

— Как ты ее услышал?

— Просто обрывок разговора. В доме у Литвинова, кажется? Да, вероятно.

— Понятия не имею, что это значит.

— Разумеется.

Но я не в силах был продолжать в таком духе.

— Ты обманщица, ты лгунья, Мура, — сказал я. — Почему ты так со мной обошлась?

Она держалась великолепно.

— Я бы тебе непременно рассказала. Это получилось неожиданно, уже когда я была в Эстонии. Таня знает. И Мики. Они тебе расскажут.

Таня — это ее дочь, а Мики — ее старая гувернантка и компаньонка, родом из Ирландии.

— Да, в Эстонии, куда, по твоим словам, ты поехала отдохнуть. Где, по твоим словам, ты набиралась сил.

— Это получилось неожиданно.

— И ты оставила письмо, чтобы мне его послали в Москву из Эстонии.

— Пойдем позавтракаем. Все равно нам надо позавтракать. А потом я все объясню.

— Ладно, — сказал я и засмеялся. — Ты, верно, помнишь тот рисунок в «Иллюстрасьон франсез»: жена раздета, смущенный молодой гвардеец натягивает брюки, и тут же муж, который свалился как снег на голову. «Не торопи меня, и я все объясню», — молит жена.

— Ты болен и устал, — сказала Мура.

Мы сидели за столиком в тени больших деревьев, и перед нами было блюдо с лангустами и бутылка белого вина. Мы привыкли, что вдвоем нам всегда радостно.

— Винишко хоть куда, — сказал я, но тотчас вспомнил о нашей драме. — А теперь объяснись, Мура.

Она объяснила, что возможность поехать в Москву представилась неожиданно. Она не видела в этой поездке ничего дурного. Горький договорился обо всем с наркоматом иностранных дел. Ей хотелось снова увидеть Россию.

— Но почему было не дождаться там меня? Почему не стать моим гидом и не помочь мне?

— Потому что в Москве меня не должны были видеть.

— Ты поехала прямо к Горькому.

— Я поехала к Горькому. Ты ведь знаешь, он мой старый друг. Я хотела снова

увидеть Россию. Ты не представляешь, что́ для меня Россия. Если бы меня там увидели, это поставило бы его в ложное положение перед партией. Если бы меня увидели с тобой, все пошло бы колесом. Нам с тобой вместе ехать в Россию немыслимо, я тебе всегда говорила, это немыслимо.

— Но ты могла бы встретиться со мной у Горького. Никто бы про это и знать не знал.

— Я хотела вернуться в Эстонию и все тут для тебя приготовить. Я не хотела там больше оставаться.

— Но ведь ты оказалась в России впервые с тех пор, как десять лет назад уехала в Эстонию. Наверно, это было интересно. Как тебе показалось?

— Я была разочарована.

— Вот как?

— Россией, Горьким, всем на свете.

— Ну что ж ты все лжешь, Мура? За последний год ты была в России трижды.

— Нет.

— Была.

— Откуда ты взял?

— Мне сказал Горький.

— Как он мог тебе сказать, он же не знает английского.

— Через моего переводчика Андрейчина.

— Я побывала в России впервые с тех пор, как уехала к детям. Андрейчин что-то напутал при переводе.

Мы пристально смотрели друг на друга.

— Хотелось бы тебе верить, — сказал я.

Ничего больше я так никогда и не узнал. Дорого бы я дал, чтобы поверить ей, дорого бы дал, чтобы стереть из памяти следы той московской истории — она точно открытая, незаживающая рана и с тех пор разделяет нас. Рана у меня в душе, неиссякаемый источник недоверия.

Мура твердо стояла на своем: она была в Москве лишь однажды. Либо я чего-то не понял, либо Андрейчин. Как мне известно, напомнила Мура, после ее отъезда из Сорренто она виделась с семьей Горького в Варшаве и однажды, еще до того, в Берлине. Но обе встречи были не в последний год. Возможно, Горький сказал, что она была у него, а Андрейчин подумал, что это происходило в России.

— В последний год, — заметил я, переваривая сказанное. — Но что бы там ни было, тебе все равно, каково мне пришлось в России, — размышлял я вслух. — И тебя нисколько не волновало, что после нашей дивной встречи в двадцатом году я впервые оказался в России. Но послушай, Мура, и знай, для меня это чрезвычайно важно. Я ни за что не поверю, что ты не была трижды в России, пока ты не прояснишь эту историю с ошибочным переводом. Мне очень жаль, но так уж я устроен. Ты вполне можешь это сделать. Можешь написать Андрейчину. Можешь добиться тут полной ясности. Пусть все будет ясно. Есть телефонная связь с Ленинградом. Ты звонила мне вчера, справлялась, в котором часу я прилечу. Соедини меня с ним. И еще: у меня будет душа не на месте, пока я не пойму, что за отношения у тебя с Горьким, кем ты была его покойному сыну и в какой мере тебе важна эта сторона твоей жизни. Что бы там у тебя ни было в прошлом, меня это нисколько не волнует при условии, что сейчас ты будешь со мной искренна. Я давно выложил перед тобой все свои карты, Мура, теперь раскрой ты свои. Повернись ко мне лицом. Или я для тебя не более чем авантюра, еще одна авантюра в прорве твоих авантюр?

— Ты — мужчина, которого я люблю.

— Мне так казалось... и это было так важно для меня.

Она пообещала, что непременно устранит это недоразумение. Ее отношения с Горьким всегда были чисто дружеские. Горький — ее большой друг. Когда ее жиз-

ни угрожала опасность, он буквально своротил горы ради нее. Всем известно, ввернула она, что Горький давным-давно импотент. Она пробыла в России всего четыре дня. (А я полагал, что десять.) Мы поехали к ней домой, и в ту ночь она пришла ко мне в комнату.

Но из этого ничего не проистекло. Никаких разъяснений через Андрейчина не последовало, а ведь и с Ленинградом и с Москвой была хорошая телефонная связь. И ничего Мура толком не объяснила про свои отношения с Горьким — было в них явно что-то такое, чего она и сама не понимала. Ее поведение зависело от великого множества причудливых мотивов; у нее в душе уживалось немало несовместных отношений, и она не отличалась ни бесхитростностью, ни мужеством, так что не способна была рассказать мне все как есть. И значит, ничто не могло рассеять мое недоверие к ней. Мы занимались любовью, но эта разъедающая душу история стояла между нами. Я разговаривал с ней о случившемся — пытался все поставить на место, но, пробираясь сквозь дебри, мы ссорились. Не умеет она объяснить, что ею движет, а я был вне себя и оттого не понимал, что ей это просто не дано. Я был подобен школьному учителю, который наказывает учеников за то, что они с ходу не постигают тригонометрию. Я ее бранил и думал, этого довольно, чтобы все наконец выяснилось. Накануне празднования дня рождения ее сына, которому исполнялся двадцать один год, я в отчаянном настроении один уехал в Швецию. Портить всем праздник мне не хотелось, а управлять собой я стал что-то плохо. Я ревновал Муру к сыну, к ее гостям, к ее дому в Эстонии, к России. Всего болéе к России. Из-за этого мои суждения о России в течение нескольких лет были чересчур суровы и несправедливы...

Мура приехала в Таллин проводить меня — как любовника, единственного своего любовника. Она любит расставания и встречи. И как прекрасно она умеет их обставить. Мы пообедали в Таллине и вместе отправились к стокгольмскому гидроплану. В последнюю минуту она объявила о своем намерении присоединиться ко мне в Осло.

Она так и сделала, но, словно оплакивая новую стадию наших отношений, в Норвегии все время лил дождь; мы провели воскресенье в Бергене, а в сравнении с бергенским воскресеньем даже шотландская суббота покажется карнавалом, и Северное море, когда мы по нему плыли, было неспокойно, так что Мура не выходила из каюты — ее мучила морская болезнь, моряк она никудышный, — а я в одиночестве размышлял на палубе.

А потом...

Мы оставались вместе, не способны мы были разойтись. Она крепко держалась за меня (июнь 1935 года). Но мы уже были не те счастливые, уверенные любовники, что прежде, и я, во всяком случае, был глубоко не удовлетворен: С того времени я стал требователен, а она чем дальше, тем больше была по-женски настороже.

Требователен я стал потому, что был теперь подозрителен и ревнив. В теории я всегда осуждал эти отвратительные душевные свойства, но тем не менее и через год с лишним после того московского потрясения меня упорно мучила эта постыдная душевная болезнь. Я был бы рад, если бы мы вернулись к прежней свободе отношений. Мура все еще могла быть восхитительной спутницей и любовницей. Какое у меня право возражать, даже если она позволяла себе слегка поводить меня за нос, если таила от меня значительную часть своей жизни и своих намерений? Она никогда не брала на себя обязательство поступать иначе. Почему же и мне не обходиться с ней таким же образом, и пусть бы наша связь была легкой и радостной?

Не мог я этого — тогда не мог. Я все больше и больше уподоблялся тревожно-мнительному супругу. Я стал приметлив. Я поймал себя на том, что контролирую ее приходы и уходы, наблюдаю за ней — уже не глазами восхищенного зрителя, но глазами сыщика, хоть и не очень проницательного. Она и вправду обманывала. И

лгала. Почему, спрашивал я себя, она так неискренна? Это просто в заводе у хорошеньких женщин, или это ее особая манера обходиться с людьми, или вообще женская манера? Ради моего же блага?

После того как в сентябре 1934 года мы вернулись в Англию, я поехал в Боднант и остановился у Кристабель. Мы гуляли по тамошним нескончаемым садам и разговаривали. Я рассказал ей кое-что из того, что меня тревожило, и она раскрыла мне весьма распространенную женскую точку зрения.

— Мы все обманываем, — сказала Кристабель. — Мы вас обманываем так же, как вынуждены обманывать своих детей. Не оттого, что мы вас не любим, но оттого, что вы существа деспотичные и не позволили бы нам шагу ступить, если бы мы обо всем вам докладывали.

— Это палка о двух концах.

— Думаешь, я когда-нибудь сомневалась, что ты говоришь мне только ту часть правды, которая тебе выгодна в настоящую минуту?

— Мы все лжем. Сами наши представления о себе таковы, что защищают нас и возмещают то, чего нам недостает. И все же, дорогая моя, разве эти женские обманы всегда ради блага мужчины?

Конечно же, мы оба знали, что это не так. Мы оба ясно понимали неискоренимую сложность жизни личности, поддерживающих ее иллюзий и мнимых упрощений. Невидимое «я» скрывается под разными масками, прячется даже от самого себя. Зачем докапываться до всего этого? Неужели, чтобы убедиться, что у женщины есть сердце, нужно его разбить?

— Никто не может выдержать такого безжалостного экзамена, какой ты учинил Муре, — сказала Кристабель. — Держись Муры, Герберт, и закрывай глаза на все. Мне приятно было видеть вас тут вместе летом, когда вы приехали из Портмейриона. Вы безусловно любите друг друга. Разве этого недостаточно?

Но слишком глубоко было мое чувство к Муре, чтобы я стал поддерживать отношения на этом поверхностном уровне. Она была мне нужна либо вся — ее тело, ее нервы, ее мечты, — либо, как мне казалось, не нужна вовсе. Не мог я быть счастлив, не зная, что таится под ее масками. Мне нужна была правда и ее подлинная любовь. Не мог я верить ей на слово.

Однажды в эту скверную пору, в конце 1934 года, мне приснился неприятный сон. Как уже бывало не раз, сон изверг, в жестокой и чудовищно преувеличенной форме, те мои мысли, которые, в своем стремлении оставаться непредубежденным, доверчивым и ни во что не вникать, я старательно подавлял. Но прежде чем рассказать его, я должен объяснить, что, когда мы возвращались из театра или из гостей, Мура частенько заходила ко мне и мы занимались любовью, после чего она натягивала платье на голое тело, а белье сворачивала и, полуодетая, лучезарно улыбаясь, с этим постыдным свертком под мышкой уезжала на такси домой.

Мне снилось, будто поздно ночью я брожу по какому-то смутно различимому зловещему проулку — нелепому и, однако, знакомому, который годами был своеобразным фоном моих снов, — и думаю о ней, как где только не думал, с тоской и раздирающей душу надеждой. Потом вдруг она оказывается предо мной, моя Мура, и в руках у нее ее знаменитый объемистый саквояж.

— Что у тебя в саквояже? — спрашиваю я и хватаю его, прежде чем она успевает воспротивиться.

А потом, как бывает в снах, саквояж ни с того ни с сего исчезает и появляется ее белье, завернутое в газету. В этом-то проулке!

— С кем ты была? — кричу я и вот уже яростно ее бью.

Я рыдаю и колочу ее. Она падает, но не как живое существо, а как манекен — конечности картонные, полые, а голова глиняная и катится прочь от меня. Я ударяю по ней, а она полая, и мозгов в ней нет...

Я проснулся вне себя от возмущения и ненависти. Снова, как бывало уже много раз, я угрюмо вглядывался в ночь, перебирая в уме все мельчайшие подробности того московского обмана. Даже если у нее были веские причины не ехать со мной в Россию в качестве моей переводчицы, они все равно не оправдывали ее безразличия к тому, как мне там пришлось. Если бы, как она уверяла, ее отношения с Горьким носили платонический характер, она обсудила бы мою поездку с ним; она могла устроить так, чтобы я посетил Горького, когда она находилась у него, — даже если было нежелательно, чтобы стало известно, что она в России; даже если она не могла появляться на людях в качестве моей переводчицы, она могла быть со мной наедине, могла быть подле меня, чтобы обсуждать со мной мои впечатления; могла опять любить меня в России; могла вернуться в Таллин вместе со мной. Вот что ей должно было прийти в голову, вот чего ей должно было хотеться, будь она моя настоящая возлюбленная. Вот как она поступила бы в 1920 году. Совершенно ясно, что ее отношения с Горьким — даже если они и вправду не замешены на сексе — по своей природе так интимны, так пронизаны чувством, что не могла она быть в том месте, где находимся мы оба. Возможно, как многие душевно щедрые, живые натуры, она была увлечена двумя потоками романтических отношений, которые не смогла сочетать. Чтобы преуспеть в этом, ей нужно было бы от чего-то отречься в отношениях либо с одним человеком, либо с другим, а этого не позволяли ни ее гордость, ни нрав. Кого-то надо было принести в жертву. И на этот раз принесен в жертву и обманут был я. Горький мог быть удовлетворен, если нуждался в удовлетворении, узнав, что ради того, чтобы приехать к нему, она оказалась способна одурачить меня. Оказалась способна обречь меня на постоянное, опустошающее душу раздражение, вызванное путешествием с «Интуристом», от чего могла бы меня избавить, — и все только для того, чтобы не осложнить отношения с ним. Этой цели она подчинила и все прочее. Мне было ясно, что я никогда не смогу ни умерить эту ее привязанность, ни развеять и что Мура не способна положить ей конец.

— Так обстоит дело, — сказал я. — И ничто на свете не может теперь это изменить.

Рой воспоминаний о нашей близости, воспоминаний нежных, восхитительных и страстных, не мог перевесить железные факты.

Тот сон и угрюмое настроение, в котором я пребывал пробудившись, были, я думаю, кульминацией и концом моего неистового единоборства с едва переносимым поначалу разочарованием и крушением иллюзий. Сон был убедительный. Это было чудовищное преувеличение — представлять, будто ее драгоценная, хорошенькая головка — глиняная и полая, тогда как на самом деле она набита до отказа всяческими затеями, но совершенно ясно, что в лучшем случае моя Мура непоследовательна и так же неискренна, как, должно быть, все непоследовательные люди, послушные интуиции. Я мог не сомневаться и не сомневался, что нравлюсь ей, что она меня любит, но то не была любовь простая, преданная, от всего сердца. Ничего на свете она не любила просто, преданно и от всего сердца. Она говорила, что безусловно верна мне, и, наверно, так и было. Во всяком случае, сама она в это верила. Мечты, которым я предавался, о последней, хорошей полосе жизни, когда подле меня будет великолепная спутница, рассеялись как дым под напором преувеличенного представления о ее недостатках — о мелочности, интриганстве, врожденном неряшестве, о приступах тщеславия и отсутствии логики. Как можно доверять уму, лишенному логики, который, похоже, не ведает о своей непоследовательности, спрашивал я. Я забыл о тысяче свойств, возмещающих эти недостатки, — об ее мужестве, импульсивной щедрости, о минутах невероятной нежности и вспышках мудрости.

Через день-другой я поймал ее на пустячном обмане. Я ее упрекнул, и она по своему обыкновению убежденно и решительно все отрицала. Прежде я относился

к ее словам с полным доверием, но в этот раз почувствовал, что не верю ей. Тогда я рассказал ей о моем сне, и как я лежал и думал о ней, и что именно думал, и мы опять затеяли долгую ссору, которая, начиная с тех первых моих упреков в Таллине, то вспыхивала между нами, то затухала. Она стояла в моем кабинете и защищалась и все не шла на ту полную откровенность, которая одна могла восстановить подорванное доверие и близость.

— Ну зачем ты подвергаешь меня такому испытанию и все портишь? — сказала Мура.

— А зачем ты так себя ведешь, что приходится подвергать тебя испытанию?

— Но все не так, как тебе кажется, — решительно заявила она, будто могла оспорить даже сами факты.

Мне казалось, она — словно запутавшееся в сетях прелестное животное. Сети были настоящие, хоть она и сплела их сама. Я не мог их разорвать за нее, и, конечно же, ей не разорвать их самой. Я горько жалел ее, не меньше, чем себя. Потерпевшими были мы оба. Рядом с нашей несомненной любовью, которая, думалось, вот-вот состоится, но выскользнула у нас из рук и разбилась, все то, ради чего Мура принизила ее, ничего не стоило.

— Что тут скажешь, моя дорогая, — произнес я в тайной надежде, что она еще скажет или сделает что-то невероятное и мы будем спасены.

Я бы махнул рукой на то, что она делала или что с ней происходило в прошлом, если бы она все отбросила и, ничего не тая, без задних мыслей пришла ко мне, я бы помог ей освободиться от любого комплекса, выйти из любого затруднительного положения. Но она внутренне согласилась, что ничего тут больше не скажешь, — не могла она поделиться тем, что таила от меня.

Мы поцеловались и на том кончили наш неразрешенный спор. Поцеловались и легли вместе в постель. В последующие несколько дней мы едва ли хоть что-то прибавили к сказанному. Но этот неразрешенный спор так и стоит между нами. Все связанное с Москвой так и остается необъясненным. Была Мура там три раза или один раз? Я не знаю. Мне уже начинает казаться, что это не важно. Но та Мура, которая существовала только в моем воображении, теперь исчезла навсегда, и уже ничто не сможет ее вернуть. Мы все еще были любовниками и близкими друзьями. Все еще могли вместе смеяться и разговаривать обо всем на свете. Но мы сознательно отстранились друг от друга. И уже не стремимся друг к другу, как прежде.

Время от времени я возвращался все к тому же щекотливому вопросу. Не мог я его не касаться. Мура разгневанно плакала. Разыгрывала сцену великого расставания, говорила «Прощай», выходила из моего кабинета, хлопала дверью и — прочь из квартиры. Через пять минут она снова была у парадной двери и стучала молоточком.

— Не убежать тебе от меня, — горестно говорил я, впуская ее в дом. — Не убежать и мне от тебя. Я знал, что ты вернешься.

Наконец она нашлась.

— Ты садист, — сказала она, меряя шагами мою комнату.— Ты жестокий.

— Потому что стараюсь, чтобы ты увидела себя самое?

Я ломал голову над этим обвинением в жестокости. Уж не мучаю ли я ее как раз тогда, когда она не жалеет сил, чтобы сблизиться со мной? Возможно, в прошлом ей мнилось, будто она одержима Горьким и Россией, а нынче эта одержимость слабеет. Возможно, сознательно и подсознательно она старалась прильнуть ко мне и не знала, как это сделать, и в ее душе не было согласия. Она по-женски, по-детски ждала полного интуитивного сочувствия в том, чего никоим образом не могла объяснить. Она не умела никому уступать, а судьбе было угодно, чтобы она оказалась не права и ее любовник стал ее обвинителем. Не было ли тут чего-то,

что, как она надеялась, я пойму без всяких объяснений? Неужели она надеялась, что, никак не дав знать о своем раскаянии, будет молча прощена? Неужели думала, что я все уразумел и должен простить, и забыть, и начать сначала?

Но ведь были еще и другие мелкие обманы, крупицы лжи, крупицы предательства, которые, на мой, теперь уже слишком придирчивый, взгляд, основательно портили картину.

Эти волнения и перерыв в отношениях длились три месяца, до конца 1934 года. В декабре мы решили вместе отправиться в Палермо — мы надеялись, что одни, в новой обстановке, станем ближе друг другу; но сбой в итальянском авиаобслуживании задержал нас в Марселе, и утомительной железнодорожной поездке на Сицилию мы предпочли Ривьеру. Рождественскую неделю мы провели у Сомерсета Моэма на Мавританской вилле.

Я чувствовал себя не в своей тарелке, ревновал Муру, и, что бы она ни говорила и ни делала, все было не по мне. Моя былая гордость за нее поуменьшилась, и от нашего былого доверия не осталось и следа. Иной раз мы славно проводили время, а иной раз были безжалостны друг к другу. Я привык просыпаться в семь или раньше, а она оставалась в постели до десяти-одиннадцати. И наоборот, хотела, чтобы ее развлекали до поздней ночи. Ей требовались разговор — тот чисто русский, лишенный анализа, беспредметный, неторопливый разговор обо всем на свете, который куда только не уводит и никуда не приводит, — и выпивка, чтобы он не угас. Желая заполнить три-четыре утренних часа, я садился за работу над фильмом: писал сценарий по своему рассказу «Человек, который мог творить чудеса» и чувствовал, что работа идет хоть куда. Чувствовал, что мои творческие силы возрождаются и голова полна новых идей. В одиночестве этой утренней свежести я создавал новую жизнь.

Потом, совершенно неожиданно, Мура захотела вернуться в Англию — из-за детей; хотела позаботиться об экипировке сына для колледжа, и дочь сейчас в расстроенных чувствах, сказала она, нужно ее повидать. Это опять привело к ссоре, в которой мой эгоцентризм проявился во всей своей беспощадности и нетерпимости.

— Только у меня пошла работа, стоящая работа, и мне хорошо с тобой, как ты опять готова улететь и оставить меня одного, в трудном положении, в этом проклятом отеле. Твой Пол уже совершеннолетний, а в Танином возрасте ты уже развелась с мужем. Пусть справляются со своими проблемами сами, — негодовал я. — Вот так ты всегда и оставляешь меня. Бросаешь на произвол судьбы. И тебе дела нет, что́ со мной будет...

И так далее. Настоящий мужнин выговор.

Мура уехала, не посчитавшись со мной, и я остался возмущенный до глубины души, а назавтра получил записку от одной американской вдовы, которая держала скаковых лошадей и с которой я познакомился на обеде у Моэма. Более нейтральное определение, чем «американская вдова», мне не приходит в голову. Внешне у нее было немало общего с Мурой, только она была высокая, темноволосая и улыбающаяся, открытая в тех случаях, когда Мура бывала закрыта, подтянутая и бодрая в тех случаях, когда проявлялась Мурина разболтанность. Не могу передать, как радовала мне душу ее открытость. Она была вся в веснушках, и золотые крапинки очень ей шли. Первоначальное образование она получила, в основном идя на поводу у своей состоятельной и порывистой матери; отца какое-то время носило по свету, а потом его «держали на привязи». Знания у нее были с бору по сосенке. Она сохранила милую американскую откровенность и простодушие; она слышала от Моэма, что я один в «Эрмитаж-отеле», и прислала мне написанное почерком школьницы приглашение пообедать с ней в ресторане «Негреско». <...>

После этого мы неделю были вместе каждую свободную минуту. Нам просто

нравилось быть вместе. До полудня я занимался своей «работой», а она своей, а потом ее «испано-суиза» останавливалась у моих дверей и с ощущением, что первая половина дня потрачена не напрасно, мы ехали в какой-нибудь занятный ресторан. Мы поднимались в горы или устремлялись вдоль побережья. Вечером мы любили отведать какие-нибудь неизвестные нам блюда, какие можно было найти только в Ницце, и я угощал ее в старом городе буйябесом. А еще к нашим услугам было кино, к которому она относилась весьма серьезно.

Но тут вдруг Мура решила ко мне вернуться. Быть может, она подумала обо мне несчастном, прикованном к своему письменному столу в «Эрмитаж-отеле», а быть может, собственнический инстинкт повелел ей не оставлять меня слишком надолго. Или, скорее всего, она вовсе не беспокоилась о том, что я делаю, просто снова захотела быть со мной. Я не предлагал ей вернуться. Она прислала телеграмму: «Если ты не против, вернусь в среду». Но этому мешала какая-то путаница с уже назначенными встречами, и, к немалому Муриному удивлению, я ответил: «Удобнее в субботу». Она телеграфировала: «Всегда как тебе угодно» — и приехала в субботу.

— Что ты затеял? — был ее первый вопрос.

— Дружбу, — ответил я.

Мура не столько ревновала, сколько была изумлена и постаралась не ударить лицом в грязь. Мы встретились втроем и отлично поладили. Мы совершали разные поездки, вместе обедали и ужинали и побывали у Моэма. Мура внимательно и ненавязчиво за мной наблюдала.

— Никогда не видела тебя откровенно влюбленным в кого-то еще, — сказала она.

— Тебе повезло.

— Вы смотрите друг на друга. Ты не сводишь с нее глаз. Благодаря тебе она чувствует, что не лыком шита.

— Тебе полезно это знать, — сказал я.

Мы условились возвращаться до Парижа на автомобиле. Но по воле случая Мура с нами не поехала. Она получила телеграмму из Эстонии, что Мики — миссис Уилсон, ее старая гувернантка и гувернантка ее детей — серьезно заболела и хочет ее видеть. Хитростью тут не пахло. Мура держала в руках телеграмму и плакала навзрыд, кулаками утирая глаза, точно несчастная девчонка.

— Бедняжка Мики, — сказала она. — Дорогая моя бедняжка Мики.

— Ты можешь к ней поехать.

— Если я поеду, ты опять рассердишься.

— Если Мики умрет, ты себе этого не простишь, — сказал я и помог ей собраться и пуститься в долгий путь по железной дороге в Эстонию. А назавтра сел в «испано-суизу» и отправился в Париж.

Мы провели ночь в знаменитом отеле в Маконе, по-моему, это был «Hotel de France», в котором на кухне правил бывший повар кайзера. Там меня ждала телеграмма от Муры — из одного слова «Любовь».

— Это нам предписание? — вопросил я.

— Мы не нуждаемся в предписаниях. Правда, славный ужин?

Утром нам показалось, что кофе и булочек недостаточно, и мы заказали еще по паре яиц в мешочек, и я сел к ней на постель и показал, как их есть на английский манер. Потом мы весело доехали до Парижа. А на следующее утро я улетел в Лондон.

Мура была в Эстонии, и я не сомневался, что она уехала туда только для того, чтобы ухаживать за Мики, но я знал: стоит ей задержаться с возвращением в Англию, и меня опять одолеют прежние обиды и подозрения. Я делал все возможное, чтобы не дать им воли, и когда вскоре получил предложение от «Кольерс уикли» из Нью-Йорка провести три недели в Америке и написать о «новом курсе», я его при-

нял. Я приехал в начале марта 1935 года; я обедал с президентом в Вашингтоне и с кем только не беседовал; я превосходно провел время и написал четыре статьи, которые потом вышли отдельной книгой — «Новая Америка: новый мир».

И еще я надеялся, что эта поездка в Америку будет углублять то эмоциональное отчуждение от Муры, которому способствовал мой роман. Но оказалось, она по-прежнему глубоко тревожит мне душу. Вновь я думал о ней как о прелестной Муре моей мечты; мне хотелось, чтобы она была со мной на пароходе, хотелось показать ей Нью-Йорк и разговаривать с ней обо всех забавных отличиях Америки, и всякий раз, как я шел в гости или на прием, хотелось, чтобы она была рядом.

Одиночество все больше выводило меня из равновесия. Меня возмущала Мурина неспособность понять, как я нуждаюсь в ее обществе. Я приходил в ярость оттого, что она не желала ради меня отказаться от своей ничтожной, убогой эмигрантской жизни, от бесконечных сплетен, от хаоса дома восемьдесят восемь по Найтсбриджу, от злоупотребления водкой и коньяком, от ночной болтовни и лежанья в постели до полудня. Я возмущался ею и оттого, что по ее вине не смог сохранить ей верность и, похоже, готов вернуться к беспорядочным связям. В Вашингтоне раз-другой в гостях я ощутил, что женщины не утратили для меня привлекательности и, кажется, не утратил для них привлекательности и я.

Благодаря этому во мне росла решимость добиться полной ясности в отношениях с Мурой или порвать с ней. Вот чего я опять хочу, думалось мне. Вот каков выход. Я послал Муре ультиматум. «Либо полностью войди в мою жизнь, либо исчезни из нее, — написал я. — Вытесни из своей жизни все, что стоит между нами. Либо встреть меня в Саутгемптоне, и это будет означать, что ты всецело мне подчиняешься, либо верни мне ключ от моей квартиры».

В Саутгемптоне Муры не было, но, едва я вернулся в Лондон, она мне позвонила. У нее стало очень худо с горлом, объяснила она, и она слегла. Не приеду ли я к ней? Для возвращения ключа то была неподходящая обстановка.

Я сел к ней на постель, с трудом подавляя привычное желание погладить ее, и она принялась рассказывать о болезни Мики и о своей. В Каллижарове у нее самой была пневмония, но она надеялась быстро оклематься. Она словно забыла о моем ультиматуме, так же как в Эстонии — о моем требовании внести ясность в то, что произошло. Она порой ведет себя на манер моего черного кота в Лу-Пиду — что бы он ни натворил, он ни капельки не сомневается, что стоит ему взобраться на стол поближе ко мне, потереться об меня головой — и можно опять делать все, что ему заблагорассудится.

Назавтра она мне позвонила.

— Нам надо поговорить, — сказала она. — Где будем обедать?

Я не хотел, чтобы она приходила ко мне, и предложил встретиться в сербском ресторане на Грик-стрит. Казалось, от ее болезни не осталось и следа.

— А теперь, дорогой, не вернуться ли нам на Чилтерн-корт? — серьезно сказала Мура, когда мы отобедали.

Мы вернулись на Чилтерн-корт.

Ее лицо было совсем рядом с моим на подушке, она смотрела на меня, и ее всегда сонные глаза светились лукавством.

— А ты был в нее влюблен, — сказала Мура.

— Ни в кого я не влюблен. Или влюблен во всех. Я отдал тебе всего себя целиком, а ты опять подставила меня всем ветрам. Ну и вот они мы — и что нам теперь делать? Мы уже никогда не поженимся, однако никогда в жизни я не чувствовал себя до такой степени и так нелепо женатым.

Подробная история моих отношений с Мурой подходит к концу. Мой ультиматум остался без ответа, и ключ от двери не был возвращен. Она не собиралась с

ним расставаться. Но в скором времени я задался целью найти себе дом на Ганновер-террас, неподалеку от Риджентс-парка, и стал раздумывать, каково оно будет, мое жилище в таком приятном районе, где я проведу свои последние годы. Но для Муры я не приберегал там места.

— Отвести этаж тебе, Тане и Полу, чтобы у тебя была собственная гостиная и собственный колокольчик? — спросил я, когда в последний раз размечтался о браке. — Мы еще можем это устроить.

— Разве мы уже не обсуждали это, милый? — уклончиво ответила она.

— Хорошо,— сказал я. — Держись своего восемьдесят восьмого и всего, что он для тебя значит. Скоро там все снесут и построят доходный дом, и все вы, русские, кинетесь врассыпную, словно уховертки из-под камня. А потом, наверно, по своему обыкновению опять соберетесь. Но, поверь мне, от Ганновер-террас у тебя ключа не будет — и не вини меня, если тебе это не понравится.

Однако Мура ни за что не поверит, что дверь для нее заперта, пока не убедится, что она заперта и на ее стук никто не отзывается. Но я не смогу не отозваться на ее стук. Когда она постучится, я, вероятно, ее впущу, но с каждым разом буду все больше отдален от нее.

(И в самом деле — прибавляю я в июле 1936 года, — она получила ключ от нового дома, когда в мае вернула тот, которым отпирала дверь на Чилтерн-корт.)

Возможно, есть предел отдаленности, как у планеты есть афелий. Наверно, мы с ней никогда окончательно не расстанемся. Между нами существует иррациональное притяжение.

Похоже, нам суждено пребывать в этом состоянии свободной связи, подобно двойным звездам, которые обращаются одна вокруг другой, но никогда не сливаются воедино. Сама наша свобода предотвращает окончательный разрыв. Нас соединяют привычки и обыкновения, у которых бывают свои приливы и отливы. Дико говорить, будто я все еще влюблен. И однако я люблю — на свой лад. Вряд ли мы любим друг друга крепко, неизменно и постоянно. Но у нас все еще бывают полосы тесного общения, и оно удовлетворяет обоих. И мы гордимся друг другом и чувствуем, что принадлежим друг другу. Все еще. Ей приятно слушать, когда меня хвалят, а мне — когда хвалят ее.

Это было написано в июне 1935 года. В августе Мура уехала в Эстонию, и я написал ей из Англии несколько жестко откровенных писем, повторяя все свои резоны, по которым нам следовало окончательно и бесповоротно расстаться. Она отвечала нежно: «Отчего ты так лютуешь в письмах?» И, кажется, предполагала подробно ответить на мои обвинения. Вернулась она в сентябре, чтобы с неизменной своей невозмутимостью возобновить наши отношения. Она неожиданно появилась на приеме, который как президент ПЕН-клуба (Мура тоже его член) я устроил для Института журналистики. Я увидел, что она направляется ко мне, как всегда, с самым безмятежным видом, а глаза ее светятся насмешливой нежностью, и обрадовался. Мы оба обрадовались...

Дом восемьдесят восемь по Найтсбриджу снесли, как тому и быть должно, и осенью 1935 года, вопреки моему пророчеству, тамошнее сообщество эмигрантов исхитрилось весьма благополучно обосноваться в доме восемьдесят один на Кэдоган-сквер.

Многое из вышесказанного могут счесть обвинением в адрес Муры. Но если так, значит, я неточно выражал свою мысль. Если это обвинение, то обвинение самой жизни, несоответствию мужских и женских желаний, мужской и женской логики. Это одна, индивидуальная точка зрения на главную трудность в отношениях современных мужчин и женщин, осложненных глубоким различием между при-

чудливым русским мышлением, способным вычеркнуть из памяти все, что ему неприятно, и образом мысли человека, привыкшего к мышлению упорядоченному. Это еще и свидетельство моих собственных неразумных, чудовищных требований к Призраку Возлюбленной, которые основаны на обременительной масштабности той личности, какой я хотел себя видеть. Я знаю, я стремлюсь быть такой величиной, до какой мне не дотянуться. Болезненно чувствительный, по-детски тоскующий о помощи, я недостаточно велик для «великого человека».

История моих отношений с женщинами — это главным образом история ненасытности, глупости и больших ожиданий, и об этом не стоило бы и рассказывать, если бы речь шла просто о моей сугубо личной истории. На самом же деле это повесть о мире беспорядочных сексуальных отношений и напрасных попыток мужчины и женщины приспособиться друг к другу. От Муры на своем последнем этапе, как от Изабел на первом, я требовал невозможного. Мне, человеку необъятных интересов, нужна была женщина той же широты интересов, соответствующая моему складу ума... Что это? Самовлюбленность, фанатизм, современный подход, культ? В Джейн эта широта интересов была. Мне нужна была помощница в работе. Но Мура никогда не делала вид, будто ей нужно от меня что-нибудь, кроме романтической близости, сексуальной и душевной; она хотела появляться и исчезать, движимая порывами и прихотями, и пока я не ушел от Одетт и не стал настаивать на браке, общем доме и неразрывном союзе, наши встречи были неизменно ярки и радостны. На том этапе мы не слишком допытывались друг у друга, кто чем занимался между встречами; не отказывали друг другу в праве на свободу воображения и чувств. А когда я сосредоточил на Муре все свои упования и пытался решительно ею завладеть, говоря, что она должна быть целиком и полностью моей и слить все в своей жизни со мной, а я — с ней, у нее достало трезвости и определенности защитить от моего жесткого, напористого вторжения свое глубинное «я» и свои привычки, свою леность и потворство себе. Она знала, ей все равно не удовлетворить моих требований. Тогда зачем пытаться?

Я уже говорил, что Мура обманывала меня, но она, по крайней мере, никогда не уверяла, будто ничего от меня не утаивает. Она никогда не делала вид, будто все мне отдает и вся мне открыта. Но в моем понимании, раз мы были любовниками, это предполагало, так сказать, неприкрашенную правду и самоотдачу. Вот самое большее, в чем я могу ее обвинить.

После московского кризиса в наших отношениях мы бродили по Эстонии, Франции, Англии, по лесам, и рощам, и полям, и огромным паркам и вздорили, и сражались друг с другом, уже не те беспечные любовники, какими были прежде, когда с наслаждением разбирались в наших чувствах и придумывали, что бы такое приятное друг другу сказать. Нам изменило прежнее очаровательное лукавство, откровенное, волнующее, искреннее плутовство, грубоватая игривость любовной близости. Наши привязанность и жалость, может быть, стали глубже, как, наверно, и наша готовность помочь и взаимная терпимость. Но узнать друг друга куда основательней, чем прежде, благодаря обвинениям, обидам, ссорам и разочарованиям вовсе не значило достичь единства во взгляде на жизнь. Напротив, это помогло обнажить наши колоссальные расхождения и, не уменьшив их, лишь чуть-чуть друг друга утешить.

Со временем споров стало меньше. Мы сумели этого достичь. Было уже сказано все, что только можно, и много раз. Я наконец-то согласился с Мурой, что жениться нам ни в коем случае не следует; что мы видимся ровно столько, сколько нам на благо, и что наши отношения не должны нам мешать отдаляться друг от друга. Кто знает, насколько мы отдалимся к концу жизни. Я не рассчитываю на Муру, и с

ее стороны было бы опрометчиво рассчитывать на меня. И однако — при всей необъяснимости этого — мы до сих пор принадлежим друг другу (лето 1935-го).

(Кстати, в очень хорошем рассказе Ребекки «Пожизненное заключение» из книги «Резкий голос» идет речь примерно о такой близости.)

Эти колебания между притяжением и отталкиванием лишают меня надежды на пригодный для работы общий дом, но вовсе не лишают желания иметь такой дом. Я все еще мечтаю жить вместе с женой, со своей женой, в собственном доме с садом. Я все еще хочу этого; это неразумно, но я хочу именно этого; и понимаю, что никогда этому не бывать. Я устал от своей квартиры и от вторжений Муриного ключа в средоточие моей жизни.

Я не хочу бывать на людях с женщиной, присутствие которой требует объяснений и которая не желает или не может колесить со мной по свету. Я хотел, чтобы моя жена была одной со мной веры, то есть чтобы в душе она была фанатичной поборницей того, быть может, недостижимого мироустройства, которому служу я, и не хочу, чтобы наши вожделения и развлечения шли вразрез с продуманной целью моей жизни. Я хотел, чтобы, когда я поглощен своими мыслями, женщина относилась ко мне терпеливо и снисходительно. Я хотел, чтобы у нее было свое занятие, причем такое, которое я мог бы уважать, и тогда у меня достало бы для нее терпения. У нас с ней были бы дом и сад, и мы бы вместе ели, и забавлялись, и в полном согласии вместе работали, а когда нам требовались бы перемены или новые стимулы, мы вместе отправлялись бы путешествовать или уезжали в Лондон и навещали наших многочисленных друзей, которые куда подлинней, объемней, занимательней, куда больше насыщают, когда смотришь на них не один, но через конвергентные линзы совместного ви́дения. Я хотел постоянно ощущать присутствие моей милой у себя в доме, слышать, как сверху доносится любимый голос, или видеть, что моя милая идет по саду мне навстречу.

Но Мура никогда не пойдет мне навстречу по этому саду — из-за ее неизлечимого пристрастия к скитаниям не будет этого сада, нашего сада вокруг нашего с ней дома. Я хочу, чтобы в саду моих желаний мой Призрак Возлюбленной воплотился наконец в Идеальную Возлюбленную; и теперь мне совершенно ясно, что это не Мура, а Джейн плюс Мура плюс игра воображения — существо, сотворенное из умершей женщины, возвышающего меня самообмана и последних, исчезающих следов иллюзорной надежды. Нет у меня ни права, ни основания хотеть этого, но это обычная мечта нормального деятельного мужчины, у которого есть еще над чем поработать.

Природа не позаботилась о каком-нибудь утешении для своих созданий — после того как они послужили ее неясным целям. Нет в жизни человека последнего этапа, отмеченного истинным счастьем. Если мы в нем нуждаемся, мы должны сотворить его сами. Я все еще готов лелеять эту призрачную надежду. Я вовсе не похоронил свои надежды у ног Муры. Но вряд ли для меня теперь найдется какая-нибудь другая женщина. Дружба, быть может, еще и улыбнется мне и мимолетная бодрящая близость, но завладеть кем-нибудь нечего и мечтать. Я вышел из игры. Слишком я любил Муру и не могу опять взяться за создание нового полнокровного союза. По крайней мере, так я чувствую сейчас.

Мне, безусловно, еще предстоит справиться с этим последним этапом жизни. Может статься, это будет совершенно особый этап, и, возможно, я несправедлив к Природе, когда в приступе уныния говорю, что после окончания любовного цикла она не находит для нас биологического применения. Я чувствую, работа, которой я сейчас занят, стоит потраченного на нее времени (август 1935 года).

Этот «Постскриптум к «Опыту автобиографии» все больше и больше становится личным дневником. Из уже написанного я мало что буду менять, и многие из

суждений, что я полагаю сейчас безусловными, могут оказаться весьма предварительными еще до того, как будут завершены последние страницы.

Листки из дневника

По приезде в Лондон в январе 1936 года я шел по перрону вокзала Ватерлоо, уклоняясь от фотографов и репортеров, и вдруг увидел перед собой Муру — высокая, приветливая, уверенная в себе и в своем особом мире, голова поднята, на лице привычная затаенная улыбка. Совсем как когда она встречала меня в Зальцбурге и на аэродроме в Таллине после Москвы. Она пришла, чтобы сопровождать меня в мою квартиру.

— От тебя не убежишь, — сказал я, целуя ее.

— А ты пытался? — спросила она.

— Потому-то я и уехал в Америку.

— Ты мне опять изменял?

— Еще как.

— Вот и верь тебе после этого, — сказала Мура.

— Таких красивых гор, как в Аризоне, я в жизни не видел.

— Ты там был не один?

— Если мужчина начинает отвечать на вопросы, на нем можно ставить крест. Но я ведь знаю, что́ именно тебя интересует, и потому, так уж и быть, на этот вопрос отвечу — один.

— Тогда, значит, в Коннектикуте…

Я спросил о детях. Но по тому, как я вел себя, нам обоим вдруг стало ясно, что случилось невероятное и от одержимости Мурой, так надолго захватившей мое воображение, не осталось и следа. В моих глазах она спустилась с небес на землю. И ровным счетом ничего не значит, что мы вместе пришли ко мне домой и вместе ели и спали в ту ночь. Былого восторга как не бывало. Я отношусь теперь к ней почти так же, как относился к своему большому черному коту, такому ласковому, уверенному в себе, привыкшему ластиться ко мне, которого мне, увы, пришлось оставить в Лу-Пиду. Уже не вызывает она у меня ни вражды, ни восторга, только истинно дружеское расположение.

Назавтра мы с ней беседовали.

— Ты плохо о себе заботишься, — сказал я. — Ты, право же, слишком много пьешь. Жаль, что нельзя снова ненадолго посадить тебя за решетку — в качестве лечения. Ты становишься ленивой и апатичной. Я пророк. Я знаю, каков будет конец наших отношений. Когда я превращусь в сморщенного старика с еле слышным голосом, ты расхвораешься у меня на руках и помрешь. Да, непременно, а обо мне и не подумаешь, не позаботишься. Будешь есть и пить, когда не велено, и на этом тебе придет конец. А я, несчастный старик, буду каждый день приходить и сидеть у твоей постели. На это у меня достанет чувства долга. Буду приносить цветы и разное прочее, чтобы ты думала, что я все еще тебя люблю и поддерживаю в тебе веру в себя самое. В таких делах я всегда был даже чересчур внимателен. Сам не знаю почему, но я буду вести себя именно так.

— Ты меня любишь.

— И никогда не стану напоминать, как ты была безответственна, как подтачивала мои силы и истощала, опустошала меня.

— О-го!О-го-го!

— Когда будешь умирать, я постараюсь, чтобы уход из жизни не был для тебя мучителен. На твоих похоронах я, наверно, заработаю двустороннюю пневмонию. Ты не желаешь, чтоб тебя кремировали, как всех порядочных людей. Ты настаива-

ешь, чтобы тебя закопали в землю, и, разумеется, все будет по-твоему. День будет промозглый. Да, всенепременно. Ты уж постараешься, ведь это так на тебя похоже. Я провожу тебя в последний раз и приду домой подавленный, укутавшись в пальто, с первыми признаками простуды, которая меня прикончит.

— Но прежде чем все это случится, ты должен позволить мне сыграть толстуху в Чаплиновской интерпретации «Мистера Полли», ты мне обещал.

— Только на это ты и годишься. Но даже и тут ты наверняка меня подведешь. В самый разгар съемок либо захвораешь, либо укатишь в Эстонию.

Молчание.

— Милый ты мой. Что ж ты все рассуждаешь про любовь, а обо мне так неверно судишь?

У нее отсутствует логика, и ничего с этим не поделаешь.

В духе такой вот насмешливо-нежной терпимости и кончается история моей любовной жизни. Я никогда не был большим охотником до любовных приключений, хотя нескольких женщин любил глубоко. Я постарался как можно полнее представить, каково отношение Муры ко мне и мое к ней. Постарался воспроизвести нашу манеру разговаривать друг с другом. Я поведал обо всех ее недостатках, и слабостях, и провинностях, какие мне известны. Рассказывая о них, я раскрыл и свои собственные. И теперь, когда все сказано и сделано, самое главное совершенно ясно (надеюсь, я дал это понять): Мура — та женщина, которую я действительно люблю. Я люблю ее голос, само ее присутствие, ее силу и ее слабости. Я радуюсь всякий раз, когда она приходит ко мне. Я люблю ее больше всего на свете. При такой любви все, что во благо, и все, что во зло, в крайнем случае интересно, но самое главное, глубинное — моя любовь к Муре — все равно неизменно. Мура мой самый близкий человек. Даже когда в досаде на нее я позволяю себе изменить ей или когда она дурно со мной обошлась и я сержусь на нее и плачу́ ей тем же, она все равно мне всех милей. И так и будет до самой смерти. Нет мне спасения от ее улыбки и голоса, от вспышек благородства и чарующей нежности, как нет мне спасения от моего диабета и эмфиземы легких. Моя поджелудочная железа не такова, как ей положено быть; вот и Мура тоже. И та и другая — мои неотъемлемые части, и ничего тут не поделаешь. <…>

***

В конце мая 1936 года Мура стала испытывать странное недомогание. Она вдруг принималась рыдать, что вовсе ей было не свойственно. Ее охватило желание уехать одной во Францию. На нее надвинулась тень приближающейся жизненной перемены. В эту пору ей изменила ее неодолимая самоуверенность. Она не в силах была обсуждать это со мной, не в силах была обсуждать этот этап и с самой собой, она хотела быть одна. И тут произошло событие, которое сразу вывело ее из депрессии. Газета вдруг сообщила, что в Москве смертельно болен Горький, и несколько дней спустя я получил от нее телеграмму из России. Не думаю, что, уезжая во Францию, она замышляла поездку в Россию, она отправилась к нему внезапно. Она помогала за ним ухаживать, оставалась с ним до конца, когда он был уже без сознания (она мне описывала это его состояние); что-то непонятное делала с его бумагами, выполняла давным-давно данное ему обещание. Вероятно, там были документы, которым не следовало попадать в руки ОГПУ, и Мура спрятала их в надежное место. Вероятно, она кое-что знала и пообещала никому об этом не говорить. И я уверен, она сдержала обещание. В таких делах Мура кремень. Когда она исчезла из моего мира, я пожал плечами и приготовился жить без нее. Я не верил, что, когда Горький призвал ее, он действительно умирал, — и оказался несправедлив. Он уже столько раз умирал. А если и сейчас все то же самое? Как тогда поступит Мура?

Три субботы и воскресенья я провел без Муры; одни выходные гостил у прелестной пары — Зигфрида Сассуна и его жены в Уилтшире; еще одни провел на престранной международной конференции в Лондоне, на которой изо всех сил старался провалить проект марксистской энциклопедии. После той первой телеграммы о Муре не было ни слуху ни духу, и я думал, Россия ее поглотила. Вечером в воскресенье я возвратился от Холденов, и около часу ночи позвонила Мура, все та же неисправимая Мура — словно никуда и не уезжала...

Похоже, она возвратилась домой. <...>

***

19 июля 1936 года. Итак, я завершаю свою «Автобиографию». Я могу прожить еще добрую дюжину лет, а то и больше, но вряд ли появится необходимость добавить к ней еще хоть что-то существенное. Благодарение Богу, мое «я» как тема исчерпано, и я рассказал обо всем, что смог почерпнуть из любви. Мы с Мурой, несомненно, будем держаться друг друга на свой особый лад, сохраняя независимость. Если не я, то уж она-то, во всяком случае, об этом позаботится. Мне остается работа, и она скажет сама за себя, кое-какие не слишком значительные обязанности и, вероятно, немощи, о которых чем меньше говорить, тем лучше. Не дело тревожиться заранее.

Под этим заключением я подписываюсь в канун своего семидесятого дня рожденья, 21 сентября 1936 года, который (прибавляю я 6 октября) мы с Мурой превесело отпраздновали вместе, как праздновали уже восемь годовщин. <...>

■

«ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЫХОДИТ ИЗ ЧИСТИЛИЩА»

Виртуальный круглый стол

Составление и перевод с французского НАТАЛЬИ МАВЛЕВИЧ

... дух французской культуры полнее всего выражается в искусстве беседы.

Паскаль Брюкнер

С середины мая по середину июня в Москве проходила «Французская литературная весна», устроенная МИД и посольством Франции в России, при участии Французского культурного центра, Музея кино, столичных библиотек, университетов, крупных книжных магазинов. «Весна» была представлена цветом современной французской литературы, букетом из девяти ярких личностей. Поводом для преподнесения этого букета послужил двойной юбилей: 200-летие Пушкина и 10-летие одноименной издательской программы (издано уже более трех с половиной сотен переводных книг). Внимательные читатели, вероятно, не раз замечали и в нашем журнале сообщения о том, что та или иная публикация или даже издание целых номеров «осуществляется при финансовой поддержке МИД и посольства Франции». Вот и на этот раз «Иностранной литературе» на правах старой дружбы была предоставлена исключительная возможность пригласить заезжих знаменитостей в редакцию и побеседовать с ними почти в домашней обстановке. Залучить всех не удалось, но семеро гостей по очереди посидели в удобном кресле за чашкой чая и подверглись немилосердному допросу редакторов и переводчиков. Для начала каждому задавали шесть обязательных вопросов анкеты, затем завязывался свободный диалог. Очень скоро мы заметили, что некоторые темы неизбежно и совершенно спонтанно всплывали в ходе любого разговора. Это было удивительно, поскольку наши собеседники мало чем походили друг на друга. Таким образом, нечаянный эксперимент позволил увидеть объективную картину того, чем живет сегодня французская литература, французская культура и, может быть даже, французское общество. Пятеро из шести гостей принадлежат практически к одному поколению (им от сорока до пятидесяти), один, на сегодня самый маститый, приближается к восьмидесятилетию. Помимо романистов, первой ласточкой этой весны у нас побывала Анн Симонен — литературовед, автор работ, посвященных современной литературе Франции.

Обобщить огромный материал, накопившийся за семь встреч, сделать его обозримым, не потерять самое интересное и не утомить читателей длинными монологами из уст пока еще мало знакомых им людей представлялось нелегкой задачей. В конце концов, позволив себе пренебречь академизмом и использовать элемент театральности, мы решили сделать из семи «круглых столов» один, виртуальный, и устроить нечто вроде виртуального «Пира». Высказывания участников беседы доподлинно точны, и только порядок их произвольно изменен. Возможно, не все «сотрапезники» согласились бы сесть друг с другом за один стол — просим их извинить нас за принудительное общение. Список французских гостей и краткие справки о каждом приводятся ниже, вопросы же и реплики русских собеседников переданы условному персонажу, обозначенному аббревиатурой «ИЛ».

© Н. Мавлевич. Составление, перевод, 1999

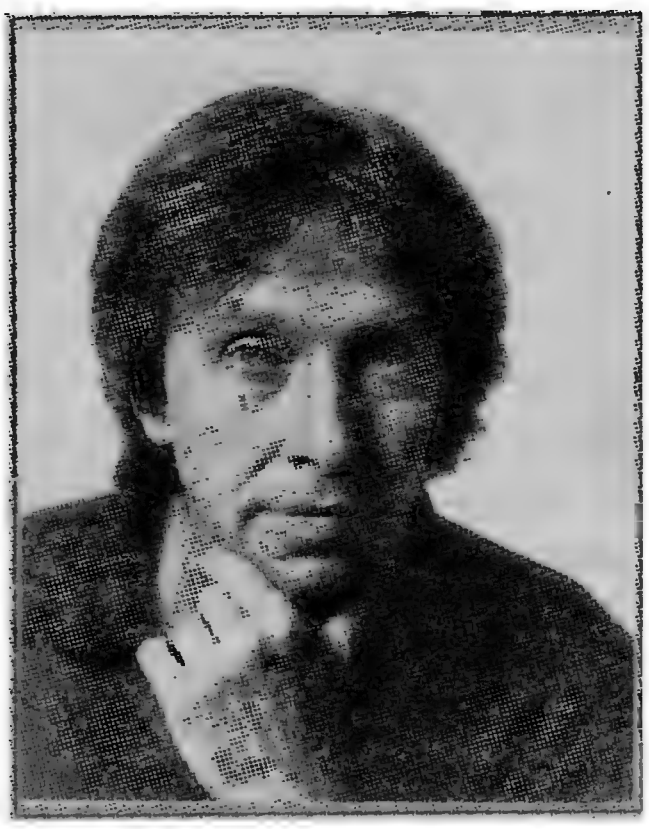
АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ *(род. в 1922 г.) — по образованию агроном, специалист по тропическим культурам, работал в Марокко, Гвинее, Гваделупе, на Мартинике. В начале 50-х бросил это солидное и доходное занятие и посвятил себя литературе. Роб-Грийе — основоположник и главный теоретик школы «нового романа», к которой примкнули Мишель Бютор, Натали Саррот, Маргерит Дюрас, Клод Симон, Робер Пенже. В 1953 г. в издательстве «Минюи» вышла в свет его первая книга «Резинки». Скоро Роб-Грийе станет рецензентом, а позднее литературным директором этого издательства, во главе которого был и остается его единомышленник Жером Лендон.*

Перу Роб-Грийе принадлежат книги «Соглядатай» (1955), «Ревность» (1957), «В лабиринте» (1959), «Дом свиданий» (1965), «Цареубийца» (1978) и др.

Роб-Грийе известен также как кинематографист (сценарий фильма Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», 1961; сценарий и постановка фильмов «Бессмертная», 1963; «Трансъевропейский экспресс», 1966; «Прекрасная пленница», 1983 и др.).

В 1985 г. Роб-Грийе повергает в шок читателей и критиков, выпустив в свет «Возвращающееся зеркало» — первую часть автобиографической трилогии. Вторая часть, «Анжелика, или Ворожба», появилась в 1988-м, третья, «Последние дни Коринфа», — в 1994-м. Впрочем, на традиционную автобиографию это смешивающее пласты реальности и вымысла повествование мало похоже. Возможно, неутомимый экспериментатор, оставаясь верным себе и духу времени, который он всегда чутко улавливал, создал нечто вроде «новой автобиографии»?

На русский язык переведены романы «В лабиринте» (перевод В. Молота) и «Проект революции в Нью-Йорке» (перевод Е. Мурашкинцевой). В ближайшее время «ИЛ» познакомит читателей с главами из автобиографии Роб-Грийе.



ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР *(род. в 1948 г.) — романист и публицист. Оба его самых известных романа, «Божественное дитя» (1992; по-русски опубликован издательством «Текст» в переводе Е. Мурашкинцевой) и «Похитители красоты» (1997, готовится к выходу в свет в том же издательстве, в переводе Н. Хотинской), написаны в жанре философской сказки. Любителям кино известна экранизация Р. Поланского его книги «Горькая луна» (1981, фильм — 1992). Эссе Брюкнера — размышления о современной цивилизации: о проблемах демократии, «третьего мира», индивидуальной свободы, ответственности. Он лауреат многих литературных премий, в том числе премии Медичи за эссе «Искушение невинностью» (1995).*

ЖАН РУО *(род. в 1952 г.) — обладатель Гонкуровской премии 1990 г., которую получил за свой первый роман «Поля славы». И сам автор, и его произведение, и дальнейшая судьба Гонкуровского лауреата — все оказалось необычайным. Тридцативосьмилетний Жан Руо работал продавцом в газетном киоске на окраине Парижа, его книга появилась в издательстве «Минюи», то есть в гнезде «нового романа», между тем она стала важным этапом на пути освобождения французской литературы от господства этой школы. Самая престижная, самая «академическая», Гонкуровская премия крайне редко присуждается дебютанту, и еще реже такому избраннику удается удержать планку и не разочаровать публику и критиков следующими книгами. Руо это испытание выдержал. Прогремевший на всю Францию роман рассказывает об истории семьи писателя, о событиях времен первой мировой войны, об обычаях и нравах Вандеи, откуда он родом. «Поля славы» стали началом тетралогии. В 1993 г. вышла вторая часть, «Знаменитости», посвященная отцу автора. В 1996 г. — третья, «Мир в тумане», действие которой происходит в Париже, в бурном мае 1968 г. В центре четвертой, озаглавленной «Ваши подарки» (1998), — образ матери. В повествовательной ткани романов сочетается ирония, бережная любовь к людям, виртуозное владение словом.*

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК *(род. в 1958 г.) привлек к себе внимание, как только в издательстве «Морис Надо» вышел его первый роман, «Расширение сферы борьбы» (1995), который получил очень почетную премию Общества литераторов. Но настоящий взрыв вызвали «Элементарные частицы» (1998) — роман-памфлет, ставший гвоздем сезона, выдвинутый на Гонкуровскую премию и стоивший автору нескольких судебных процессов. Роман написан в безжалостно натуралистической, нарочито «объективной» манере и бросает вызов поколению 68 года, объявляя несостоятельными и губительными все его ценности: эмансипацию личности, сексуальную революцию... Несмотря на это, сам Филипп Соллерс, лидер этого поколения, отозвался о книге с похвалой. Будущее зашедшего в тупик человечества Уэльбек видит в клонировании.*

Мишель Уэльбек также автор двух сборников стихов и один из основателей литературного журнала «Перпендикуляр», из редколлегии которого он был исключен своими бывшими друзьями, скандализованными политически реакционной направленностью «Элементарных частиц».

ПОЛЬ КОНСТАН *родилась во Французской Гвиане, воспоминания детства наложили отпечаток на все ее творчество. Тропические темы присутствуют в романах «Урегано» (1980), «Бальта» (1983), «Уайт-спирит» (1989), «Дочь губернатора» (1994). Констан работает давно и успешно, она обладательница многих престижных премий. Творчество она сочетает с преподаванием литературы в университете города Экс-ан-Прованс. Почерк Констан, некоторая экзотичность, барочность узнаваемы во всех ее книгах. Одна из постоянно волнующих ее тем — положение в обществе и воспитание женщины. Четыре современные женщины — героини ее последнего романа «Откровенность за откровенность», получившего Гонкуровскую премию 1998 г.*

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР *выросла в среде политиков и до недавнего времени работала судьей коммерческого суда. На сегодняшний день она автор шести романов на современные и исторические сюжеты. Известность ей принес роман «Королевская аллея» (1981; готовится к изданию в издательстве МИК в переводе И. Волевич) — псевдомемуары фаворитки Людовика XIV госпожи де Ментенон. Книга получила две литературные премии. Не меньшим успехом пользовалась трилогия из жизни Франции 1960—1980-х гг. («Несравненная», «Венский архангел», «Волчье дитя»; 1988). В 1988 г. Шандернагор потрясла читателей книгой «Первая жена» — исповедью немолодой женщины, переживающей развод с мужем, с которым прожито три десятка лет. Сегодня это один из французских бестселлеров.*

С 1995 г. Франсуаза Шандернагор — член Гонкуровской академии.

«ИЛ». Давайте познакомимся. Пусть для начала каждый сам в нескольких словах представится читателям.

ПОЛЬ КОНСТАН. Я назвала бы себя писателем-реалистом, который не терпит реальности и облекает ее в образы. Любое изначально реальное явление постепенно перестает для меня быть тем, чем было в жизни, и претворяется в метафору. Пишу я уже двадцать лет. Критика всегда относилась ко мне неплохо, грех жаловаться, но из предосторожности я всячески подчеркивала свое тропическое происхождение, чтобы меня судили не как французского, а как некоего экзотического автора. Уже первая моя книга имела успех. Но когда в про-

шлом году я получила Гонкуровскую премию, по радио сказали: «Премия присуждена никому не известной Поль Констан...» Так что же значит быть известной? Я не звезда кино или эстрады, меня не показывают по телевизору — дикторша, наверное, имела в виду это. Однако я чувствую себя вполне уверенно. Мои книги стабильно расходятся 15—20-тысячным тиражом...

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. Я писатель поколения 80—90-х годов — моя первая книга вышла в 1981-м. До нас была «ангажированная» литература, потом «новый роман», сейчас же нет больше школ, роман получил некоторую свободу, которой я дорожу. Ни к какому направлению я не примыкаю. Во французской литературе чувствую себя маргиналом. Во-первых, потому что я женщина. Во-вторых, потому что не принадлежу к литературным кругам. Я не журналист, не филолог, у меня юридическое и политическое образование, я двадцать лет проработала судьей коммерческого суда. А это совсем другая среда. В литературный мир я пришла как иностранка, и меня не слишком радушно приняли. Кроме того, у меня не зеленые волосы, я не употребляю наркотиков, не живу под мостом — форменная маргиналка! И даже теперь я часто боюсь допустить бестактность. Для меня часто бывает новостью то, что всем известно: кто с кем спит, кто кого издает и так далее, и потому я предпочитаю помалкивать и слушать.

«ИЛ». Как же вас занесло в литературу?

Ф. Ш. Писать я начала давно. Это мое призвание, но я не знала дороги, в семье писателей не было, и родители были бы в ужасе, если бы я пожелала выбрать профессией литературу. Впрочем, я не жалею — литературное образование часто выхолащивает. Кто привык препарировать тексты, уже не может писать наивно, а для писателя это необходимо. Надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, будто другие поверят тому, что ты придумаешь. С другой стороны, юриспруденция — это другой язык. Долгое время я чувствовала себя билингвом: днем изъяснялась на одном языке, вечером писала на другом.

С недавних пор я член Гонкуровской академии, а это значит, что треть всего времени уходит на чтение. Но мне это нравится, это открывает панораму современной французской литературы, о которой я прежде не имела понятия.

«ИЛ». Ален Роб-Грийе нуждается в представлении, вероятно, меньше всех. И все же...

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. Я написал дюжину книг, пытаясь понять, кто я. Если бы я мог выразить это в нескольких словах, я бы давно так и сделал. Но пока мне не удалось этого выяснить и в двенадцати книгах... Почему вообще я пишу? Почему дипломированный ученый-агроном, любящий свою работу, в тридцать с лишним лет вдруг бросает все, отказывается от карьеры, положения, денег, чтобы запереться в каморке и писать книги, которые никому не нужны? Для этого должна быть веская причина, не так ли? Эта причина в том, что я не понимаю, кто я и что здесь делаю. Ради чего живу. Чтобы понять это, я копаюсь в себе. Борхес назвал это «сомнительной авантюрой». Я пишу, но не для того, чтобы высказать что-то заранее определенное, как Уэльбек. Я ничего не хочу сказать. Я только чувствую потребность писать.

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. В первую очередь я романист, во вторую — эссеист. Литература — моя страсть и сознательно избранный образ жизни. Вот уже двадцать пять лет я зарабатываю себе на жизнь пером. Когда мне было пятнадцать, я решил стать писателем и ради этого никогда не поступать на службу, не жениться и не заводить детей. Вторые два зарока я нарушил и правильно сделал, но первый выполнил.

ЖАН РУО. Я пишу только о своей семье. Этот замысел возник еще тридцать лет назад. Впрочем, с историей семьи связана история моего края, Вандеи, и его обитателей. Там очень сильно влияние католической церкви, когда-то это был очаг контрреформации, и я унаследовал от предков религиозный образ мышления. Все во мне сформировано этой семьей и этой средой.

Я всегда знал, что мое призвание — писать. И в газетный киоск пошел работать, потому что это оставляло много времени для писания. Наверное, я был самым хорошим киоскером во всем Париже, самым приветливым и вежливым...

«ИЛ». «Поля славы», роман, за который вы получили Гонкуровскую премию, слиш-

ком хорошо написан для первой книги. Или это не первая?

Ж. Р. Конечно, я начал писать намного раньше, еще в 70-е годы, но тогда надо было писать не романы, а тексты. Без героев, интриги, автора, эмоций. Чистая игра языка. Ну я и изготавливал тексты. О романе и не мечтал. И только в конце 70-х подумал: если я хочу быть писателем, надо что-то публиковать, а что? Собственно говоря, рассказать историю своей семьи я хотел давно, еще со смерти отца. К этой идее и вернулся и стал писать роман, вставляя время от времени страниц по двадцать—тридцать «текста», чтобы доказать, что умею писать по-современному. Рукопись отнес в несколько издательств. Все, кроме одного, вернули без всяких объяснений. Меня это злило: раз не берут, значит, что-то не так? Так скажите что? И только Жером Лендон, директор «Минюи», похвалил и сделал несколько замечаний. То и другое меня потрясло. В этом издательстве родился «новый роман», печатались и печатаются все писатели этой школы, и именно здесь меня приветили! Еще удивительнее было услышать от Лендона совет сделать проще повествование и развить интригу! Это было году в 1985—1986-м. Я последовал рекомендациям Лендона, переделал рукопись, и ее опубликовали. Это и были «Поля славы».

Впрочем, в каком-то смысле меня можно считать наследником «нового романа» и структурализма, поскольку для меня как для писателя первым всегда был вопрос формы. Но мои поиски идут в другом русле.

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК. Что сказать о себе?.. Я не знаю... Я пишу книги, их читают люди, хотя, честно говоря, я их плохо понимаю... Вот и все...

«ИЛ». Какой вы по характеру?

М. У. Очень изменчивый.

«ИЛ». В вашем романе очень ясно видно, что́ именно вам не нравится в современном мире. Вы отрицаете ценности поколения ваших родителей, как они отрицали нормы жизни предыдущего поколения. Такое развитие напоминает второй закон Ньютона: действие — противодействие, и так до бесконечности. Но голое отрицание несвободно и неплодотворно. Каковы ваши положительные ориентиры?

М. У. Я не согласен с такой постановкой вопроса. Действительно, есть разрушительная литература, но я к ней не имею никакого отношения. И поколение моих родителей меня вовсе не интересует. Просто я пытался быть объективным к прошлому. А положительные ценности, мне кажется, достаточно отчетливо выражены в романе, особенно в конце. Есть буддийские идеи, социал-демократические симпатии, сочувствие процессам, обратным сексуальной революции. Есть позитивистские убеждения. Ну и некоторые надежды на научный прогресс... Что касается свободы... разумеется, мы во многом детерминированы. Прежде всего классическими законами психологии, социологии, биохимией организма, набором генов...

«ИЛ». Как совместить увлечение позитивизмом с интересом к проблеме страдания, которой посвящено маленькое эссе в вашем поэтическом сборнике? Как вы понимаете страдание? Оно неизбежно? Плодотворно? Или, наоборот, мешает творчеству?

М. У. Конечно, страдание — составная часть жизни. Оно обширно, как Вселенная. Если хочешь взволновать людей, нажимай на самые болезненные точки.

«ИЛ». Одного из главных героев вашей книги зовут Мишель Джерзинский. Почти Дзержинский. Это что, случайное созвучие?

М. У. Да, чисто случайное. Просто мне хотелось дать ему польское имя.

(Этот вопрос интересовал не только нас, Уэльбеку приходилось отвечать на него едва ли не в каждом интервью у себя на родине. И отвечал он иначе: в одном месте выразил симпатию Сталину как борцу с индивидуализмом, в другом — похвалил его за истребление анархистов и троцкистов. Вероятнее всего, «сталинизм» французского писателя — не более чем еще одно средство эпатировать публику. Автор «Элементарных частиц» оказался весьма неразговорчивым. Зато почти у каждого из остальных собеседников нашлось что сказать по поводу спорного романа.)

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. Я получил эту книгу довольно быстро, было любопытно, потому что Уэльбек закончил тот же Агроно-

мический институт, что и я. Но прочесть не смог. Это из тех книг, где главное — содержание. То есть у автора имеются идеи, которые он хочет выразить и выражает весьма академическим языком. Нет никакой структуры, мне скучно. Я думаю, литература его вообще не слишком интересует. Он обращается к общественным проблемам, к своим собственным проблемам в обществе.

«ИЛ». Но его проблемы, кажется, довольно характерны...

А. Р.-Г. Конечно! Но они не литературные. А «новый роман» заявил, что занимается исключительно литературой.

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. А я читала с большим интересом. Ведь книга была представлена на Гонкуровскую премию. Сначала я заподозрила, что это мистификация — после истории с Гари-Ажаром все стали очень осторожны. Для автора, о котором никто не слышал, слишком хорошо написано. Кроме того, на обложке указано, что за первый роман он получил премию Общества литераторов, а ее не дают начинающим. Я и подумала: наверняка розыгрыш. И все гадала: кто же это? На мой взгляд, роман длинноват, можно было бы поменьше порносцен, и стиль довольно плоский. Но в общем очень интересно. Это своего рода памфлет, поставлены очень серьезные вопросы. Но есть и юмор — местами я просто хохотала! Когда дочитала, позвонила Франсуа Нуррисье и спросила: «Вы что-нибудь про него знаете? Или это мистификация?» Он сказал, что все проверил, такой писатель существует. Почему Уэльбек не стал гонкуровским лауреатом? Что ж, это был бы хороший выбор... Но это очень спорная, явно вызывающая книга. Гонкуровский победитель должен быть приемлем для большинства, а за Уэльбека было только три или четыре голоса. У некоторых же он вызывал резкую неприязнь. Это касается, например, его отношения к женщине. Я сама местами читала с омерзением. Мы остановились на романе Поль Констан, за которой более значительный творческий опыт. Можно с уверенностью сказать, что она и дальше будет оставаться на высоком уровне. С Уэльбеком же — как знать — неизвестно, какой будет третья книга и будет ли вообще. Впрочем, неполучение премии, шум в прессе по этому поводу — все это добавило ему славы.

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. Роман может нравиться или не нравиться, но это бесспорно нечто новое. Лично мне Уэльбек нравится, когда он смеется, когда же он проповедует, мне скучно.

АНН СИМОНЕН. С литературной точки зрения ничего нового в нем нет, он вполне вписывается в традиции натурализма. Но эта книга — зеркало Франции, травмированной 68 годом. Коммерческий успех она имела огромный — разошлась тиражом в триста тысяч экземпляров. Конечно, этому немало способствовали разговоры, слухи, процессы — отличная реклама.

«ИЛ». В последнее время во Франции особенно обострился интерес к событиям 1968 года. Как будто май 68-го — некий переломный момент в истории, культуре, литературе. По нашим российским меркам ничего особенного в те дни не произошло: ну, сожгли студенты десяток автомобилей, побили стекла, пошвыряли самодельные гранаты, подрались с полицией. Почему это называется революцией? И почему именно сегодня об этом столько спорят?

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. В мае 68-го я училась в Париже и снимала квартиру вместе с тремя другими студентками: двумя троцкистками и одной маоисткой. Они, конечно, ходили на баррикады. Я, как все молодые, хотела перемен, была против де Голля — слишком авторитарного, слишком старого. Но представить себе, что во Франции будет режим Мао?! И потом, эти революционеры были так ужасающе серьезны, у них совсем не было чувства юмора!

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. Разумеется, май 68-го несравним с большевистской революцией. И все же это была именно революция. Культурная революция. С этого момента Франция освободилась от голлистского культа и стала ориентироваться на свободную личность. Нечто подобное происходило почти по всему миру: в Сан-Франциско, Риме, в Северной Европе. Это обширное движение — пересмотр всех традиционных моделей семьи, отношений полов, всех авторитетов и самого понятия авторитета. Одни проблемы решались, другие создавались. Сегодня многие писа-

тели, и я в том числе, пересматривают мифологию 68 года, это особенно касается плодов сексуальной революции, увлечения марксизмом, крайнего индивидуализма. Оставить хорошее, отбросить дурное — такова работа моего поколения.

«ИЛ». Одно из ваших эссе посвящено проблеме инфантильности современной цивилизации. Эта проблема тоже связана с мифологией, о которой вы говорите?

П. Б. Да. Связана с гедонизмом общества потребления. Массовая культура вся целиком основана на инфантильных импульсах. Лучший пример — мультфильмы Диснея, сделанные одновременно для детей и для взрослых. Главный стимул — развлечение. Конечно, взрослый имеет право побыть ребенком, ему необходимо иногда отдохнуть, расслабиться, но когда в духе консумеризма и рекламы рассматриваются все проблемы, когда все: политика, культура, воспитание, образование — становится производным от развлечения, наступает кризис. Сегодня повсюду идут яростные споры. Происходит столкновение между неограниченной свободой, произволом личности и необходимостью неких общественных структур. Каковы границы индивидуального гедонизма? Если личность имеет право на все, то как может существовать общество? Что это за общество, если оно распылено на личности-атомы? Где права личности ограничиваются общественным долгом? Может быть, стоит оглянуться на существовавшие веками традиции?

АНН СИМОНЕН. Революция 68 года — ключевое событие в истории культуры. Вдохновителями всей культурной жизни 70-х были «люди 68 года»: Филипп Соллерс, Юлия Кристева, Жан Рикарду, Дени Рош. В середине 80-х намечается крен в другую сторону. В 83-м Соллерс уходит из «Тель-кель» и начинает публиковаться в солидном «Галлимаре». В 85-м Роб-Грийе уходит из «Минюи», где тридцать лет был литературным директором.

«ИЛ». Кажется, мы вплотную подошли к проблеме преемственности и борьбы поколений. Происходит поворот в сторону традиционности — может быть, маятник истории сегодня на полдороге от одной крайности к другой? У нас есть уникальная возможность послушать патриарха «нового романа» и представителей следующей волны. Каковы отношения между поколениями: соперничество, взаимоотрицание, преемственность? Какова литературная ситуация во Франции сегодня? И наконец, каково настоящее и будущее романа?

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. Я не гадалка. Мне кажется, все: весь наш мир, сам человек и роман — это поле деятельности, вечное становление. Будущее романа будет таким, каким вы, молодое поколение, его сделаете. Что же касается настоящего... Нынешнее время во всем мире — а я много поездил — не столь эйфорично, как 50, 60, 70-е годы. Война нанесла глубокую травму Европе и всему человечеству, конец ее пробудил самые пестрые надежды. Люди всерьез верили в лучшее общество. Любой новый опыт — в науке, искусстве, технике — вызывал большой интерес. Заметьте, мои первые теоретические статьи появились в таких журналах, как «Экспресс» и «Обсерватер», где и беллетристики-то печатается немного, а больше реклама и тому подобное. Они сами меня просили. Это говорит о том, что атмосфера была чрезвычайно благоприятной для творчества. Теперь во всем мире говорят «ничего не происходит». Так говорят в Нью-Йорке, Токио, Париже. Возможно, это неверно, но таково ощущение. Настало время разочарования, а часто даже возврата к прошлому. Многие писатели, принадлежавшие в 70-е годы к авангарду, стараются теперь стать популярными, оставляют поиски формы. Вот, например, Филипп Соллерс. Хороший писатель, но его нынешняя слава не идет ни в какое сравнение с тем, что было, когда он занимался смелыми новациями. В кино эта тенденция еще заметнее, чем в литературе, поскольку снимать кино дорого и мнение публики особенно важно. Если бы сегодня появился новый Годар, я думаю, ему никто не дал бы снимать.

Нынешние молодые писатели во Франции и везде в мире не склонны объединяться в группы, я уж не говорю — школы. «Новый роман» — это тоже не школа, а группа писателей, связанных некой творческой солидарностью. Сегодняшней молодежи такие чувства совершенно чужды. Каждый замкнут в себе. Кроме того, они

почти всегда отказываются высказывать свои литературные взгляды. Никакого движения, никаких манифестов. Я отлично понимаю, что любой литературный манифест — это упрощение. Скажем, моя книга «За новый роман» страшно упрощала вещи, доходила до примитивности. Но это расшевеливает людей. Сегодня же никто никого расшевеливать не хочет.

«ИЛ». А какие у вас отношения с нынешними критиками?

А. Р.-Г. Меня часто ругают в газетах. Но это нормально, я этому рад. Ругательные статьи — прекрасная реклама. Недавно телевидение сделало обо мне часовую передачу — отлично получилось. В связи с этой передачей появилось много статей в прессе, в том числе ругательных. Но их написали старики, мои ровесники. Молодые же просто считают: пусть старики разбираются между собой. У них нет ни малейшего желания самим говорить что-нибудь за или против — они из другого мира.

«ИЛ». Но писатели, которых вы называете стариками, продолжают писать.

А. Р.-Г. Да, но они стали, что называется, классиками, их проходят в школе. Я сам в таком несколько парадоксальном положении. Меня по-прежнему оспаривают, и в то же время я классик. Бедных детей заставляют читать мои книги... Хотя, наверное, это не скучнее Бальзака.

Так вот, на правах классика позволю себе окунуться в воспоминания. Я ведь уже бывал в вашей стране. И надо сказать, писатели, официально представлявшие Советский Союз, произносили вещи, для нас совершенно абсурдные. Например, Эренбург, большой писатель, сказал мне при знакомстве: «Ваша книга «Соглядатай» просто замечательная! Как жаль, что ее нельзя перевести у нас!» Я спросил: «Почему? Разве у вас есть цензура?» Он: «Нет–нет! Цензуры у нас нет!» — «Так почему же нельзя перевести?» — «Там у вас говорится о преступлении на сексуальной почве. Это извращение, обусловленное капитализмом. У нас такого не бывает, никто не поймет, о чем идет речь». А ведь умный, образованный человек!.. Сартр тоже был способен нагородить... невесть чего. Ему всегда хотелось понравиться собеседнику, и ради этого он мог, например, заявить, что «новый роман» и соцреализм — одно и то же. Сартр был великолепен! Он возглавлял нашу делегацию в СССР и всегда говорил, что нужно, где и когда нужно. Унгаретти же, итальянец, наоборот, говорил как раз то, чего не нужно. Помню, однажды нам показывали комнату Ленина в каком-то монастыре... да-да, в Смольном! Там стояла узкая девическая кровать еще с монастырских времен. И вот Унгаретти со своим невозможным итальянским акцентом вопит: «О-о, Роб-Грийе! Глядите, Ленин спал в постели монашки!» Чтобы заткнуть ему рот, наша сопровождающая, молодая женщина, нажала на кнопку... там была такая кнопка, нажмешь — и звучит голос Ленина. Ленин что-то вещает по-русски, а Унгаретти продолжает громко болтать по-французски. Ему показывают: «Ш-ш-ш! Ленин говорит!» А он: «Подумаешь, Ленин! Я его сто раз слышал. Он всегда говорит одно и то же!» Наши спутники совсем растерялись: они были преисполнены почтения к Ленину, но и Унгаретти, гостя, тоже надо было уважать!

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК. Я могу судить главным образом о романе. Нынешнее его состояние в целом недурно. Никакого интеллектуального диктата, больше свободы. Потому и будущее внушает оптимизм. Ну а в литературе в целом, исключая роман, все обстоит из рук вон плохо. В поэзии — хуже некуда. В новеллистике тоже. Театра не существует.

«ИЛ». Никто не пишет или никто не читает?

М. У. Поэзию никто не читает, новеллы никто не читает и мало кто пишет, пьесы если и пишут, то дрянные.

ПОЛЬ КОНСТАН. Никогда еще французский роман не был таким живым и разнообразным. Это настоящий расцвет жанра, причем в нем участвуют писатели как молодого, так и старшего поколения. Нет никаких литературных школ. Наконец пришло освобождение от «нового романа». Кто-то идет по его следам, но все вольны выбирать свой путь.

С другой стороны, положение в литературе довольно тревожное. На издательский выбор все большее влияние оказывает мнение коммерческих директоров.

ЖАН РУО. Еще недавно роман считал-

ся чем-то архаическим. Более того, реакционным — если, конечно, это был не «новый роман». В 60—70-е годы все были марксистами. Традиционный роман — мелкобуржуазный жанр. А писать надо для масс.

«ИЛ». Разве «новый роман» массам понятнее, чем «старый»?

Ж. Р. Ну, считалось, что массам можно объяснить. Нельзя было говорить и о стиле. «Стиль» — это «правое» выражение, его могла употреблять газета «Фигаро». Синтаксис — проявление буржуазного деспотизма, форма подавления масс. К счастью, литературный опыт оказался богаче теории. Но уже в конце 70-х и у нас стали появляться «диссиденты». Свою роль в отказе от этой политико-литературной игры сыграл «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, сокрушительный удар по коммунизму. То, что советский режим по жестокости не уступает нацистскому, было огромным потрясением. Не сразу, но произошел перелом. Многое изменилось буквально в последние годы. Я рад, что я участвовал в этом процессе. Мое дело и дело других писателей моего поколения — реконструкция мира, литературы, возрождение сюжета, героя. Это работа 80-х и 90-х годов. Литературная ситуация? Что ж, она неплохая. Литература во Франции всегда была чем-то очень серьезным, национально значимым. И в 60 — 70-е годы у нас были отличные стилисты из числа философов, историков. У того же Барта отличный стиль. Прекрасным языком писали Делез и его единомышленники. Так что литературный язык, который упорно искореняли из романа, уцелел благодаря гуманитарным наукам.

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. Действительно, ситуация выправилась после кризиса, продолжавшегося лет десять-пятнадцать. Это не только мое мнение, издатели во всем мире были разочарованы упадком французской литературы после Жида, Пруста, Селина, Камю. Да и трудно быть их наследниками. Может быть, дело и в этом. Попробуйте выдержать сравнение с гениальными родителями! Кризис кончился, когда французская литература примирилась со своими собственными традициями, в частности, с традицией плутовского романа, которая была забыта, вытеснена. В последние полтора-два десятилетия преобладали два романных жанра: автобиографический и любовный. Но их расплодилось столько, что изобилие обернулось бесплодием. Сегодня французский роман воспринял много иностранных влияний: латиноамериканское, американское, восточноевропейское. Франция открыла окно в мир, решилась принять прежде всего литературу франкоязычную: африканскую, арабскую, бельгийскую, швейцарскую, канадскую — и получила глоток свежего воздуха. Сегодня роман пытается совершить раблезианскую революцию. В нашем языке всегда существовали две тенденции, восходящие к Малербу и Рабле. Рабле — это богатство, сочность простонародной речи, естественный язык, не исправленный реформаторами XVII века. Малерб — это лингвистический пуризм, выхолощенный, хотя тоже по-своему богатый, язык, в котором торжествует принцип экономии: сказать как можно больше, затратив как можно меньше слов. Сейчас под влиянием писателей–нефранцузов (таких, как Кундера) происходит возрождение раблезианского начала, неискалеченного языка. Формальный изыск сочетается со вкусом к интриге. Вместо худосочных, похожих друг на друга, стали появляться романы живые, полнокровные. Не знаю, как сложится будущее, но сегодня роман цветет пышным цветом. Наверное, не все цветы дадут плоды, будет много издержек, какие-то надежды окажутся ложными, но французская литература выходит из чистилища.

Вторая, после оскудения языка, беда французской литературы заключается в чрезмерной камерности. Она забыла про общество. Общественные проблемы остались разве что в детективных романах. Как ни парадоксально, но именно из них можно узнать о том, что́ происходит в городских предместьях, в деревне. Французский роман выживет, если будет интересоваться миром. Движение в этом направлении есть, и потрясающее! Время «нового романа», «телькелизма» и так далее прошло. Я признаю Роб-Грийе великим новатором и большим писателем, но «новый роман» явно устарел. Сегодня новизна не в изобретении нового языка, а в том, чтобы оживить старые жанры, привить их к древу со-

временной литературы. Я не думаю, что, как было принято говорить во времена модернизма, роман, поэзия, театр умерли. Постмодернизм позволил открыть силу старых традиций. Абсолютное экспериментаторство — это смерть литературного языка. Вот почему я люблю так называемые «младшие» жанры: детективы, фантастику, даже комиксы. Все эти популярные формы могут обогатить нормативную литературу, подобно тому как в кино фильмы ужасов, детективы стали относить к «большим» жанрам.

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. Мы, безусловно, проживаем хотя материально благополучную, но трудную эпоху. Экономический кризис, крах идеалов 68 года (как выясняется, секса мало для счастья!) исчезновение религиозных, духовных ценностей, падение коммунизма и прочих идеологий — люди растеряны. Нет церкви, нет идеологии... и теории для романа тоже нет. Хотя как раз это последнее, по-моему, очень хорошо. Мало когда французская литература была так свободна. А писатель должен быть свободен. Как говорил Жан Кокто: пусть каждая птица поет на своем дереве. Но если писатели довольны, то литературоведы — нет. Они любят теории. Сегодня Франция потеряла статью экспорта: она больше не экспортирует литературные теории вроде «нового романа», структурализма. А этот товар пользовался спросом. Никто так не писал, потому что это ужасно скучно, однако книги покупались и изучались — как же, теория! Правда, и писатели вместе со свободой обрели некоторые неудобства. Когда ты говоришь: я принадлежу к такой-то школе, это защищает и рекомендует тебя как фирменная марка.

Мне кажется, основная проблема современной литературы — это засилье американского романа и пристрастие к нему нынешних критиков. В мире преобладает английский язык, французская литература перестала быть доминирующей — это данность, и это имеет экономические корни. Американское могущество не с культуры началось, а вкус к американской литературе особенно распространился во Франции всего лет пятнадцать тому назад. Как и к американскому кино. Надо учесть, что средний уровень переводных книг выше, чем средний уровень французских, — ведь издатели отбирают то, что уже имело успех на родине.

У американцев особое отношение к времени. Я люблю итальянское, русское, французское кино, где смотришь и успеваешь понять, пережить. В американских же фильмах все так сжато, сокращено, что ничего понять невозможно. С такой же бешеной скоростью развивается действие романов, детективов: глотай скорей, пережевывать некогда! Наша молодежь сформирована — или деформирована! — этой продукцией и ничего другого не хочет. А взгляните, какие книги разбираются на страницах газет: одни американские и английские названия!

«ИЛ». Но почему?

Ф. Ш. Потому что их гораздо больше на рынке. К тому же американские книги подкрепляются готовыми пресс-досье. Нетрудно выбрать: ага, вот эта книга имела успех в Америке! А как выбирать в развале французских книг? Отзывов нет, легче наткнуться на ерунду. Да и не распробуют французскую литературу читатели и критики, вскормленные на американской.

«ИЛ». В наше время писателей становится все больше, читателей — все меньше. А книги все же должны продаваться. Так какова роль читателя в литературном процессе? И роль издателя как посредника между производителями и потребителями книг? Простите за коммерческий жаргон, но, кажется, в нашу беседу вторгается рынок.

ПОЛЬ КОНСТАН. Действительно, книжное море стало безбрежным. Раньше было несколько известных имен, эти писатели делали погоду и имели высокие тиражи. Теперь даже у гонкуровских лауреатов тиражи не превышают десяти — двадцати тысяч. Зато появилось куда больше авторов, которые издаются тиражом в пять-десять тысяч. Само по себе увеличение объема книжной продукции меня не тревожит — это нормально, это происходит во всем мире, вероятно, и Россия — не исключение. Тревожит другое: издательскую политику все больше определяют коммерческие директора. При таком обилии названий жизнь книги в магазине все сокращается: было три месяца, стало три недели. В библиотеке — другое дело, но на прилавке книга должна иметь быстрый коммерческий

успех. А он определяется критикой, телевидением, премиями. Несколько привилегированное положение у «Галлимара», где отборочный комитет традиционно состоит из писателей и издателей. Но и он не застрахован от давления экономических факторов. Что же говорить о других издательствах, часто сохранивших только название бывшего владельца, а на деле давно принадлежащих крупным концернам.

А вот становится ли меньше читателей, не знаю. Мне кажется, число настоящих, хороших читателей не меняется. Реклама, премии — все это привлекает случайную публику.

Если коммерческая стихия слишком захватит область творчества, то можно ожидать появления литературных ателье, где книги будут изготавливаться на заказ, для той или другой категории читателей. И это уже делается. Ведь успех нетрудно разложить на ингредиенты и писать по готовым рецептам.

Не последнюю роль в завоевании читателей играет внешность, имидж. Чтобы соответствовать идеалам нынешнего общества, надо быть молодым и современным. Потерпит ли общество писателя, если он не молод и не принадлежит к авангарду? Может быть, скоро на стареющего писателя и смотреть-то не пожелают. Захотят только красивых молодых женщин. Один мой знакомый писатель, довольно тучный, посылал на телепередачу вместо себя другого человека, более привлекательного.

«ИЛ». А вы видите перед собой какой-нибудь образ читателя, когда пишете?

П.К. Никакого! Меня бы это парализовало. Если бы я воображала читателя или критика, я бы перестала писать навсегда! Я должна забыть о существовании критиков! Когда я пишу роман или эссе, то с головой ухожу в эту игру, стараюсь увлечь себя. Помню, однажды я сидела и писала, а в доме работал электрик или водопроводчик. И вдруг он входит. Я так и вздрогнула: оказывается, сама того не сознавая, я говорила вслух. Ну он и наслушался такого, что не утерпел и вошел. Он сказал мне фразу, которую я надолго запомнила: «Лучше, как я, делать самую тяжелую работу руками, чем то, что вы, — головой». Это мне польстило, но я поняла, что пишу без дистанции... В то время я много писала о животных, не знаю, может быть, это говорила какая-нибудь обезьяна... Может быть, я плакала или квакала... И в его взгляде было такое... не то что отвращение... нет, в нем читалось: «Да я бы ни за какие деньги...»

АНН СИМОНЕН. В 50 — 70-е годы в литературе господствовали политические интересы, теперь мы освободились от ига политики, но променяли его на иго рынка. Я не уверена, что это прогресс.

АЛЕН РОБ–ГРИЙЕ. Нынешние молодые авторы хотят, чтобы их читали, а это очень опасное желание. Все писатели «нового романа» в конце концов приобрели известность, некоторые, например Маргерит Дюрас, да и я тоже, хотя не в такой степени, — громкую славу. Романы Дюрас стали национальными бестселлерами. Но никогда ни она, ни я, ни Клод Симон, ни Сэмюэл Беккет не думали о том, как бы завоевать читателей. Читатели появляются потом. Заботиться о читателях очень вредно для художника. А происходит это по весьма банальной причине: эти авторы хотят зарабатывать на жизнь пером.

«ИЛ». Но ведь это не ново, так было всегда...

А. Р.–Г. Нет-нет, это, безусловно, ново. Прежде такого не было. В XIX— начале XX века писатели обычно имели некоторые, пусть скромные, средства к существованию, тот же Флобер... это были мелкие буржуа, которые жили на свою небольшую ренту и писали. Идея зарабатывать на жизнь литературой родилась недавно. Это опасная, но сегодня ставшая всеобщей идея. В «новом романе» был поразительный пример — Беккет. У него была маленькая рента, и он никогда не прикасался к гонорарам, оставлял их в издательстве. А когда он получил Нобелевскую премию, то распорядился, чтобы деньги перевели на счет одной ирландской революционной организации. Когда я начал писать, никто не читал моих книг. Вы знаете, я довольно быстро прославился, но эта слава заключалась как раз в «нечитабельности». Критики доказывали, что читать меня невозможно, что я сумасшедший или даже убийца. Но меня это не волновало. Я жил очень бедно. Ведь чтобы выжить, надо очень немного, можно даже одежду не покупать —

друзья всегда с удовольствием отдадут вам свою старую, вместо того чтобы выбрасывать. И я много лет носил старые вещи, которые давали мне респектабельные бывшие коллеги–агрономы. Снимал десятиметровую комнатушку и отлично себя чувствовал. Теперь молодые писатели женятся, им нужна квартира. Чтобы было где жить жене! И детям!! Им нужна машина!!! Ничего себе — машина! Это влияние общества, довольно-таки дурное влияние.

В то же время происходит удручающая инфляция книги. Каждое утро я нахожу на коврике около двери моей квартиры дюжину романов — консьержка приносит их вместе с почтой. Это страшно! Во Франции шестьсот тысяч романистов. Раньше, когда печатали на машинке, делали два экземпляра: второй оставляли себе, а первый посылали издателю. Один экземпляр — одному издателю. Теперь же шестьсот тысяч писателей пишут в год по роману и рассылают их всем издателям. Издают же примерно один из ста, то есть шесть тысяч в год. А говорят о шести из этих шести тысяч. Причем это необязательно самые лучшие. А для чего все эти люди пишут? И пишут столько? Флобер написал три романа, и этого было достаточно. Кафка — правда, он умер молодым — два с половиной. Что за странная идея: писать по роману в год, к сезону премий, в надежде получить Гонкуровскую или еще какую-нибудь? Какая-то каторга! И некогда читать. Когда я был литературным директором «Минюи», мне случалось беседовать с молодыми авторами и я спрашивал: «А что вы читали?» Многие отвечали: «Я не читаю романов». — «Почему?» — «Не хочу, чтобы на меня кто-то влиял». Мне это непонятно. Я всегда читал, интересовался тем, что пишут другие. Теперь же... у меня такое впечатление, что для нынешних писателей лишь бы писать, а что и как — не важно. Они не работают, они пишут.

«ИЛ». Что же это — мания самовыражения?

А. Р.–Г. По-моему, это логоррея. Такая болезнь, характерная для нашей цивилизации. С появлением Интернета все вообще стало проще простого: можно каждый день сочинять по роману и запускать в пространство. Любопытно как форма невроза. Статистика показывает, что издатели издают все больше названий, средние тиражи все меньше, а продажи еще меньше. То есть книги не раскупаются, но их издают все больше. Издатели покупают рукописи как лотерейные билеты, в надежде на выигрыш. Выбирают какие-то книги и надеются, что одна из них получит Гонкуровскую премию, то есть принесет деньги. В этом есть что-то настораживающее. Кроме того, это уничтожает леса. Сен-Жон Перс, когда его спросили, что такое книга, ответил: «Это смерть дерева»... Я сейчас подумал, что если спросить, что такое дерево, то можно ответить: «Это книга в зародыше».

«ИЛ». Судя по всему, присуждение премии, особенно Гонкуровской, — чуть ли не культовое событие?

АНН СИМОНЕН. Все новые книги выходят к сентябрю, к гонкуровскому сезону. Эта премия очень академическая, обычно ее не дают за первую или вторую книгу. И правильно делают — престижная премия может убить начинающего писателя. Это же страшно: вы вдруг становитесь национальным героем, официальным представителем французской литературы, продаете тысячи книг, вы на виду, все ждут ваших следующих книг. Вспомним Макина — с какой злобой была встречена его вторая книга: мальчишка не умеет писать! Ну, правда, другой молодой лауреат, Жан Руо, сумел благополучно переварить своего «Гонкура» и не уронить планку. Деньги, которые приносит премия, это не ее номинал, а тиражи, реклама.

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. Каждый сентябрь выходит по четыреста романов. Триста девяносто из них практически исчезают бесследно. Действительно, пишут все больше, читают все меньше. Какая-то повальная графомания. Причем это нечто особенно характерное для французов. У нас каждый, кем бы он ни был: артистом, певцом, министром, президентом, — считает, что достиг вершины, только если напишет книгу. Это своего рода прижизненный памятник, увековечивание лучшего в себе. Во Франции существует культ книги и писателей. Лауреаты литературных премий получают телеграммы от президента и премьер-министра, у писателей спраши-

вают мнения о роли евровалюты, о войне в Косово — обо всем, даже о таких вещах, в которых они совершенно некомпетентны. Например, в 96 году меня и других «левых» интеллигентов пригласил Ален Жюпе, тогдашний премьер, и спросил, возобновятся ли забастовки транспортников, парализовавшие в предыдущем году страну.

«ИЛ». Вопрос к обладателю последней Гонкуровской премии: чем было для вас это событие?

ПОЛЬ КОНСТАН. До этого я уже четыре раза выходила в финал конкурса. В 1996 году мой роман «Дочь губернатора» набрал пять голосов — столько же, сколько «Путь в один конец» Дидье ван Ковелера, причем на самом деле за него было четверо, но голос председателя жюри считается за два. Выступая по телевизору, этот председатель сказал, что отдал предпочтение молодому писателю перед старым. Между мной и ван Ковелером разница в четыре года... Вот так я открыла свою первую морщину — не перед зеркалом, а перед телевизором. С экрана, на всю Францию, меня объявили старым писателем. На другой день, вглядываясь в меня, продавщица в мясной лавке сказала: «Но вы еще не такая старая!» Чем не начало романа: женщина-писатель надеется получить Гонкуровскую премию, а вместо этого узнает, что она состарилась... как эффектно! На этот раз я уже почти не надеялась... Тем приятнее было узнать, что я победила. Я не считаю себя великим писателем, но, по-моему, я заслужила эту премию. И я очень счастлива.

«ИЛ». Гонкуровский лауреат–женщина — это ведь, кажется, случай довольно редкий. Между тем писательниц, и отличных, во Франции немало. Каково их положение в литературном мире?

АНН СИМОНЕН. О, быть сегодня женщиной-писателем во Франции — далеко не синекура! Вопли, которые поднялись по поводу присуждения премии Поль Констан, подтверждают это.

ПОЛЬ КОНСТАН. Женщин, причем молодых, в сегодняшней литературе становится все больше. Их романы — чрезвычайно смелые со всех точек зрения. Может быть, это реакция на то, что долгое время женщины боялись говорить своим голосом, теперь они как будто бросают вызов.

Мне нравится быть женщиной, хотя из-за этого мне пришлось работать и бороться больше, чем мужчине, будь он на моем месте. Я готова, идет! Я с детства привыкла, что ничто не дается даром. Женщина может добиться всего, только позже, чем мужчина, она всегда будет отставать лет на пять. Подумаешь — что такое пять лет в нашей жизни!

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. Во Франции положение пишущих женщин гораздо хуже, чем, например, в Англии или в США. В Англии почтение к писательницам — традиция, идущая с прошлого века. У нас в XIX веке была Жорж Санд, одна в окружении мужчин. Ее уважали, но она была, так сказать, суперзвездой. Кроме того, ей создавали престиж влиятельные любовники. Но профессионально ее ценили невысоко, скорее относились как к этакому курьезу. Так или иначе, путь для других женщин она не проторила. Правда, нельзя отрицать, что в какой-то степени литература все же феминизируется. Раньше во Французской академии не было ни одной женщины, теперь две (впрочем, обе не писательницы, а ученые). Две на сорок человек — и это уже много! В Гонкуровской академии больше. Эдмон Гонкур изначально пожелал, чтобы в состав жюри входили женщины. Первой была Жюдит Готье, дочь Теофиля. Позднее была избрана Колетт. Теперь нас там три из десяти: Франсуаза Малле–Жорис, Эдмонда Шарль-Ру и я...

Однако, хотя две трети читателей — женщины, две трети издаваемых авторов — мужчины. Почему? Ответа на этот вопрос я не знаю, но думаю, что уже при первом, возможно бессознательном, отборе рукописи мужчины имеют больше шансов быть принятыми всерьез. Далее — почти все издательства возглавляют мужчины, женщина-издатель — большая редкость. На более низком уровне, где нужна кропотливая работа или обаяние, — пожалуйста! Агенты по связям с прессой почти все женщины. В литературной критике тоже заправляют мужчины. Практически везде, кроме «Монда», критическими отделами руководят мужчины. Даже в женском журнале «Эль»!Главные теле- и радиопередачи опять-таки ведут мужчины. А у мужчин

другое восприятие, они и о романах судят по-своему. Это уже преграда. В литературном мире достаточно сильно женоненавистничество. К тому же в этой среде немало гомосексуалистов. Я ничего против них не имею, но они часто очень плохо относятся к женщинам. У них свои проблемы, но мы тут ни при чем!

«ИЛ». Существует ли, на ваш взгляд, чисто женская литература, то есть литература, написанная женщинами, для женщин и о женщинах?

ПОЛЬ КОНСТАН. Женские романы существовали испокон веков и были вдвойне «низшим» жанром: низшим считался до Дидро роман вообще, низшими по отношению к мужчинам считались и те, кому эти книги предназначались. И до сих пор на пишущих женщинах лежит это проклятие: все их произведения заранее записываются в «женские романы». Когда я писала «Откровенность за откровенность», то понимала, на какой риск иду. Сюжет заранее бросал тень на книгу. Все четыре героини — женщины, да еще не первой молодости. Нынешние писатели недалеко ушли от Бальзака: он писал о женщинах тридцати лет, героиней нынешнего романа может быть женщина лет сорока... но выглядящая на тридцать! Пятьдесят лет и больше — непростительный возраст! Мои героини многого достигли в жизни, но того ли, чего действительно хотели? Все они приехали на конференцию в типичный американский университетский городок, собрались на типичной для жительниц такого городка кухне-столовой (я видела много таких: одинаковая обстановка, одинаковый набор фотографий на стене... среди прочих идолов обязательно портрет Роб-Грийе!). Утро, героини растрепаны, не накрашены, одна из них накануне плакала и прикладывает к опухшим глазам пакетики спитого чая (имейте в виду: лучшее средство в подобных случаях!). О *таких* женщинах пишет женщина! Двойное кощунство! Скандал!

«ИЛ». У нас в запасе осталось три довольно банальных анкетных вопроса, на которые мы просим вас ответить. Первый из них: ваши литературные вкусы, любимый писатель или писатели?

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. Я могу назвать писателя, который, безусловно, оказал на меня огромное влияние. Это Кафка. И еще Фолкнер, Достоевский, Флобер, Пруст... хотя Пруст гораздо меньше.

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК. Апостол Павел, Паскаль, Достоевский, Бальзак, Бодлер. Из современников — рано умерший Перек.

ПОЛЬ КОНСТАН. Поскольку я родилась после войны, то так или иначе испытываю влияние американской литературы. Хемингуэй, Стейнбек и особенно Фолкнер — великие имена. Особенно люблю двух писательниц-южанок: Карсон Маккаллерс и еще больше Флэннери О'Коннор. Мне очень интересны белые южные писатели с их католическим чувством вины. Вообще я питаю пристрастие к Югу. Люблю латиноамериканских писателей, в том числе, разумеется, Гарсиа Маркеса, люблю перуанцев... Льосу, его юмор. В Австралии есть колоссальный писатель, Нобелевский лауреат — Патрик Уайт. Все это я читала в переводах. Перечитала также всех, каких смогла достать, индийцев. Я фанатик Сальмана Рушди. Меня привлекают эти миры. Но эти книги не могли бы быть написаны на французском языке.

Классиков я тоже очень люблю. Однажды мне повезло: я заболела и залпом прочла всего Бальзака. Люблю даже Золя, у него необычайно богатый словарный запас. Он считается новатором, натуралистом, но я нахожу, что это великий лирический писатель. Ну а Флобер!.. Я имею счастье каждый год вести семинар по Флоберу. И могу с полным правом сказать, что госпожа Бовари — это я! Поверьте, эта книга до сих пор не прочитана. А «Бувар и Пекюше»! А «Отверженные» Гюго — это же шедевр! Главные мои классики XIX века — это Толстой и Достоевский. Я прочла их очень рано, они меня сформировали. «Анну Каренину» я прочла лет в десять. Еще любимые книги: «Адольф» Бенжамена Констана и «Дельфина» Жермены де Сталь.

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. В каждом языке есть мастера стиля, великие для своей культуры, но, так сказать, неэкспортабельные. Для меня это Расин и Шатобриан. Кроме того, я обожаю Бальзака. Сегодня школьники его уже не читают: слишком медленно развивается действие, слишком непонятна эпоха. Поэтому мало читают и русскую классику. Мое поколение читало

всего Чехова, а наши дети... Ну, я своих хоть рассказы заставила прочитать. Зато они читают Золя: то, что он описывает, ближе, и он все объясняет. Из французов чту Пруста. Это, наверное, самый умный наш писатель. Кто из авторов XX века останется в истории? Я думаю, среди трех-четырех лучших останется Жан Жионо. Есть еще мало оцененный писатель необыкновенной творческой мощи — это Сименон, он ведь не одни детективы писал. Останется Жюльен Грак, но скорее как эссеист — он прекрасный, тонкий читатель. Сартр и Камю как писатели вряд ли уцелеют. Разве что «Постороннего» будут читать. Арагон? Мы о нем часто говорим — он ведь одно время состоял в Гонкуровской академии. Останется часть его поэзии, конечно не «партийной». От «нового романа» не останется ничего. Может быть, будут помнить Дюрас как второстепенного автора. Саррот, по-моему, читать скучно. Селин... я признаю, он мастер стиля, но прочесть больше четырех страниц подряд не могу — задыхаюсь. И потом, его политические взгляды...

Из русской классики я, как все, знаю и ценю Толстого, Достоевского, Чехова, которого с возрастом люблю все больше. Мне так нравится его человечность. И это искусство лаконизма — вот то, чего я не умею. Из более поздних... Булгаков. Солженицын скучноват, хотя первые книги я читала с удовольствием.

ЖАН РУО. Мой идеал, символ писателя вообще — Шатобриан. Очень люблю Чехова, Достоевского. Понимаю, почему Чехов не писал романов — он не видел никакой перспективы для героев. И не понимаю, как его могли разрешать в советское время. По-моему, это самый антидогматический писатель. Меня трогает его сочувствие человеку.

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. В литературе, к счастью, можно не соблюдать моногамию. Самого-самого любимого писателя у меня нет. В молодости обожал Сартра, Камю, Беккета, Мишо. Стойко люблю Фолкнера, Достоевского, Льюиса Кэрролла. Сейчас стараюсь читать и классическую литературу, и современную, и французскую, и зарубежную. Особенно писателей, принадлежащих к другим культурам: Кундеру, Кадаре, Рушди.

«ИЛ». Второй вопрос касается юбилея, к которому приурочены наши встречи. Сейчас в России отмечают 200-летие Пушкина. Пушкин для нас — не просто великий поэт, он воплощение русской культуры, символ русского духа.

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. Он более русский, чем Достоевский? Почему?

«ИЛ». Достоевский сам лучше всех мог бы ответить на ваш вопрос. Да он и ответил.

Есть ли подобная фигура во французской литературе? Можно ли назвать кого-нибудь французским Пушкиным?

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. Безусловно, нет. Я вообще не люблю такие аттестации, раздачи наград, увенчания национальных гениев. Могу только сказать, что для меня — но это лично для меня! — самое значительное имя — Флобер. Есть еще более удивительные случаи, чем Пушкин. Например, Сервантес. Для всех испаноговорящих «Дон Кихот» — самая великая книга на свете, навсегда, на веки веков. Люди всех классов — сам Борхес! — считают, что ничего более великого не существует. А во Франции «Дон Кихот» — приключенческий роман для детей. Я думаю, гений языка, такой, как Сервантес, непереводим. Возможно, Пушкин как гений языка выше Достоевского. А потому в России он имеет такую силу, которой не может иметь в переводах. Впрочем, во Франции поэзию, тем более зарубежную, не читают. А Пушкин прежде всего поэт. Что я сам знаю о Пушкине? Только то, что было положено на музыку, то есть оперы: «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Но для настоящих знатоков, например для моего друга Набокова, ценность Пушкина совсем не в этом, а в произведениях, которые для нас ничего не значат. Однако это прекрасно — иметь великого национального героя!

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК. Французского Пушкина нет и быть не может. С XVI века было столько великих... Но ни одного, столь сильно превосходящего других, чтобы его можно было назвать гением нации.

ПОЛЬ КОНСТАН. Я читала «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку»... Вообще-то я думала, что ваш гений — Достоевский... Кого можно назвать символом французской литературы? Наверное, Расина.

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. Наверное, нам невозможно представить себе, что́ значит для вас Пушкин. Я читала его, знаю все оперы на его сюжеты: «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Но назвать гения Франции?.. В XIX веке сказали бы — Гюго. Жид повторил это и прибавил: увы! Гюго, как Пушкин, работал во всех жанрах, он великий писатель, поэт, он сыграл важную роль в политической жизни. Но он не абсолютный гений языка, сегодня уже не абсолютный. Пруст? Тоже нет. Возможно, сейчас больше всех почитают его, но это автор одного, пусть колоссального, произведения, не поэт, не мыслитель. Нет, я не вижу эквивалента для Пушкина. Можно было бы назвать по классику в каждом жанре. Для философской прозы — Декарт, для мемуаров — Сен-Симон, но человека, блиставшего во всех жанрах, да еще и основателя национальной литературы у нас нет. Вольтера и других великих просветителей больше не читают. Вольтер-поэт не так уж хорош, драматург — тем более, полемика его никого давно не волнует. Лично я считаю веком высочайшего расцвета языка XVII. В ту эпоху язык еще был мощным, богатым, страстным, сохранял религиозный пафос. В XVIII язык иссушается, делается бесплотным, приспособленным для игры интеллекта. В дальнейшем деградация все увеличивалась, а в XX веке этот процесс усугубился неизбежным влиянием английского...

ЖАН РУО. Ничего подобного у нас нет. Эквивалентом мог бы служить Гёте для Германии. Во Франции же такой ключевой фигуры не было. Можно назвать Декарта для философии, поэтов «Плеяды» для поэзии, Рабле для прозы и так далее. Лично для меня, как я уже говорил, величайший гений — Шатобриан.

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. Я бы сказал, что дух французской культуры полнее всего выражается в искусстве беседы. Она изначально была культурой двора и салона, культурой удовольствий, среди которых наслаждение словом не уступало плотским наслаждениям. Ужасно, если все это вытеснит культура развлечения. Даже сегодня французы раздражают иностранцев способностью устраивать дебаты на пустом месте, из всего делать проблемы и цитировать великих авторов по любому поводу. Это искусство достигло апогея в XVIII веке, в лице Вольтера. Поэтому, может быть, именно его стоило бы считать воплощением французского духа. Но он не самый великий писатель. Точнее было бы вывести нечто среднее из Вольтера, Дидро и Руссо.

«ИЛ». И наконец, последний вопрос: ваши литературные планы?

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР. Мои планы — иметь побольше замыслов. Я вообще люблю строить планы лет на десять — пятнадцать вперед. Это мой способ защиты от времени. Мои последние романы были задуманы лет двадцать тому назад. Хватает проектов и сейчас, художественных и публицистических. Но, собрав коллекцию пре-мий, я уже не так спешу писать. Когда нет необходимости выдавать что-нибудь каждые три года, то появляется чувство свободы. Ближайшая книга будет называться «Счастье как обязанность». Начиная с прошлого века слово «счастье» стало ключевым. Счастье на земле — в противоположность христианскому спасению на небесах. В XX веке это превратилось в категорический императив. У современного человека есть все права, кроме права не быть счастливым. Как следствие, западная цивилизация отметает всякое упоминание о смерти и страдании. Говорить об этом неприлично. Быть счастливым — господствующая идеология Америки и Европы. Несчастные люди — парии. Между тем смерть и несчастье неотделимы от самой сути нашего существования и даже в условиях дехристианизированного общества имеют свои права.

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. Я никогда не рассказываю о своих планах.

«ИЛ». Но они у вас есть?

А. Р.-Г. Конечно.

ПОЛЬ КОНСТАН. У меня есть несколько проектов. Наверное, ближайший — написать эссе о женской утопии. Хотя и говорят, что женщины не способны создать умозрительную систему общества, но это не так. Первой феминистской утопией был «Город женщин» Кристины Пизанской. Но женщин в утопиях занимала только педагогическая сторона. Когда о воспитании женщины пишут мужчины, они видят образ идеальной «женщины для мужчины». В женском же понимании идеальная женщина — это идеальный враг мужчины. Я уже

писала об этом и хотела бы продолжить. Кроме того, зреет следующий роман... действие будет происходить на Миссисипи, героем станет белый нищий мальчишка. Роман надо вынашивать четыре–пять лет, а потом за один год — иначе сойдешь с ума — все это обилие людей, событий, чувств надо перенести на бумагу. Рождается этакий монстр, ни на что не похожий, с двумя хоботами, десятью лапами и хвостами... Потом надо его привести в более или менее приличный вид: оставить один хобот, но ни в коем случае не уничтожать оба! Сократить количество лап до четырех, урезать хвосты... Это такая мука, такой страшный труд! Да и читать роман — нелегкий труд. Я убеждена, для читателей надо оставлять в книге зоны отдыха, и одной из них, вопреки распространенной точке зрения, должна стать первая страница. В «Признании за признание» я так и поступила. И еще я часто приделываю ложные хэппи энды. Из жалости к читателю, ведь роман всегда так трагичен! Пока я еще не готова к новому романному подвигу, мне надо отдохнуть.

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК. Мои планы... пока не знаю точно... Нужно несколько отстраниться, а там будет видно.

ФРАНСУАЗА ШАНДЕРНАГОР. У меня есть два проекта: один роман будет исторический, я уже почти закончила подготовительную работу в библиотеках, другой — на материале 40 — 50-х годов нашего века. Это будет своеобразное продолжение темы, которая звучала в романе «Дитя Просвещения». Там речь идет об отношениях матери и сына, живущих в разных мирах, здесь в центре внимания отец и дочь. Там аристократка, пережившая разорение и позорную смерть мужа, спускается вниз по социальной лестнице, здесь выигравший в лотерею бедняк резко поднимается вверх. Но не знаю, получится ли у меня: ведь главный герой — мужчина.

ЖАН РУО. Я работаю над следующим, пятым романом из семейного цикла. Он будет написан от лица моей матери. При жизни она не высказывала никакого мнения о том, что я написал. Когда же она умерла, клиенты ее посудной лавки стали передавть мне ее замечания: то-то и то-то было не так, не тогда... Я дам слово и друзьям моего отца, которые тоже много чего дополнили. Все это, все пять книг, — чтобы понять, что это были за люди. Роман будет называться «На земле, как на небесах».

■

РОН ПАУЭРС

Опасные воды: биография мальчика, ставшего Марком Твеном

Ron Powers. Dangerous Water: A Biography of the Boy Who Became Mark Twain

Perseus Books Group, 1999

Критики единодушно приветствовали появление новой биографии одного из величайших писателей США, благодаря которому весь мир узнал, что значит быть мальчишкой в Америке. Впрочем, маленький Сэмми Клеменс не испытал всех прелестей жизни, выпавших на долю Тома и Гека: его детство никак нельзя назвать счастливым. По словам Рона Пауэрса, «во мраке ночи Марка Твена зародился литературный рассвет Америки». Беспросветный мрак и несчастья преследовали будущего писателя: болезни, бедность, нервные расстройства вплоть до лунатизма, ранняя смерть отца, необходимость с юношеских лет зарабатывать на жизнь тяжким трудом — на таком фоне формировался уникальный юмор Марка Твена. Пауэрс прослеживает жизнь своего героя с рождения до 16 лет — именно тогда в газете был опубликован его первый рассказ, и на этом закончилось детство. Биограф опровергает распространенное мнение о том, будто Твен стал писателем случайно, по стечению обстоятельств. На самом деле он с ранних лет хотел посвятить себя литературе, жадно читал и пытался сочинять рассказы, подражая стилям понравившихся ему авторов. Критики особо отмечают, что Рону Пауэрсу удалось установить связь между многими эпизодами из книг писателя и реальными событиями его детства и юности.

МОНИКА МАРОН

Письма Павла. Семейная хроника

Monika Maron. Pawels Briefe. Eine Familiengeschichte

S. Fisher Verlag, 1999

Новый роман известной немецкой писательницы посвящен неустаревающей теме — проблеме трагического прошлого Германии. Действие его происходит в наши дни. Спустя полвека после окончания войны женщина находит на чердаке письмо своего отца, переданное им из гетто в 1943 году. Именно с этой находки для нее и для ее дочери Моники начинается путешествие в прошлое, ставшее главной сюжетной линией романа. Моника, внучка польского еврея, принявшего христианство, и дочь убежденного коммуниста, не разделяет взглядов ни отца, ни деда. Она ищет свой путь в жизни, ее волнуют проблемы преемственности и памяти поколений, невиновности и ответственности потомков за грехи отцов. В настойчивом стремлении изучить свои корни писательница видит знамение времени.

КЛАУС КОРДОН

Сто лет и одно лето

Klaus Kordon. Hundert Jahre und ein Sommer

Beltz & Gelberg, 1999

Новый роман Клауса Кордона, лауреата многих литературных премий, в том числе премии им. Клауса Веддинга Академии искусств Берлина-Бранденбурга — это хроника одной берлинской семьи. Необычна форма романа — это письма нашей современницы, студентки, давно умершей прапрабабушке, с которой девушка чувствует необыкновенное духовное родство. Она пишет о своей любви, о поездке к деду, о том, что изучает историю семьи. Главное, что волнует девушку, — предстоящий снос старого семейного дома, где прошла жизнь нескольких поколений. Она всеми силами пытается помешать этому. В этом произведении, как и в своем предыдущем романе «1848», Клаус Кордон остается верен историографическому методу и, перекидывая мостик между имперской Германией и сегодняшним объединенным государством, рисует панорамное полотно нашего столетия.

РАЙ ЛОРИГА

Токио нас больше не желает знать

Ray Loriga. Tokio ya no nos quiere

Plaza & Janés, 1999

Творчество молодого испанского писателя, получившего за свой первый роман «Самое худшее» престижную премию «Икар», вызывает неизменный интерес критики и читателей. В его новой книге события происходят в начале третьего тысячелетия, и повествует она о деятельности трансконтинентальной корпорации, распространяющей химическую продукцию по всему миру — в США, Вьетнаме, Таиланде и других странах. Обращает на себя внимание интерес писателя к достижениям научно-технического прогресса. Однако главными объектами его исследования стали человек и проблема морали в современном мире. По мнению Лориги, неизбежной платой за развитие индустриального общества становится утрата нравственных принципов личности. Эта точка зрения писателя нашла отражение в трагической судьбе главного героя романа. Критики особо отмечают способность Рая Лориги к глобальному анализу нравственных и социальных проблем грядущего века, к обличению преступности и насилия.

АНТОНИО ФАЭТИ

Дом на дереве: Ужас, тайна, страх и детство у Стивена Кинга

Antonio Faeti. La casa sull'albero: Orrore, mistero, paura, infanzie in Stephen King

Einaudi Ragazzi, 1998

Уже не первый год в литературных кругах идет полемика: имеют ли воспитательное значение для детей и юношества произведения Стивена Кинга? Одни считают, что «король ужасов» подталкивает юных к насилию, увлечению ирреальным, использованию в речи грубых выражений; их противники полагают, что его книги учат молодежь не доверять внешнему спокойствию и лоску, заглядывать в глубь явлений, быть пытливыми и способными анализировать окружающий мир. К лагерю «защитников» С. Кинга принадлежит и итальянский писатель Антонио Фаэти, «специализирующийся» на подростковой теме. Он уверен, что книги его «подзащитного» помогают детям взрослеть, то есть осознавать проблему жизни и смерти, уметь разглядеть ужасное в обыденном: ведь в произведениях С. Кинга представлены не столько чудовища, сколько само понятие чудовищного, и, возможно, поэтому они так интересуют молодежь.

ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Наследие Арне

Siegfried Lenz. Arnes Nachlass

Hoffmann und Campe, 1999

Новый роман Зигфрида Ленца — это трагическая история подростка, не сумевшего найти свое место в жизни. Повествование ведется от лица мальчика Ханса, чьи родители приютили 12-летнего сироту, и начинается в тот момент, когда Хансу поручают упаковать вещи, оставшиеся после Арне. Рассматривая эти вещи, Ханс проникает в ранее недоступный, таинственный для него мир приятеля. Невозмутимый наблюдатель, Зигфрид Ленц рисует достоверный психологический портрет рано повзрослевшего подростка, столкнувшегося с недетским горем. Критики указывают, что писателю удалось показать внутренний мир неординарного ребенка, не похожего на своих сверстников, воспринимающего окружающий мир более серьезно и глубоко, чем они, страдающего от непонимания и недостатка сочувствия.

АЛЬБЕРТО МАНГЕЛЬ

В зазеркальный лес

Alberto Manguel. Into the Looking-Glass Wood

Knopf Canada, 1998

Уроженец Аргентины, Альберто Мангель является ныне одним из самых известных канадских литераторов. Составитель антологий, редактор, литературный обозреватель, романист, эссеист, культуролог — все эти ипостаси объединяет любовь к рассказам, к историям, которые он собирает, комментирует, создает. Истории играют главную роль и в новом сборнике эссе, посвященном чтению, словам и книгам. Связующей нитью в этих очерках служит образ героини сказок «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» — идеальной читательницы, по мнению автора. А. Мангель делится личным восприятием литературы, вспоминает эпизоды из своей жизни, рассуждает о проблемах перевода; темы очерков многообразны: от сатиры и полемики до элегии и эротики. Автор увлекательно

рассказывает о том, как в молодости, еще в Буэнос-Айресе, читал вслух ослепшему Борхесу, как школьный учитель увлек его в мир книг, как он полюбил англоязычных писателей викторианской эпохи.

ДЭВИД Б. МОРРИС

Болезнь и культура в постмодернистский век

David B. Morris. Illness and Culture in the Postmodern Age

University of California Press, 1998

С какого только ракурса не исследовали постмодернизм за последнее десятилетие! И вот еще один взгляд, неожиданный: что изменилось в восприятии и реальности болезни на исходе второго тысячелетия? Получается, что многое, хотя человек по-прежнему смертен и в век постмодерна чаще всего оканчивает свои дни именно из-за болезни. Болезнь (а, скажем, не насильственная смерть или смерть от голода) стала главным поставщиком пассажиров ладьи Харона. Глубокое и остроумное исследование Д. Морриса, автора бестселлера «Культура боли» (премия ПЕН-клуба за 1992 г.), рассматривает болезнь как некую биокультурную модель, помогающую современному человеку лучше разобраться в мотивах и подсознательных импульсах своих поступков. С одной стороны, человек сегодня боится болезни меньше, чем когда бы то ни было, потому что с большинством недугов медицина научилась благополучно справляться. С другой стороны, появились новые моровые поветрия вроде СПИДа, словно нарочно призванные поставить человека на место, чтобы не слишком заносился. По мнению автора, постмодернистской эпохе свойственны и особые виды заболеваний, ранее неизвестных или же, скорее, просто игнорируемых: синдром хронической усталости, посттравматический стресс. Культ физической молодости и телесного здоровья, с легкой руки американцев распространившийся по всему миру, приводит к тому, что теневые аспекты бытия — неизлечимая болезнь и умирание — выпадают из фокуса общественного внимания. Эту мысль полнее всего выражает название последней главы книги: «Болезнь во времена Диснея».

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

«Сингл и Сингл»

John Le Carre. Single and Single

Viking, 1999

Признанный мастер шпионского романа, Джон Ле Карре продолжает работать в излюбленном жанре: это его 17-й и пятый после окончания «холодной войны» роман. Поскольку этот жанр тесно связан с международной политикой и зависит от стремительно меняющихся глобальных современных проблем, меняются и сюжетные особенности. Глава разведывательной службы Нэт борется уже не со шпионами, а с «бизнес-преступлениями», с коррупцией, с мафиозными кругами, которые представлены в романе лондонской фирмой «Сингл и Сингл». Это семейное предприятие занимается отмыванием денег, полученных от сомнительных сделок (героин, оружие) с российскими «коллегами».

■

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КЛЕМЕНТАЙН И УИНСТОН — ИСТОРИЯ ЛЮБВИ В ПИСЬМАХ

В 1904 году на балу в Лондоне познакомились блестящий 29-летний молодой человек и очаровательная 19-летняя девушка. Ее звали Клементайн Хоузиер, его — Уинстон Черчилль. Четыре года спустя их пути вновь пересеклись, и тогда они обменялись первыми письменными посланиями. Вскоре сыграли свадьбу. За 56 лет брака, до самой смерти У. Черчилля в 1965 году в возрасте 90 лет, они написали друг другу 1700 писем, открыток, телеграмм, записок, которые составили гигантский том переписки «Говорят сами за себя», подготовленный к печати их младшей дочерью Мэри Соумс и опубликованный издательством «Стоддарт».

За долгие годы совместной жизни болезни, войны, дела нередко разлучали их, и переписка становилась единственным средством связи (телефон оба недолюбливали, и в их доме он стоял в неуютном темном коридоре). Привычка писать друг другу была столь сильна, что супруги обменивались посланиями, не только находясь по разные стороны океана, но и живя вместе в загородном доме. Причем это было подлинное общение, а не просто обмен информацией, как в нынешний компьютерный век.

О чем же шла речь в этих письмах? Неизменно проникнутые любовью, верой, участием, они отражали характер своих авторов. Уинстон рассказывал о политических и финансовых делах, о гибели «Титаника» и ирландском вопросе, о выборах, назначениях и отставках, о своей давней страсти — живописи, и все это окрашивалось сильными чувствами — обидой, радостью, самоуничижением, надеждой или же самодовольством. Зная впечатлительную натуру жены, он стремился поразить ее, приукрашивая свои рассказы самыми невероятными деталями.

Клементайн, в свою очередь, привносила в переписку больше домашнего, личного: новости об их усадьбе в Чартуэлле, о четырех детях, тревоги о здоровье мужа. Но она могла и метко охарактеризовать кого-либо из современных политических деятелей (Керзон, Ллойд Джордж, Муссолини), и поругать мужа за стремление управлять самолетом (он отказался от этого удовольствия лишь после 140 полетов), и ободрить, и пожурить его. Так, в письме от 27 июня 1940 года, вскоре после назначения Черчилля премьер-министром, жена предупреждает: «Дорогой Уинстон, должна признаться: я заметила, что ты ведешь себя не слишком хорошо, и в тебе нет былой доброты... Надеюсь, ты простишь мне, если я скажу тебе нечто важное. Один человек из твоего окружения (близкий друг) был у меня и сообщил, что ты рискуешь заслужить всеобщую нелюбовь коллег и подчиненных из-за чрезмерной грубости, язвительности и деспотичности... с твоей огромной властью ты должен сочетать цивилизованность, мягкость и, по возможности, олимпийское спокойствие».

Она имела право делать ему подобные замечания, ибо Черчилль всегда прислушивался к ее советам и даже просил их. Столь несентиментальный внешне государственный деятель в письмах обращался к жене «моя кошечка», она же называла его «мой поросенок», а свои послания они порой сопровождали шаржами и рисунками зверушек.

Представить отца земным, живым человеком — такова была одна из целей М. Соумс при подготовке этого тома, снабженного информативными примечаниями и биографическими справками. Книга стала не только историческим документом, но и литературным путешествием по жизни тех, кто определял события нашего века.

Уинстон и Клементайн Черчилль в 50-е годы.

■ ПОЛЬША

НОВАЯ ВСТРЕЧА С МРОЖЕКОМ

Пять лет назад читатели «ИЛ» (1994, № 10) познакомились с последней на тот момент пьесой Славомира Мрожека «Любовь в Крыму» (весной следующего года премьера спектакля по этой пьесе состоялась во МХАТе им. Чехова). С тех пор

вернувшийся из долгой эмиграции драматург не публиковал новых произведений, если не считать коротких заметок, эссе, стишков и юмористических рисунков в «Газете выборчей». И вот наконец в майском номере журнала «Диалог» появилась новая пьеса Мрожека, «Прекрасный вид», написанная им в прошлом году по заказу варшавского театра «Вспулчесны».

Место действия пьесы — небольшой городок где-то на Балканах (точнее, на Адриатическом побережье), а состоит она из двух формально не связанных друг с другом актов, в каждом из которых участвуют по два персонажа: мужчина и женщина (в первом акте — пара, приехавшая на отдых; во втором — туристка и смотритель местного музея). Диалоги, как это обычно у Мрожека, прозрачны, лаконичны и наполнены специфическим для автора юмором, построенным на логических парадоксах. Оба акта строятся по общей схеме: начинаясь как веселый скетч, они постепенно перерастают в камерную драму (с явственными отголосками актуальных для мировой политики событий) и завершаются как трагедия, в финале которой — следуя известному канону — стреляет ружье.

В первых критических отзывах отмечается, что Мрожек, как обычно, и удивляет, и разочаровывает, и создает неудобства для режиссеров. Неудобства связаны с тем, что драматург, как и прежде, подробно расписывает все детали обстановки и нюансы поведения персонажей, практически не оставляя постановщикам никакой свободы для индивидуальной трактовки. Разочароваться могут те, кто рассчитывал, что Мрожек, заработавший еще до эмиграции в начале 60-х репутацию мастера политического фарса, после возвращения на родину вернется и к этому жанру. А удивлять может творческое долголетие мастера (дебютировавшего в 1958 году), на пьесах которого воспитывается уже третье поколение польских зрителей.

■ США

ГЕНРИ ДЖЕЙМС И ЕГО МУЗЫ

В США вышла в свет книга литературоведа Линдал Гордон «Частная жизнь Генри Джеймса: две женщины и творчество». В ней описаны две незаурядные женщины, оказавшие большое влияние на творчество писателя. На первый взгляд между этими женщинами нет ничего общего, но на самом деле их роднила одна черта: по строгим канонам пуританского общества Америки середины XIX века, не признававшего права женщин на собственное мнение и тем более на его публичное выражение, ни ту, ни другую нельзя было назвать «настоящей леди».

Первой из них была кузина Джеймса Минни Темпл, его подруга по детским играм и юношеским увлечениям. Ее отличали живой и дерзкий ум, искренность и непосредственность суждений, нежелание подчиняться строгим жизненным правилам. Как и Генри Джеймс, Минни постоянно конфликтовала со своим окружением — старшими родственниками и учителями, которых считала «узколобыми ханжами». Отношения кузенов никогда не были романтическими (Минни питала нежные чувства к старшему брату Генри, а потом — к одному из его друзей). Однако именно она воплощала в себе идеал будущего писателя — независимую женщину, способную иметь свою точку зрения на любые проблемы и отстаивать ее в спорах с мужчинами. По мнению Линдал Гордон, образ юной Минни, умершей от туберкулеза в возрасте 24 лет, навсегда сохранился в памяти Джеймса, и ее черты угадываются в его героинях Дейзи Миллер и Изабель Арчер.

Второй женщиной, сыгравшей большую роль в жизни Генри Джеймса, была писательница Конни Фенимор Вулсон. Она была старше Джеймса, его привлекали ее интеллект и прямолинейность; кроме того, молодой писатель был счастлив познакомиться с представительницей литературной династии — Конни приходилась внучатой племянницей Джеймсу Фенимору Куперу. Впрочем, Джеймс скрывал свою тесную привязанность к Конни Вулсон, которую приятельски называл «Фенимор», от родственников и близких друзей: он стеснялся признаться в теплых чувствах к немолодой незамужней писательнице. Вулсон стала заниматься литературой по необходимости после смерти отца, когда ей пришлось взвалить на свои плечи заботу о матери и двух племянницах. Романы и новеллы Конни Вулсон пользовались большой популярностью, и в ее отношениях с Генри Джеймсом постоянно присутствовал элемент соперничества. Как и Минни, Вулсон стала настоящей музой Генри Джеймса только после смерти — она покончила с собой в возрасте 53 лет в Венеции. По мнению автора книги, образы зрелых женщин в произведениях Джеймса во многом навеяны именно воспоминаниями о Конни Вулсон.

АМЕРИКАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ — ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Редакция журнала «Нью-Йоркер» решила попытаться дать ответ на, казалось бы, несложный вопрос: кого можно включить в двадцатку лучших молодых писателей Америки? Однако выяснилось, что составить такой список весьма трудно. Во-первых, по каким критериям следует отбирать «лучших»? Если речь идет именно о молодых писателях, то можно ли поставить знак равенства между «лучшим» и «многообещающим», или же речь идет о «добившемся наибольшего признания»? Во-вторых, что значит «молодой» писатель? Вообще молодыми принято считать людей в возрасте около двадцати лет. Но литература редко становится уделом вундеркиндов — иногда проходят годы и даже десятилетия, прежде чем писатель досконально овладевает искусством связывать слова в членораздельные и достойные внимания фразы. Многие литераторы становились известными в тридцать, сорок лет, а то и позже. В конце концов было решено, что писатель остается молодым примерно до сорока лет, и в список могли попасть только авторы, не достигшие этого возраста. После того как были выработаны все критерии отбора, составителям стало совершенно ясно: их рейтинг-лист не может претендовать на объективность. Действительно, предположим, что подобный список стали бы составлять ровно сто лет назад, в 1899 году. В него, без сомнения, не попали бы ни 27-летний журналист Теодор Драйзер («Сестре Керри» пред-

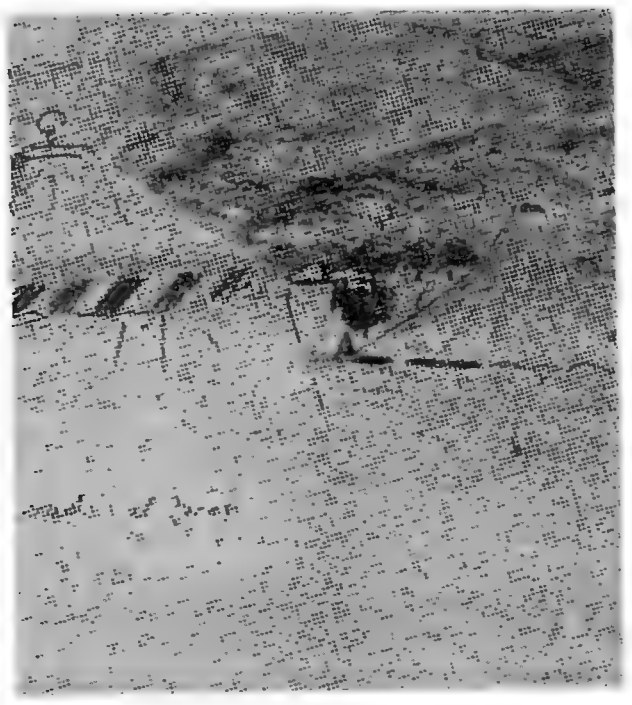
стояло увидеть свет лишь в следующем году), ни Джек Лондон, написавший всего несколько клондайкских рассказов. Фолкнер только-только учился разговаривать, а Хемингуэй, Борхес и Набоков вообще лежали в пеленках.

Однако задача была поставлена, и ее предстояло выполнить. В число лучших молодых писателей 1999 года вошли авторы, творчество которых отражает основные направления развития художественной литературы наших дней. Это сюрреалисты и импрессионисты Рик Муди и Э. М. Хоумс, мастера драматических монологов Дэвид Фостер Уоллес и Джордж Саундерс, историографы Чанг-Рей Ли, Майкл Чебон, Уильям Т. Уолман, наследники традиционных форм и юмора Дональд Антрим и Мэтью Клэм. Особое место в современной американской литературе занимают произведения, посвященные тому, как становятся американцами. К числу лучших мастеров этого жанра принадлежат недавние эмигранты Джумпа Лахири, Эдвидж Дантикет, Джуно Диас. Имена этих и других молодых писателей пока еще мало известны за пределами США. Однако, по мнению редакции «Нью-Йоркера», именно им предстоит в будущем веке доказать, что настоящая литература в Америке не умерла.

■ ФРАНЦИЯ

ПИСАТЕЛЬ ЭЖЕН ДЕЛАКРУА

В издательстве «Галлимар» вышла в свет книга, принадлежащая перу великого художника Эжена Делакруа, «Воспоминания о путешествии в Марокко». Широкой известностью пользуется серия картин Делакруа, написанная под впечатлением этого путешествия, которое живописец осуществил в 1832 году. Однако до недавнего времени никто не подозревал о том, что помимо набросков и картин Делакруа привез из Марокко весьма интересный и содержательный дневник. Текст был обнаружен в 1997



«Лагерь в Зерхуне» (рисунок из дневника Делакруа).

году практически случайно, когда потомки душеприказчика Эжена Делакруа выставили дневник на аукцион в Париже. Рукопись была приобретена Национальной библиотекой, эксперты которой установили, что в дневнике не хватает части страниц. Спустя еще год во время подготовки выставки работ художника в Туре в частной коллекции были найдены недостающие фрагменты текста. Находку признали сенсационной.

Известно, что поездка в Марокко оказала огромное влияние на творчество Делакруа. Она стала для него настоящим откровением, произвела подлинную революцию в его мировоззрении и живописи. По словам художника, от увиденной им красоты он испытал удовольствие, «которое вряд ли можно пережить во второй раз». Возможность получить это наслаждение выпала на долю Делакруа совершенно неожиданно. После завоевания Алжира отношения между Францией и Марокко были очень сложными и напряженными. Луи-Филипп, желая смягчить это напряжение, отправил к султану Абд ар-Рахману посольство во главе с графом де Морнеем. В соответствии с традициями, в состав посольства входил художник, которому поручалось запечатлеть наиболее важные моменты встречи и пейзажи совершенно незнакомой страны. Претендентами на выполнение столь важной миссии были Изабе и Делакруа; последний победил конкурента благодаря семейным, политическим и артистическим связям. Поездка продолжалась шесть месяцев и завершилась трехдневным пребыванием в Алжире. Там была написана картина «Алжирские женщины в своих покоях», разделившая впоследствии честь быть «переписанной» Пикассо вместе с «Менинами» Веласкеса.

Что касается самой книги, Делакруа написал ее на основании дневниковых записей через десять лет после путешествия. В ней описываются впечатления от красот экзотической страны, от знакомства с обычаями и традициями различных слоев населения Марокко. Не остается никакого сомнения в том, что записи сделаны художником. Вот, например, как он описывает свои впечатления от посещения семей марокканских евреев: «Главное, что привлекает в их женщинах, — это маленькие белые ножки в остроносых туфельках без задников, открывающих взору крохотные розовые пятки». Делакруа неоднократно писал о том, что совершенно не разбирается в политике и в социальных проблемах. Однако в книге можно найти и такие замечания о результатах 12-летней оккупации Алжира: «Карьеры и шахты, как и положено орудиям прогресса, одержали победу над мечетями, которые лишь загромождали улицы, а мавританские кладбища в пригородах стали жертвами варварской отваги разрушителей. Я видел совсем свежие могилы, развороченные и заваленные обломками надгробий, что вызывало справедливый и горячий гнев сыновей, мужей и отцов тех, чьи останки были потревожены».

Впрочем, при всей нестандартности суждений автора главным достоинством книги являются сопровождающие ее зарисовки и наброски.

По материалам газеты «Глоб энд мейл оф Кэнада» (Канада), журналов «Диалог» (Польша), «Кензен литтерер» (Франция), «Нью-Йоркер» (США), сетевого магазина «barnesandnoble.com».

Книги, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров еженедельника «Publishers Weekly» (США) от 20 сентября 1999 г.

1. **Patricia Cornwell.** BLACK NOTICE
2. **Sandra Brown.** THE ALIBI
3. **Maeve Binchy.** TARA ROAD
4. **Tim LaHaye.** ASSASSINS
5. **Elizabeth George.** IN PURSUIT OF THE PROPER SINNER
6. **Richard North Patterson.** DARK LADY
7. **Thomas Harris.** HANNIBAL
8. **Iris Johansen.** THE KILLING GAME
9. **Melinda Haynes.** MOTHER OF PEARL
10. **Robert B.Parker.** FAMILY HONOR

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18,
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое.

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить ***по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03.***

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ДЖУЛИАН БАРНС (JULIAN BARNES; род. в 1946 г.) — английский писатель, автор романов «Метроленд» («Metroland», 1980), «До того как мы встретились» («Before She Met Me», 1982), «Попугай Флобера» («Flaubert's Parrot», 1985), «Глядя на солнце» («Staring at the Sun», 1986), «История мира в 10 1/2 главах» («A History of the World in 10 1/2 Chapters», 1989, рус. перев. в «ИЛ», 1994, № 1), «Дикобраз» («Porcupine», 1992, рус. перев. в «ИЛ», 1995, № 6), сборника рассказов «Через Ла-Манш» («Cross Channel», 1997; три рассказа напечатаны в «ИЛ», 1998, № 11). На русском языке также опубликован рассказ «Вспышка» («The Revival», 1996, в «ИЛ» — 1999, № 1).
Рассказ «Краткая история парикмахерского дела» («A Short History of Hairdressing») взят из журнала «The New Yorker», 1997, September 22.

ЭРНСТ ЯНДЛЬ (ERNST JANDL; род. в 1925 г.) — австрийский поэт и драматург. Член Академий искусств в Берлине и Дармштадте, лауреат премий им. Георга Тракля (поэзия, 1974), литературной премии города Вены (1976), Большой австрийской государственной премии (1984) и премии им. Георга Бюхнера (1984). Автор нескольких сборников стихов, в том числе «Искусственное дерево» («Der künstliche Baum», 1970), «Для всех» («Für alle», 1974), «Желтая собака» («Der gelbe Hund», 1980) и «Обработка шапки» («Die Bearbeitung der Mütze», 1981), откуда взяты публикуемые стихи.

АЛЬБЕРТО САВИНИО (ALBERTO SAVINIO; настоящее имя Андреа Де Кирико, 1891—1952) — итальянский писатель, художник, музыкант. Его первая книга «Гермафродит» («Hermaphrodito»), включающая стихи и прозу на нескольких языках, вышла в 1918 году. Перу А. Савинио принадлежат роман «Анжелика, или Майская ночь» («Angelica, o la notte di Maggio», 1927), сборники рассказов «Влюбленный Ахилл» («Achille innamorato», 1938), «Дом по имени жизнь» («Casa «la Vita», 1943), «Вся жизнь» («Tutta la vita», 1945), посмертно вышедшая книга эссе «Новая энциклопедия» («Nuova enciclopedia», 1977). В Библиотеке «ИЛ» в 1990 году вышла книга эссе и рассказов А. Савинио под названием «Вся жизнь».
Публикуемое эссе «Мопассан и «Другой» («Maupassant e l'Altro». Milano, Adelphi Edizioni) впервые было издано в 1944 году.

МИЛОРАД ПАВИЧ (МИЛОРАД ПАВИЋ; род. в 1929 г.) — сербский писатель, литературовед, академик Сербской академии наук и искусств. Автор поэтических сборников, сборников рассказов, в том числе «Русская борзая» («Руски хрт», 1979), «Новые белградские рассказы» («Нове београдске приче», 1981), романов «Хазарский словарь» («Хазарски речник», 1984; рус перев. «ИЛ», 1991, № 3), «Пейзаж, нарисованный чаем» («Пре́део сликан чајем», 1988; рус. перев. 1991), «Внутренняя сторона ветра» («Унутрашња страна ветра», 1991; рус. перев. 1997), «Последняя любовь в Константинополе» («Последња љубав у Цариграду», 1994, рус. перев. «ИЛ», 1997, № 7), пьесы «Вечность и еще один день» («Заувек и дан више», 1993; рус. перев. «ИЛ», 1995, № 7). В «ИЛ» были напечатаны также новелла «Шляпа из рыбьей чешуи» («Шешир од рибље коже», 1996; «ИЛ», 1997, № 1) и рассказ «Корсет» («Стезник», 1997; «ИЛ», 1998, № 4).
Подробную информацию о публикациях М. Павича можно найти в Интернете по адресу http://www.khazars.com
Публикуемые рассказы «Дамаскин» и «Стеклянная улитка» взяты из сборника «Стеклянная улитка» («Stakleni puž», Beograd, Dereta, 1998).

АЛЕКСАНДР ГЕНИС (род. в 1953 г.) — литератор. С 1977 года живет в США. Автор книг (совместно с П. Вайлем) «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990), «Американа» (1991). Перу А. Гениса принадлежат также книги «Американская азбука» (1994) и «Вавилонская башня» («ИЛ», 1996, № 9). В «ИЛ» опубликован ряд его статей: «Гипертекст — машина реальности» (1994, № 5), «Треугольник (Авангард, соцреализм, постмодернизм)» (1994, № 10), «Глаз и слово» (1995, № 4), «Бродский в Нью-Йорке» (1997, № 5), главы из книги «Довлатов и окрестности» (1998, № 6), вступление к публикации стихов Уоллеса Стивенса (1998, № 10) и эссе «Без языка. Эзра Паунд» (1999, № 9).

ВИЗЕЛЬ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1970 г.) — переводчик прозы и поэзии с итальянского и английского, критик, журналист, работающий на стыке «бумажной» литературы и Интернета. Выпускник Литературного института им. Горького (семинар перевода итальянской литературы Е. М. Солоновича). Аспирант кафедры зарубежной литературы этого института.

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1966 г.) — кинокритик, переводчик, культуролог, специалист по теории новых медиа, неоднократно публиковался в «ИЛ»: перевод рассказа «Энтропия» Т. Пинчона (1996, № 3), статьи «Певцы неизвестного поколения» (1998, № 3), «Между экстази и экстазом» (1998, № 4) и др.; активно занимается журналистикой в «глянцевых» журналах. В 1996—1999 годах вел шесть различных Интернет-проектов, среди которых — раздел «Культура» в «www.gazeta.ru».

КУЗЬМИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1968 г.) — филолог; выступал в печати со стихами, статьями о современной литературе, переводами прозы (с французского) и поэзии (с английского). Главный редактор журнала «Вавилон» и газеты «Литературная жизнь Москвы». Лауреат премии журнала «Арион» за лучшую критическую публикацию.

ГЕРБЕРТ ДЖОРДЖ УЭЛЛС (HERBERT GEORGE WELLS; 1866—1946) — английский писатель. Автор романов «Машина времени» («The Time Machine», 1895), «Человек-невидимка» («The Invisible Man», 1897), «Война миров» («War of the Worlds», 1898), «Пища богов» («The Food of the Gods», 1904), «Первые люди на Луне» («The First Men on the Moon», 1901), «Облик грядущего» («Things to Come», 1933) и др. На русском языке издано 15-томное собрание сочинений Уэллса.
В номере публикуются главы из книги «Герберт Уэллс в любви» («H.G. Wells in Love». London, Faber and Faber, 1984).

Переводчики:

МОТЫЛЕВ ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались романы «Неестественные причины» Ф. Д. Джеймс («ИЛ», 1992, № 11-12; совместно с И. Бернштейн и Г. Чхартишвили), «Завещание Оскара Уайльда» («ИЛ», 1993, № 11) и «Процесс Элизабет Кри» П. Акройда («ИЛ», 1997, № 5), «Бедные-несчастные» А. Грея («ИЛ», 1995, № 12), роман «На лесном озере» Т. О'Брайена («ИЛ», 1996, № 8), «Бог Мелочей» А. Рой («ИЛ», 1999, № 7, 8), книга американского историка Дж. Стефана «Русские фашисты» (М., 1992), рассказы А. Грея («ИЛ», 1996, № 9), А. Конан Дойла, Г.Э. Бейтса, И. Б. Зингера («ИЛ», 1997, № 7), Дж. Барнса («ИЛ», 1999, № 1), стихи Р. Киплинга и др.

КУПРИЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЛЕБОВИЧ (род. в 1939 г.) — поэт и переводчик с немецкого. Автор сборников стихов «От первого лица» (М., 1981), «Жизнь идет» (М., 1982), «Домашние задания» (М., 1986). Переводил поэзию Ф. Гёльдерлина, А. Шамиссо, Р. М. Рильке, Г. Гофмансталя, Б. Брехта, У. Уитмена, современных поэтов Австрии, Германии, ФРГ, США. В «ИЛ» в его переводах публиковались стихи Э. Арендта, Э. Фрида, П. Целана и др.

КИСЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с итальянского. В его переводе напечатаны новеллы Т. Ландольфи (Библиотека «ИЛ», 1987), книга эссе и рассказов А. Савинио «Вся жизнь» (Библиотека «ИЛ», 1990), романы «Если однажды зимней ночью путник» И. Кальвино («ИЛ», 1994, № 4; перевод отмечен литературной премией им. Цецилии Кин), «Море-океан» («ИЛ», 1998, № 1) и «Шелк» («ИЛ», 1999, № 6) А. Барикко, «Четыре преамбулы» М. Бонтемпелли, рассказы Д. Буццати («ИЛ», 1994, № 12), рассказ «Лигия» Дж. Томази ди Лампедузы («ИЛ», 1997, № 7) и др. Составитель сборника «Итальянская новелла XX века» (1988), книги Т. Ландольфи «Жена Гоголя и другие истории» (1999). Автор учебных пособий.

ДЬЯКОНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА — исследователь и переводчик средневековой и новой литературы Японии, кандидат филологических наук, автор нескольких книг (в том числе «Бальмонт в Японии», М., 1989, в соавторстве с К. М. Азадовским) и множества статей. Переводила исторический средневековый памятник «Великое зерцало» (XI в.), традиционные стихотворения танка и хайку, верлибры поэтов начала XX в. Хоригути Дайгаку, Хагивара Сакутаро, «Дневник, написанный латиницей» Исикава Такубоку.

ВАГАПОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА — литературный и театральный критик, кандидат искусствоведения, переводчик с сербского, хорватского, словенского и македонского языков. Автор книг «Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии в 20—30-е годы XX века» (М., 1983) и «БИТЕФ: театр и фестиваль» (М., 1998). В ее переводе изданы новеллы И. Андрича, пьесы «Агония», «Арестей» и др. М. Крлежи, а также его публицистика, романы «Поминки» Б. Зупанчича, «Пейзаж, нарисованный чаем» М. Павича (совместно с Р. Грецкой), пьесы М. Матковича, Г. Стефановского и др. В «ИЛ» печатались ее переводы статей М. Крлежи (1978, №7), пьеса «Вечность и еще один день» (1995, № 7, совместно с Л. Савельевой), новелла «Шляпа из рыбьей чешуи» (1997, № 1) и рассказ «Корсет» («ИЛ», 1998, № 4) М. Павича.

ОБЛОНСКАЯ РАИСА ЕФИМОВНА — переводчик с английского. В ее переводе издавались романы «Самовластие мистера Парэма» Г. Дж. Уэллса (1963), «Патриция» Дж. Голсуорси (1962), «Начало пути» А. Силлитоу (1973), «Мартин Иден» Дж. Лондона (1984), «Что-то случилось» Дж. Хеллера (1978), «Мэнсфилд-парк» Дж. Остин (1988), «Сыновья и любовники» Д. Г. Лоуренса (1990), «Рождественские каникулы» У. С. Моэма (1992) и др.

МАВЛЕВИЧ НАТАЛЬЯ САМОЙЛОВНА — переводчик с французского. Перевела «Сказки кота Мурлыки» М. Эме, «Песни Мальдорора» Лотреамона («ИЛ», 1993, № 1), «Портреты-воспоминания» Ж. Кокто (Библиотека «ИЛ», 1985), романы А. Сарразен «Перелом» («ИЛ», 1993, № 10, 11), Э. Ажара «Голубчик» («ИЛ», 1995, № 7), рассказы Б. Виана и др.

■

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА

ООО «Б.С.Г.-ПРЕСС»

✔ **издает серию *«MODERN TALKS»*,**
в которую входят произведения культовых авторов,
представляющих современную отечественную и зарубежную литературу.

в 1999 году вышли:

В.СОРОКИН «Норма»
В.СОРОКИН «Очередь»

готовятся к изданию

книги Г.СТАЙН, Г.МИЛЛЕРА, А.ЖАРРИ,
Р.КЕНО, Е.КОСИНСКОГО и др.

✔ **осуществляет совместное с журналом «Иностранная литература»**
издание новой серии *«ИЛЛЮМИНАТОР»*

✔ **распространяет интеллектуальную литературу**
отечественных и зарубежных авторов,
являясь партнером таких издательств,
как: *«Симпозиум», «Гиперион», «ИНАПРЕСС», «Согласие»,*
«Независимая газета», «Издатель Захаров» и др.

В ближайшее время ООО «Б.С.Г.-ПРЕСС» намерено выпустить каталог книг, предлагаемых к продаже, и разослать его всем заинтересованным организациям и частным лицам. Желающие получить каталог могут выслать открытку со своим адресом с пометкой «каталог».

Почтовый адрес ООО «Б.С.Г.-ПРЕСС»

129090 Москва, ул.Гиляровского, д.1
тел/факс 207-53-62

Возрождается книжное приложение

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»!

В серию *«ИЛЛЮМИНАТОР»* войдут
лучшие произведения мировой литературы
в лучших переводах,
выполненных мастерами
отечественной переводческой школы.

Книги новой серии будут издаваться в твердом переплете.

До конца 1999 в серии *«ИЛЛЮМИНАТОР»*
выходят следующие книги:

001 **Ромен Гари** «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ», перевод Е.Погожевой
002 **Питер Акройд** «ПРОЦЕСС ЭЛИЗАБЕТ КРИ», перевод Л.Мотылева
003 **Милан Кундера** «НЕСПЕШНОСТЬ», «ПОДЛИННОСТЬ»,
перевод Ю.Стефанова
004 **Эдгар Л. Доктороу** «РЭГТАЙМ», перевод В.Аксенова
005 **Джулиан Барнс** «ИСТОРИЯ МИРА В 10 1/2 ГЛАВАХ», перевод В.Бабкова

По вопросам оптовых закупок обращаться
в редакцию журнала «Иностранная литература».

Fax **(095) 953-5061**
E-mail **inolit@adicom.ru**

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

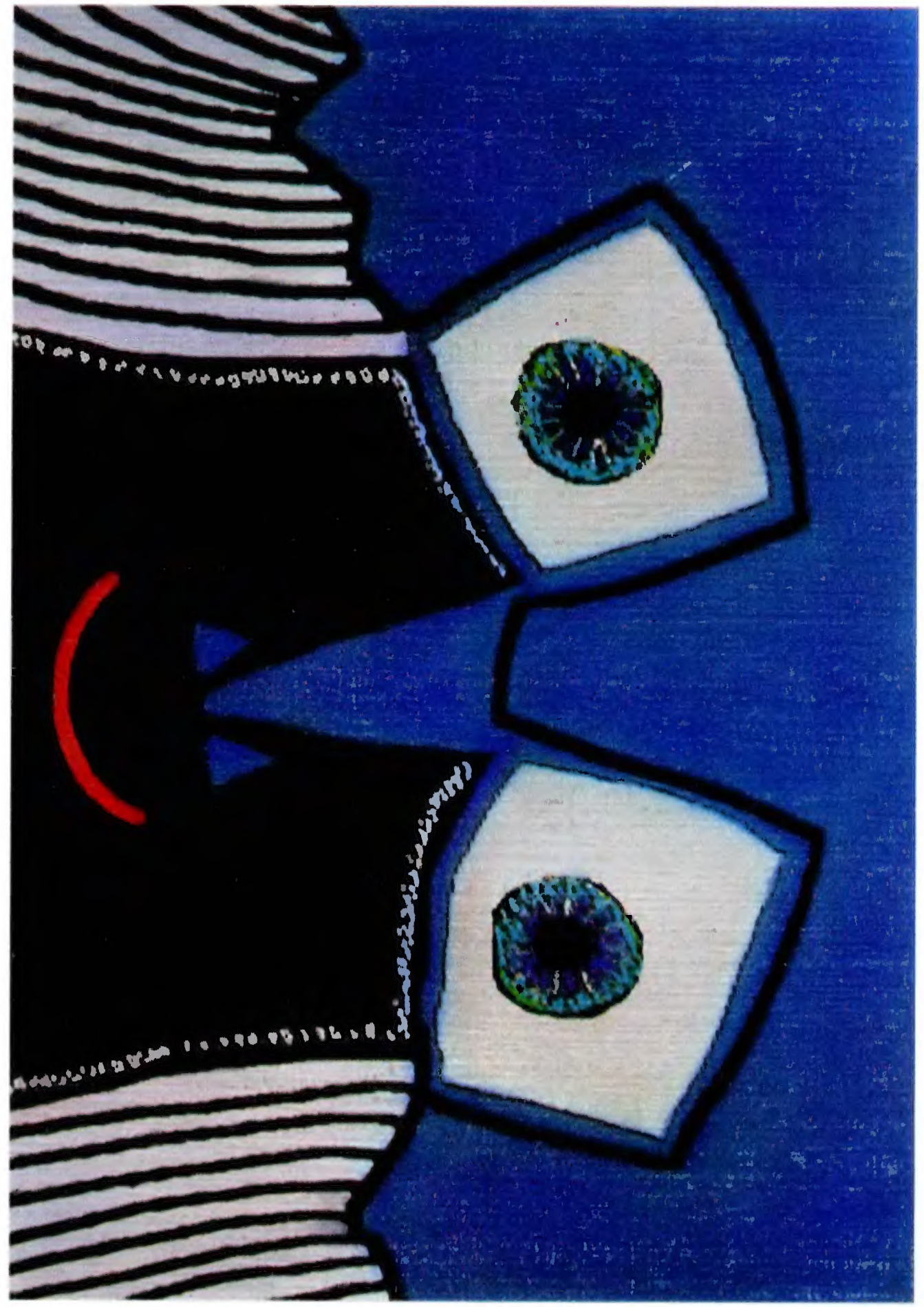
галерея
линия-арт

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №10, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394